

свободный человек



Дина Каминская
Записки адвоката

НОВОЕ издательство

УДК 323.22
ББК 66.1(2)6
К18

Серия «Свободный человек» издается с 2007 года;
с 2009 года — в рамках издательской программы проекта
«InLiberty.Ru: Свободная среда» «Библиотека свободы»

Издатель Андрей Курилкин
Редактор Филипп Дзядко
Дизайн Анатолий Гусев

Издательство благодарит за содействие Бориса Кузнецова

Текст печатается по изданию:
Каминская Д.И. Записки адвоката. Venson: Khronika Press, 1984.

В оформлении обложки использованы фотографии
Алексея Куденко и Кирилла Тулина

Каминская Д.И.
К18 Записки адвоката
М.: Новое издательство, 2009. — 412 с. — (Свободный человек)

ISBN 978-5-98379-119-0

В качестве адвоката Дина Каминская участвовала почти во всех самых громких политических процессах 1960–1970-х годов: она защищала Владимира Буковского, Юрия Галанскова, Анатолия Марченко и многих других участников диссидентского движения. Описываемые в мемуарах Каминской приметы судебной практики — фальсификация доказательств, самооговор подсудимых, лжесвидетельство, давление государственного аппарата — хорошо знакомы и современному читателю; реализованные в ее поступках и словах представления о правосудии, человеческом достоинстве и гражданской ответственности сегодня столь же исчезающе редки, как и в позднесоветские годы.

УДК 323.22
ББК 66.1(2)6

© 1982 by Dina Kaminskaya. All rights reserved

ISBN 978-5-98379-119-0

© Новое издательство, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Борис Золотухин. «Кто устоял...» (адвокат Дина Каминская)	7
Часть первая	
Глава первая. Почему я решила стать адвокатом	19
Глава вторая. Почему я стала политическим адвокатом	47
Глава третья. Что такое советское правосудие	63
Часть вторая. Признание, или Дело мальчиков	
Следствие	79
В преддверии первого судебного процесса	94
Первый процесс. Московский областной суд	114
Второй судебный процесс. Московский городской суд	141
Кассация	161
Третий процесс. Верховный суд Российской Республики	170
Послесловие	180
Часть третья	
Глава первая. Как я не защищала Юлию Даниэля	185
Глава вторая. Мой первый политический процесс	199
Следствие	200
Суд	217
Глава третья. Уголовное дело № 41074/56-68с «О нарушении общественного порядка и клевете на советский государственный и общественный строй»	240
Глава четвертая. Он не искал ни богатства, ни карьеры, ни славы	303
Глава пятая. Продолжение	367
Глава шестая. Как это случилось	380

«КТО УСТОЯЛ...»
(АДВОКАТ ДИНА КАМИНСКАЯ)

В несвободной стране мы старались жить как в свободной.
ДИНА КАМИНСКАЯ. «ЗАПИСКИ АДВОКАТА»

Новое издание книги Д.И. Каминской «Записки адвоката» — счастливая возможность еще раз воздать должное ее ораторскому дару, виртуозному мастерству судебного исследователя и гражданской отваге. Д.И. Каминская принадлежит к славной плеяде выдающихся российских защитников, чьи талант и нравственные принципы определяли профессиональное и общественное лицо отечественной адвокатуры на каждом этапе ее истории. Таких этапов всего четыре: это золотой век, черные годы унижения, короткое, но яркое возрождение и, наконец, современный период.

Золотой век нашей адвокатуры — время от учреждения в Российской империи сословия присяжных поверенных в 1864 году и до Октябрьского переворота 1917 года. Это эпоха признания выдающейся роли адвокатуры в правосудии и в общественной жизни. В ту пору адвокаты лидировали не только в судах, но и во влиятельных общественных организациях, в демократических партиях и в Государственной думе. Адвокатуру золотого века олицетворяли имена Александрова и Спасовича, Плевако и Андреевского, Урусова и Карбачевского, Набокова и Керенского.

После Октябрьского переворота и до конца 60-х годов XX века — черные годы профессии, время ее унижения государством. Тоталитарный режим истребил практически все сословие присяжных поверенных и уничтожил самоуправление адвокатских коллегий. Лишенная свободы адвокатура не могла полноценно исполнять свое предназначение. На месте непокорного, исполненного чувства собственного достоинства института гражданского общества образова-

лась «советская адвокатура». Чистки и репрессии вынудили ее принять унизительные условия существования. Само слово «адвокат» в советское время приобрело презрительный оттенок и чаще всего употреблялось с прилагательными «непрощеный», «незадачливый», «самозванный». Открытые политические процессы конца 30-х годов стали демонстративным унижением адвокатуры. Своих оппонентов Сталин не судил, он их уничтожал. Слово «суд» в общепринятом значении неприменимо к политическим процессам конца 30-х годов. В первую очередь это относится к фарсу, инсценированному в Октябрьском зале Дома Союзов в августе 1938 года, — делу «Об антисоветском правотроцкистском центре» (дело Бухарина, Рыкова и других). Для этого и подобных процессов не нужны были адвокаты, честно выполняющие профессиональный долг. Требовались юристы, согласные на роли лакеев, раболепно поддакивающих обвинению. Опубликованная стенограмма процесса по делу Бухарина — убийственное тому свидетельство. Поражает чудовищность и бездоказательность возводимых на подсудимых поклепов. Адвокаты, люди с репутациями знаменитых защитников, несмотря на очевидную абсурдность обвинения не осмелились даже слабо возражать прокурору Вышинскому, который вел себя как распоясавшийся визгливый хулиган. Они лишь униженно пролепетали просьбы о снисхождении к их подзащитным. Недостойные роли, сыгранные адвокатами в этих процессах, разумеется, не столько вина их, сколько беда. Неизвестно, перед каким, возможно роковым, выбором поставила их власть, прежде чем они согласились войти в зал суда. Но даже при этом, оценивая роль адвокатов — участников показательных процессов 30-х годов, приходится признать, что с их именами связано время исторического позора российской адвокатуры. Этот трагический период, длившийся почти сорок лет, сменился коротким, но ярким ее возрождением.

С конца 60-х и до начала 90-х годов XX века российская адвокатура вновь завоевала доверие общества. Профессия адвоката, как и столетие назад, стала не только уважаемой, но и почетной. Возвращением высокого престижа она обязана политическим защитникам нового времени — Д.И. Каминской, С.В. Каллистратовой, их коллегам и единомышленникам.

Во второй половине 60-х годов прошлого века возникло общественное явление, названное Демократическим движением. Горстка отчаянных смельчаков, которых нарекли «диссидентами», открыто заявила о поправлении в СССР прав человека, записанных в Конституции. Особенность Демократического движения состояла в том, что его участники действовали открыто, подписывали самиздатские

публикации своими именами и даже указывали домашние адреса и номера телефонов. Власть, ошеломленная такой дерзостью, незамедлительно ответила единственно известным ей способом — арестами. Но о репрессиях против диссидентов всему миру немедленно сообщали московские корреспонденты западных СМИ. Скрывать политические судебные процессы стало невозможно. Для защиты смельчаков-диссидентов понадобились и отважные адвокаты. Первыми из них стали Д.И. Каминская и С.В. Каллистратова. Конечно, все без исключения политические процессы по-прежнему оставались фарсами. Роли для этих судебных спектаклей сочиняли в КГБ, а финалы писали в ЦК КПСС. Но если суд — это фарс с заранее известным приговором, то какова в нем роль адвоката? Ответить на этот вопрос, и прежде всего для себя самих, должны были политические защитники нового времени. Ответ Д.И. Каминской в ее книге звучит так: «У меня никогда не возникала мысль, что обреченность дела может позволять работать хуже, чем я умею, и, следовательно, хуже, чем обязана». Это означало, что каждая защита, принятая Д.И. Каминской, будет принципиальной и бескомпромиссной, чем бы это ни грозило ей самой. Защитительные речи становились обличением государственного беззакония. Сторонники подсудимых, пробывавшиеся на процессы, старались записывать и распространять ее выступления. В пишущую машинку вместо обычной бумаги закладывалась папиросная, чтобы получилось как можно больше копий. А затем они расходились по Москве и многим крупным городам. Речи Д.И. Каминской и ее коллег-адвокатов можно было найти в высших учебных заведениях, в курилках публичных библиотек, в многочисленных НИИ, в клубах творческих союзов. Их обсуждали, о них спорили на кухнях — единственно возможных островках свободымыслия. Они были источником правды о политических процессах и одновременно уроками мужества. Открытая гражданская позиция адвокатов испугала власть. Деятельность адвокатов обсуждало высшее политическое руководство страны. 10 июля 1970 года глава КГБ СССР и будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов обратился с секретным письмом в ЦК КПСС о «неправильном поведении» в судебных процессах некоторых адвокатов, и в первую очередь Д.И. Каминской и С.В. Каллистратовой. Председатель КГБ доносил в ЦК КПСС о том, что адвокаты в судебных процессах отрицают наличие состава преступления в действиях подсудимых, «нередко действуют по прямому сговору с антиобщественными элементами, информируя их о материалах предварительного следствия и совместно вырабатывая линию поведения подсудимых в процессе следствия и суда». По этому письму было принято решение Секретариата

ЦК КПСС. Спустя несколько недель Московский горком партии сообщил в ЦК КПСС: «... адвокаты Каминская, Каллистратова, Поздеев и Ромм впредь не будут допущены к участию в процессах по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 190-1 УК РСФСР» («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»).

Такой была реакция власти. В то же время множество людей отдавало должное честности и мужеству адвокатов. Никогда еще в российской истории престиж профессии не был так высок.

Ах, честное русское слово —
луч света в крошечной ночи... —

пел замечательный бард Юлий Ким в «Адвокатском вальсе», который он посвятил С.В. Каллистратовой и Д.И. Каминской.

А Давид Самойлов, друг Д.И. Каминской, в стихотворении, обращенном к ней, написал:

Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь — самосожженье,
Но сладко медленное тленье
И страшен жертвенный огонь...

Д.И. Каминская и С.В. Каллистратова олицетворяли период возрождения российской адвокатуры так же, как Александров, Спасович, Плевако и их именитые коллеги — ее золотой век.

Современный, четвертый этап истории российской адвокатуры ведет отсчет с начала 90-х годов, когда руководство Минюста по недомыслию и безответственности позволило практически любой группе юристов объявлять себя коллегией адвокатов. В адвокатуру хлынул поток людей, скомпрометировавших себя на работе в милиции, прокуратуре и в суде. Прежде доступ к профессии адвоката этой публике был закрыт. Новый «призыв» не мог не оказать влияния на нравственный и профессиональный уровень адвокатуры. Хочется надеяться, что этот период истории нашей адвокатуры окажется не слишком продолжительным, тем более что нужда в отважных адвокатах уже появилась.

В конце 60-х годов Д.И. Каминская прочно занимала место в числе лучших московских адвокатов. Мастерство и талант ее были столь очевидны, что получили признание даже на государственном уров-

не. В книге о советской адвокатуре, вышедшей не только на русском, но и на иностранных языках, содержалась высокая оценка ее работы. Но настоящую славу Д.И. Каминской принесли политические защиты.

Д.И. Каминская участвовала практически во всех самых громких процессах конца 60-х — начала 70-х годов. Ее подзащитными были Владимир Буковский, Юрий Галансков, Илья Габай, Павел Литвинов, Лариса Богораз, Анатолий Марченко, активисты движения за возвращение на родину крымских татар, высланных Сталиным в Среднюю Азию. Об этих делах Д.И. Каминская рассказывает в своей книге, и, разумеется, излишне ее пересказывать. Однако об одном из дел нельзя умолчать. Это ее первый политический процесс — дело Владимира Буковского.

22 января 1967 года около 6 часов вечера в центре Москвы, у памятника Пушкину, несколько десятков молодых людей провели демонстрацию с требованиями освободить арестованных КГБ Добровольского, Галанскова, Лашкову и Радзиевского и пересмотреть статьи Уголовного кодекса об антисоветской агитации и пропаганде и о «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Руководил демонстрацией двадцатичетырехлетний Владимир Буковский. О готовящемся выступлении молодежи в КГБ знали заранее. Участников демонстрации схватили, едва они развернули лозунги. На скамье подсудимых рядом с Буковским оказались два его товарища.

С первых шагов следствия Буковский занял непримиримую позицию. Он признавал все фактические обстоятельства: и то, что он был инициатором демонстрации, и то, что сочинял и изготавливал лозунги, и то, что вывел своих друзей на площадь. При этом обвиняемый настаивал на своем праве устраивать демонстрации, критиковать действия властей, вступаться за арестованных, требовать отмены законов — словом, открыто заявлять и отстаивать гражданскую позицию, поскольку это право записано в Конституции СССР. На самом деле Конституция СССР, по остроумному замечанию одного зарубежного советолога, была «документом, не рассчитанным на применение». Требование соблюдать эту Конституцию, принимать ее всерьез означало потрясение основ советского строя. Кто настаивал на соблюдении фальшивой Конституции, объявлялся врагом режима, его ждали Мордовские лагеря.

Перед Д.И. Каминской и ее коллегами, адвокатами двух других обвиняемых, возник роковой для советской адвокатуры вопрос о пределах дозволенного в политическом процессе. Традиция состояла в том, чтобы просить суд о снисхождении, поскольку спорить

с обвинением было опасно для адвоката. Однако Д.И. Каминская, вступая на путь политической защиты, сразу установила для себя высшую планку — требование полного оправдания подзащитного. Признавать вслед за Буковским, что он совершил все вменяемые ему действия, и при этом утверждать в суде, что он невиновен, и требовать его оправдания, означало, что адвокат защищает не только «преступника», но и преступление. В глазах власти такой адвокат немедленно превращался из защитника подсудимого в соучастника преступления, поскольку защищал «право на преступление». Но именно это сделала Д.И. Каминская, потребовав оправдания Буковского.

Из всех возможных вызовов, которые адвокат способен бросить власти, этот самый дерзкий и опасный.

Два других адвоката, участвовавших в деле, последовать примеру Каминской не решились.

К сожалению, сегодня мы лишены возможности читать судебные речи Д.И. Каминской. Сама она не готовила их для издания. Никто не собирал этот бесценный для истории адвокатуры материал. Немногочисленные сохранившиеся стенограммы разрознены и недоступны читателю. Но, кажется, еще не потеряна надежда отыскать и опубликовать их. КГБ, следя за рассмотрением в судах дел, изготовленных в недрах ведомства, вел звукозапись процессов. Расшифрованные стенограммы речей должны храниться в архивах госбезопасности, и извлечение их оттуда со временем вполне возможно.

Защитительные речи выдающихся адвокатов — всегда самая яркая и наиболее впечатляющая часть судебного процесса. Но речь — только финал, венец работы защитника до суда и во время судебного следствия. Как часто, перечитывая судебные выступления ораторов Античности, знаменитых французских мэтров или корифеев золотого века российской адвокатуры, досадуешь на невозможность проследить за подготовительной работой мастеров. Узнать, как они добывали материал для своих шедевров, как это удавалось им в борьбе с противниками, стремившимися утаить или исказить правду. И если речи Д.И. Каминской сегодня еще недоступны нам, то благодаря «Запискам адвоката» у нас появилась редкая возможность пройти рядом с выдающимся защитником весь путь от первого знакомства с обвиняемым до приговора и побывать, как говорится, в его мастерской. Эту возможность дала нам Д.И. Каминская, описывая нашумевшее в свое время «Дело мальчиков».

В июне 1965 года в районе подмосковного писательского поселка Переделкино исчезла пятнадцатилетняя школьница Марина К. Через несколько дней ее труп нашли в местном пруду. Экспертиза установила, что Марину изнасиловали, а затем утопили. Спустя два месяца арестовали человека, раньше судимого за изнасилование и другие преступления. Он «чистосердечно» сознался, что изнасиловал и убил Марину ножом, а потом сбросил в пруд. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы, не обнаружившей на теле Марины никаких ножевых ранений, арестованного освободили. «Чистосердечное» признание оказалось самооговором, вырванным у него в результате так называемых незаконных методов следствия.

Писательская общественность поселка, обеспокоенная продолжительной безнаказанностью преступников, освобождением «признавшегося убийцы», по тогдашнему обычаю обратилась в ЦК КПСС, откуда последовал свирепый окрик в областную прокуратуру. Немедленно назначили другого следователя, который арестовал двух одноклассников Марины. Через несколько дней после ареста следователь передал родителям мальчиков записки, где они почти одинаковыми словами писали, что изнасиловали и убили девочку. Потом подростки от признания отказались. Правда, один из них после бесед с новым следователем вернулся к признанию. Он утверждал, к отказу его склонил адвокат. Защитник был немедленно отстранен от дела.

В таком положении, по просьбе коллег-адвокатов, защиту этого мальчика приняла Д.И. Каминская.

Читатель узнает, как Д.И. Каминская и ее товарищ по защите, замечательный адвокат Л.А. Юдович, преодолели последствия ложного самоговора подсудимых и разоблачили изощренную фальсификацию доказательств. Как вывели на чистую воду лжесвидетелей. Как общественный обвинитель, постепенно убеждавшийся в невинности подсудимых, превратился в общественного защитника. Как, наконец, после блестящих защитительных речей свершилось полное оправдание мальчиков.

Работа защиты по «Делу мальчиков» — это школа адвокатуры, которая не только показывает образцы профессионального мастерства, но, что особо актуально сегодня, утверждает нравственные начала профессии.

Блестящую деятельность Д.И. Каминской в российской адвокатуре власть прекратила в 1977 году. Под угрозой неминуемого ареста Д.И. Каминскую и ее мужа К.М. Симиса, известного ученого и адвоката, вынудили эмигрировать из СССР.

Советская власть могла отнять у Д.И. Каминской судебную трибуну, но не заставила замолчать. В эмиграции Д.И. Каминская нашла новое применение своим дарованиям. На протяжении многих лет Д.И. Каминская и К.М. Симис вели передачи на «Голосе Америки» и на «Радио Свобода». Просто и увлекательно рассказывали они о сложных проблемах права и делали поистине просветительскую работу. Миллионы людей в нашей стране стали поклонниками их знаменитого радиодуэта.

Там же в годы эмиграции Д.И. Каминская написала свою замечательную книгу. Ее «Записки адвоката» останутся примером отважного и бескорыстного служения подлинному правосудию в России.

Борис Золотухин

*Посвящаю эту книгу памяти тех, кому обязана всем лучшим,
что есть во мне, — моим родителям Ольге Карловне
и Исааку Ефимовичу Каминским*

*Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит,
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег
Летит и пасть не может.
Давид Самойлов*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Огромное старинное здание. Высокие сводчатые потолки. Такие высокие, что кажется, они уходят в небо. На стенах большие портреты, как в Большом зале консерватории. Люди на них в черных мантиях и белых париках. Их лица полны внутреннего достоинства и внутренней силы. И вокруг меня — тоже люди в таких же черных мантиях и белых париках.

И мне не смешно, что сейчас — в XX веке — так запросто ходят в завитых париках и что на женщинах не пестрые платья с короткими рукавами и декольте, а черная мантия и белая манишка. Мне не кажется это несовременным и смешным, как не может казаться несовременным или смешным религиозный обряд. Ведь я в храме. И одежда эта — символ извечной важности великого дела, которое они вершат.

Так я ощутила Лондонский суд — английский храм правосудия.

Я шла впервые в моей жизни в суд не работать, а только смотреть и слушать.

Ошеломляюще точно, ровно в два часа, как и было назначено, распорядитель объявил открытым судебное заседание. Судья занял место на высоком помосте. Один, возвышающийся над всеми. И процесс начался.

Я слушала процесс, который велся по чужим для меня законам, по чужим для меня правилам, на чужом для меня языке. Слушала вопросы, которые задавал прекрасный адвокат Макдональд. И мучительно ему завидовала. Завидовала тому, что он, а не я, стоит в этом суде, что на нем, а не на мне, эта черная мантия, что он, а не я, задает эти вопросы.

Я вспоминала часы и дни, которые проводила в темных и грязных комнатах, отведенных в лучших судах Москвы для работы адвокатов.

Вспоминала я все это потому, что и грязь, и ожидание, и грубость секретарей, и яркие туалеты женщин-адвокатов — это тоже наши советские парик и мантия, тоже символ и показатель отношения к великому институту правосудия.

И завидовала я не только потому, что мне нравилась вся обстановка суда и это здание, такое великолепное, где все дышит уважением к правосудию. И не потому, что сама одежда адвоката казалась мне свидетельством его высокого престижа.

Завидовала потому, что очень люблю свою профессию, которой посвятила 37 лет своей жизни.

Мне было 17 лет, когда я решила поступить в юридический институт. Несомненно, на мой выбор повлияло то, что моя старшая сестра в это время заканчивала юридический институт. Отец тоже был юристом по образованию, и дома часто обсуждались разные правовые вопросы. Сестра после окончания института хотела поступить в аспирантуру и стать научным работником. Она осуществила эту мечту и защитила последовательно кандидатскую и докторскую диссертации и до дня своей смерти работала в научно-исследовательском правовом институте. Я же, строя планы своей дальнейшей жизни, считала, что после окончания учебы пойду работать в прокуратуру.

С таким намерением в 1937 году я подала заявление о приеме в Московский юридический институт и успешно сдала вступительные экзамены. На третьем курсе института предстояла первая студенческая практика. Нам была предоставлена возможность выбирать место прохождения этой практики в системе судебной или следственно-прокурорской. Подавляющее большинство моих сокурсников просили направить их в прокуратуру, несколько человек попросили направить их в суд. Но я не помню никого, кто бы тогда пожелал ознакомиться с работой адвоката. Объяснялось это, конечно, и тем, что все мы были увлечены лекциями любимого профессора, читавшего курс уголовного процесса. А если в этих лекциях и упоминался адвокат, то лишь в роли жалкого и поверженного противника. Но уверена, что в не меньшей степени это объяснялось и тем, что, не понимая еще до конца всей непрестижности адвокатской профессии в советском государстве, мы уже очень хорошо понимали ее непопулярность.

Я была среди многих, кто хотел работать в прокуратуре, и меня направили для прохождения курсовой практики в прокуратуру Ле-

нинградского района Москвы. Я работала под руководством опытного следователя, который учил меня методике расследования уголовных дел, тактике допроса свидетелей и обвиняемых, проведению всех следственных действий от осмотра места происшествия и обыска до составления обвинительного заключения. Вместе с прокурором я участвовала в судебных процессах. Так появился подлинный интерес к практической деятельности, интерес к изучению дела, к выработке позиции.

Но романтический ореол, который был создан кинофильмами, книгами и, особенно, лекциями, от сопоставления с повседневной работой следователя значительно потускнел. Я поняла, что основная масса дел, которыми занимаются следователи прокуратуры, вовсе не увлекательные загадочные происшествия. Следователи были завалены делами о незначительных кражах с предприятий нашего Ленинградского района. Дела эти очень несложны. Как правило, обвиняемыми по ним были те рабочие и служащие, которых задерживала охрана завода или фабрики в проходной. Неумело спрятанное похищенное тут же изымалось, и работа следователя по этим делам превратилась в простое оформление необходимыми протоколами материалов, которые поступали в прокуратуру от предприятий.

Больше всего меня привлекал азарт состязательности судебного процесса. А выступления в суде в качестве стажера-прокурора убедили меня, что я смогу стать неплохим судебным оратором. Поэтому, окончивая институт, я выбирала между двумя привлекательными для меня возможностями специализации. Прокурора-обвинителя, от имени государства поддерживающего обвинение в суде, или адвоката, защищающего человека от обвинения.

Я благодарна тому, что тогда, в юности, наверное, какое-то шестое чувство помогло мне найти эту, такую необходимую для меня работу. Работу, которая позволила мне защищать человека от жестокой и часто противозаконной мощи советского государства.

Два месяца студенческой практики были достаточными, чтобы я увидела и поняла, сколь незавидно было положение адвоката в советском суде. Его не пытались скрывать в разговорах. Оно проявлялось во всем. Часто во время судебного заседания судья грубо обрывал адвоката, запрещал ему задавать вопросы, необходимость которых была для меня очевидна. Но тот же самый судья никогда не позволял себе этого в отношении прокурора. Я видела, как во время перерыва прокурор свободно и уверенно направлялся в кабинет судьи, куда адвокату заходить не разрешалось. Я присутствовала при том, как в этом кабинете во время перерыва прокурор, судья, а часто и следователь обсуждали рассматриваемое дело. Вместе оценивали

доказательства, а зачастую тут же решали и судьбу человека — вопрос о его виновности и даже то, какой срок лишения свободы ему нужно определить.

Установленное законом равенство сторон в суде, равенство прав прокурора и адвоката не только никогда не соблюдалось, но не было даже попытки замаскировать, сделать не таким явным преимущество, оказываемое представителю государственного обвинения.

Чем же объяснялась в те годы абсолютная непрестижность адвокатской профессии?

В системе советского государства сталинского периода, когда нарушение советских законов было не эксцессом отдельных должностных лиц, а партийной и государственной политикой, сама профессия адвоката, защищающего от государственного обвинения, а в тех условиях — от государственного произвола, была чужеродной.

Адвокатуру терпели как некий необходимый для государственного престижа вовне, за пределами страны, анахронизм, но не признавали за ней пользы для внутренней жизни страны.

Структура адвокатуры — самоуправляющейся организации — в государстве с тотальной регламентацией тоже определяла ее чужеродность и, следовательно, непрестижность. И, наконец, коллегии адвокатов пришли на смену разрешенной после Октябрьской революции частной адвокатской практике.

В коллегии объединились бывшие присяжные поверенные, в подавляющем большинстве беспартийные, чье общественное и политическое лицо, с точки зрения государства, было весьма сомнительным.

Государство не уважало адвокатскую профессию и не доверяло адвокатуре.

Но в то же время я увидела и другое.

Я уже тогда поняла, что унижаемый самодовольными и часто совершенно некультурными судьями и прокурорами адвокат, как правило, и почти без исключений, был гораздо образованнее. Его профессионализм был значительно выше.

Это объяснялось тем, что следователями, прокурорами и судьями в те предвоенные годы работали так называемые выдвиженцы — представители партийной прослойки рабочего класса. Многие из них не имели не только специального юридического образования, но даже не окончили десятилетней школы. Они совмещали свою ответственную правовую работу с занятиями на курсах усовершенствования или в специально для них организованной юридической школе. В адвокатуре же тех лет было много старых адвокатов с блестящим еще дореволюционным образованием.

Я поняла тогда и то, что унижаемый в суде адвокат был гораздо свободнее этих судей и прокуроров. Он сам определял позицию по делу, он ни с кем не должен был ее согласовывать. Поняла я и то, что такие независимые в судебном заседании государственные обвинители обязаны были предварительно доложить как само дело, так и свою позицию по нему прокурору района; что мнение начальства было практически для них обязательным. Я уже знала, что, если версия обвинения в судебном заседании будет опровергнута или поколеблена, выступающий в суде прокурор, обязанный в силу закона отказать от обвинения, фактически это сделать не мог. И если в такой ситуации он просил объявить перерыв перед своей речью, то все понимали, что он идет согласовывать свою позицию с прокурором района.

Студенческая практика дала мне и другие знания, выходящие из круга чисто профессиональных. Она оказалась для меня первой жизненной школой — не только полезной, но и необходимой.

Семья, дружеское окружение и школа поставили меня в первые годы моей сознательной жизни в исключительное (по сравнению с основной массой подростков) положение. Условия моего воспитания были благоприятны для того, чтобы я стала интеллигентным, образованным человеком, но в то же время они изолировали меня от реальной жизни, лишили знания ее и, следовательно, и возможности понимать ее.

Какой я была к девятнадцати годам, когда произошла эта моя первая встреча с жизнью? О чем думала? Во что верила?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, мне придется сделать отступление назад — в детство и юность. В те условия жизни, которые определили мои склонности и характер, выбор профессии и весь мой дальнейший жизненный путь.

Много раз, уже зрелым человеком, оглядываясь назад, я не уставала удивляться тому, как счастливо складывалась моя жизнь. Мои родители дожили до глубокой старости, не узнав ни тюрьмы, ни лагеря. Это было исключительным счастьем в той среде интеллигентов-специалистов, к которым они принадлежали. Это было поразительно еще и потому, что отец еще до революции, молодым человеком, был сначала членом партии эсеров, а затем стал активным деятелем партии конституционных демократов. Свою прошлую партийную деятельность он никогда не скрывал и неизменно во всех анкетах писал в графе о партийной принадлежности — бывший эсер, бывший кадет.

Еще более поразительно было то, что в советское время, вплоть до осени 1937 года, он — беспартийный специалист — занимал очень

высокое положение, являясь директором Промышленного банка СССР, который в те годы осуществлял финансирование всего капитального строительства в стране.

Оба они — и отец и мать — происходили из бедных еврейских провинциальных семей, но оба они, каждый по-своему, были людьми высокой духовности и безупречной порядочности. Мама — в силу природной доброты и какого-то особого врожденного благородства, для которого не нужно ни образования, ни специальных познаний. Все мои друзья любили ее и восхищались ее красотой. Ее лицо было действительно прекрасно какой-то спокойной, я бы сказала, пастельной красотой. Она была хороша не только в молодости. Меняясь с годами, старея, она и в 80 лет поражала всех, приходивших в наш дом, «лица необщим выражением», выражением доброты и благородства, аристократической простотой. Очень мягкая по своей натуре она с удивительной стойкостью и силой характера переносила любые невзгоды и болезни. Единственное, чего она боялась, — это старческой беспомощности. Мама умерла счастливой мгновенной смертью, когда ей было 86 лет, сохранив до последнего дня живой ум и достаточную физическую работоспособность.

Я не знаю, был ли добрым человеком мой отец. Чрезвычайно замкнутый и суровый, он не имел друзей и не только не искал человеческой дружбы, но и избегал ее. Отец обладал фантастической работоспособностью и целеустремленностью и никогда не только не жаловался на усталость, но и не уставал. Я уверена, что, если бы не Октябрьская революция, он достиг бы очень высокого положения, так как его яркие способности в сочетании с характером рано дали ему возможность продвинуться на политической и деловой арене.

Мой отец, окончив юридический факультет Харьковского университета, начал работать в Южном отделении Русско-Азиатского банка и очень скоро стал его вице-директором. Ум, общественный темперамент и ораторские способности обусловили выдвижение его кандидатуры в депутаты от партии кадетов в первое Всероссийское учредительное собрание.

Революцию он не принял не потому, что она лишила его положения и богатства (богатства никакого и не было). Он не принял ее за кровь и насилие, за беззаконие и ложь. И это осталось навсегда, до самой смерти.

Внешний облик отца удивительно соответствовал его характеру. Он был высокого роста и худощав. Вспоминая отца, более всего я помню его глаза — глубокие и очень умные; тонкие, всегда сжатые губы и постоянное подергивание головой. Этот нервный тик, который начался у него вскоре после первой революции, был всегда в од-

ном и том же направлении. Только горизонтально, слева направо. Так, как будто он жестом многократно говорил: «нет».

Как-то раз ему посоветовали обратиться к хорошему врачу невропатологу. Тот очень внимательно его обследовал и сказал:

— Существует что-то, что вы решительно отвергаете. Надо сделать все, чтобы устранить причину, и тогда ваш тик немедленно пройдет.

Помню ответ отца, значение которого поняла намного позже:

— Значит, это останется на всю жизнь.

Это подергивание было произвольным отрицанием того, что стало внешним спутником его жизни. Это было «нет» лжи и насилия. Знаменательно, что последними словами отца в день его смерти были:

— Я устал жить в этой атмосфере лжи.

После революции весь свой политический темперамент, всю целеустремленность отец перенес из внешней жизни во внутреннюю. Литература, музыка, живопись, философия, биология, история и особенно религия — вот что составляло круг его интересов. Он собрал великолепную библиотеку русской идеалистической философии, поэзии. Книги стали его повседневной фанатичной страстью. Он сам иногда смеялся над фанатичностью этой страсти, но отделаться от нее не мог.

Во время войны вся наша семья была в эвакуации. Отец первым, еще в 1942-м, вернулся в Москву и там обнаружил, что большая часть его библиотеки разграблена. Библиотеку он решил восстановить любой ценой. Каждый день после работы он отправлялся в обход по букинистическим магазинам. Он искал книги с собственным экслибрисом и покупал их вновь. Он восполнял пропажу, покупая новые книги. Примерно за год он восстановил почти всю свою библиотеку. Но какой ценой? Ведь большую часть своего скромного заработка он отсылал маме, оставляя себе лишь немного для питания. Чтобы покупать книги, ему пришлось ограничить себя в покупке самых необходимых продуктов. Но денег на книги все равно не хватало, и он стал продавать тот скудный хлебный паек (400 граммов в день), который выдавался по карточкам. От постоянного недоедания у него отекли ноги, начались головокружения, а он все продолжал покупать книги. Только мой, а затем мамин приезд помогли наладить его здоровье.

Отец всегда был с книгой и потому особенно любил книги маленького карманного формата, которые мог брать с собой и читать по дороге или во время неизменных воскресных прогулок по Подмосковию.

Каждое летнее воскресенье мы вставали рано, брали свои несложные бутерброды и уезжали. Отец был неутомимый ходок и не знал ко мне никакого снисхождения. Ни слезы, ни уверения, что я сейчас, в этот момент умру от усталости, на него не действовали. Самым употребляемым в разговорах со мной словом было слово «надо». Надо есть рыбу, которую я терпеть не могла, надо вставать рано (а я до сорока лет любила поздно спать), надо самой решать проклятые математические задачи, которые я так никогда и не смогла понять. И, хотя отец очень любил меня, он всегда был строг.

Я не унаследовала от отца ни его политического темперамента, ни целеустремленности, ни аскетизма. Я люблю жизнь со всеми ее недуховными удовольствиями и комфортом. Мой дом в Москве считался одним из самых гостеприимных, и для меня всегда были радостью и удовольствием красиво накрытый стол, вкусная еда и любимые друзья — главная ценность моей взрослой жизни.

Но любовь к искусству и культуре отец сумел не только пробудить, но и сделать неотъемлемой частью моей жизни. Я понимаю сейчас, что все, что открылось мне в искусстве и в культуре впервые, — открылось с ним. От него я услышала Пушкина, Жуковского, Гете, Байрона, Шекспира. С ним впервые слушала Баха и Моцарта.

Для меня нравственный авторитет моих родителей был непрекаем. Вспоминая теперь мое детство и юность, я понимаю, какое огромное влияние на формирование моего отношения к жизни имела сама обстановка и стиль отношений внутри семьи, где никому не завидовали, где карьера и богатство никогда не были не только целью жизни, но даже и темой семейных разговоров, где понятие «нужного» знакомства вообще не существовало.

Несмотря на то что отец, как я уже писала, не принял революцию, он не только не воспитывал меня в антисоветском духе, но даже, как я потом поняла, избегал каких-либо политических оценок в моем присутствии. Я росла вполне советским ребенком. В положенное время в школе стала пионеркой, охотно участвовала во всех школьно-пионерских мероприятиях.

Начало массового террора 1936–1938 годов совпало с моей юностью и поступлением в институт. Помню, как отец, приходя с работы, рассказывал об очередных арестах его сослуживцев. Помню, как арестовывали родителей моих школьных, а потом институтских товарищей. Помню, как исчезали профессора, которые читали нам лекции, и даже знакомые студенты. Помню ощущение страха при ночных звонках в дверь.

Но все это не вошло тогда в мое сознание. Я даже могу сказать — не омрачило моей жизни. Не омрачило по-настоящему моей

жизни и то, что отец остался без работы и долгое время не мог никуда устроиться, что он жил под угрозой ареста. Но в то время я не осознавала реальности этой угрозы и жила прежней беспечной студенческой жизнью.

Много лет спустя мы вспоминали эти годы вместе с моей большой приятельницей, с которой познакомились в 1937 году.

Тот разговор начался с моего рассказа. Рассказа о том, как я была счастлива в детстве, как подлинная жизнь тех лет прошла, не задев ни моего ума, ни моих чувств. Соглашаясь со мной, она говорила, что и ее мучит непонимание этого поразительного феномена, когда целое поколение, за очень небольшим исключением, сознательно или бессознательно, лишило себя права на сомнение. Верило в то, что все справедливо. Не понимало ужаса и отчаяния, которые поразили в те годы наших отцов. И тогда же она рассказала мне один эпизод из ее жизни. Эпизод не слишком значительный, но очень характерный и для обстановки тех лет, и для нашего к этой обстановке отношения.

Это было в 1938 году, когда она была студенткой. Однажды, возвращаясь домой ночью с очередной студенческой вечеринки, она обнаружила, что забыла ключи от квартиры. Ничего не оставалось, как позвонить в дверной звонок и разбудить родителей. Довольно долго никто не отзывался. Она позвонила второй раз. Вскоре послышались шаги и дверь открылась. Перед ней стоял отец. Он был одет, как будто не ложился, как будто он только что вошел или, скорее, собрался куда-нибудь уходить. Он был в темном костюме, в рубашке с аккуратно завязанным галстуком. Увидев дочь, он молча смотрел на нее, а потом, также не говоря ни слова, ударил ее по лицу.

В то время, когда она мне рассказывала эту историю, мы обе прекрасно понимали и почему долго не открывалась дверь, и почему отец был так одет, и почему молча смотрел на нее, как бы не понимая происходящего. Мы уже знали, как тогда воспринимался ночной звонок в дверь. Понимали, что пока она стояла у дверей отец одевался, чтобы уйти из дома навсегда. Ведь он не сомневался, что это пришли за ним, что это арест и гибель.

Но тогда, когда все это происходило, единственное чувство, которое владело ею, — это было чувство обиды от незаслуженного оскорбления. Она плакала и жалела себя и осуждала отца. А потом вообще об этом забыла.

Должны были пройти годы, чтобы в воспоминаниях вернулось к ней бледное лицо отца, его молчание и этот удар, наверное, единственный удар, который он нанес в своей жизни.

Я помню, с какой болью она мне рассказывала все это, как мучилась этой жестокой виной, общей для нас виной непонимания.

А ведь мы не были ни равнодушными, ни запуганными. Мы были готовы и способны отозваться на любую несправедливость. С юношеской категоричностью и бескомпромиссностью мы осуждали любое проявление нетоварищества в нашей среде. Мы любили и уважали своих родителей и, случись с ними беда, не отказались бы от них, верили бы в их невиновность. Наша умственная слепота объяснялась скорее добрыми качествами, нежели дурными. Наши чувства и ум не могли принять мысль о возможности такого страшного зла, как сознательное уничтожение ни в чем не повинных людей. Именно поэтому мы и не сумели разделить страха и тревог наших родителей. Ведь в их-то невиновности мы были уверены.

Я вовсе не хочу вычеркнуть из моих воспоминаний эти годы. Не только я «строк печальных не смываю», а не могу сказать, что это печальные строки. Мы радовались жизни... мы изведали любовь и истинную дружбу.

Я решила вставить эту цитату из очень интересной и искренней книги Евгения Гнедина «Катастрофа и второе рождение». Я решила это сделать не только потому, что меня поразило почти дословное совпадение оценки нашего с ним мироощущения тех лет, но и особенно потому, что автор этой книги намного старше меня. В те годы он был уже зрелым человеком (в 1938 году ему было 40 лет), у него за спиной были годы работы в отделе печати Народного комиссариата иностранных дел, заведующим которым он был. Степень его информированности несопоставима с нашей. Более того, он лично знал очень многих из невинно арестованных и погубленных людей. Он присутствовал на самых знаменитых политических процессах, замечал «некоторые несообразности» в обвинении. И все же не понимал, что он свидетель «судебной комедии и трагедии невинных людей».

Так ли уж удивительна после этого наша слепота и наше непонимание? Но, задавая себе уже теперь этот риторический вопрос, я не нахожу на него разумного ответа.

Просто было бы объяснить это нашей молодостью, незнанием жизни, условиями воспитания. Значительно труднее понять, как сочетание двух гипнозов — гипноза революционных идеалов и гипноза циничной и неприкрытой лжи — могло одурманить целый народ, лишит его желания видеть и возможности понимать происходящее.

А теперь вновь отступление в детство.

Когда мне было пять лет, мои родители получили квартиру во вновь выстроенном поселке, тогда на далекой окраине Москвы, в районе, где жили извозчики, наездники и цыгане и где теперь выстроен огромный комбинат — и издательство, и редакция — газеты «Правда».

Это был большой участок земли, обнесенный деревянным забором, на котором стояло более тридцати деревянных вновь отстроенных коттеджей с фантастическими по тем временам и особенно для того района удобствами (водопроводом, канализацией и даже с ванной комнатой).

Место это называлось поселком Народного комиссариата финансов, и дома эти были частями сданы в аренду ответственным работникам. Мы занимали половину такого дома, то есть три большие комнаты. Я оказалась в среде детей из интеллигентных семей. Мы познакомились, когда нам было по пять-шесть лет, мы вместе росли, вместе формировали наши интересы, и с большинством из них я сохранила дружбу до конца моей жизни в Москве. Это было большим счастьем и исключительной удачей.

Все свободное, а в школьные годы — и несвободное время (мы все стали плохо учиться и охотно, тайком от родителей, прогуливали уроки) мы проводили вместе. Здесь было все: лыжные прогулки, песни и танцы, походы в кино и театры, бесконечные чтения стихов. Но все было вместе. Вместе собирали деньги, даваемые нам родителями на завтраки, чтобы двое из наших друзей могли летом отправиться в пеший поход по Крыму, вместе встречали Новый год, вместе уезжали по воскресеньям купаться и гулять по лесу.

Особенно интересной и интенсивной наша детская жизнь стала с 1934 года, когда в нашу компанию прочно вошел и стал несомненным главой нашего содружества поэт Павел Коган.

Погиб Павел во время войны, на которую он ушел добровольцем, но имя его и теперь достаточно известно среди московского студенчества. Все мы оказались под его влиянием. У нас появились свои песни, слова которых писал Павел, а музыку — другой мой друг из Поселка, нежность и любовь к которому я сохранила на всю жизнь.

Самая знаменитая из этих песен, которую поют и теперь, через 40 лет, молодые люди по всему Советскому Союзу, — это «Бригантина» — романтическая песня о далекой бригантине, о людях «яростных и непокорных» и «презревших грошевый уют».

Я пишу обо всем этом, чтобы было понятно, что не только семья, но и сверстники, окружавшие меня, были образованней огромного большинства московской молодежи. Но и самый умный из нас, страстный и непримиримый в своих оценках Павел, в эти страшные годы террора написал песню, в которой были такие строки:

Здесь так свободно верится,
Здесь так привольно дышится.
Прекрасная, любимая советская страна.

И мы в 1936–1937 годах с упоением ее пели. Или такие стихи:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
Над временем большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года...

Мы так часто и с такой радостью читали эти стихи, что сейчас, почти полвека спустя, я цитирую их по памяти.

Помню, как мы встречали новый — 1940-й — год.

С этого новогоднего вечера прямо на фронт добровольцами уходили студенты — поэты Сергей Наровчатов и Михаил Молочко. На финскую войну. Помню, как мы восхищались их мужеством, какими героями они были в наших глазах. И ни у кого не возникло даже мысли о том, что эта война — позор, что они идут убивать людей маленькой и мужественной страны только за то, что те не хотят покориться огромной и сильной державе.

Вспоминая это уже потом, я понимала, что с самого детства меня окружало ужасающее человеческое горе — нищие на улицах во время голода на Украине, рассказы о коллективизации, аресты и гибель людей, в чьей невиновности я не должна была сомневаться. И страшно сознание, какое ужасное умственное оцепенение владело мною и всем моим дружеским окружением.

Школа, в которой я проучилась 10 лет, оказала значительно меньшее влияние на формирование моего характера, чем семья и друзья по Поселку. Отдавая меня в эту школу, очень отдаленную от нашего дома (мы ходили туда с папой пешком, и дорога занимала больше часа), мои родители руководствовались тем, что само ее территориальное расположение обеспечивает и лучший состав преподавателей и лучший контингент учеников, чем это было в нашем цыганско-извозчичьем районе. И, действительно, моими соучениками, товарищами по классу были тоже дети из интеллигентных семей.

Школьная среда, в которой я оказалась, давала мне возможность видеть и наблюдать жизнь и быт более обеспеченного, более культурного и привилегированного слоя. Реальную жизнь рабочих — того класса, во имя которого вершилась революция, во имя блага которого шло все строительство «социализма» в моей стране, — впервые я получила возможность увидеть во время студенческой практики в прокуратуре. Это было в 1939–1940 годах, через 22 года после победы революции.

Я помню эти страшные деревянные бараки без водопровода и канализации. Крохотные каморки, в которых буквально вповалку спали взрослые и дети, молодые и старые. Я приходила туда вместе со следователем на обыски и опись имущества, подлежащего конфискации у людей, которых именем советского закона называли «врагами народа». Это были женщины, которые пытались вынести несколько кусков сахара или печенья с кондитерской фабрики «Большевик», где они работали, чтобы накормить своих голодных детей. Это были мужчины и женщины, задержанные и арестованные с катушкой ниток, несколькими пачками папирос, с кусками хлеба.

По советскому закону — знаменитому закону от 7 августа 1932 года — они признавались опасными преступниками и осуждались к лишению свободы на 10 лет. Почти по каждому из этих дел мы составляли акт об отсутствии имущества, подлежащего конфискации (а ведь конфисковать можно всю мебель, кроме одного стола на семью, одного стула на каждого члена семьи и кровати).

То, что я увидела, — это было не отсутствие достатка, даже не бедность. Это была нищета.

Все это я видела раньше в кино или читала об этом в книгах. Но там это относилось к далекому для меня прошлому, к тому времени, которое определялось термином «до революции». Там это служило иллюстрацией нищеты рабочего класса при царе.

Я впервые встретила с человеческим горем, которое определялось не временной катастрофой — болезнью, смертью близких, стихийными бедствиями, а горем, которое сопутствовало людям постоянно, всю их жизнь.

Это было первое, абсолютно реальное несоответствие между тем, что я увидела своими глазами, и тем, что читала о жизни рабочего класса в советских газетах, книгах, видела в советских кинокартинах.

Тогда же, во время этой практики, я поняла, что работа в прокуратуре не соответствует складу моего характера. И не только потому, что те следователи и прокуроры, которые окружали меня, поражали своим равнодушием и пренебрежением к человеческой судьбе.

Дело в другом. Увидев, как живут, что едят, во что одеваются те люди, которых привлекали к ответственности за мелкие кражи или другие не очень значительные преступления, я стала сомневаться, справедливо ли поступает в этих случаях государство, так жестоко — тюрьмой — карающее голодных людей. Я понимала, что за преступлением должна следовать кара. Когда те же следователи арестовывали, а затем суд осуждал к суровому наказанию убийц, грабителей, насильников, я находила это неизбежным и даже справедли-

вым. Но ведь такое же наказание назначалось и за мелкую кражу и только потому, что похищенный кусок хлеба или несколько кусков сахара назывались «социалистической собственностью» (а, следовательно, всякий на нее покушающийся — «враг народа»).

Когда я представила себе, как буду стоять перед судом и именем государства требовать беспощадного наказания этим людям, я поняла, что просто не смогу этого делать.

Именно тогда, во время этой практики, у меня появилось сомнение в правильности сделанного выбора.

И вновь передо мной стал вопрос — кем же я буду?

Чем больше я думала, тем больше склонялась к мысли о работе в адвокатуре. Тогда мною не руководило (во всяком случае, не было осознанным) так необходимое для адвокатской работы чувство искреннего сострадания к каждому, даже виновному, но защищаемому им человеку. Это чувство — способность сопереживания — пришло ко мне уже потом, с годами работы.

А тогда я просто хотела выступать в суде, произносить речи (мне казалось, что все они будут хорошими). Но я хотела делать это в условиях большей независимости и творческой свободы. Сама организация адвокатуры, специфика этой профессии представляли наибольшую в условиях советского государства (хотя, конечно, далеко не полную) свободу.

Адвокатура — это самоуправляющаяся общественная организация. Адвокаты, в отличие от подавляющего большинства всех работающих советских людей (за исключением колхозников), не являются государственными служащими и не получают от государства никакой зарплаты или иных видов денежных дотаций.

Производственной, финансовой и организационной работой каждой коллегии руководит выборный орган — президиум коллегии адвокатов. Это орган, наделенный реальной властью над каждым адвокатом. Его решением принимаются новые члены коллегии, его же решением исключаются адвокаты, совершившие серьезные дисциплинарные проступки, назначаются заведующие консультациями.

Мне довелось начинать свою работу в коллегии среди адвокатов, сохранивших старые традиции отношения к профессии, старую культуру судебного процесса, старые представления. В те годы в ее составе были действительно выдающиеся адвокаты, выдающиеся судебные ораторы. Много раз я выступала в процессах вместе со старым московским адвокатом, начинавшим свою адвокатскую деятельность еще до революции. Леонид Захарович Кац был блестящий мастер су-

дебного следствия и блестящий судебный оратор. Среди большинства тех, с кем мне приходилось выступать, его отличало совершенно безупречное знание материалов дела. В скольких бы томах ни содержались эти материалы, имели ли они непосредственное отношение к его подзащитному или нет, Леонид Захарович знал все.

Он великолепно формулировал свои вопросы. Всегда четко и коротко. Он подходил к выяснению существенных для него обстоятельств издалека. Но ответ на каждый последующий вопрос логически вытекал из ответа на предыдущий.

Леонид Захарович был очень красив. Высокого роста, стройный, с небольшой, очень аккуратно подстриженной бородкой, всегда строго и элегантно одетый, он с годами приобретал все более аристократическую внешность. Мы, адвокаты, между собой его иначе как «английский лорд» не называли.

Его речи были образцом ораторского мастерства. В них было все: и четкая конструкция изложения материалов дела, и прекрасный анализ доказательств, и безупречная логика.

Кац говорил очень эмоционально. Все, что он использовал как оратор в своей речи, было к месту: и модуляции голоса, и жест, и приведенная цитата.

Но мне всегда казалось, что его речь теряет убедительность из-за ее изысканности, из-за пафоса, который оставлял меня спокойной.

Я помню, как интересны были процессы, в которых одновременно выступали Кац и Николай Николаевич Миловидов — любимец московской адвокатуры того времени и, что не менее важно, любимец московских судей. Было бы несправедливо не сказать, что он тоже был хорош собой. Не так изыскан, но, я бы сказала, не менее аристократичен в своей абсолютной естественности.

Николай Николаевич был барином, ленивым русским баринном, кутилой, любителем ресторанов, которые в Москве в то время были отличными.

В судебном следствии он задавал мало вопросов. Я всегда подозревала, что он не очень хорошо знает дело. Как-то он сказал мне:

— Я уверен, что все, что мне нужно для защиты, я услышу в судебном заседании.

Думаю, что в этой шутке была большая доля правды; садясь в дело, он еще не владел его материалом.

Но все, что происходило в суде, он впитывал в себя как губка. Каждая мелочь, каждый нюанс в показаниях свидетелей или подсудимых откладывался в его памяти и обретал самое убедительное объяснение.

В его речи не было никаких украшений. Но для меня он был оратором самого высокого класса.

Я помню, как Миловидов медленно вставал из-за адвокатского стола, также не спеша поворачивался лицом к суду и начинал свою речь очень спокойным, тихим голосом. Это было похоже даже не на речь, а на какую-то очень доверительную беседу, в которой два собеседника — суд и он. Очень часто Николай Николаевич выходил на середину зала и останавливался прямо перед судьейским столом. Ему, казалось, было не важно, есть ли кто-нибудь в зале, слушают ли его. Ему нужно было видеть только суд. Ему нужен был контакт только с судом.

Многие судьи называли его шаманом.

— Бог его знает, как у него получается. Слушаешь его и всему веришь, — говорил мне один из самых страшных судей сталинских времен Иван Михайлович Климов.

Действительно, что-то завораживающее было в спокойной, но такой внутренне напряженной речи Миловидова. Мне всегда казалось, что произнесенное им слово и есть то единственное, которое способно полно выразить мысль, что заменить его каким-либо другим — невозможно. Все то, что он говорил, мысли, которые он высказывал, всегда казались как-то само собой разумеющимися, и я только поражалась тому, как это мне самой раньше не приходило в голову.

Я уверена, что, если бы в Советском Союзе был суд присяжных, Николай Николаевич Миловидов не знал бы в нем поражений.

И, как в детстве мечтала о куске шагреновой кожи, чтобы петь как гениальная певица Обухова, так мечтала я в те годы о времени, когда смогу вести допрос, как Леонид Захарович Кац, и произносить речи с тем же благородным талантом, как Николай Николаевич Миловидов.

Шагреновая кожа мне так и не досталась. Но и у меня коллеги по защите спрашивали:

— Дина, в каком томе накладная от такого-то числа?

И я, глядя в свои записки, отвечала на этот вопрос.

Все новое пополнение адвокатуры в годы, предшествовавшие моему поступлению, шло в основном за счет приема в нее бывших сотрудников прокуратуры и органов госбезопасности, судей, которые за какие-то (часто очень неблагоприятные) проступки увольнялись с прежней работы и по указанию партийных органов направлялись в адвокатуру.

Это была очень неоднородная часть адвокатуры. Среди них были и несомненно талантливые люди, очень быстро и успешно овладевшие адвокатской профессией. Но были и люди, не только не

имевшие специального юридического образования, но и просто элементарно неграмотные. Однако эта новая часть адвокатуры имела огромное преимущество перед старыми адвокатами. Все они, откуда бы ни пришли — из КГБ, суда или прокуратуры, были членами коммунистической партии. Только из их числа назначались заведующие консультациями, именно через них осуществлялся партийный контроль и партийное руководство. Они были хоть и провинившиеся ранее, хоть и изгнанные с более престижной работы, но все же свои люди, представители того же класса, той же правящей партии. Для этих людей приход в адвокатуру означал резкое падение вниз, к самому подножию официальной иерархической пирамиды, и закрывал всякую возможность дальнейшего служебного и партийного продвижения вверх. За период с 1940 года и до того момента, когда я покинула страну, я знала много адвокатов, которые ранее занимали высокое положение в советской иерархии. Я помню таких адвокатов, которые до адвокатуры были следователями прокуратуры СССР по особо важным делам. Помню адвокатов, которые ранее были членами Верховного суда республики или военных трибуналов военных округов. Но за все это время я не могу вспомнить ни одного случая, ни одного адвокатского имени (за единственным только исключением), когда бы из адвокатуры человек направлялся в центральный судебный или прокурорский аппарат или на партийную работу.

Первым и, насколько я знаю, единственным исключением было назначение бывшего председателя президиума Московской коллегии адвокатов Василия Александровича Самсонова членом Верховного суда РСФСР. Но это было в 1967 году, через 27 лет после моего поступления в адвокатуру и, следовательно, через 27 лет после того времени, о котором я сейчас рассказываю. А в те годы профессия адвоката давала лишь определенное удовлетворение для тех, кто любил эту работу, и определенное материальное благополучие, но очень далекое от того материального уровня, которое связывается с представлением о заработках адвокатов на Западе.

Заработки адвоката складываются из тех гонораров, которые клиенты вносят в кассу юридической консультации, строго в соответствии с существующей такой на разные виды юридической помощи. Каждый такой гонорар зачисляется на счет адвоката, который ведет это конкретное дело, и в конце месяца выплачивается ему, за вычетом всех тех налогов, которые взимаются со всех граждан Советского Союза, и дополнительных сумм, удерживаемых на содержание обслуживающего штата коллегии и на аренду помещений для юридических консультаций и президиума. В общей сложности эти отчисления в разное время составляли от 20 до 30 процентов от заработка адвоката.

И все же даже при очень интенсивной работе (на мой взгляд, неизбежно сказывающейся на ее качестве) официальный заработок адвоката, который проводит мелкие дела продолжительностью от одного до трех дней, не может обеспечить ему приличного уровня жизни. Как это ни парадоксально, но в еще худшем положении оказываются более квалифицированные адвокаты, участвующие в длительных сложных делах, требующих серьезной подготовки.

Именно это и породило то явление, которое прочно и почти всеохватывающе вошло в жизнь адвокатуры и которое на адвокатском жаргоне называется «микст». «Микст» — это дополнительное, неофициальное вознаграждение, которое платит клиент непосредственно адвокату. Но это не взятка. «Микст» дается не за результат по делу, который от адвоката не зависит. Это гонорар за работу. «Микст» составляет существенную часть заработка адвоката.

Я пишу об этом, хотя и понимаю, что мой рассказ не украшает коллегия, а ее интересы и ее престиж мне очень дороги. Но, рассказывая в книге и хорошее, и дурное о суде и прокуратуре, я не вправе умолчать и об этом.

Уверена, что большинство адвокатов даже не видит в получении дополнительного вознаграждения ничего безнравственного, считая, что явно несправедливая система оплаты труда дает им право на этот корректив. Конечно, каждый предпочел бы открытое и узаконенное свободное соглашение с клиентом этому неофициальному, а потому и очень опасному методу оплаты. Ведь адвокат, получивший «микст», оказывается в положении унижительной зависимости от своего клиента. Он знает, что, если клиент сообщит о том, что платил деньги не только в консультацию, но и лично ему, — исключение из коллегии неизбежно.

Нелегальность этого вознаграждения и риск, связанный с ним, привели к тому, что некоторые адвокаты стали назначать непомерно высокие, явно не соответствующие работе гонорары.

Размеры «микста» очень различны. Они зависят от желания и возможностей клиента, от характера дела, но главным образом, думаю, от характера самого адвоката. Есть адвокаты, которые назначают размер этого дополнительного вознаграждения сами и только на этих условиях соглашаются принять дело. Есть адвокаты, которые полагаются на «совесть» клиента. Но за многие годы моей работы я знала лишь нескольких, кто не брал «микст» вообще.

Несмотря на то что получение «микста», как я уже писала, связано с риском, между собой адвокаты говорят о нем открыто. Знали об этой практике и судьи, и прокуроры и в частных разговорах не только не осуждали ее, но и находили разумной и справедливой.

Поэтому те, кто лишился по разным причинам возможности продолжать свою работу в государственных правовых учреждениях, охотно соглашались на обещанный им прием в адвокатуру. Они понимали, что навсегда теряют возможность удовлетворения своего общественного честолюбия, но зато приобретали более высокий материальный уровень жизни.

В последние годы положение изменилось. В коллегии адвокатов стремятся многие оканчивающие университеты студенты. Прием в Московскую коллегия очень ограничен, и попасть в нее — большая удача, доступная далеко не всем желающим.

Наличие высшего юридического образования — обязательное требование, предъявляемое к каждому адвокату в Москве и в крупных городах; а в отдаленных местах еще много адвокатов, не имеющих юридического образования.

Адвокатов стали избирать делегатами местных Советов, приглашать на престижные заседания, включать в делегации юристов, направляющихся за границу. Но и теперь нет ни одного адвоката ни в высших государственных и партийных органах, ни среди депутатов Верховных Советов СССР и союзных республик, ни даже среди постоянных членов консультативных советов при Верховных судах Союза и республик.

Я думаю, что стремление молодых юристов стать адвокатами (если оно не вызвано только материальными соображениями) — это стремление людей, намеренно и сознательно отказывающихся от активной общественной жизни в рамках официальной системы. Стремление строить свою жизнь в условиях той относительной независимости от государства, которую действительно предоставляет адвокатская профессия. По-прежнему из суда и прокуратуры переходят в адвокатуру следователи, прокуроры и судьи. Но если в первые годы моей работы в подавляющем большинстве это были худшие, то теперь вместе с этими худшими стали приходиться и другие. В адвокатуру приходят прокуроры, которые не хотят подчиняться требованиям вышестоящего начальства и поддерживать в суде обвинение против людей, чью вину они считают недоказанной; судьи, которые убеждаются в том, что их судейская независимость — это независимость мнимая. Они все стояли перед выбором: либо беспрекословно подчиниться тому, что в Советском Союзе называется «карательной политикой» (не закон, а именно политика), либо неизбежно (добровольно или вынужденно) уйти с судейской или прокурорской работы.

Средний профессиональный уровень московской адвокатуры несомненно вырос, но в то же время он нивелировался. Нет больше таких ярких индивидуальностей, какие были в начале моей адвокатской

деятельности, когда мы — молодые адвокаты — специально ходили слушать дела с участием корифеев. Да нынешним молодым адвокатам и нет времени для этого. Они должны выполнять обязательный финансовый план. А это значит — переходить из одного дела в другое, не имея времени ни на настоящую подготовку к делу, ни на подлинное совершенствование в своей профессии.

Но это теперь. Мое же первое знакомство с адвокатской профессией относится к периоду ее абсолютной непристижности.

Права, а следовательно, и возможности, которые, по советскому закону, имеет адвокат, значительно меньше прав и возможностей адвоката в Америке или в Европе.

По действующим законам все адвокаты могут вести во всех существующих в стране судах любые уголовные и гражданские дела. Однако в действительности права адвокатов и подсудимых нарушаются самим государством. Я имею в виду систему допуска.

Суть этой системы заключается в том, что по делам, расследование по которым производилось КГБ (это почти все политические дела, а также дела о незаконных валютных операциях, связанных с иностранцами, и некоторые другие), допускаются только те адвокаты, которые получают специальное на то разрешение.

Напрасно специалисты по советскому праву стали бы искать в законах СССР какое-либо указание или намек на систему допуска.

И уголовно-процессуальный кодекс, и «Положение об адвокатуре» исходят из полного равенства всех членов коллегии. Ни опыт, ни способности не дают никаких преимуществ ни в праве на выступление в любых судах и по любым делам, ни в размере гонорара. Фактически же неравенство существует. И это неравенство определяется лишь степенью политического доверия адвокату. Формальным показателем этого доверия является наличие «допуска».

Президиум коллегии, по согласованию с КГБ, определяет число адвокатов, которым такой допуск предоставляется. (В Москве его имело примерно 10% от общего числа адвокатов, то есть 100–120 человек.)

Допуск всегда дается всем членам президиума коллегии, всем заведующим и всем секретарям партийных организаций юридических консультаций. Кроме того, от каждой консультации допуск получали 3–4 рядовых адвоката, чаще всего члены партии. Я в течение нескольких лет тоже имела такой допуск. (Наверное, я была не единственная, но вспомнить, кто еще из беспартийных имел допуск, не могу.)

Надо подчеркнуть, что нельзя ставить знак равенства между допуском адвоката по делам, расследуемым КГБ, и обычной формой получения допуска к секретной документации, которая существует для всех граждан Советского Союза, работающих на секретных предприятиях. Это неравнозначно потому, что большинство тех дел, по которым адвокату требуется допуск, не содержит никаких секретных сведений и документов и часто дела эти даже слушаются в открытых судебных заседаниях.

Государство, которое строго контролирует любое публичное высказывание, имеющее идеологический или политический характер, не могло дать согласие на неконтролируемое использование судебной трибуны адвокатом, не прошедшим дополнительной проверки на политическое послушание. Я довольно быстро была лишена допуска. Не за разглашение каких-то секретных сведений, которых, кстати, ни в одном деле, рассматривавшемся с моим участием, вообще не было. Я лишена была допуска по той причине, что не выдержала этого экзамена на политическое послушание.

О том, что такая система допуска фактически существует, знает каждый адвокат, знают все, кому приходилось обращаться за помощью к адвокатам по этой категории дел. До недавнего времени об этом говорили совершенно открыто.

Не только чиновники-руководители, но и сами адвокаты привыкли к этому нарушению закона, смирились с ним, как с чем-то естественным и неизбежным. Правда, в разговорах между собой мы иногда возмущались этой дискриминацией. Но лишь тогда, когда речь шла о валютных или хозяйственных делах, которые адвокат не смог принять из-за отсутствия допуска. Возмущались потому, что это било нас по карману (это самая высокооплачиваемая категория дел), лишало нас хорошего заработка. И совершенно не думали при этом, что в еще большей степени, чем наш имущественный интерес, ущемляется и нарушается установленное законом право обвиняемого на то, чтобы его защищал именно тот адвокат, которому он доверяет. Что для него выбор защитника ограничен теми примерно 10 процентами адвокатов, которым доверяет КГБ.

О незаконности допусков впервые публично заговорили в связи с политическими процессами в Советском Союзе. Допуск стал на Западе термином известным. В корреспонденциях и в статьях, посвященных делам Щаранского, Орлова и некоторым другим, неизменно отмечалось, что эти люди были лишены возможности пользоваться помощью тех защитников, которым они доверяли.

Но тем не менее в декабре 1977 года в Лондоне я потратила более часа, чтобы растолковать старому опытному адвокату, готовившему

материал для выступления в защиту Щаранского перед общественным трибуналом, состоящим из членов английского парламента, что такое допуск. Боюсь, что он так и не смог усвоить до конца суть этого понятия. Уж слишком противоестественной казалась вся эта процедура его понятиям юриста английской традиции.

Советское руководство поняло, что нанесен удар по престижу советского правосудия. Систему допуска, правда, не отменили, но стали делать все возможное, чтобы ее существование стало менее явным.

Еще в 1972 году представитель президиума Московской коллегии адвокатов, не усомнившись, мог написать на заявлении Нины Ивановны Буковской (она просила разрешения на то, чтобы я защищала ее сына Владимира), что адвокат Каминская не может быть допущена к участию в этом деле, так как право на защиту в подобных делах имеют лишь адвокаты, включенные в список, утвержденный КГБ. Но в 1977 году на аналогичном заявлении матери Анатолия Щаранского он уже такой надписи не сделал. Ее также лишили возможности выбрать защитника для сына, но сделали это устно. Да и мне пришлось выслушать упрек от заместителя председателя президиума.

— Зачем тебе надо было говорить о допуске и давать повод для ненужной шумихи? Надо было сослаться на то, что ты больна или занята и потому не можешь принять дело.

Так сказал он мне по телефону сразу после того, как мать Щаранского вышла из его кабинета. А вскоре я была отчислена из коллегии и нас с мужем вынудили подать просьбу о разрешении на эмиграцию.

Но об этом дальше будет отдельный рассказ.

Таким образом, существует целая категория дел, в которых основная масса адвокатов не может принимать участия. Во всех же остальных случаях право адвоката принимать на себя защиту по любому уголовному или гражданскому делу бесспорно.

Как правило, адвокат получает возможность участвовать в уголовном деле лишь с того момента, когда предварительное следствие уже закончено. (По делам, где обвиняемыми являются несовершеннолетние, и в некоторых других очень редких случаях — с момента предъявления обвинения.) Вступив в дело, адвокат впервые встречается со своим арестованным подзащитным, как в присутствии следователя, так и (с его разрешения) наедине.

Участие адвоката в предварительном следствии — это прежде всего ознакомление с материалами дела. Это право неограниченное, реализовать которое я всегда имела полную возможность. Имеет адвокат и право представлять доказательства, то есть различные документы, имеющие значение для дела, а также заявлять различные

ходатайства (о дополнении следствия, о вызове и допросе свидетелей, о проведении очных ставок или назначении новой экспертизы) или об изменении выводов следствия — об изменении квалификации, о полном прекращении уголовного преследования или об исключении из обвинения отдельных эпизодов и т.д.

Однако это лишь право просить. А удовлетворить такую просьбу следователь вовсе не обязан. Не вызывают возражений лишь те ходатайства, которые не могут поколебать основные выводы следствия, например ходатайства о приобщении к делу справок о состоянии здоровья, о наличии детей, положительные отзывы о работе или справки о правительственных наградах. Остальные ходатайства защиты удовлетворяются редко. Это и потому, что никто из следователей не хочет дополнять материалы дела тем, что может ослабить или даже подорвать его версию обвинения — результат многомесячной работы. Но и потому, что у следователя уже нет времени на удовлетворение серьезных ходатайств — истек срок содержания обвиняемого под стражей. Получение разрешения на продление этого срока — довольно хлопотная процедура, и затевать ее, да еще себе же во вред, никто не хочет.

Таким образом, пока дело не передано в суд, возможности защиты ограничены правом знакомиться со всеми материалами дела и обсуждать совместно с обвиняемым план и тактику защиты.

Естественно, что в моей практике и в практике моих товарищей были случаи, когда наши серьезные ходатайства удовлетворялись следователями. Но это случалось тогда, когда следователь или прокурор понимали абсолютную бесспорность аргументации и знали, что отказ в таком ходатайстве неизбежно приведет к возвращению дела из суда на доследование.

Однажды — это было в последний год моей работы в московской адвокатуре — мне позвонил мой друг и попросил согласиться защищать его знакомую журналистку. Она обвинялась в соучастии в групповом хищении государственной собственности. Ей грозило наказание — лишение свободы до семи лет.

Фабула этого дела абсолютно проста, и сам факт преступления не вызывал сомнений. Эта журналистка хотела отремонтировать паркетный пол в своей квартире. Достать паркет в магазине было невозможно. И тогда она решила поступить так, как обычно в таких случаях поступают миллионы советских людей. Она пошла на ближайшую стройку жилого дома и договорилась с рабочими о покупке у них нужного ей количества паркета. Конечно, она понимала, что собственно паркета у рабочих быть не может и что продавать ей будут тот паркет, который они украдут на стройке.

В тот момент, когда паркет грузили в ее машину, все они были задержаны милицией. Исход этого дела зависел от стоимости украденного паркета. Если его стоимость не превысит 100 рублей, то уголовное дело может быть прекращено и передано в товарищеский суд как малозначительное. Однако следователь провел товароведческую экспертизу, и стоимость паркета была определена в 284 рубля.

Когда я знакоилась с делом, я обратила внимание на два обстоятельства.

Специалисту эксперту паркет для оценки предъявлен не был, а стоимость его определили по прејскуранту. И второе. Украденный паркет был не в фабричной упаковке, а «навалом». Это последнее показалось мне странным. Для меня было совершенно очевидным, что значительно проще вынести и уложить в багажник небольшой легкой машины аккуратно связанные пачки паркета, чем распаковывать, ссыпать в большие неудобные для переноски мешки, выносить их в таком виде, а затем высыпать паркет в машину. И я подумала, что единственным разумным объяснением может быть то, что рабочие просто собрали валявшиеся отдельные доски паркета. Те доски, которые по каким-то причинам не были использованы для настила полов, скорее всего нестандартный и бракованный паркет.

Это была лишь моя догадка. Проверить ее было проще всего допросом самих рабочих. Я просила следователя вызвать их и допросить. В этом мне было отказано. Я просила предъявить мне паркет для обозрения. Следователь обязан был сделать это, но и в этом он мне отказал. Тогда я заявила ходатайство о проведении товароведческой экспертизы с обязательным предъявлением эксперту всего изъятого паркета, а не отдельных его образцов. И опять я получила отказ. Следователь сказал мне, что понимает обоснованность моего ходатайства, но расследование дела затянулось и у него нет времени на проведение новой экспертизы.

Однако на следующий день утром следователь просил меня срочно приехать в прокуратуру. Он объяснил, что получил указание от прокурора удовлетворить мою просьбу и провести экспертизу, так как в противном случае был риск возвращения дела на доследование.

И вот мы в кабинете следователя. Я и эксперт сидим на полу, а между нами огромная куча сваленного паркета. Мы разбираем ее по дощечке, предварительно осматривая. Я обращаю внимание эксперта на каждый сучок, каждую трещину. Отбираем хороший паркет и кладем его налево, бракованные доски — направо. Так проходит около двух часов, и я с радостью вижу, что правая куча делается все больше. И, наконец, все разобрано. Наступил решающий момент оценки.

Мы оба — следователь и я — в равной мере волновались. Он — потому, что решался вопрос о качестве проведенного им следствия, я — потому, что решалась судьба моей подзащитной.

Наконец эксперт закончил свои расчеты и объявил нам результат. Общая стоимость похищенного — 93 рубля 75 копеек. Меньше 100 рублей. Я получаю право заявить ходатайство об изменении квалификации преступления, так как это хищение на мелкую сумму. Одновременно прошу о прекращении дела за малозначительностью. Через день получаю официальный ответ: дело в уголовном порядке прекращено.

Я рассказала эту — не очень-то увлекательную — историю, чтобы показать, как работает адвокат в этой подготовительной стадии. Чтобы подтвердить, что хотя его возможности и очень ограничены, но все же участие адвоката нельзя считать абсолютно бесполезными.

После того как дело поступает в суд, наступает основная стадия как подготовки к делу, так и ведения самой защиты.

Вновь читаю досье в суде, проверяю, не упустила ли чего-либо. Делаю дополнительные выписки из дела.

В помещении Верховного суда РСФСР имеется специальная комната, где адвокаты готовятся к делам. Это комната № 13 на первом этаже. Здесь мы изучаем наиболее сложные, многотомные дела. Пять небольших столов, поставленных почти вплотную друг к другу. Окно выходит на внутреннюю лестницу. Нет ни естественного освещения, ни притока воздуха. И летом и зимой дышать совершенно нечем. А мы сидим там часами, днями и неделями, исписывая от руки страницу за страницей, все это адвокат делает сам, без всяких помощников.

Есть комната дня работы адвокатов и в Московском городском суде и даже с окном на улицу. Но в ней всегда холодно. Какой-то дефект отопления, который не могут устранить уже 30 лет. Да и никому не интересно — ведь это комната для адвокатов.

А вот в Московском областном суде и в большинстве народных судов вообще никакого специального места, где адвокат мог бы изучать дело, нет. Бегаем с томами дела с этажа на этаж в поисках пустого судебного зала. Если повезет, располагаемся там и работаем, пока не появится секретарь суда и не скажет:

— Товарищ адвокат, мы начинаем дело.

И тогда вновь собираем свое пальто, портфель, многочисленные выписки и тома судебного дела и вновь с этажа на этаж — искать свободное помещение. А если не повезет — тогда работаем в коридоре, примостившись где-нибудь на скамейке, а иногда даже и на подоконнике.

За те годы, что я живу на Западе, я имела возможность побывать и в английском, и во французском суде. Я завидовала прекрасным судебным помещениям, спокойной и деловой обстановке в суде, уважительному тону судьи при обращении к защитнику. Завидовала и отпечатанным на машинке адвокатским досье и целому аппарату помощников — юристов, стенографисток, клерков.

Завидовала и прекрасным помещениям, где расположены адвокатские конторы. Не их роскоши, а тому, как удобно и спокойно может адвокат в них работать.

Но постепенно, чем больше я бывала в западных судах, чем больше слушала выступления адвокатов, у меня возникало и новое чувство — чувство гордости за нашу профессию. Потому, что я убеждалась, что, сидя на подоконниках или на скамейках, бегая из зала в зал, мы умудрялись изучать дела не хуже, а иногда, мне кажется, и лучше наших западных коллег.

Ведь идеальное знание материалов предварительного следствия — обязательно для добросовестного и эффективного ведения защиты в советском суде. У нас адвокат не может ориентироваться на то, что он разобьет обвинение, представив в судебном процессе новые доказательства или вызвав новых свидетелей. Он не может так строить свою защиту прежде всего потому, что не знает заранее, согласится ли суд вызвать дополнительных свидетелей и согласится ли суд принять от защиты дополнительные доказательства.

И потому первая задача защиты — это подорвать доверие суда к тем доказательствам, которые собраны следователем, пробить стену предубеждения, сложившуюся у суда.

Любой следственный документ, мелкая подробность в описании вещественных доказательств — все может иметь значение в сложной работе опровержения. Когда я в следующих главах буду рассказывать о своей работе по отдельным, конкретным делам, мой читатель сможет проследить за тем, с каким трудом преодолевается естественное предубеждение против обвиняемого.

Я называю это чувство естественным потому, что суд, знакомясь с делом до начала процесса, видит лишь старательно собранные следователем доказательства против обвиняемого и в пользу обвинительной версии. Именно эти материалы формируют и обуславливают тот психологический настрой недоверия к обвиняемому, не признающему себя виновным, с которым судья приступает к слушанию дела.

Вот почему в условиях советского суда основными требованиями, которым должен отвечать хороший адвокат, являются доскональное знание материалов дела, способность к строгому логиче-

скому мышлению, способность к быстрой, мгновенной реакции во время судебного заседания, умение очень точно формулировать свои вопросы, способность к самоограничению при постановке вопросов (ведь адвокат не знает заранее, какой ответ он получит), и на последнем месте в этом ряду — ораторские способности.

Это, конечно, не значит, что адвокат может и не быть хорошим оратором. Я хочу лишь подчеркнуть, что на советского профессионального судью в спорных делах логика и факты оказывают значительно большее впечатление, чем эмоциональная окраска речи.

В открытом судебном процессе у адвоката бóльшие возможности, чем на предварительном следствии, где сам закон устанавливает явное преимущество следователя и прокурора. В суде же обвинитель и защитник по закону уравниваются в своих правах и возможностях.

Осуществление законных прав в обычных (не политических) уголовных делах часто зависит и от настойчивости и принципиальности самого адвоката, и от личных качеств судьи, который рассматривает дело. Конечно, преимущественное положение государственного обвинителя бытует и в суде. Ходатайство прокурора отклоняется реже, чем ходатайство защиты. И это не потому, что они более обоснованны. За каждым прокурором стоит авторитет государства — он «государственный» обвинитель.

Чем дальше от центра, от столицы, тем это неравенство более откровенно. Чем ниже судебная инстанция, тем, как правило, труднее адвокату бороться за осуществление реальной защиты.

Но все же было бы несправедливым не сказать, что культура судебного процесса за последние десятилетия значительно выросла. Что все реже мне приходилось сталкиваться (особенно в Москве) с судьями невежественными и потому грубыми. Мне кажется, что судьи, которые и теперь пренебрежительны и грубы по отношению к любому защитнику, делают это не потому, что осуществляют какую-то мне неизвестную партийную или государственную директиву, а в силу давней традиции, во-первых; и, во-вторых, потому, что такой судья всегда предубежден против подсудимого, всегда заранее смотрит на него как на виновного.

А если так, то, естественно, все ходатайства адвоката он воспринимает как ненужные, затягивающие рассмотрение дела, которое так просто закончить, переписав в приговор обвинительное заключение и только прибавив к нему, на какой срок он отправляет подсудимого в лагерь или тюрьму. Не уважая работу адвоката, они в то же время завидуют ему, считая адвокатский труд легким и доходным.

Для меня моя работа никогда не была легкой. Любя ее, я называла ее мучительной. Она никогда не отпускала меня. И в те часы, когда я читала дело, и по дороге домой на улице или в метро, за поздним обедом, когда мы вдвоем с мужем, — все время где-то подсознательно шла параллельная работа мысли.

Как-то раз на заседании криминалистической секции Московской адвокатуры, посвященной только что мною проведенному делу, меня просили рассказать о методологии моей работы. Мне нечем было удивить моих коллег. Мой метод — это доскональное изучение каждого дела (мне всегда казалось, что непрочитанный лист может оказаться самым главным) и долгие раздумья, вживание в дело, в характер и психологию того, кого я защищаю. Я никогда не сетовала на отложение дела или затяжку. Никогда не ощущала время лишним. Оно всегда было мне нужным. Еще раз пойти в тюрьму, еще раз поговорить с подзащитным. Иногда как будто даже о чем-то постороннем, но помогающем понять человека. У актеров есть термин — «вживание в роль». Мне всегда нужно было «вжиться» в дело.

Так выработывалась позиция, так приходили формулировки. Я никогда не писала своих речей, но и никогда не произносила их экспромтом. Самым любимым и эффективным способом окончательной подготовки к речи для меня было раскладывание пасьянсов. Почти всю жизнь (пока были живы мои родители и пока сын с женой в 1972 году не уехали в Соединенные Штаты) я работала ночью на кухне. Потом у меня появился свой отдельный кабинет и собственное очень красивое бюро для работы. За этим бюро я никогда не работала. Моим подлинным рабочим местом стал угловой диван и стоявший перед ним овальный стол. На диване я раскладывала стопками свои выписки по делу. На столе раскладывался пасьянс и лежало несколько небольших листов бумаги для заметок и плана. Иногда по много часов я сидела, передвигая карты и мысленно проверяя убедительность и последовательность защитительной аргументации, стараясь поставить себя на место судьи и его ухом слушать мою защиту.

А сейчас, заканчивая эту главу, мне хочется сказать, что я никогда не пожалела о сделанном еще в институтские годы выборе. Что моя профессия не только соответствовала моим способностям и характеру. Она сделала меня лучше и добрее.

— **Что** это вы, товарищ адвокат, все таких людей защищаете? И ведь не по назначению, а сами соглашаетесь.

Таким вопросом меня встретил Писаренко — член Ташкентского городского суда, куда я в 1970 году приехала, чтобы защищать Илью Габая. Габай обвинялся в клевете на советский государственный и общественный строй. (Его делу посвящена глава в этой книге.)

— Зачем тебе это нужно? Защищала бы лучше лавочников — это куда доходнее и, главное, спокойнее, — спросил меня мой товарищ по консультации, старый опытный адвокат.

Что я могла ответить им?

Что я соглашаюсь защищать всех, кто нуждается в моей помощи.

Что это моя работа, моя профессия и я не вижу оснований для того, чтобы отказывать в этой помощи Габаю или Буковскому, Литвинову или Галанскову.

Мое участие в политических процессах определялось не только политическими, но и, в не меньшей степени, этическими соображениями — моим профессиональным долгом. Когда я дала согласие на защиту Владимира Буковского (это было мое первое политическое дело), я еще не знала ни его политических убеждений, ни его человеческих качеств. Для меня он был человеком, участвовавшим в мирной демонстрации и обвиненным за это в совершении уголовного преступления. Я согласилась бы защищать Буковского независимо от того, разделяла или не разделяла бы я его политические взгляды. Этим же я руководствовалась и принимая защиту по другим аналогичным делам.

Конечно, мне было небезразлично, что во многом взгляды людей, которых я защищала, совпадали с моими. Но, повторяю, давая согласие их защищать, я руководствовалась главным образом тем, что это моя работа, мой долг, моя обязанность.

Даже тогда, когда я не разделяла некоторые их убеждения, это не влияло на мое решение. В самом деле, разве адвокат должен обязательно соглашаться с мотивами поступков своих подзащитных или разделять их взгляды? Разве не дала бы я, ни минуты не колеблясь, согласие на защиту таких диссидентов, чьи националистически-шовинистические взгляды мне глубоко чужды?

Я считала своей главной задачей защиту права на свободное выражение взглядов. Права, гарантированного советским законом и неизменно нарушаемого самим фактом привлечения к уголовной ответственности за инакомыслие.

Какое же внутреннее чувство может заставить профессионального защитника отказаться от ведения таких дел и тем самым нарушить свой долг?

Я уверена, что главным образом — страх. Страх вполне обоснованный и понятный. Страх, который оправдывает такой отказ в глазах коллег.

Когда я пишу, что страх мог удержать от участия в защите по политическим делам, я должна объяснить, чего, собственно, мог и должен был бояться защитник в такой ситуации.

Ведь это была вторая половина 60-х годов. Не было ни массовых арестов, ни массового террора. Принимая защиту по политическим делам, я ни разу не опасалась, что могу быть за это арестована. Я считала, что, защищая в рамках, поставленных законом (а именно в этом я видела свою профессиональную задачу), я не рискую свободой. Уверена, что и мои коллеги, соглашавшиеся и не соглашавшиеся участвовать в политических процессах, опасались не ареста и не осуждения. Они боялись, с полным для этого основанием, что принципиальная защита (защита, основанная на материалах самого следственного досье и анализе действующих советских законов) может повлечь за собой исключение из коллегии адвокатов, боялись навсегда потерять возможность заниматься своей профессией.

Я знаю случаи, когда в Московской коллегии адвокатов по прямому приказу свыше восстанавливали адвокатов, исключенных за совершение серьезных дисциплинарных проступков или даже за профессиональную безграмотность. Были случаи (и их было немало), когда в Коллегии восстанавливали адвокатов, несправедливо осужденных в годы сталинского террора, а впоследствии реабилитированных. Но адвокатов, исключенных за политически неправильное выступление в суде, не восстанавливали никогда.

Сколь велика та жертва, на которую должен был быть готов адвокат, соглашавшийся и соглашающийся сейчас участвовать в по-

литических процессах и выполняющий такую защиту в соответствии со своим профессиональным долгом? Каким мерилом следует ее мерить?..

Александр Исаевич Солженицын, отказывая тому слою людей, к которому принадлежала и я, в праве называться интеллигенцией, определил нас как «образованщину». И я не спорю с ним потому, что советская интеллигенция в своей подавляющей части заслужила почти все, что он гневно о ней пишет. И вправе он призывать людей с совестью к «сознательной добровольной жертве».

«Придется потерять, — пишет он, — не музейную икру, но апельсины, но сливочное масло».

Это, конечно, жертва, и не такая уж маленькая, когда это долго, но и не такая великая, чтобы на нее не пошли многие из тех, кого я знала и кто составлял мой круг «образованщины». Но ведь есть и другая жертва — жертва духовная, которую в расчет не принимает ни Солженицын — один из самых духовных людей современной России, ни его сторонники и последователи. И жертва эта побольше той, которую зовет нас принести Александр Исаевич.

Как-то раз один мой очень близкий друг, который пошел на «жертву», сказал мне в доверительном личном разговоре (потому и имени его не называю):

— Знаешь, — сказал он, — я давно уже мертвый.

Это сказал человек, который никогда не пожалел о том, что он поступил так, как велела его совесть, который, если бы вновь сложилась такая ситуация, поступил опять так же, зная, что за этим последует.

А ведь он после изгнания из адвокатуры нашел прилично оплачиваемую работу. Он имел не только «кусочек хлеба» и «сливочное масло», но и автомобиль, и прекрасную семью, и близких, дорогих ему друзей. Значит, жертва была действительно больше той, на которую добровольно и сознательно и, наверное, легко пошел сам Александр Исаевич и которую он считает непомерно тяжелой для других. Счастлив Солженицын, несмотря на все пережитое им, что ценой его духовной свободы не должно было стать его творчество. Что, утверждая свою духовную свободу, он тем самым утверждал и свое право на творчество, которое, уверена, неотделимо от его жизни. Что, ограничив себя самой скудной пищей и самым убогим кровом, он мог писать, то есть служить своему призванию. Счастлив он и в том, что имел возможность осуществить такое естественное и необходимое для каждого писателя желание — иметь своего читателя — и тогда, когда его книги печатались большими тиражами, и, в не меньшей степени, тогда, когда не только его творчество, но и имя его было под строжайшим запретом.

Ни я, ни мои друзья, ни мои коллеги, оказавшиеся перед выбором — участвовать или не участвовать в политических процессах, конечно же, не обладали той степенью таланта, которой Бог наградил Александра Исаевича. Не могли мы и претендовать на роль, уготованную ему в духовном становлении страны. Но от этого жертва, к которой призывает Солженицын всю «образованщину», не становится меньше той, которую принес бы он, если бы пришлось ему навсегда отказаться от счастья и муки творчества. Ведь размер жертвы определяется не степенью таланта, а ценностью для каждого человека того, чем он жертвует.

Вот почему я никогда не осуждала тех, кто отказывался участвовать в политических делах. Вот почему сама я, согласившись участвовать в таких процессах, обдумывала формулировку каждой мысли, которую собиралась высказать в своей речи или написать в жалобе. Меня никогда не покидала вера в то, что я сумею избежать этой страшной для меня опасности — опасности потери своей профессии, именно той единственной работы, которая была моей, которую я умела делать и которая приносила мне в каждом деле (в выигранном и проигранном) чувство моей нужности.

И все же сама я никакой «жертвы» не приносила и ни на какую «жертву» сознательно не шла. Более того, могу с уверенностью сказать, что участвовала в политических процессах не только потому, что этого хотели мои подзащитные, но и, в не меньшей степени, потому, что это нужно было мне самой.

А теперь опять отступление. Отступление о страхе.

Страх незащищенного человека перед произволом, страх перед возможным арестом совершенно ни за что прочно вошел в мою жизнь и стал спутником ее лишь в последние годы жизни Сталина.

Годы Большого террора с 1936-го по 1939-й — это годы моего детства и ранней юности. Как я уже писала, юности достаточно беззаботной. Потом началась война. Страх, который я испытывала тогда, был естественным, и в нем не было ничего постыдного. Это был страх за судьбу моей страны, которую я очень любила. Это был страх перед фашизмом, который я ненавидела. Это был страх за жизнь близких и дорогих мне людей.

Тот страх, о котором я пишу в этой книге, и подлинное отвращение к происходящему вокруг начались с кампании против «космополитов», развязанной властями в 1948 году.

Явный антисемитский характер кампании слегка маскировался тем, что жертвы травли и преследований именовались не евреями,

а «безродными космополитами» — людьми, не имеющими родины и связанными какими-то таинственными узами в единый международный заговор.

Это была кампания, организованная и дирижируемая сверху.

Весной 1949 года по всем университетам и научным институтам страны прокатилась волна собраний, на которых заранее подобранные и проинструктированные ораторы выступали с обвинениями против евреев-ученых в каких-то зловредных «космополитических» ошибках. Затем каждое собрание единогласно принимало резолюцию, осуждало «безродных космополитов» и требовало их изгнания. И изгнание наступало незамедлительно. Евреев пачками изгоняли с работы и, уж конечно, их никуда не брали на работу.

Газеты публиковали статьи о таинственных «агентах Джойнта» — международной организации еврейского шпионажа.

Но своего апогея антисемитская кампания достигла тогда, когда появились сообщения о так называемом деле «врачей-убийц».

В 1952 году была арестована группа крупнейших московских врачей — светил медицинской науки, состоящая (за одним, если память мне не изменяет, исключением) из евреев. Их обвинили в том, что они намеренно, с целью убийства неправильно лечили своих высокопоставленных пациентов — членов правительства и политбюро коммунистической партии. Роль провокатора в этом деле была поручена ассистентке одного из этих профессоров Лидии Тимошук, которая по заданию КГБ «разоблачила» их злодеяния.

Портретами этой «благородной русской патриотки» украшены были первые полосы всех газет. За «подвиг» ее наградили орденом Ленина.

13 января 1953 году в газетах было опубликовано официальное коммюнике об этом деле. Сообщалось, что преступники сознались во всех своих злодеяниях и что вскоре они предстанут перед судом. Этот день навсегда останется в моей памяти.

Дело в том, что 13 января — это день моего рождения. В этот день по многолетней традиции друзья вечером приходят к нам в дом, чтобы поздравить меня. И в этот раз — 13 января 1953 года — мы ждали друзей. Наступил вечер. Но ни один человек — буквально ни один — к нам не пришел.

Мы понимали, что наступила катастрофа. Мы не знали еще всего того, о чем узнали много времени спустя, после смерти Сталина. Не знали (хотя и догадывались), что признание вины добыто страшными пытками, что принят план, согласно которому после судебного процесса над врачами-убийцами, в момент, когда их выведут из здания суда, они будут растерзаны толпой агентов КГБ, изображающей

священный гнев русского народа. Что после этого должен быть издан указ Президиума Верховного Совета СССР о депортации всех евреев в лагерь в Сибирь и Казахстан, чтобы уберечь их от справедливого гнева русского народа. Не знали мы и о том, что бараки для этих лагерей уже строятся.

Ничего этого мы еще не знали. Обо всем этом нам еще предстояло узнать. А пока — 13 января 1953 года — мы с мужем молча сидели одни в ярко освещенной комнате за празднично накрытым столом, молча подняли и выпили заздравный бокал. Мы понимали, что наша нормальная жизнь кончена, что нас, как и всех евреев, ждет нечто страшное. Понимали это и наши друзья — и русские и евреи. Понимали, и потому ни у одного из них не достало духа прийти на праздничный вечер.

Это были страшные годы. Страшные и трудные. Для нашей семьи, как и для многих тысяч других еврейских семей, были они трудны и материально.

Мой муж, доцент Высшей дипломатической школы и Института международных отношений, без всяких объяснений был уволен с работы и вплоть до лета 1953 года оставался полностью безработным, несмотря на то что готов был пойти на любую, самую скромную работу. Моя сестра — старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук — тоже оказалась безработной. Все ее попытки устроиться на юридическую работу в любой точке страны неизменно оканчивались неудачей. Ни ее ученая степень, ни печатные труды, ни репутация талантливого ученого не помогли ей. Почти семь лет она и ее несовершеннолетняя дочь жили только благодаря помощи родителей. Да еще некоторые друзья поручали ей работу, которую затем публиковали под своими именами, отдавая ей гонорар.

Но, когда я вспоминаю эти годы, как самые тяжелые в моей жизни, я думаю не о материальных лишениях. Я продолжала работать, и моего заработка хватало на очень скромное существование. Эти годы вспоминаются мне как годы отвратительной лжи, лишенной даже лицемерной попытки выглядеть правдоподобно. Аресты, которые тогда, как в 30-е годы, были массовыми, поражали полной абсурдностью обвинений. Один наш знакомый был арестован и осужден на многие годы заключения в лагерях по обвинению в преклонении перед буржуазным западным искусством — он в какой-то компании с восхищением отзывался о фильмах Чаплина. Травля евреев с каждым днем принимала все более откровенный и разнузданный характер.

Я — еврейка.

Меня научили этому в Советском Союзе в годы кампании, целью которой было раздуть в стране антисемитизм и направить народный гнев против евреев. Уехав из Советского Союза, я вновь не знаю — кто я?

Мой родной язык, единственный, который я знаю, — русский. Моя культура — русская. Моя история — русская. Но антисемитскую кампанию «борьбы против космополитизма» я восприняла острее и болезненнее, чем многие русские. Это потому, что я была более незащищенной. Антисемитизм обособил нас — евреев, выдвинул на передовую линию огня. Национальная принадлежность сама по себе стала угрозой. И отсюда — большее чувство страха за себя, за родных, за друзей-евреев.

Но чувство отвращения не стало у меня больше только потому, что я была еврейкой. Много раз за прошедшие с того времени годы я спрашивала себя: «А если бы так унижали, оплевывали, угнетали не только евреев, испытывала ли бы я такую же силу презрения, было ли бы мне это так же отвратительно?»

И я ни разу не усомнилась в ответе.

Я не только ненавижу расизм. Я просто не умею быть расисткой. Я не верю в то, что чувство национальной гордости и национального самоуважения может быть совместимо с ненавистью и презрением к людям другой расы.

Я пишу сейчас о самом горьком чувстве из всех пережитых и переживаемых мной. Это чувство так горько потому, что оно не против советской власти. К ней у меня по этому поводу счета нет. Я давно поняла, что эта власть — безнравственная, и поэтому к нравственности ее и взывать нечего.

Это счет за отнимаемую у меня родину к достаточно заметной части русской интеллигенции. И не к тем, кто, живя в Советском Союзе, видит в антисемитизме средство сделать успешную карьеру. Для кого антисемитизм — удобный способ устранения талантливых и достойных конкурентов.

Это счет к тем, кто, живя в эмиграции или на родине, как будто печется о будущем своей страны, кто призывает к нравственному совершенствованию, кто ищет пути духовного становления России и совмещает это с расизмом; кто тщится по признаку крови клеймить любого еврея — будь то Осип Манделштам или Борис Пастернак — клеймом безродного космополита.

Но есть и другие русские интеллигенты.

Я помню, как в разгар антисемитского разгула 1948–1949 годов ко мне подошел старый русский адвокат, человек высокой интеллигентности и настоящих русских традиций. Это было в зале суда,

в перерыве между двумя судебными заседаниями, в присутствии множества людей. В этот день в газете «Известия» был опубликован очередной антисемитский фельетон с очередной антисемитской карикатурой. Он подошел и сказал громко и внятно:

— Я хочу, чтобы вы знали, что мне очень стыдно. Сегодня я стыжусь, что я — русский.

Это был Дмитрий Михайлович Дацюк — адвокат юридической консультации Октябрьского района.

Я помню, как знаменитый русский адвокат Казначеев сказал мне в те же годы:

— Это отвратительно. Это страшнее, чем было при царизме. Отвратительнее потому, что тогда этим занимались откровенные погромщики, а теперь — интеллигенты, выдающие себя за интернационалистов.

Эти адвокаты не публиковались в «самиздате» или «тамиздате». Они не выступали глашатаями национальной чести и достоинства. Они были просто порядочными людьми и даже не особенно смелыми.

Но я несколько отвлеклась от рассказа о страхе. А между тем в непосредственной опасности наша семья оказалась, когда в 1952 году арестовали нашего близкого друга — молодого талантливого ученого-юриста Валентина Лифшица. Историю его ареста и гибели я должна рассказать здесь со всеми подробностями и потому, что история эта сыграла значительную роль в моем духовном формировании, и потому, что в ней отражена история и жизнь моей страны в эти страшные годы.

Валентин Лифшиц был арестован и осужден к расстрелу за покушение на Сталина.

Валя был моложе нас. Он был аспирантом в Институте государства и права Академии наук, где в 1945 году мой муж работал научным сотрудником. Там, в институте, они познакомились с известным историком русского права профессором Серафимом Александровичем Покровским. Покровский был человеком очень ярких дарований и большой эрудиции. Он был не только талантливым ученым, но и отличным собеседником, прекрасно знавшим и понимавшим поэзию, музыку, живопись. Внешне Покровский удивительно похож был на Достоевского. Он всячески подчеркивал это сходство: отрастил небольшую бородку клином, одевался зимой в стилизованные под моду XIX века тяжелую шубу на меху с бобровым воротником и бобровую высокую шапку.

И Валя и мой муж были им покорены. Очень скоро он стал постоянным спутником их развлечений, а затем и другом, которому они

полностью доверяли. Я этого человека невзлюбила с первого взгляда. Это была безотчетная неприязнь. Я не могла привести ни одного разумного довода, оправдывающего это чувство. Единственное, что я могла им сказать и всегда говорила:

— Что ему надо от вас? Вы еще мальчишки, а он пожилой человек. Почему он так настойчиво ищет близости с вами?

Я не могу сказать, что подозревала в нем провокатора. Я просто не верила ему. Это был единственный случай в моей жизни, когда я сказала:

— Не хочу, чтобы этот человек бывал в нашем доме.

И я была в этом последовательна. Но мой муж и Валя продолжали встречаться с Покровским и проводили втроем большую часть свободного времени.

А потом настали времена борьбы с «космополитизмом». Муж остался без работы и вынужден был уехать на время в Ростов-на-Дону, где ему предложили прочесть курс лекций в университете. Валя блестяще защитил диссертацию, но при Институте права оставлен не был. Он получил более чем скромное назначение в филиал Всесоюзного заочного юридического института в город Горький.

Дружба моего мужа с Серафимом Покровским прервалась сама собой. Зато Валя и Серафим стали совершенно неразлучны. Все то время, что Валя проводил в Москве, он проводил с ним. Летом Покровский жил у Вали на даче, объясняя это тем, что поссорился с женой, часто оставался ночевать в его городской квартире.

А потом, в самом начале 1952 года, Валу арестовали. Это произошло в Горьком, где он жил один, и никто не видел ордера на его арест, никто не знал, за что он арестован.

Все попытки Валиной матери — старого заслуженного профессора — узнать что-либо о его судьбе окончились неудачей. Только спустя несколько месяцев мы узнали, что наших общих знакомых вызывали в КГБ и требовали от них показаний о Валиных антисоветских взглядах. Среди тех, кого вызывали, был и Серафим Покровский.

В последних числах декабря 1952 года начался суд над Валею. Его судил военный трибунал, что уже свидетельствовало о тяжести обвинения.

Судебное разбирательство проходило при закрытых дверях (в зал не была допущена даже Валина мать) и без участия адвоката. Поэтому мы знали только то, что в трибунал вызваны были всего два свидетеля: молодая женщина, с которой Валя познакомился в Горьком и которая была его невестой, и Покровский. Приговор был оглашен 31 декабря 1952 года — Валя был осужден за покушение на Сталина к высшей мере наказания — расстрелу.

Я не умею рассказать о том, каким это было страшным потрясением и горем для всех нас и для всех, кто знал и любил Валу. Ведь никто ни на одну минуту не сомневался в полной вздорности этого обвинения.

Валя не только по условиям жизни был поставлен в такое положение, при котором он никогда не мог бы даже увидеть Сталина. Он был прежде всего человеком абсолютно неспособным ни на какое насилие, ни на какую жестокость.

Вскоре после вынесения приговора я встретила с одним из самых давних и близких Валиных друзей, которого всегда считала и продолжаю считать человеком безупречной порядочности. Со слов Валиной невесты — Насти, которая присутствовала на суде как свидетель, он сказал, что Валя был осужден по показаниям Серафима Покровского. Настя говорила, что Валя когда увидела Валу, то не узнала его. Он был совершенно седой (а ведь ему не было и тридцати лет), а его опухшее лицо было похоже на запудренную маску. Все время, пока Настя давала показания (после чего ее удалили из зала), Валя сидел согнувшись и закрывая лицо руками. Только отвечая на вопросы председательствующего, он приподнял голову и открыл лицо.

Сведения о том, что Валу погубил Серафим Покровский, было для нас вторым потрясением. Я не могла представить себе, что этот человек способен на такую страшную провокацию. И мы твердо решили: на этом суде были только два человека — Настя и Серафим. Кто-то из них погубил Валу, и каждый будет стараться обвинить другого. Мы не вправе верить ни одному из них.

В конце апреля мать Вали добилась приема у заместителя Берии. Он заверил ее, что Валя еще жив, что дело будет пересмотрено и что жизни его теперь ничто не угрожает. И этому можно было верить. Ведь после смерти Сталина была объявлена большая амнистия для уголовных преступников, и все ожидали, что изменится и судьба тех, кто осужден по политическим делам. Но мы не знали и не могли знать, что в тот день, когда заместитель Берии уверял Валину мать в том, что его жизни ничто не угрожает, Вали уже не было в живых. 16 апреля он был застрелен в подвалах внутренней тюрьмы КГБ. Его не расстреляли в соответствии с приговором трибунала, а именно пристрелили. А матери через месяц сообщили, что ее сын покончил самоубийством (событие во внутренней тюрьме КГБ абсолютно невозможное).

Действительные обстоятельства Валиного дела мы узнали лишь три года спустя — после XX съезда партии — от московского адвоката Г., который вел дело о посмертной Валиной реабилитации. От него мы узнали и о роли, которую сыграл в нем Серафим Покровский.

Мы узнали, что Валина невеста Настя давала совершенно безупречные показания, а единственным свидетелем обвинения был Серафим Покровский. Узнали, что на его показаниях основывалось страшное обвинение в покушении на террористический акт на Сталина. Покровский утверждал, что в разговорах с ним Валя желал Сталину скорейшей смерти. (Этого в те годы было совершенно достаточно, чтобы осудить человека за покушение на террористический акт.)

Но это было не самым страшным из того, что мы узнали о роли Серафима в Валиной судьбе. Покровский, оказывается, был не просто доносчиком, предавшим доверившегося друга, но и провокатором, сфабриковавшим по заданию КГБ фальшивые доказательства.

Г. рассказал нам, что в Валином деле фигурировало письмо в ЦК КПСС, напечатанное на его пишущей машинке. Содержание этого письма было квалифицировано обвинением и судом как резко антисоветское. Но в то время, когда дело готовилось к пересмотру для Валиной посмертной реабилитации и когда адвокат Г. с этим делом знакомился, было бесспорно установлено, что автором этого письма и тем, кто его на Валиной машинке отпечатал, был Серафим Покровский. Оставаясь один в Валиной квартире, он отпечатал это письмо и отправил его в ЦК.

Но, даже узнав обо всем этом, мы еще не знали всей правды. И потому я должна продолжить рассказ.

После того как решением Военной коллегии Верховного суда СССР Валя был признан невиновным «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», разбитая горем и совершенно ослепшая мать решила добиться хоть какого-то наказания для Серафима. Ведь он остался членом партии, ученым юристом, сотрудником самого престижного в стране правового института — Института государства и права Академии наук СССР.

Все уже знали, что он провокатор; все знали, что он — причина Валиной гибели, и продолжали подавать ему руку. Одни это делали из страха, укоренившегося и привычного страха, который стал свойством их характера. Другие — от полной безнравственности и безразличия. Все обращения матери Вали, Софьи Евсеевны Копелянской, к директору Института государства и права не привели ни к чему. Не дало результата и ее обращение в партийную организацию института.

Тогда Копелянская подала заявление в Комитет партийного контроля Московского комитета партии. Это было уже после XX съезда, осудившего террор и беззакония периода «культы личности». Она требовала исключения Покровского из партии. Специальное заседание Комитета было посвящено этому делу. Серафим признал там, что вел с Валей провокационные разговоры и что письмо в ЦК было

сфабриковано и послано им. Но объяснил, что делал это по прямому указанию органов госбезопасности и видел в этом свою гражданскую и партийную обязанность.

И Комитет партийного контроля при Московском комитете партии разделил его точку зрения, признав, что он действовал согласно долгу коммуниста.

Только в конце 1957 или начале 1958 года Копелянской удалось добиться рассмотрения этого вопроса в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС.

Там уже не ограничились тем, что заслушали объяснения Покровского. Были прослушаны все магнитофонные пленки бесед, которые он вел с Валеи в барах и ресторанах. Намеренно провокационный характер этих разговоров был очевиден. На этот раз Покровский был исключен из партии.

Я не знаю, сколько загубленных жизней на счету Покровского. Но думаю, что не он выбрал Валею в качестве жертвы. Ведь, как это ни покажется чудовищным, Покровский был привязан к Вале. Но в период кампании борьбы с космополитизмом органы государственной безопасности готовили несколько крупных антиеврейских дел. Одним из них было дело врачей-убийц, о котором я уже рассказывала, а другим — дело юристов-вредителей. Роль провокатора по этому делу была поручена Серафиму Александровичу Покровскому.

Валентин Лифшиц пал первой и единственной жертвой этой провокации. Выбор пал на него как на самого близкого Серафиму человека, что облегчало возможность создания фальсифицированных против него доказательств. Но главной причиной явилось то, что он был любимым учеником двух крупнейших советских ученых в области права, членов-корреспондентов Академии наук Арона Трайнина и Михаила Строговича. Именно они должны были стать главными обвиняемыми, именно против них требовали от Валеи показаний.

Каким высоким мужеством, какой честью и благородством должен был обладать Валея, чтобы выдержать все пытки и не назвать ни одного имени, не оговорить ни одного человека.

Вот именно тогда мы до конца поняли, почему в суде его лицо было подобно запудренной маске, почему он стал совершенно седым.

Я пишу обо всем этом, когда Серафима Покровского уже нет в живых, когда с момента описываемых мною событий прошло 30 лет. Моя профессия научила меня лучше понимать людей и чаще прощать их. И время, и смерть должны были снять и чувство презрения, и чувство ненависти, которые я испытывала к этому человеку. Но этого не произошло. Я не сумела ни забыть, ни простить. И я даже не стыжусь этого.

Я так много места посвятила истории гибели нашего друга и истории провокатора потому, что без этого невозможно было бы объяснить то чувство страха, которое владело мною в те годы и которое не уходило до самой смерти Сталина.

Более того. Первое безотчетное чувство, которое я испытала, услышав сообщение по радио о смертельной болезни Сталина, было тоже страхом. И когда муж сказал мне:

— Чего же ты боишься? Ведь умирает тиран, убийца, — я, соглашаясь с ним и понимая, что он прав, все равно боялась. Умирала эпоха, и я не знала, что ждет нас впереди.

Либерализация советской жизни, которая последовала после смерти Сталина, привела к тому, что люди начали постепенно освобождаться от страха. Они стали спокойно спать ночью, они перестали бояться поздних телефонных звонков и ночных шагов по лестницам. Этот процесс освобождения у одних шел быстрее, у других — медленнее. Были и такие, у которых страх, соединенный с безусловным послушанием, остался на всю жизнь.

Я не могу сказать, что я полностью освободилась от страха. Может быть, потому я и не стала диссидентом в том высоком и героическом смысле этого слова, который вкладываю в него, когда называю имена Ларисы Богораз-Даниэль, Владимира Буковского, Павла Литвинова и многих других, чьи имена стали частью истории страны. Но я очень старалась жить так, чтобы страх не руководил моими поступками.

К тому моменту, когда я начала участвовать в политических делах, я была уже в таком возрасте, когда научилась держать ответ перед своей совестью. Когда повторение нравственной слепоты моей юности было для меня не только непростительно, но и невозможно.

Может быть, это покажется несколько наивным и смешным, но так необходимое для каждого человека и в каждом обществе чувство личной ответственности за участие в любой несправедливости или беззаконии, пусть санкционированном и насаждаемом государством, пришло ко мне как четко сформулированное жизненное правило из американского кино.

Это был художественный фильм «Нюрнбергский процесс». Это был фильм о послевоенном суде над нацистской Германией, над ее юстицией, над ее бесчеловечными законами.

Я сейчас уже плохо помню детали этого фильма. Но помню, что он потряс меня своей нравственной силой, совпадением ситуаций, порождаемых советским и нацистским правосудием. В этом фильме

ставились и разрешались проблемы, над которыми я тогда думала и которыми продолжала мучиться. Есть ли у меня, адвоката, место в правосудии? Являюсь ли я его участником?

Это были для меня не праздные вопросы. Это были вопросы, от решения которых зависело и то, отвечаю ли я в какой-то мере за все, что происходит и происходило в советском правосудии.

Помню, как 12 января 1968 года, после вынесения приговора по делу Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и других, я вместе с моими коллегами стояла в холле Московского городского суда. Мы стояли, подавленные суровым и несправедливым приговором, хотя и суровость его и несправедливость не были для нас неожиданностью. И когда я подумала, что должна сейчас выйти на улицу к тем, кто в лю-тый январский мороз стоял там, не веря в справедливость и все же надеясь на нее, я почувствовала острое чувство стыда.

Чего я стыдилась? И, может быть, прав был мой товарищ по защите, когда сказал:

— Ты не вправе стыдиться. Мы все были отдельно от них (от суда). Мы не отвечаем за это правосудие.

И мы вышли на улицу. И нас встретила толпа ожидавших измученных и замерзших людей, отгороженных от здания Московского городского суда цепью милиционеров. Они уже знали приговор, но не расходились. Они хотели видеть нас.

Я помню, как они кричали «Спасибо, спасибо!», как преподносили каждому из нас по букету живых цветов. (Как только они сумели сохранить их в этот сорокаградусный мороз?..)

Мы сели в такси. Мой друг, замечательный адвокат Борис Золотухин, и я ехали молча. А потом он сказал мне:

— Ты знаешь, это глупо, но мне тоже стыдно.

Чего стыдился он, произнесший накануне блестящую речь? Речь, которую потом цитировали во многих иностранных журналах как пример мужественной и принципиальной защиты. Речь, за которую через несколько месяцев он был исключен из коммунистической партии и из адвокатуры.

Я уверена, что этот стыд определялся в какой-то мере самим фактом профессиональной сопричастности к советскому правосудию.

Некоторые из моих коллег, отказываясь от участия в политических делах, говорили, что отказываются не из страха. Они считали, что участие избранного подсудимым защитника создает иллюзию демократического и справедливого суда, и не хотели участвовать в этой лжи.

Я разделяла эту аргументацию, но сама каждый раз принимала решение участвовать в деле. Я всегда знала, что буду приходиться в от-

чаяние от своей беспомощности, от омерзения к этому циничному фарсу и от безотчетного стыда за него.

Но я также всегда знала, что если бы я отказалась, то стыдилась бы значительно больше, и этот стыд был бы вполне обоснованным.

Адвокатура была моим местом в жизни. Способом моего участия в ней. Как ни постыден был тот суд, в котором мне приходилось участвовать, я не считала для себя возможным устраниваться от этого и тем самым снять с себя ответственность.

Все, что я рассказывала в этой главе до сих пор, было для меня связано с ответом на вопрос: почему я соглашалась защищать диссидентов? Почему считала себя обязанной делать это?

А теперь несколько слов о том, почему я хотела защищать диссидентов, почему это нужно было мне самой. Ответ на этот вопрос прямо связан с моим отношением к существующему в Советском Союзе политическому строю.

Для меня давно прошло время юношеских иллюзий. Я не могла также считать, что все беззаконие, жестокость, презрение к человеческой личности в моей стране были связаны только с «нарушением социалистической законности в период культа личности Сталина». После страшных разоблачений на XX съезде коммунистической партии и клятвенных заверений новых правителей, что это никогда не повторится, я видела зарождение и развитие «культа Хрущева». И опять это было связано с ложью и беззаконием, с постыдной разнузданной травлей великого русского поэта Бориса Пастернака, с подавлением всяческой свободы — свободы творить, думать, говорить то, что думаешь.

Я поняла, что эта несвобода — свойство системы, ее неотъемлемый признак.

Советские диссиденты, которых я защищала, не были ни террористами, ни экстремистами. Это были люди, легально борющиеся за соблюдение законных и естественных прав человека. Я не просто разделяла их взгляды. Я считала, что они открыто и по велению чувства долга борются за то, за что мы — юристы — призваны бороться в силу самой нашей профессии. Защищая их, я считала, что и сама в какой-то мере участвую в этой борьбе.

Несмотря на то что я прекрасно понимала, что исход всех этих дел не зависит от того, что и как я скажу в суде, что приговоры по этим делам предрешены, я не считала свое участие в политических делах бессмысленным. Я уверена, что помогала своим подзащитным и нравственно и профессионально, что моя помощь была для них полезна.

Думаю, что ставшая наглядной для всего мира неосновательность осуждения диссидентов в Советском Союзе стала возможна и благодаря адвокатам.

Возможности защиты по политическим делам в Советском Союзе чрезвычайно ограничены. И не столько пределами цензуры, которая довлела над каждым из нас, сколько тем, что советский суд не вправе признать неконституционность того или иного закона. Поэтому бессмысленно, с правовой точки зрения, ссылаться в суде на то, что статья уголовного кодекса об антисоветской пропаганде или статья о клевете на советский государственный и общественный строй противоречат конституции, а потому сами по себе являются незаконными. Однако, когда адвокат в публичном судебном заседании давал правовой анализ этих статей и утверждал, что даже по их смыслу обвиняемые не совершили уголовного преступления, что критика и несогласие с любыми действиями советского правительства и его руководителей являются правом советского человека, а убеждения человека по самому закону не могут признаваться клеветой, то я думаю, что адвокат в этих случаях осуществлял не только правовую, но и политическую защиту.

Я никогда не называла себя диссидентом. Ни тогда, когда жила в Советском Союзе, ни, тем более, после того, как его покинула. Я не присваивала себе этого титула в силу его несомненной для меня почетности. Я всегда понимала разрыв между мужеством, которое требовалось для того, чтобы выйти на Красную площадь, демонстрируя свой протест против оккупации Чехословакии, и той степенью смелости, которой должен обладать адвокат, защищая этих людей.

Но, защищая инакомыслящих, я считала, что тем самым участвую и в развитии правосознания советских людей, и в развитии всего правозащитного движения.

Завершающей стадией правосудия является рассмотрение дела в суде. Рассмотрению в суде уголовных дел предшествует очень длительное (зачастую многомесячное) предварительное расследование, которое проводят органы, независимые от суда и с ним организационно никак не связанные. Это прокуратура, милиция, КГБ. Все следственные действия должны быть письменно зафиксированы. Показания всех допрошенных свидетелей, вне зависимости от ценности, подробно протоколируются и приобщаются к делу. О любых следственных действиях — обысках, изъятиях, осмотрах вещественных доказательств и места преступления — составляются протоколы, которые также обязательно должны быть включены в досье. А итогом предварительного расследования является обвинительное заключение, составляемое следователем и утверждаемое прокурором. Это важнейший следственный документ, с оглашения которого потом начинается судебная процедура.

В обвинительном заключении следователь обязан указать не только, в чем обвиняется каждый привлеченный к ответственности, но и какую статью закона он нарушил, и подробно перечислить все доказательства, подтверждающие вину. Если обвиняемый не признает себя виновным, следователь обязан изложить сущность его показаний и все те доводы, которыми эти показания опровергаются.

Недостаточность доказательств, то есть неполнота следствия, дает суду право не принять дело и направить его обратно для дополнительного расследования. И потому мало-мальски сложное уголовное дело расследуется по многу месяцев. Особенно долго расследуются хозяйственные дела, по которым необходимо проведение очень сложных экспертиз — бухгалтерских и других. Многотомное (от тридцати до ста и более томов) хозяйственное дело — это привычная норма.

По советскому закону обвиняемый может быть оставлен на свободе до суда. В этих случаях с него берется подписка о невыезде. Это означает, что ему запрещено выезжать с места жительства без разрешения следователя. Обычно такая подписка берется по делам о незначительных правонарушениях и чаще всего в отношении несовершеннолетних, тяжелобольных или женщин, у которых есть маленькие дети.

В Советском Союзе человек, находящийся под следствием, может быть оставлен на свободе, если он уплатит залог. Закон предусматривает такую возможность, но за все годы моей работы я с такими случаями не сталкивалась ни в собственной практике, ни в практике моих коллег. Я уверена, что за последние 40 лет таких случаев в Советском Союзе вообще не было.

Таким образом, по подавляющему большинству дел обвиняемые до суда содержатся в тюрьме в строжайшей изоляции, без права на переписку, без свидания с родными, без права на встречу со своим защитником до тех пор, пока следствие не закончится. Кормят их в тюрьме очень скудно, а передачи с воли они могут получать только от родственников и только 5 килограммов в месяц. В таких условиях, которые, по существу, являются тяжелым наказанием, люди, еще не признанные судом виновными, содержатся по многу месяцев.

Советский закон ограничивает срок содержания под стражей до суда девятью месяцами. Однако в конце 50-х — начале 60-х годов была установлена противозаконная практика, при которой этот предельный срок может быть продлен специальным указом Президиума Верховного Совета.

Когда следствие по делу закончено, следователь должен предоставить обвиняемому (а при его желании и защитнику) для ознакомления все материалы. Это правило соблюдается всегда и, на мой взгляд, дает обвиняемому существенную гарантию его права на защиту.

Готовясь сам или вместе со своим адвокатом к суду, он строит свою защиту, уже зная все, что собрано против него обвинением. Более того, из обвинительного заключения, которое ему вручают не менее чем за трое суток до суда, обвиняемому и адвокату становятся известны те логические доводы, которыми прокуратура обосновывает обвинение.

Точно так же и суд, знакомясь с материалами дела до рассмотрения в судебном заседании, заранее знает и содержание показаний свидетелей, которые будут допрашиваться, и заключения экспертов, и доводы обвинения, которые потом, иногда с изменениями и дополнениями, а чаще всего в неизменном виде, услышит в конце процесса в обвинительной речи прокурора.

Вот почему судебная процедура является в основном проверкой всего того, что было собрано следователем и утверждено прокурором.

Все уголовные и гражданские дела в Советском Союзе, независимо от их значимости, рассматриваются судом, состоящим из трех человек — судьи и двух народных заседателей, по закону наделенных равными правами с судьей. Народные заседатели не только имеют право активно участвовать в исследовании доказательств в ходе судебного следствия, но и совместно с судьей они разрешают все те вопросы, которые стоят перед судом при вынесении приговора: доказано или не доказано предъявленное обвинение, правильно ли оно квалифицировано, какое следует избрать наказание, если обвинение признано доказанным. Решение принимается большинством голосов. Приговор считается вынесенным, даже если профессиональный судья имеет мнение, отличное от мнения двух народных заседателей. По тем же правилам рассматриваются и гражданские дела.

Таким образом, сам закон устанавливает демократический порядок разбирательства дел и вынесения приговоров и решений. Однако читатель получил бы искаженное представление о советском суде, если бы предположил, что именно так — на основе полного равенства судьи и народных заседателей — решаются уголовные и гражданские дела. Практически роль народных заседателей если и не ничтожна, то во всяком случае очень невелика.

Сама организация суда, само то обстоятельство, что народные заседатели обсуждают все аспекты дела совместно с судьей, неизбежно ставит их в положение зависимое. Судья влияет на них своим профессиональным авторитетом потому, что народные заседатели не имеют юридических познаний и просто не могут без помощи судьи разобраться в правовой квалификации, в правильности той или иной правовой оценки действий подсудимого.

Многие годы работы убедили меня в том, что только в исключительных случаях заседатели являются подлинными участниками судебного процесса. В моей практике было всего два таких дела. В одном из них заседателем оказался профессиональный юрист, а в другом — журналист, неоднократно до этого выступавший в печати со статьями о правосудии.

Так народный заседатель превратился в декоративную, почти всегда безмолвствующую, а то и просто дремлющую фигуру. И определяется это не только общей тенденцией советских граждан к безусловному подчинению любому стоящему над ними государственному авторитету, в данном случае — судье, но и тем, что заседателям предоставлены полномочия, заведомо для них непосильные.

Основополагающим принципом всякого правосудия является независимость судей при разрешении судебных дел.

В Советском Союзе провозглашен принцип полной независимости суда от всяких влияний и подчиненности суда только закону. Этот принцип декларировался в годы разгула сталинского террора и беззакония, декларирован он и в новой — «брежневской» — конституции.

Однако, как это ни грустно, я не могу не сказать, что таких необходимых для правосудия — независимых — судей я за годы своей работы просто не встречала.

Полная зависимость судьбы от партийных и государственных директив в проведении общих карательных установок существовала в Советском Союзе всегда и осталась неизменной и по сей день. Что же касается зависимости судьбы при рассмотрении конкретного дела, то степень этой зависимости с годами уменьшилась.

Многое в Советском Союзе мешает судье быть независимым.

Должность судьи является выборной. Срок его полномочий, на какой бы ступени иерархии он ни стоял — от народного судьи и до председателя Верховного суда СССР, — ограничивается пятью годами. Все кандидатуры на судебские должности всегда и обязательно выдвигаются и утверждаются партийными органами. Таким образом, каждый судья знает, что вопрос о том, будет ли его кандидатура выдвинута на новых выборах и, следовательно, будет ли он судьей и впредь, зависит от оценки его деятельности партийными органами. И каждый судья понимает, что может рассчитывать на переизбрание только в том случае, если он в своей работе будет строго следовать конкретным указаниям и общим партийным установкам. В таких условиях принципиальность и независимость неизбежно влекут за собой недовольство партийных органов и, как следствие, утрату судебного поста.

В структуре партийных органов функционируют специальные административные отделы (в райкомах — инструкторы), которые наблюдают за работой суда и прокуратуры и осуществляют руководство ими от имени партии. Следует при этом также учитывать, что подавляющее большинство судей в Советском Союзе являются членами коммунистической партии и что в силу одного этого они обязаны подчиняться всем решениям партийных органов.

Но судьи зависимы не только от партийных органов. Они зависимы также и от вышестоящих судов. Примерно один раз в неделю каждый вышестоящий суд собирает на инструктивное совещание всех судей города или области.

Я всю свою жизнь работала в Москве и потому, естественно, рассказывать буду о том, как все это происходит в Москве.

Каждую среду в Московский городской суд собираются народные судьи города. Они приходят на это совещание, где председатель суда или кто-нибудь из его заместителей сообщает, какими партийными или государственными указаниями они должны руководствоваться в своей судейской работе при разрешении уголовных и гражданских дел. И эти указания для судей обязательны. На этих же совещаниях обсуждается работа районных судов и отдельных судей, и ей дается оценка в зависимости от того, насколько последовательно и послушно проводят они в жизнь указания партии и правительства.

Суровость приговора никогда не считалась в советском государстве недостатком. Даже если потом вышестоящие суды эти приговоры изменяли, снижали наказание, считая его несоизмеримо тяжелым, судья оставался спокоен. Он знал, что ничего ему не грозит. А вот отмена приговора за мягкостью наказания — это ЧП, это грозит судье серьезными неприятностями. И если такой судья не изменит карательной политики и впредь опять будет проявлять «мягкотелость» и «либерализм», то его шансы на избрание на судейскую должность на следующее пятилетие будут равны нулю.

Написала все это и подумала: а ведь это неполная правда. Было время, когда Московский городской суд ежедневно отменял и изменял приговоры, чтобы сделать их более мягкими. Когда излишняя суровость приговора была самым страшным недостатком в работе судьи. Когда судьи боялись осуждать виновных к лишению свободы. Это было невероятное и ужасающее в своей трагикомичности время. И о нем стоит рассказать подробнее.

Это было время, когда Никита Хрущев уже обладал всей полной властью. Каждое его слово — относилось ли оно к внедрению кукурузы в сельское хозяйство или к расширению производства белых эмалевых кастрюль (было и об этом специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров) — воспринималось как безусловное руководство к действию. И то, о чем я буду сейчас рассказывать, явилось результатом выступления Хрущева.

Какова бы ни была предыстория этого выступления — действительно ли его растрогал рассказ бывшего вора-рецидивиста, с которым он встретился и беседовал на отдыхе в Сочи, были ли другие, более глубокие тому причины, — во всяком случае Хрущев призвал советских судей к более гуманному подходу при решении человеческих судеб. Он говорил о том, что лишение свободы — тюрьма и лагерь — это тяжелое наказание, которое следует применять лишь тогда, когда совершено тяжкое преступление.

Помню, с какой радостью читала я газетные статьи того времени, как ждала поворота советского правосудия к разумному и гуман-

ному отношению к человеческим судьбам. И такой поворот наступил. Все судьи страны были собраны на специальные инструктивные совещания в районные и областные комитеты коммунистической партии. Что им там говорили — точно не знаю. Но результаты этого инструктажа немедленно дали себя знать.

Как раз в первые дни после совещания я должна была защищать молодого человека, который вместе с двумя своими товарищами проник в кассы Белорусского вокзала, взломал находившиеся там сейфы и похитил большую сумму денег. Вскоре все трое были задержаны, а деньги — изъяты. Обвиняемые признались в совершенном преступлении. Если еще учесть, что все они ранее были судимы и только что были освобождены из лагерей, станет понятно, что это было одно из самых безнадежных дел из всех, какие я когда-либо вела. Мой подзащитный, которого я посетила в Бутырской тюрьме, тоже понимал, что он обречен. Понимали это и его родители. Единственное, на что мы могли рассчитывать, — это то, что суд определит ему не максимальную меру наказания.

Каково же было мое удивление, когда уже в процессе слушания дела я почувствовала какое-то совершенно незнакомое мне раньше в этом суде заботливое, я бы даже сказала, почти любовное отношение к подсудимым, которые, право же, даже в глазах адвокатов вовсе не заслуживали такого к ним отношения. И тогда мой коллега по защите, старый коммунист сказал:

— Не удивляйтесь. Райком дал указание проявлять гуманность — вот они ее и проявляют!

И проявляли судьи эту гуманность с такой поразительной последовательностью, что прокурор Ленинградского района, которого все знали как человека сурового и бескомпромиссного в своей суровости, просил суд не приговаривать их к лишению свободы. Суд, признав их виновными, приговорил к условной мере наказания, и все они были торжественно освобождены из-под стражи здесь же, в зале суда.

Не нужно думать, что все судьи легко и без всякого внутренне-го сопротивления подчинялись и подчиняются этой общей зависимости. Что они не понимают ни унизости своего положения, ни того, что весь этот идеологический инструктаж — не что иное, как на-другательство над правосудием.

И здесь мне хочется рассказать о судьбе, который плакал.

Это было в народном суде Ленинградского района Москвы в тот короткий период хрущевского либерализма, о котором я писала выше.

В этот день я пришла в суд, чтобы получить разрешение на свидание с моим подзащитным в тюрьме. Судья, к которой я обратилась

за разрешением на свидание, сидела одна в своем кабинете. Незадолго до моего прихода она огласила приговор по какому-то уголовному делу и очень устала. У нее был настолько изнуренный вид, что я спросила, не больна ли она, не нужно ли ей чем помочь. И вдруг она рыдалась. Это было поразительно. Судья, которая никогда не отличалась сентиментальностью или мягкостью характера, рыдала от отчаяния после вынесенного ею же приговора.

— Это ужасно, — говорила она, — что нас заставляют делать! Я сейчас выпустила на свободу двух настоящих бандитов. Бандитов, которые завтра же кого-нибудь ограбят. Это чудовищно, но я не могу поступить иначе.

Я не спрашивала ее ни о том, кто ее заставляет, ни о том, почему она не могла поступить иначе. Мне и так все было ясно.

Правда, этому судье недолго пришлось себя преодолевать. Изменилась обстановка, изменились и инструкции свыше. И она, уже не рыдая, посылала своими приговорами в тюрьму и женщин, имеющих маленьких детей, и подростка, укравшего в клубе гитару, чтобы иметь возможность играть в музыкальном ансамбле. Неоправданная жестокость и суровость были куда ближе ее женскому сердцу, чем неоправданный либерализм.

Необходимость «вершить правосудие» в соответствии со всякий раз меняющимися директивами дала свои плоды. Именно отсюда, думается мне, то равнодушно-циничное отношение к человеческой судьбе, которое характерно для многих советских судей. В этом же, уверена, лежит одна из причин почти поголовной коррупции судей. Коррупции, которая стала заметным явлением в жизни страны во время Отечественной войны, а в 50-е годы стала особенно наглядной и всеохватывающей.

Вынужденные постоянно нарушать закон судьи потеряли к нему уважение, и именно это создало обстановку, при которой закон стал нарушаться не только по указанию свыше, но и за деньги. Конечно, немаловажное значение при этом имела и чрезвычайно низкая в те годы оплата работы судей, следователей и прокуроров.

Во второй половине 50-х годов по всему Советскому Союзу прокатилась целая серия крупных так называемых хозяйственных дел, в основном связанных с мелкими фабриками, входящими в систему промышленной кооперации. Обвиняемыми по этим делам были начальники и мастера цехов, иногда директора и бухгалтеры таких небольших фабрик. Как правило, вина их заключалась в том, что,

сдав государству всю продукцию, полагающуюся по плану, они производили еще сверх того значительное количество продукции, которую скрывали от учета и продавали ее через своих сообщников, работающих в маленьких (а иногда и в больших) государственных магазинах. Деньги, вырученные от таких операций, делились между участниками. Подсудимые бывали обычно очень богатыми людьми, и судьи, которые слушали такие дела, может быть, впервые в своей жизни сталкивались с подлинным богатством, с деньгами, которые лежали спрятанными в тайниках потому, что потратить их было невозможно.

Что в таких условиях могло противостоять постоянному искушению, которому подвергались судьи? Только вера в правосудие, в святость закона, внутренняя убежденность в том, что закон выше всего. И когда эта вера была разбита и уничтожена самой властью, преград не стало.

В послесталинские годы, в конце 50-х — начале 60-х годов, в годы так называемой борьбы за законность, в одной только Москве были арестованы и преданы суду за вынесение неправосудных приговоров за взятки почти весь состав судей Калининского района, работники прокуратуры этого же района во главе с районным прокурором, почти весь состав следователей и прокуроров Московской области, многие судьи Московского областного суда. Почти полностью был арестован и осужден за получение взяток весь народный суд Киевского района Москвы. Не миновала эта эпидемия и Московский городской суд и Московскую городскую прокуратуру.

Если в Москве вынесение приговора за взятку было явлением достаточно распространенным и привычным, то в провинциальных судах и прокуратурах (и особенно в национальных республиках) это приняло характер абсолютно повседневный. В Грузии, Армении, Узбекистане и во многих других местах судья, не берущий взятку, был явлением не только исключительным, но и почти невероятным.

Взяточничество стало явным. О нем говорили почти открыто. Клиенты, которые приходили к адвокатам, часто искали в нас не профессиональных защитников, а людей, которые могут посредничать в передаче взятки судье. Так в коррупцию правосудия оказались вовлеченными и некоторые адвокаты.

То, что я сейчас пишу о несомненной для меня связи между необходимостью судить, руководствуясь партийными директивами и находясь в положении полной зависимости от власти, с одной стороны, и массовым взяточничеством судей, с другой, — это почти дословное повторение защитительной речи, произнесенной мною много лет назад в Верховном суде РСФСР.

Помню длинный, плохо освещенный и очень холодный зал судебного заседания. Привычная для меня обстановка. Сейчас введут обвиняемых. Это тоже привычно. Сколько лет смотрю я на этих людей! Молодые и старые, мужчины и женщины. Какими разными, наверное, были они раньше, на свободе, а теперь одинаково бледные особой тюремной бледностью лица; руки за спиной, голова опущена. А женщины! Опускающиеся чулки (ведь колготок тогда у нас еще не было, подвязки запрещены, и чулки просто подкручивали под коленом, как когда-то в русских деревнях), никакой косметики (запрещена тюремными правилами), волосы, заплетенные в косички и завязанные тряпочками (заколки и шпильки также запрещены). Сколько им лет — этим женщинам, которых проводят под конвоем по судебным коридорам? Как часто потом, слушая их показания в суде, я ловила себя на мысли: «Эта моложе меня, и эта тоже моложе». И, глядя на них, не могла верить этому.

В тот день все привычное было для меня необычным. В судебный зал под конвоем должны были ввести людей, которых я знала раньше. Перед которыми годами стоя я давала объяснения и произносила защитительные речи. А они сидели в судейских креслах с высокими дубовыми спинками, увенчанными гербом Советского Союза. Среди них введут человека, который много раз был моим противником в уголовных делах, требуя именем государства наказания виновным, а иногда и невиновным. Это один из самых опытных прокуроров Москвы. Это мой подзащитный Рафаил Асс. Он обвиняется в том, что систематически получал деньги за благоприятный исход дела в суде. Часть этих денег передавал судьям, а часть оставлял себе. Иногда это были очень большие суммы — несколько десятков тысяч рублей, иногда — когда дела бывали незначительные — 3–4 тысячи.

Когда я принимала это дело, я была почти уверена, что мне предстоит защищать невиновного человека. Асс был из тех немногих, кого, как мне казалось, нельзя было заподозрить в нечестности. Он выгодно отличался от других своих коллег высокой профессиональностью и манерой держаться — манерой культурного и воспитанного человека.

Как волновалась я, идя на первую встречу с Ассом! Каким найду его после стольких месяцев тюремного заключения? Но не сомневалась, что, каким бы ни было его физическое состояние, я найду в нем подлинного помощника при разработке тактики защиты — ведь это юрист-практик, прекрасно знающий судебную и следовательскую работу. Ко мне в кабинет ввели совершенно раздавленного человека. От страха и отчаяния он утратил способность ориентироваться. Его показания поражали беспомощностью.

Асс признал свою вину уже через несколько дней после ареста, поверив обещаниям следователя, который убедил его, что уже располагает бесспорными доказательствами его вины (хотя и не конкретизировал их). Асс назвал имя работника одного из московских магазинов, через которого получал деньги от разных лиц, и имена судей, которым он эти деньги передавал.

Почему Асс так повел себя? Естественно было бы предположить, что к этому его привело раскаяние. Что, оказавшись в тюрьме, он нашел облегчение в том, чтобы сказать правду, хотя и понимал, что ему грозит суровое наказание — многие годы лишения свободы. Но очень скоро я поняла, что причина была другая. Что настоящего раскаяния, нравственного самоосуждения не было. Что этот человек давно разучился уважать закон и правосудие, и то, что он совершил, вовсе не казалось ему таким безнравственным.

Я помню, как, обсуждая позицию защиты, убеждал он меня, что правосудие, собственно, нисколько не страдало оттого, что судьи получали взятки, так как деньги брались только за вынесение правосудных приговоров. И что если судья за взятку выносил приговор более мягкий, чем он (Асс) считал правильным, то, пользуясь своим правом прокурора, он приносил в вышестоящую судебную инстанцию протест на мягкость приговора.

Я спросила:

— Это по тем делам, по которым вы получали деньги?

И Асс, как бы удивленный моей несообразительностью, с недоумением ответил:

— Ну конечно же! Я же объясняю вам, что правосудие от взяток не страдало.

Для меня ознакомление с этим делом, а затем и слушание его в суде стало настоящей мукой. Когда я читала, а потом слушала показания свидетелей о том, как и через кого передавались взятки, когда узнавала, что правосудие вершилось задолго до суда в маленьком деревянном пивном ларьке около Киевского вокзала, меня охватывало и отвращение и отчаяние. Я думала о том, сколько сил, нервов, времени я тратила на каждое дело, чтобы увидеть потом равнодушные глаза судьи и услышать привычное:

— Приговор оставить в силе.

Услышать от тех самых судей, которых в тот первый день процесса ввели под конвоем в зал.

Как защищать в таком деле? Где найти позицию, которая могла бы помочь моему подзащитному в деле, где всё и все против него? Всё — это он сам, его собственные показания. Все — это остальные подсудимые, большинство из которых не признавали себя виновны-

ми и видели в нем предателя. Все — это так называемые взяточдатели, те, кто давали через посредников деньги и узнали теперь, что отмена благоприятного в отношении их близких приговора была результатом его протестов. Все — это многочисленные родственники подсудимых, ожидающих целыми днями в коридорах суда; это адвокаты, защищающие тех, кто не признавал себя виновными и показания против которых дает Асс.

Как защищать человека, когда сама не можешь найти ему оправдание?

Я жалела его, видя, как он изменился, какой жалкий и растерянный сидит он, отгороженный барьером от всего мира. Я могла произнести вполне искреннюю речь, взывая к милосердию суда. Но было необходимо найти такую линию, которая дала бы мне самой возможность понять, как это могло с ним случиться. Почему именно он, о котором адвокаты с уважением говорили — «сенатор», стал взяточником.

Я понимала, что причиной была не крайняя нужда, не материальные лишения. У Асса никогда не было детей, и вся его семья — это он сам и его жена, которая работала и неплохо зарабатывала. У них была очень приличная квартира. Им было на что жить и где жить. Читая показания многих свидетелей, я убеждалась, что мои представления о его образе жизни и привычках были правильными — он не участвовал в пьянках и оргиях, подобно другим прокурорам и судьям, не имел любовниц, не играл на бегах.

Много часов, еще тогда, когда изучала дело в Бутырской тюрьме, я думала об этом. Чтобы разобраться во всем, я просила Асса рассказать о старых уголовных делах, которые ему больше всего запомнились и больше всего его потрясли. И он рассказал, как вскоре после окончания войны выступал государственным обвинителем по делу, где обвиняемой была женщина, укравшая небольшой кусок масла на кондитерской фабрике «Большевик», на которой она работала.

— Я просил для нее десять лет заключения в лагерях, — рассказывал Асс. — И суд осудил ее к этому наказанию. Я понимал, что это жестоко и несправедливо, но ведь таким был закон.

И он был прав. Таким был закон.

Но для тех, кто применяет подобные законы на практике, это не может пройти безнаказанно. Закон нужно уважать, а несправедливость и жестокость уважать невозможно. Так постепенно у судьи или прокурора исчезало чувство полезности своей деятельности, и он из служителя правосудия в том высоком смысле, который всегда следует вкладывать в это слово, превращался в равнодушного чиновника.

Как они — судьи и прокуроры — сами относились к такому «правосудию»?

Разные люди — по-разному. Но независимо от того, задумывались ли они над этим или нет, мучились этой проблемой или спокойно подчинялись, не обременяя себя угрызениями совести, — все они в равной мере смеялись над понятием «святости закона», а потому не могли уважать и само правосудие.

Я поняла и то, что Асс, окруженный людьми, которые начали брать взятки задолго до него, постепенно терял остроту нравственного осуждения этого преступления, а потом и вовсе привык к этому. И тогда единственной преградой остался страх. Чувство, которое, на мой взгляд, никогда не являлось надежной охраной правопорядка.

Каждый адвокат вырабатывает свой стиль, свой почерк построения речи, свою манеру говорить, стоять перед судом. С годами появляется мастерство и, к сожалению, пусть свой, индивидуальный, но штамп. Штамп, который незаметен слушателям, но который адвокат чувствует безошибочно. И тогда он знает, что речь не удалась.

Речь в защиту Асса я считаю одной из своих удач. Все, что я рассказала здесь, говорила я и в Верховном суде. В советских условиях то, что я говорила, было неожиданно. И это заинтересовало слушателей и, что главное, суд. Я считаю, что это сказалось и на приговоре. Асс получил минимальное, по сравнению с другими осужденными, наказание — 4 года лишения свободы.

И, хотя это было обычное уголовное дело, я считаю, что именно в нем, а не много лет спустя, защищая Владимира Буковского, я начала путь политического защитника.

Но, несмотря на все мною сказанное, а может быть, и вопреки этому, советские суды выносили не только обвинительные, но и справедливые оправдательные приговоры. Не часто, реже, чем это требовало истинное правосудие, но выносили. Я могу найти в своей памяти очень много дел, когда суд осуждал человека виновного к мере наказания значительно более суровой, чем я считала справедливым и целесообразным. Но всегда эта мера была в пределах закона. Я могу найти в памяти немало дел, по которым суд соглашался с правовой оценкой действия обвиняемого, предложенной прокурором, безмотивно отвергая вполне аргументированные соображения защиты.

Но память подсказывает мне и такие дела, в которых защита добивалась правильной правовой оценки. Я могу вспомнить и немало

дел, где адвокатам удавалось добиться полного оправдания. Иногда этого удавалось добиться сразу в суде первой инстанции. Чаще победа приходила после длительного хождения по судам высших инстанций.

Их было совсем немало — этих дел с оправдательными приговорами и у меня — за долгие годы моей адвокатской работы. И каждое из них было и осталось событием в моей жизни, нравственной наградой за мучительную работу, которую я так любила, которую вправе назвать профессией всей моей жизни.

Часть вторая. Признание, или Дело мальчиков

В самых первых числах февраля 1967 года мне позвонил адвокат Лев Юдович. Мы были знакомы много лет и, хотя нас не связывала тогда личная дружба, относились друг к другу с уважением.

— Я к тебе с опасным предложением, — сказал Лев. — Я хочу, чтобы ты приняла участие в потрясающе интересном деле. Два мальчика — Саша и Алик — обвиняются в изнасиловании и убийстве своей четырнадцатилетней школьной подруги. Я уже знакомился с материалами в прокуратуре — они совершенно невиновны. Я в этом уверен. Дело уже назначено к слушанию. Прими ты защиту второго мальчика.

— Все это прекрасно. Я верю, что дело интересное. Но почему оно опасное? — удивилась я. — Уголовное дело безо всякой примеси политики. Что тут может быть опасного для адвоката?

— Дело в том, что оба мальчика признавали себя виновными. Потом оба отказались от своих показаний. Мой — Алик — не признает себя виновным и сейчас. А Саша, после того как ознакомился с делом вместе со своим адвокатом Ириной Козополянской, заявил следователю, что именно она научила его отказаться от признания, а на самом деле и он и Алик виноваты. Ирину отстранили от участия в деле. Ей грозит исключение из коллегии. А Саша через несколько дней написал заявление о том, что он совершенно не виноват и его прежние показания, в которых он признавался в изнасиловании и убийстве, — ложные, что оговорил он своего адвоката по настоянию следователя. Ирина просила коллегу по консультации защищать Сашу (Лев назвал имя одного из лучших московских адвокатов), но тот категорически отказался, сказав, что не может отдать свою судьбу в руки вздорного мальчишки, который с такой легкостью предал своего адвоката. Так что дело действительно опасное для тебя. Но учти — это невероятно интересное дело. Может быть, самое интересное в моей жизни.

— Учла, — сказала я. — Присылай родителей к шести часам в консультацию.

Так я стала защитником Саши Кабанова.

Недалеко от Москвы есть деревня Измалково. Она стоит на высоком берегу целой системы Измалковско-Самарийских прудов. Длинный, узкий деревянный мост — лавы — соединяет ее с другим берегом. Там — знаменитый дачный поселок писателей Переделкино. Дальше — Генеральское шоссе и генеральские дачи. Дача, крайняя к прудам, принадлежала очень популярной исполнительнице народных русских песен Руслановой. Там же — дача легендарного командира Красной конницы времен Гражданской войны маршала Семена Буденного.

В 1965 году дачу Буденного ремонтировали. Каждое утро из расположения ближайшей воинской части грузовики доставляли на «объект» весь необходимый строительный материал, а также рабочих — солдат этой воинской части. Вечером приезжала машина и увозила их в расположение части.

17 июня на строительстве работали трое солдат: Базаров, Зуев и Согрин. Вечером, когда закончили работу, они пошли в деревню к спортивной площадке, где обычно собиралась деревенская молодежь. В это же время на площадку пришли Саша и Алик (им было около пятнадцати лет) и четырнадцати-шестнадцатилетние девочки, жительницы этой же деревни. Все вместе играли в волейбол.

Около одиннадцати часов солдаты собрались уходить (их уже должна была ждать машина), а все подростки договорились идти гулять через лавы на Генеральское шоссе. Часть девочек — Нина и Надя Акатовы, Лена Кабанова (Сашина сестра), дачница Ира — вместе с солдатами пошли вперед, а Саша, Алик и Марина Костоправкина немного задержались: Алик — чтобы отнести домой баян, Марина — чтобы взять вязаную кофточку, Саша — чтобы предупредить мать. Через 5–7 минут они уже шли по главной улице деревни вниз мимо единственного в деревне двухэтажного санаторского дома. Это большой деревянный барак. В каждой комнате живет семья, каждое окно открыто — ведь очень тепло; в каждой комнате свет — еще не ложись спать.

Трое детей, знавших друг друга с самого рождения, учившихся в одном классе, шли веселые, смеющиеся по направлению к дому Акатовых, не подозревая, что эти минуты станут роковыми для каждого из них. Что впереди катастрофа — страшная гибель Марины, годы тюрьмы для Саши и Алика.

Девочек дома не оказалось. Решили, что те, не заходя домой, пошли к лавам. От дома Акатовых до лав — дорога по той же главной улице, слева от дороги — последний дом, Богачевых. За ним фруктовый совхозный сад, который тянется вдоль берега пруда. Потом небольшой овраг, а дальше старый деревянный забор, отгораживающий руслановскую дачу от деревни. Вся дорога от дома Акатовых до лав занимает не более 5 минут.

Через какое-то время Саша и Алик возвратились к дому Акатовых, но уже вдвоем, без Марины. Все девочки дома. Рассказывают, что шли другой дорогой, хотели отвязаться от солдат, чтобы те не узнали, где они живут. Опять минуты (как потом будут считать эти минуты!) — и девочки Надя и Нина Акатовы, Лена Кабанова, Саша и Алик уже идут через лавы на Генеральское шоссе. Их видели сидевшие на берегу рыбаки (а эти пруды славились карасями, и рыбаков было много). Их слышали жители ближайших домов, потому что ребята громко пели и смеялись.

Так с песней они прошли через лавы. Кто-то из девочек спросил:

— А где же Марина?

Кто-то из мальчиков ответил:

— Решила пойти вперед догонять вас на Генералке, не захотела вернуться с нами.

И опять кто-то из девочек сказал (они сами потом не могли вспомнить — кто):

— Вечно Марина все делает по-своему.

И больше о ней никто не вспоминал.

Совсем уже поздно в этот день дети разойдутся по домам, и только на рассвете мать Марины будет бегать из дома в дом по всей деревне и спрашивать, не видел ли кто Марину.

Марина не вернулась домой.

Слух о том, что Марина пропала, с невероятной быстротой разнесся по деревне. Один за другим к дому Костоправкиной подходили односельчане. Среди них и те, кто видел детей, накануне вечером игравших в волейбол, и те, кто слышал голоса детей, переходивших по лавам через пруд, и рыбаки, которые с берега или с лодок видели их и даже узнавали голоса — ведь сестры Акатовы первые певуньи на деревне, их голоса не спутаешь.

С самого утра в доме Костоправкиных — работник милиции — дознаватель.

Он спрашивает каждого проходящего в дом и тщательно записывает все показания; фиксирует время, когда дети разошлись с волейбольной площадки, когда их слышали рыбаки и жители прибрежных домов, записывает показания Алика, Саши, Нади, Нины, Иры, Лены и многих других.

Особенно придирчиво допрашивает он Алика и Сашу — ведь они последние, кто видел Марину. Только они могут разъяснить, почему вдруг расстались с Мариной, почему она одна пошла вперед и не захотела вернуться с ними. Ни Алик, ни Саша не могут объяснить этого.

«Не пошла, и все», «Не захотела, и все».

А в это же время оперативные работники милиции и добровольцы — жители деревни прочесывают весь берег пруда и совхозный сад, осматривают каждый куст, каждую тропинку. Искали до сумерек. Никаких следов Марины обнаружено не было.

19 июня с самого утра поиски возобновились. Только к вечеру наткнулись на небольшую полянку в овраге около руслановской дачи. Там, на сильно помятой траве, под небольшими кустами нашли вязаную кофту Марины, рядом оторванную от нее пуговицу. Немного в стороне — мужскую старую фуражку и белую пуговицу — бельевую (такие пришивают к самому дешевому мужскому нижнему белью).

В Измалково прибыли водолазы — искали труп Марины. Несколько часов подряд обследовали они дно пруда. Безрезультатно.

А потом опять дни опросов всех, кто был в тот вечер в деревне, всех тех жителей близлежащих сел и поселков, на кого по оперативным милицейским данным могло пасть подозрение.

Первые из них — солдаты. Их показания о том, как возвращались в часть после игры в волейбол, противоречивы. Особенно настаивают следователя показания шофера грузовика, на котором солдаты возвращались в часть.

Шофер утверждает, что приехал за солдатами в условленное время — к 11 часам вечера, но их на месте не было. Появились они только в час ночи и просили никому не говорить об их позднем возвращении. Но солдаты — военнослужащие. Для них своя — военная — прокуратура, свой суд — военный трибунал. Военный прокурор отказался их арестовать — доказательств вины недостаточно. А чем дальше, тем показания солдат все больше и больше сближаются между собой, все меньшим делается время их неоправданного отсутствия.

Так прошла неделя. 23 июня днем Саша вместе с товарищами и подругами катался на лодке. Как всегда в эти дни, говорили о Марине. Саша рассказывал, как они вместе шли к Акатовым, о чем говорили по дороге. Внезапно он замолчал и, как рассказывали его друзья, стал такой бледный, что они испугались. Рядом с лодкой, почти касаясь ее борта, плыл страшный, вздувшийся труп. Это была Марина.

По заключению экспертов-медиков, Марина погибла «от асфиксии в результате утопления». Эксперты также высказали предположение, что смерти предшествовало насильственное половое сношение.

Хоронили Марину всей деревней, всей школой с учителями. Класс за классом подходили к могиле прощаться. Это были похороны, где горе было неподдельным, как неподдельной была и жажда мести этому еще не найденному убийце.

Шло время. За месяц, который прошел с 17 июня, дня, когда погибла Марина, работники милиции и уголовного розыска района задержали более двадцати человек, на которых по каким-то причинам могло пасть подозрение в причастности к убийству. Среди них судимый раньше за кражи и хулиганство Садыков, живший в небольшом поселке недалеко от Измалкова. В ту ночь с 17 на 18 июня Садыков не пришел ночевать домой. Только утром жена нашла его, совершенно пьяного, спящим в сарае в изодранной и окровавленной одежде. Его продержали в камере предварительного заключения при милиции три дня. Но друзья Садыкова подтвердили следователю, что они вместе пили, что во время выпивки была драка. И Садыкова отпустили.

Знакомясь потом с материалами следственного дела, я поражаюсь совершенно очевидной беспомощности следователя, который метался от одной версии к другой, от одних подозрений к другим, но ни одной версии не проверил досконально. Каждый раз ограничивался самыми поверхностными допросами. Следователь не пытался выяснить причины противоречий в показаниях (в случае с солдатами). Не направил на экспертизу окровавленную рубашку Садыкова, доверившись показаниям его собутыльников. Не провел биологическую экспертизу одежды всех тех, кто подозревался и задерживался. А так важно было проверить, нет ли на ней пятен спермы — ведь эксперты уже высказали предположение о том, что Марина была изнасилована. Уходящее время работало против следователя и против правосудия. Все более уверенными становились показания подозреваемых, все меньше в них оказывалось противоречий, все больший круг свидетелей называли они в подтверждение своей невинности. В начале августа 1965 года вызовы к следователю почти прекратились. Следствие явно зашло в тупик.

И вдруг где-то в 20-х числах августа по всей округе пронеслась весть. Убийца найден. Арестован. Это настоящий преступник-рецидивист. Он уже раньше был судим за изнасилование и убийство. Марина не единственная его жертва. Уже называют его имя — Назаров.

А тут новость — преступник сознался. Рассказал следователю, как мучил и насиловал Марину, как потом убил ее и сбросил труп в воду.

То естественное чувство мести, та жажда возмездия, которая всегда сопутствует преступлению, стали главным содержанием

мыслей и чувств не только матери Марины, но и большинства жителей деревни. Считали недели до окончания следствия и суда. Слова «смертная казнь», «расстрел» стали едва не самыми распространенными словами в разговорах.

Но время шло, а об окончании следствия ничего слышно не было.

В конце того же 1965 года новое ошеломляющее известие — «Следствие по делу гибели Костоправкиной Марины приостановлено за нерозыском преступника».

Целая делегация от деревни идет к прокурору требовать объяснений. Как же так? Ведь преступник есть. Он сам сознался. Кого же может удовлетворить объяснение прокурора, что признание это было ложным, что Назаров отказался от первоначального признания, сказал, что оговорил себя, а других доказательств его вины нет.

Кто может поверить, что невиновный человек будет признавать себя виновным не просто в преступлении, а в таком, за которое по закону ему грозит смертная казнь? Да еще если это опытный преступник, ранее судимый. Да еще если этот человек вновь совершил преступление, — потому что известно, что его скоро будут судить за изнасилование другой девочки и за несколько ограблений.

Великая магическая сила этого слова — «признался». Кто не оказывался в ее опасном плену? Разве: «Если признался, то виноват, а не был бы виноват — не признался бы» — думают и говорят только люди далекие от правосудия? Разве мало следователей, прокуроров и даже судей, уверенно отвечавших в студенческие годы на экзаменах: «Признание не является царицей доказательств. Оно требует проверки и подтверждения, как и любое доказательство по делу» — и осуждавших людей только на основе этого признания даже тогда, когда остальные доказательства сомнительны?

И судьи делают это с убежденностью и сознанием своей правоты потому, что внутренний голос чувства вопреки разуму говорит им: «Раз признался — значит, виноват».

И не заставило умолкнуть этот внутренний голос и то, что сотни тысяч людей признали себя виновными в страшных преступлениях, которые не совершали. Ведь это было в другое — сталинское — время. И не умолкает этот внутренний голос, когда читает судья очередное определение Верховного суда РСФСР или СССР по делу, где необоснованно осуждены люди только на основании их признания на следствии — следствии, проведенном с нарушением закона.

«Ведь это не у нас, в другой прокуратуре. У нас закон не нарушают».

Жителей деревни Измалково не убедили объяснения прокурора. Они не понимали, что происходит. Они знали, что возмездие, которое должно было удовлетворить их чувство мести, возмездие, которое уже было таким близким, отнято у них.

И тогда в ЦК КПСС стали направлять письмо за письмом, заявление за заявлением. «Найти и наказать преступника». Этого требовали уже не от прокурора, не от следователя, а от всесильной коммунистической партии.

Наступил 1966 год. Скоро уже год со дня смерти Марины, а следствие молчит — дела не возобновляет. Не помогли письма и в ЦК КПСС.

Тогда решают включить в эту борьбу писателей. Ведь писательский поселок на другом берегу пруда. Дети из деревни часто ходят туда в знаменитую детскую библиотеку, созданную на свои собственные средства замечательным писателем Корнеем Чуковским. (Случай благотворительности для Советского Союза едва ли не уникальный.)

Марина была постоянной посетительницей и, говорят, любимицей Корнея Ивановича. Именно к нему идет Александра Костоправкина. Его и несколько других писателей просит употребить их авторитет, их известность. ЦК не отвечает на ее письма, письма простой деревенской жительницы. Но ведь им-то ответят. Что значит — «Не могут найти убийцу». Он *должен* быть найден.

И писатели пишут. Пишут в ЦК КПСС, тоже требуют найти и наказать.

17 июня — годовщина смерти Марины.

И вновь на сельском кладбище собрались родственники и соседи Костоправкиных, учителя школы, дети — товарищи Марины. Но уже меньше слез, чем год назад. Дети стоят молча, взрослые пьют принесенную с собой водку — полагается помянуть Марину.

Но слезы будут. Для этого специально приглашена на кладбище старая жительница этой деревни Екатерина Марченкова — непременная участница похорон в деревне. Она стоит в стороне — худая седая женщина в очках с толстыми стеклами. На голове большой черный платок. Тихо, нараспев, постепенно убыстряя речь, начинает она говорить.

Говорит о том, какая Мариночка была умница и красавица и как злой человек сгубил ее. Вот уже и слезы в голосе, все сильнее и сильнее прорываются рыдания сквозь слова. Уже запричитала Александра Костоправкина и вторит ей: «Доченька, красавица, и какой же злодей сгубил тебя, доченька...»

А Марченкова причитает все громче, все надрывнее:

Мариночка, деточка,
Прости меня, старую!
Отпусти меня.
Зачем снишься ты мне каждую ночь?!

И уже плачут все присутствующие, и почти не слышно того, что поет-причитает у Мариной могилы Марченкова.

Только потом, возвратясь домой, спросит крестный отец Марины — Захаров — у Александры Костоправкиной, слышала ли она, как Марченкова причитала, что виновата перед Мариной, что могла ее спасти и не спасла.

В этот же вечер Костоправкина позвала Марченкову в свой дом на поминки. Опять выпили водки, а потом стали спрашивать, что она знает о Мариной гибели, почему говорила, что могла ее спасти и не спасла.

Сначала Марченкова отрицала, что говорила на кладбище такие слова. И только перед уходом домой рассказала, что ровно год назад — день в день 17 июня — поздно вечером она была дома в своей комнате на втором этаже санаторского дома. Окно было открыто, и она услышала громкий разговор. По голосу узнала, что это была Марина.

— Алик, отстань! Чего пристаешь? Как не стыдно. Сашка! Не приставай, чего тебе нужно от меня! Чего вы пристали?

В ответ кто-то из ребят громко рассмеялся.

— Я не придавала этому значения, — продолжала Марченкова. — Подумала: просто балуют, — и легла спать.

Наверное, для постороннего и спокойного слушателя в этом рассказе не было ничего сенсационного.

Ведь даже если поверить тому, что Марченкова действительно слышала такой разговор и именно 17 июня 1965 года и по голосу правильно опознала Марину, то никто из мальчиков — ни Саша, ни Алик — не отрицал, что 17 июня вечером они вместе с Мариной проходили мимо этого дома. Они в первый же день рассказали об этом матери Марины и следователю. Само содержание разговора, переданное Марченковой, тоже ни в чем не уличало ни Сашу, ни Алика. Ведь Марина не плакала, не звала на помощь, хотя шли они по главной улице деревни, где в каждом доме люди, готовые прийти на помощь. Слова же «Алька (или Сашка), отстаньте!» могли быть реакцией на любую мальчишескую шутку.

Именно так рассудил прокурор района, к которому на следующий же день обратилась Александра Костоправкина с заявлением, что они сами нашли убийц Марины, что преступники Саша Кабанов и Олег (Алик) Буров.

Тогда возмущенная Костоправкина обратилась с жалобой в Москву — в прокуратуру Московской области.

Вскоре ей сообщили, что расследование дела о гибели Марины передано в прокуратуру Московской области и поручено опытному следователю Юсову.

Довольно высокого роста, худой. Удлиненный овал бледного лица. Больше всего бросаются в глаза большие очки на подслеповатых маленьких глазах — почти щелочках — и длинные тонкие губы.

Юсов принял Костоправкину незамедлительно. Внимательно выслушал. Особенно подробно расспрашивал о рассказе Марченковой. А прощаясь, заверил ее, что теперь все будет по-другому. Дело на особом контроле в ЦК КПСС (реакция на письмо писателей), куда он должен докладывать о результатах расследования. Он найдет преступников, чего бы это ему ни стоило.

22 июня 1966 года Саше Кабанову исполнилось 16 лет — возраст, который дает ему право на получение паспорта.

Все необходимые справки уже сданы в паспортный стол милиции. Назначен и день получения паспорта — 31 августа.

Оделся в специально купленную к этому дню новую рубашку, в тщательно отутюженные матерью брюки и уехал. А дома к его возвращению уже готовят праздничный обед — вот еще один сын стал взрослым. Старший сын женат, живет отдельно; второй служит в армии, дочь Леночка тоже уже работает, теперь недолго остается и Саше до армии.

Семья Кабановых большая и очень дружная и, главное, непьющая, что редко в деревне.

Уже собрались все, ждут только Сашу. Внезапно в дом входят двое. Один — знакомый инспектор местной милиции. Второго видят впервые — высокий, худой, в больших очках, с плотно сжатыми тонкими губами на бледном лице. Представляется новым инспектором Отдела народного образования.

— Завтра первый день учебы. Вот и пришел познакомиться с Сашей, старшекласником.

Расспрашивал родителей о том, как Саша учится, где делает уроки, помогает ли матери по хозяйству. Разговаривал инспектор вежливо и доброжелательно. Пришедшего Сашу тоже расспрашивал про учебу, о книгах, которые читает, просил показать уже приготовленные к завтрашнему дню новые учебники и тетради. Поблагодарил за приглашение к обеду, но — некогда. Нужно обойти все дома, в которых живут старшекласники. Может, Саша поможет ему — проводит до ближайшего дома, и тут же вернется, не опоздает к обеду?..

Так они вышли: новый инспектор, Саша и работник милиции.

Только через час Сашиной маме расскажут, что Сашу и Алика увезли на милицейской машине. А через 4 дня, после долгих поисков и волнений — ведь куда и кто увез детей, никому не известно, — родители наконец узнают, что один из них содержится в камере предварительного заключения города Звенигорода, а другой — в камере предварительного заключения поселка Голицыно и что задержаны они по постановлению старшего следователя прокуратуры Московской области Юсова.

На следующий же день матери Бурова и Кабанова поехали в Москву в прокуратуру.

В кабинете на втором этаже за столом сидел человек с бледным вытянутым лицом, в больших очках, с плотно сжатым и длинным ртом. Но он уже не улыбался приветливо, не спрашивал о том, где и как мальчики готовят уроки. Он в своей подлинной и настоящей роли. Не инспектор Отдела народного образования, а старший следователь Юсов.

Сухо, сдержанно отвечает он на вопросы пораженных этой встречей родителей. Он уверен, что Алик и Саша убили Марину, но обвинения им еще не предъявлял. Иронически выслушивает заверения матерей, что их дети ни в чем не повинны. Сколько таких заверений и по скольким делам ему уже приходилось выслушивать! Все это привычно и скучно. Когда закончится дело, еще неизвестно; когда можно пригласить адвоката, тоже еще неизвестно. Он обязательно предупредит об этом родителей. Дети без адвоката в советской стране не останутся. Все будет по закону.

Конечно, никакой переписки — это строжайше запрещено; и он, Юсов, этого никак позволить не может.

И опять идут дни, а Алик и Саша по-прежнему в камерах предварительного заключения. И родители не жалуются. Они ведь не знают, что максимальный срок содержания в таких условиях — 3 дня и что еще 3 сентября Юсов получил письменное предписание прокурора о переводе мальчиков в московскую тюрьму, которую называют поэтически «Матросская тишина» (по названию улицы, около которой она расположена) и которая теперь официально именуется «Учреждение № 1».

6 сентября перед концом рабочего дня на работе у Лены Кабановой (сестры Саши) раздался телефонный звонок. Незнакомый приятный голос.

— Леночка, это говорит следователь Юсов. Здравствуй, Леночка. Я решил, хотя и не положено это, передать тебе письмо от Саши. Встретимся через час в вестибюле метро.

Юсов передал Лене запечатанный конверт. Сказал:

— Вскроешь дома, при родителях.

Значит, скорее на вокзал, успеть на электричку — следующая только через час. А потом от станции Баковка почти бегом эти километры по лесной дороге, бегом по лавам и главной улице, мимо волейбольной площадки, и, вбежав в дом:

— Письмо от Саши! Юсов передал письмо от Саши!

Какое это счастье — весть от сына, первая весть от ее ребенка, которого увезли тайно, даже не дав попрощаться, перемолвиться словом.

Вскрыли конверт. Письмо на одном небольшом листке бумаги:

Дорогие мама, папа, Леночка, и братья, и тетя Маруся. Обо мне не беспокойтесь, со мной обращаются хорошо. Я рассказал, что мы с Алькой совершили с Мариной. Изнасиловали ее, а потом утопили. Пришлите мне, пожалуйста, чистые трусы и сухарей побольше. Следователь Юсов обещал все передать.

Простите меня. Наверное, скоро увидимся.

Ваш сын Саша. 6 сентября 1966 г.

Много позже Сашина мама Клавдия Кабанова рассказывала мне, что, прочитав письмо, даже не плакали. Сидели все молча, ни о чем не разговаривали. Не думали ни о чем — полная пустота отчаяния.

А заговорили — ни один из них ни на минуту не допустил, что написанное Сашей — правда.

Узнав этих людей, я верила, что так и было. Эти совершенно необразованные, простые люди всегда поражали меня той благородной сдержанностью, с которой они переносили свалившееся на них горе. За два с половиной года моего участия в деле Алика и Саши в одних только судебных заседаниях допросили более 100 человек — жителей Измалкова, дачников, которые в это лето были там на отдыхе, учителей школы, где учились дети.

Из всей этой массы взрослых свидетелей только два человека выделялись благородством поведения, полным отсутствием жестокости и вульгарности. Это была учительница старших классов Волконская и мать Саши Клавдия Кабанова. Как сумела она, родившая и воспитавшая шестерых детей, вырастившая их в тяжелых условиях русской деревни, работая с утра до ночи по хозяйству и в совхозе, — как сумела она не ожесточиться, держаться всегда с таким достоинством? Как сумела она внушить к себе уважение не только детям, которые беспрекословно слушались ее, но и всем односельчанам? Как сумела сохранить внешность и легкую поступь настоящей русской красавицы? И пепельные, почти без проседи, волосы и удивительную прозрачность светло-голубых глаз?..

Клавдия — несомненная глава семьи, но она никогда не приказывает, даже просит редко. Как-то все сами знают, что нужно сделать и как правильно поступить. Сашин отец работал шофером грузовика в Москве. Домой приезжал поздно вечером. С семьей, с детьми — только по воскресеньям.

Поздно вечером того же 6 сентября в дом к Кабановым пришла задыхающаяся от быстрой ходьбы мать Алика. Сразу закричала, заплакала. Оказывается, Юсов передал письмо не только от Саши, но и от Алика. Теперь обе семьи вместе читали и перечитывали эти письма.

Вот письмо Алика:

Дорогие мама, папа и Галя. Обо мне не беспокойтесь. Меня никто не обижает. Я рассказал следователю, что мы с Сашкой изнасиловали Марину, а потом бросили ее в пруд. Пришлите мне новую фуражку и побольше сухарей. Следователь Юсов разрешил передать. Простите меня.

Ваш сын и брат Алик. 6 сентября

7 сентября с самого утра Клавдия Кабанова уехала в Москву. Надо купить продукты для передачи детям — и Алику и Саше.

Уже днем с двумя сумками добралась до прокуратуры. Но передать ничего не удалось. Юсова в прокуратуре нет и сегодня не будет.

Так вместе со всем закупленным вернулась домой в деревню.

И опять новость. Днем в деревню привозили Алика. Он шел через всю деревню от волейбольной площадки до пруда. Рядом, не отступая ни на шаг, шел следователь Юсов. По бокам — работники милиции со сторожевыми собаками. Сзади несколько незнакомых мужчин (понятые) и человек с кинокамерой.

Сбежались все, кто был в деревне, — взрослые и дети. Они сами слышали, как Алик неторопливо и удивительно спокойно показывал дорогу, по которой шел с Мариной от площадки по главной улице, мимо «санаторского» дома, мимо дома Акатовых.

Здесь, у последнего дома Богачевых, они с Сашей пристали к ней, заломили назад руки. Она пыталась закричать — заткнули ей рот новой фуражкой Алика. (Той, которую он просил прислать в передаче.) Протащили ее немного по тропинке в яблоневый колхозный сад и повалили под деревом.

По предложению следователя, не задумываясь ни на минуту, показал дерево, под которым он первым изнасиловал Марину. Потом насиловал Сашка, а затем задушил ее. Тогда они взяли ее за руки и за ноги и потащили к берегу пруда. Пошел к берегу (все снималось ки-

нокамерой) и указал место, с которого, раскачав труп Марины за руки и за ноги, бросили его в пруд.

Рассказывал и показывал это не только спокойно, но как-то совершенно не смущаясь присутствовавших соседей, взрослых и детей. Все стояли молча, потрясенные этим страшным рассказом, с чудовищными подробностями насилия, с бесстрастным, безо всякого волнения и сожаления описанием убийства. И даже, когда уже вели назад к машине, прибежавшая Александра Костоправкина — мать Марины — кричала: «Убийца! Негодяй! Растерзать тебя мало!» И тут Алик оставался спокойным.

9 сентября рано утром в Измалково приехал работник милиции и пригласил родителей мальчиков — Марию Бурову и Клавдию Кабанову — поехать с ним в Звенигородское отделение милиции, где их ожидает следователь Юсов.

Взяли с собой припасенные ранее продукты для передачи и поехали. В кабинет к Юсову их не пустили — просили ждать в коридоре, но передачу взяли немедленно. Ждать пришлось очень долго, несколько часов. Наконец Юсов, а с ним и какой-то высокий плотный мужчина подошли к ожидавшим Кабановой и Буровой, и Юсов представил:

— Вот ваш защитник — адвокат Борисов. Сейчас я в его присутствии допрашивал ваших сыновей. Я предъявил им обвинение по статье 102 Уголовного кодекса в убийстве. Можете сейчас побеседовать с товарищем адвокатом.

Это было совершенно неожиданно. Советуясь друг с другом, Бурова и Кабанова уже решили пригласить двух адвокатов — для каждого из сыновей отдельно и, что главное, из Москвы. Почему следователь, который всего несколько дней назад говорил, что к защитнику обращаться еще рано, что он их обязательно предупредит, когда наступит время, вдруг сам назначил для Алика и Саши адвоката? Как бы предчувствуя эти вопросы, Юсов тут же добавил:

— Да вы не волнуйтесь. Товарищ Борисов очень опытный адвокат, и не просто адвокат, а заведующий консультацией. Вы можете ему полностью довериться, а мне пора, уже поздно, поговорим в другой раз.

Беседа с адвокатом Борисовым тоже не отняла много времени.

— Мальчики во всем признались. Они совершили это по глупости. Нет, вы не сомневайтесь. Они действительно виноваты, — не были бы виноваты, не признавались бы. Нет, их никто не бил. Следователь Юсов очень хороший человек, к ребятам относится хорошо. Да что вы так волнуетесь?.. Ведь они несовершеннолетние, их не расстреляют — посидят несколько лет, и все. А сейчас поедем в консультацию. Вам нужно уплатить деньги в кассу за мою работу.

Входя к нему в небольшой кабинет, заметили на дверях табличку: «Заведующий Юридической консультацией Борисов А.С.». Значит, Юсов не обманул — действительно опытного адвоката выбрал для мальчиков.

Сашу привезли в деревню 10-го утром. И опять сбежались все. И опять шли за Сашей и рядом с ним идущим Юсовым, и милиционерами с собаками, и понятыми, и человеком с кинокамерой.

И вновь тот же рассказ, такой же бесстрастный и спокойный, с теми же ужасающими подробностями. Только Саша сказал, что Марину он не душил. Наверное, сама задохнулась — ведь Алик крепко закрыл ей рот кепкой, как кляпом. И уже не только Александра Костоправкина, но и вся толпа кричит: «Убийца! Негодяй!»

А Саша, не поворачивая к ним головы, так же медленно продолжает рассказ.

Прямо из Измалкова Сашу отвезли опять в камеру предварительного заключения в Звенигород и там допросили в присутствии учительницы, которую он любил и уважал, — учительницы Волконской. Тот же спокойный рассказ, те же подробности, ни больше ни меньше.

А дальше каждый день допросы всех тех, кто видел детей 17 июня 1965 года на волейбольной площадке; девочек, которые играли в волейбол и с которыми потом гуляли. И у всех спрашивали время.

В котором часу начали играть? До которого часа играли? Сколько минут шли до дома? Через сколько времени пришли Алик и Саша?

Для допросов вызывают уже в Москву — 17 сентября Алик и Саша переведены в тюрьму для несовершеннолетних.

Нина и Надя Акатовы, Ира Клепикова, Лена Кабанова (сестра Саши) — у следователя почти ежедневно. Как и в первые дни после гибели Марины, они утверждают, что от момента их ухода с волейбольной площадки до прихода мальчиков в сад Акатовых прошло не более 15–17 минут.

Но Юсов убеждает их, что они ошиблись, что этого не могло быть. Ведь за 15–17 минут такое преступление совершить невозможно, а мальчики сами признались, что все это было.

— Вы и им не поможете, и себе жизнь портите. Ведь вас могут привлечь за ложные показания, — убеждал Юсов.

(По советскому закону ответственность за дачу ложных показаний несут только по достижении 16 лет. Ко времени допросов только Лене Кабановой было 16, остальным девочкам уголовная ответственность не угрожала.)

Девочки упорствуют. И тогда всем им дают очные ставки с Сашей. И Саша при них спокойно и бесстрастно рассказывает, как и что он и Алик делали с Мариной и как убили ее. При них говорит, что отсутствовали они с Аликом 35 минут. И тут же на вопрос следователя:

— Подтверждаете ли вы показания обвиняемого?

Нина, Надя и Ира ответили:

— Да, подтверждаем.

И только Лена, сестра Саши, ответила на этот вопрос:

— Нет.

Несмотря на запрещения следователя, Лена спросила Сашу:

— Почему ты врешь? Я ведь сама была там, я знаю, что вы пришли через пятнадцать минут.

Но следователь закричал на нее, велел подписать протокол и выйти из кабинета.

Потом внезапно очные ставки прекратились. И напрасно мать Саши и мать Алика просили их тоже вызвать на очную ставку, чтобы хоть раз увидеть сыновей, чтобы хоть раз самим услышать то, что они показывают. Следователь отказывал им и в этом, и в свидании.

Прошло еще очень немного времени, и Юсов сказал, что следствие заканчивается. На этот раз матери категорически заявили, что отказываются от адвоката Борисова, что они хотят, чтобы их детей защищали московские адвокаты, тем более что суд будет в Москве.

Так вступили в это дело адвокаты Лев Юдович и Ирина Козоплянская. Уже от них матери узнали, что Алик и Саша не признают себя виновными, что утверждают, будто бы заставил их признаться следователь Юсов. Что на самом деле они не виноваты.

Узнала об этом и мать Марины. Узнала от Юсова, который объяснил ей, что подкупленные родственниками адвокаты уговорили Алика и Сашу отказаться от показания. Но суд разберется во всем.

В Измалкове почти не осталось нейтральных. Вся деревня включилась в борьбу за возмездие, а значит, против мальчиков. В борьбу против их родителей, которые продолжают верить в их невиновность, и, конечно, против этих продажных и бессовестных адвокатов, которые пытаются выгородить сознавшихся, а значит, бесспорно, виновных преступников.

И уже забыли все, что раньше, до их ареста, считали Алика и Сашу хорошими детьми — Сашу получше, Алика похуже (он грубил взрослым), что никому в голову не могла прийти мысль об их причастности к гибели Марины.

Вот таким было это дело, когда я сказала «согласна» и приняла на себя защиту Саши.

До начала судебного процесса оставалось немногим более двух недель, и я понимала, что все это время должно быть целиком отдано изучению такого сложного дела.

Уже с утра я — в Московском областном суде.

Все складывается на редкость удачно. Я одна в пустом зале. У меня большой стол, на нем два тома дела, листы бумаги, на которых делаю выписки. Тихо. Никто не мешает сосредоточиться.

Открываю обвинительное заключение. 34 страницы густого, через один интервал машинописного текста. Примерно половина обвинительного заключения — длинные цитаты из показаний Алика и Саши, когда они признавали себя виновными.

Еще по дороге, не доходя до колонки, Сашка предложил мне изнасиловать Марину. Я сказал, что не буду. У колонки встретили Марину и вместе пошли к мосту. Прошли двухэтажный санаторский дом и дом Акатовых. Там никого не было. Так дошли до крайнего дома, где живет Богачева тетя Надя. На углу забора стали приставать к Марине, крутить ей руки. Марина сказала, что будет кричать. Я кепкой зажал ей рот, и мы потащили ее к яблоне в совхозный сад. Сашка тащил ее за левую руку, а я левой рукой за правую. В правой руке у меня была кепка, и я этой кепкой зажимал ей рот» (показания Алика Бурова. Том 3, листы дела 84–88).

И дальше еще несколько страниц его показаний с мельчайшими подробностями того, как повалили Марину во втором ряду яблонь, как Сашка держал ей ноги, когда он — Алик — насиловал Марину, как Сашка потом душил ее и как они вместе несли ее труп к пруду.

А потом опять несколько страниц — цитаты из тех показаний Саши, в которых он признавал себя виновным.

Вместе с Аликом от его дома мы пошли к колонке. Там стояла Марина. По пути к Марине Алик предложил изнасиловать ее, и я дал свое согласие. Вместе с Мариной дошли до санаторского дома, и там Алик пристал к Марине. Она сказала: «Отстань», — и мы пошли вниз.

В доме Акатовых никого не было. Пошли дальше. У крайнего дома Богачевых мы остановились, и Алик наскочил на Марину, закрыл ей рот кепкой. Мы взяли ее под руки и пошли к саду» (показания Саши Кабанова. Том 3, листы дела 107–108).

И дальше те же подробности, что и в показаниях Алика. Только утверждает, что, когда кончили насиловать,

Алька сказал Марине: «Вставай». Она не отвечала. Мы пытались ее поднять, но она не поднималась. Алька вынул изо рта Марины кепку. Мы решили, что она умерла, но отчего — не знали, может быть задохнулась. Алька сказал, что ее лучше закопать, чтобы никто не нашел, но потом решили снести в пруд (показания Саши Кабанова. Том 3, листы дела 110–111).

И так страница за страницей. Показания с очень незначительными изменениями, которые кажутся мне совершенно несущественными. Показания, насыщенные деталями, которые выглядят так правдоподобно.

В самом конце третьего тома заявление, написанное детским почерком. Собственноручное заявление Саши.

Я решил рассказать правду, так как я хочу идти в жизнь с чистой совестью. Я совершил преступление, но я за него буду нести ответ, и мне не хочется, чтобы меня мучила совесть за то, что я не раскаялся в этом поступке. Но я в этом поступке раскаиваюсь, и такого больше не повторится, так как это вышло по глупости и по предложению Бурова Алика. Сам бы я до этого не додумался (том 3, лист дела 224).

Все чаще приходит мысль: «А может быть, это действительно они?» Я знаю и Льва Юдовича, и Ирину Козополянскую. Я не верю в то, что они уговорили Алика и Сашу изменить показания — отказаться от признания. Не верю потому, что Лев и Ирина прежде всего порядочные люди, неспособные на такое нарушение своего профессионального долга. Не верю и потому, что оба они опытные и разумные адвокаты, прекрасно понимающие, какие последствия для них неизбежно наступят, если суду станет известно, что изменение показаний обвиняемых — результат воздействия на них адвокатов.

Но я также понимаю, что за те месяцы, которые прошли до суда, оба мальчика получили новый — тюремный — опыт. Что, если я допускаю, что их «признание» было результатом незаконного действия следователя, я не могу исключить и то, что отказ от такого признания явился результатом влияния более опытных сокамерников.

В момент этих размышлений дверь зала открылась, и ко мне подошел человек:

— Здравствуйте, товарищ адвокат. Узнал, что вы читаете дело, и решил зайти познакомиться с вами. Вы ведь раньше в моих делах не участвовали. — И представился: Судья Кириллов.

Кириллов сравнительно молодой член Московского областного суда. Адвокаты, которым довелось участвовать в делах под его председательством, неизменно отмечали его ум и правовую образованность, но одновременно — жесткую, почти деспотическую манеру ведения процесса. Говорили и о том, что он часто бывает резок и даже груб по отношению к адвокатам.

То, что он пришел специально знакомиться со мной, приятно удивило. Такой традиции в московских судах не существовало. Чаще бывало, что знакомый судья, у которого ты уже много раз выступал, проходит мимо, даже не повернув голову в твою сторону.

А Кириллов продолжал:

— Я рад, что вы будете участвовать в этом деле. Дело очень интересное, но очень тяжелое. Не правда ли, товарищ Каминская, это очень тяжелое дело?

— Я думаю, что всякое дело об убийстве — тяжелое. А тут еще и обвиняемые — подростки. Конечно, дело тяжелое.

— Это, конечно, так, товарищ адвокат. Но ведь в этом деле много особенностей. Так сказать, борьба за честь прокуратуры и за честь адвокатуры. Ведь кто-то научил этих мальчиков или ложно признаться в том, чего они не совершали, или, отказавшись от неправильных показаний, оклеветать следствие.

— Честь следователя Юсова — еще не честь прокуратуры, равно как и поведение адвоката Козополянской — это еще не поведение адвокатуры.

— Ну, тут, товарищ адвокат, вы меня неправильно поняли. Но дело очень, очень тяжелое. Вы уже смотрели первый том? Нет? Обязательно посмотрите, хотя бы бегло, перед тем как ехать в тюрьму. Вы, кстати, когда собираетесь поехать на свидание?

— Завтра с самого утра. Как раз хотела идти вас разыскивать, чтобы получить разрешение. Вот и заявление у меня уже готово.

Внезапно лицо Кириллова каменеет. И совершенно жестким, не допускающим возражения тоном он говорит:

— Сегодня я вам разрешения не дам. В тюрьму вы завтра не поедете. Приезжайте завтра к концу рабочего дня, и я вам дам разрешение. Послезавтра вы можете ехать на свидание.

Такого в моей практике еще не было. Право адвоката на свидание с подзащитным до суда в любое удобное адвокату время соблюдается всегда. Единственное ограничение — это часы работы тюрьмы. Никогда ни один судья не интересовался вопросом, в какой день или в какой час адвокат поедет к своему подзащитному.

Я мгновенно решаю, что добьюсь этого разрешения обязательно и именно сегодня. Если отказ в нем — результат простого самодурства, мне важно, чтобы судья понимал, что я умею отстаивать свои права. Иначе такой судья, чувствующий податливость адвоката, будет бесконечно снимать важные вопросы, безмотивно отказывать в удовлетворении существенных ходатайств. Если же за этим скрываются какие-то более серьезные причины, то мне необходимо самой решать, как правильнее поступить.

Поэтому, как мне кажется, тоже достаточно жестким и непреклонным тоном я отвечаю:

— Вы ошибаетесь, товарищ Кириллов. В тюрьму я поеду именно завтра. Так мне удобно. И никто не вправе мне в этом препятствовать. Поэтому прошу вас сейчас же подписать разрешение на свидание. Вы знаете, что это — мое право и что ваш отказ незаконен.

— Я не собираюсь обсуждать с вами, что законно и что незаконно. Завтра получите разрешение.

И вот я в кабинете у заместителя председателя Областного суда Черноморца. Он знает меня, я выступала у него по многим делам. Встречает меня приветливо. Выслушивает внимательно.

— Это какое-то недоразумение, товарищ Каминская. Не волнуйтесь. Сейчас я поговорю с Кирилловым и выясню. Никто в нашем суде не собирается ущемлять ваших прав.

Выхожу в приемную. 5 минут. 10 минут. 15 минут. Наконец меня вызывают в кабинет.

— Товарищ Каминская, ну почему вам нужно ехать именно завтра? Перенесите свидание на любой другой удобный для вас день. Мы вот с товарищем Кирилловым договорились, что он подпишет вам сегодня разрешение, но только дату на нем поставит послезавтрашнюю. Так что вам даже специально заезжать за разрешением не придется.

Черноморец явно смущен.

— Пока я не пойму, почему меня ограничивают в возможности свидания, я не изменю своего решения и требую разрешения сегодня же.

— Понимаете, товарищ адвокат, вы только, пожалуйста, не обижайтесь. Мы лично против вас ничего не имеем. Но вы знаете, что адвокатура в этом деле как-то уже скомпрометирована. Судья должен проявлять осторожность и предусмотрительность...

Я слушаю его и ничего не понимаю. Если мне не доверяют, то почему это недоверие распространяется только на завтрашний день?

— Скажите мне прямо, почему судья не хочет, чтобы именно завтра у меня было свидание с моим подзащитным?

И опять так же смущенно Черноморец говорит:

— Кириллов уже подписал на завтра разрешение адвокату Юдовичу. Он считает нецелесообразным, чтобы вы и он в один день были в тюрьме.

По правде говоря, такое объяснение было для меня полной неожиданностью. Оно не приходило мне в голову прежде всего потому, что было нелепо. Судья прекрасно знал, что обвиняемые, арестованные по одному делу, содержатся в тюрьме в условиях полной изоляции друг от друга. Будем мы с Юдовичем в тюрьме в одно время или в разное, администрация тюрьмы организует наши свидания таким образом, чтобы Алик и Саша даже не видели друг друга. Значит, судья, возражая против нашего, как он считал, одновременного свидания, боялся контактов между адвокатами. Пытался таким, явно несостоятельным способом помешать нам выработать совместную тактику защиты.

— Так чего же вы, собственно, опасаетесь? Моей встречи с Юдовичем? Его влияния на меня?

Черноморец молчит.

— В тюрьму я поеду завтра. И я хочу, чтобы вы четко понимали — если я найду нужным влиять на подзащитного, я в состоянии это сделать сама. Если я найду целесообразным обсудить свою позицию с Юдовичем, я это сделаю сегодня и сделаю это дома, а не в приемной тюрьмы.

Черноморец протягивает руку:

— Давайте мне ваше разрешение, я сам его подпишу. Действительно, какая-то глупость.

И вот я опять в зале судебного заседания. Сажусь за стол,двигаю к себе первый том.

Открываю.

Большая, во весь лист фотография. Одно лицо крупным планом. Смотрит оно прямо на меня. Смеющееся лицо. Яркие, блестящие глаза. Выражение такого бесхитростного счастья. Это девочка. Это Марина.

Я медленно поворачиваю страницу.

Опять фотография. Страшный вздувшийся труп. Обезображенное черное лицо. Какие-то остатки одежды прикрывают верхнюю часть того, что когда-то было телом.

Это тоже Марина.

И опять мысль: «А может, это действительно они? И я буду помогать им? Помогать совсем уйти от ответственности, избежать всякого наказания за это? Это ужасно».

Поздно вечером мне домой позвонил Лев Юдович.

— Ну как, смотрела дело?

По моему тону он чувствует, в каком я состоянии.

— Дина, это пройдет, — говорит он. — Пройдет, как только ты поговоришь с Сашей, когда начнешь по-настоящему читать дело. Поверь мне. Я был в еще большем отчаянии.

И Лева рассказывает мне, как по предложению Юсова он начал знакомиться с делом с прослушивания магнитофонной записи признания мальчиков и проведенной после этого очной ставки между ними.

— Это было так страшно, — говорит он.

Я верю ему. И хотя я только читала эти показания, но и у меня в ушах стоят эти никогда не слышанные мною голоса.

— Это Сашка предложил. Я не хотел, я только потом согласился. Сашка душил ее, а я стоял в стороне.

— Предложил Алик. Зачем ты на меня наговариваешь? Ведь ты предлагал, а я по глупости согласился. Ты врешь, что я ее душил. Никто ее не душил. Отчего она умерла? Не знаю я, отчего умерла. Откуда мне знать. Может, и задохнулась, а может, еще от чего.

Мне кажется, что два затравленных зверя бросаются друг на друга в надежде отвоевать себе кусочек снисхождения. Весь эмоциональный накал, вся страстность только в споре за второе место.

На следующий день с самого утра еду на свидание с Сашей.

В тюрьме мне достался кабинет № 30. Он в конце коридора, большой, светлый — окна выходят на улицу. В нем удобно работать — большие столы, в ящиках которых тут же предусмотрительно прячу бутерброды и шоколад, которыми нас всегда снабжают родственники. (Может, удастся покормить во время свидания. Конвой на это смотрит снисходительно. Лишь бы в камеру с собой ничего не уносили.)

Вводят Сашу.

Как сейчас отслоить то первое впечатление от всех последующих? От времени, когда уже знала его, когда его лицо казалось мне милым и привлекательным, когда, разговаривая со мной, он научился улыбаться.

Саша высокого роста, черноволосый, черноглазый. Тюремная куртка ему мала — из-под коротких рукавов торчат покрасневшие от холода руки. На ногах грубые рабочие ботинки. Ботинки без шнурков (запрещенных тюремными правилами), а потому болтаются на ногах. Брюки тоже короткие. Весь он такой нескладный, угловатый. Смотрит на меня исподлобья. Я рассказываю ему о родителях, о брате, о сестре. Все подробности, которые специально узнавала для него. Знала, как ждет этих вестей — ведь после свидания с Ириной Козополянской прошло уже более двух месяцев. За это время ни свиданий, ни писем.

Но этот разговор нужен не только Саше. Это и для меня время, когда могу как-то приглядеться к нему. Привыкнуть к его манере говорить, выражать свои мысли. Это время необходимо, чтобы установился какой-то личный контакт, без которого не начинаю основного разговора о деле.

Саша говорит очень медленно, почти не поднимая головы. Предлагаю ему бутерброд, шоколад — отказывается. Когда я закурила, попросил у меня сигарету.

— Только маме не говорите, она расстроится.

Вдруг прерывает свой рассказ.

— А вы Козополянскую знаете?

— Знаю. Она просила передать тебе привет.

— Я понимаю, что она теперь защищать меня не будет. Мне так стыдно перед ней.

Я рада, что он произнес именно это слово — стыдно. Не так уж часто приходится слышать его в тюрьме. Но я молчу, ничего ему на это не отвечаю. И Саша опять рассказывает о том, как жил, как учился, сколько дел было по дому — ведь, когда он не в школе, все заботы о младшем братишке на нем. И о том, как любил животных — и собак, и кошек, и кроликов, и птиц. И что дома у него остались его любимые котенок и собака. Нет, собака не породистая, просто дворняга, но очень умная, все понимает. Наверное, скучает без него.

И опять молчит.

И потом без всякого перехода:

— Неужели вы тоже верите, что я этими руками душил Маринку?..

Его красные, обветренные руки ладонями вверх лежали на столе, и он пристально разглядывал их.

Как искренне он произнес эти слова! Мне так хочется верить ему. Но в ушах теперь уже его голосом звучат слова:

Алик предложил изнасиловать ее, и я дал свое согласие... Алик сказал, что ее лучше закопать, чтобы никто не нашел, но потом решили снести в пруд.

И тогда, вместо ответа, я прошу его рассказать все, что с ними случилось в тот вечер 17 июня, в вечер гибели Марины.

Я говорю ему, что мне сейчас совершенно неинтересно, что он говорил Юсову или другим следователям, почему признавался и почему отказался потом. Я просто хочу услышать от него самого, как они играли, как шли к пруду, как расстались с Мариной.

— Только, пожалуйста, — прошу я, — рассказывай очень подробно, старайся вспомнить все мелочи. О чем говорили по дороге, встречался ли кто-либо вам по пути. Старайся все вспомнить и все рассказать.

И опять очень медленно, с паузами после каждого слова, начинает он рассказывать этот день с самого утра. Скажет фразу и молчит. Каждую следующую фразу начинает:

— Ну вот, значит...

Уже скоро двенадцать, а он еще рассказывает о том, как днем ходил в магазин, и что купил, и как потом ходил к тете Марусе за молоком.

Что, если так же медленно он будет говорить в суде?

Я уже представляю себе раздраженные реплики прокурора и даже судьи.

— Ну, чего ты резину тянешь! Наверное, когда договаривался о преступлении, умел говорить быстро, а теперь, видите ли, он не умеет! — таким слышался мне воображаемый голос прокурора.

Или:

— Так мы твое дело за три месяца не рассмотрим. Говори быстрее (это уже судья).

Я обязательно должна научить его говорить хоть немного быстрее и без постоянных «ну вот, значит» или «значит, так».

Но в тот день я не торопила его, не задавала никаких вопросов. Только когда он кончил свой рассказ, я спросила:

— Ты сказал, что, после того как Марина ушла от вас, вы не сразу вернулись к дому Акатовых, а минут десять стояли за санаторским домом. Почему ты и Алик сначала показывали, что пошли к клубу?

— Мы к клубу не ходили.

— Но почему же вы оба на первом допросе сказали, что пошли к клубу?

Саша молчит.

— Ты должен мне это объяснить. Если ты мне не скажешь, как я смогу помочь тебе?

— Ну вот, значит. Мы договорились так сказать девчонкам, если спросят, почему задержались, а потом — раз им так сказали, то и следователям это же говорили.

— А почему вы не хотели сказать девочкам, что были за санаторским домом?

И опять после паузы, после «значит, так»:

— Мы пошли за санаторский дом, за сарай и там курили. Я не хотел, чтобы об этом узнали девчонки, и Лена там тоже была. Она бы маме нажаловалась.

— Дома не знали, что ты куришь?

— А я и не курил тогда, только попробовал. Это я теперь курю, но мало. Мама ведь не знает, не передает мне сигарет. Вы тоже маме не говорите, она очень расстроится. Лучше уж так, без сигарет. Да и товарищи меня угощают, мне хватает.

Мы заканчиваем наше свидание. Наверное, Саша ждет, что я ему скажу, что поверила, что теперь вижу, что он ни в чем не виноват. Но вместо этого я говорю ему:

— Ты уже около шести месяцев под стражей. Я понимаю, что это такое, как это трудно. Я буду помогать тебе. Я знаю, что за это время тебе давали много советов. Кто-то советовал тебе говорить неправду. Не будем сегодня говорить — кто. Наверное, тебе говорили и о том, что если расскаешься — тебе дадут меньше. Не думай сейчас об этом. Я уверена, что ты можешь защищаться только правдой. Не только потому, что считаю, что всегда нужно говорить правду. В суде тебе будут задавать очень много вопросов судья и прокурор, и общественный обвинитель, и мать Марины, и мы — адвокаты. Заранее предусмотреть все эти вопросы невозможно. Тебя будут ловить на каждом мелком противоречии, тебе будут обещать снисхождение, если ты признаешься, и угрожать суровым приговором, если ты не будешь признавать себя виновным. Обдумай все это. Пойми и другое. Есть люди, которые умеют хорошо лгать. Они хорошо ориентируются, быстро понимают, как выгоднее ответить на вопрос. Я тебя слушала очень внимательно и вижу, что ты с этим просто не справишься. Тебя запугают и собьют очень быстро.

Я еще не знаю твоего дела и не даю тебе сейчас никаких советов, кроме одного. Подумай серьезно над тем, что я тебе сейчас сказала.

— Я уже обо всем этом думал. Я вам действительно говорю правду. Мы этого не делали.

Я ехала в переполненном вечернем автобусе, потом в переполненном метро, потом опять в автобусе и не замечала ничего вокруг себя. У меня перед глазами было Сашино лицо, его жест, когда он протянул и положил на стол руки. «Неужели вы тоже не верите, что я этими руками...»

И уже затих, почти совсем замолчал тот внутренний голос, который напоминал мне страшные подробности признания.

Каждому адвокату очень важно искренне верить в то, что ему предстоит отстаивать в суде. Наверное, именно поэтому мы так охотно верим нашим подзащитным.

Сила убедительности защитительной речи основывается, конечно, в первую очередь на анализе доказательств, на непогрешимости аргументации. Но составной частью ее воздействия являются и манера говорить, и жест, и то, как стоишь перед судом, как смотришь на него. Вот почему защитительная речь — это всегда устное творчество.

Ораторский стиль речи может быть очень различен. Даже один и тот же адвокат, если он действительно хороший оратор, должен интуитивно подчинить свою манеру изложения аргументации особенностям конкретного дела. Но, конечно, каждый адвокат имеет свой индивидуальный, органически ему присущий стиль.

Я говорю очень просто — так я умею и так мне нравится.

Я действительно «люблю обычные слова, как неизведанные страны» (это строка из стихов любимого мною современного поэта Давида Самойлова), и уверена, что простыми словами можно выразить и самую сложную мысль, и самое тонкое чувство. Но такая манера речи — лишенная всяких украшений — не терпит фальши. Ее просто нечем скрыть.

Это, конечно, не значит, что эту фальшь от внутренней неубеденности почувствует каждый сидящий в зале или даже судья. Нужно иметь чуткое ухо, чтобы ее уловить. Но мне кажется, что я этой способностью обладала. И не только оценивая речи моих коллег, но и, что гораздо важнее, оценивая свои речи. У меня наступало какое-то странное ощущение, когда я вдруг начинала слышать собственный голос как бы в пустом зале. Знаешь, что это именно твой голос, но он отдельно от тебя, живет своей собственной чужой жизнью. Это случалось не часто. Только тогда, когда не было искренней убежденности в нравственности моей позиции.

Принимая на себя защиту Саши, я хотела не только поверить ему. Мне была необходима абсолютная убежденность в его невинности. В правоте, а следовательно, и в нравственности той позиции, которую мне предстояло отстаивать. Слишком тяжким по нравственным критериям любого общества было то преступление, в совершении которого он обвинялся.

Потянулись дни подготовки к делу. Каждый документ, каждое свидетельское показание я оценивала сначала как прокурор. Пыталась дать им наилучшее для Саши объяснение. А потом сама же опровергала его, игнорируя при этом полностью показания Алика и Саши.

И с каждым днем я все больше и больше убеждалась, что единственным доказательством их вины в этом деле было признание.

Задачей защиты было не только показать, что это признание не подкреплено, как этого требует закон, другими бесспорными доказательствами вины. Необходимо было еще и убедить суд, что содержание этого признания, те детали, которые в нем имеются, не соответствуют реальным и объективным фактам, сопутствовавшим преступлению.

В тех условиях, в которых оказалась защита, эта задача была не просто трудной, она была почти невыполнимой.

Ведь бесспорными, существующими вне зависимости от показаний Алика и Саши были только следующие обстоятельства:

1. Совместная игра с Мариной в волейбол, время окончания которой не было точно установлено.
2. Тот факт, что после окончания игры подростки разделились на две группы.
3. Что девочки-сестры Акатовы, вместе с Ирой Клеповой и Леной Кабановой, а также трое солдат ушли вперед.
4. Что Алик, Саша и Марина Костоправкина задержались в деревне.
5. Что Алик и Саша пришли через какое-то время без Марины в дом Акатовых.
6. Что Алик, Саша и девочки пошли гулять по Генеральскому шоссе.
7. Что Марина Костоправкина не вернулась домой.
8. Что 19 июня была найдена в овраге ее кофта.
9. Что 23 июня был обнаружен ее труп.
10. Что по заключению экспертизы она попала в воду живой и утонула.

Все остальное, что приводилось в обвинительном заключении как «объективные обстоятельства» гибели Марины, целиком взято из показаний мальчиков.

Если, признавая себя виновными, они говорили правду, то содержание их показаний правильно отображало реальные обстоятельства гибели Марины.

Но если они говорили неправду?

Как доказать суду, что показания Алика и Саши противоречат действительным обстоятельствам гибели Марины, когда эти действительные обстоятельства никому не известны?

Решаем поехать «на место».

Проехали по Генеральскому шоссе, потом свернули к магазину в писательский поселок Переделкино. Спустились к берегу. Вот они, лавы. Длинный, узкий деревянный мост. А прямо от него вверх «главная улица» — дорога к спортивной площадке. Направо от крайнего дома Богачевых, сразу за ним начинается то, что в обвинитель-

ном заключении названо фруктовым садом, — несколько рядов далеко стоящих друг от друга яблонь.

Мы увидели, как все там было почти вплотную. Вторая яблоня от края, под которой, по обвинительному заключению, была изнасилована Марина, и дом Богачевых, и дом Акатовых, и главная улица, и пруд, и сад.

Как тут подсчитаешь время, которое надо было затратить, чтобы пройти от санаторского дома до совхозного сада? Мне понадобилось 4 минуты, Леве — 3.

Так и следователь считал, когда доказывал, что у мальчиков было достаточно времени на убийство. От санаторского дома 3–4 минуты, от совхозного сада до пруда — 2 минуты, от пруда до дома Акатовых — 5 минут.

Остается 30 минут. А этого совершенно достаточно, пишет следователь, чтобы за это время по очереди изнасиловать Марину, задушить ее, перетащить ее труп к берегу и, раскачав его держа за руки и за ноги, сбросить с высокого берега в реку.

И действительно, поди знай, достаточно или недостаточно было этих минут для четырнадцатилетних мальчиков, чтобы совершить все это, вернуться к своим подругам и через 30 минут, громко распевая веселую песню, идти гулять по Генеральскому шоссе.

Фактору времени как косвенному доказательству вины мальчиков следователь придавал первостепенное значение. Значит, и мы — адвокаты — должны проанализировать, по крупицам собрать все сведения о времени окончания игры в волейбол до момента возвращения Саши и Алика в дом Акатовых.

Ведь никто в тот день 17 июня по минутам время не фиксировал. Все называли его приблизительно.

«Закончили игру в 22 часа 40 минут». «Закончили игру в 22 часа 35 минут».

«Закончили игру в 22 часа 45 минут».

Какое из этих показаний суд возьмет за отправную точку? Если 22 часа 45 минут, — значит, не они. Если 22 часа 35 минут, — у них было совершенно достаточно времени...

Строго по закону суд должен избрать наиболее выгодный для Саши и Алика вариант расчета — ведь всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Но мы с Юдовичем прекрасно понимаем, что на это полагаться не можем. В таком деле мы должны искать и найти бесспорное то, что поставило бы суд перед неизбежностью отказа от «признания» как от достоверного доказательства по делу.

Не менее важно объяснить причины, которые заставили даже не одного, а одновременно двух обвиняемых оговорить себя, признаться в том, чего они фактически не делали. Объяснить так, чтобы у суда не оставалось сомнений, что такие причины действительно были, и в том, что они были достаточно серьезны для самоговора.

Все наши беседы с подзащитными посвящены этому поиску.

— Саша, почему 6 сентября, в тот день, когда ты в первый раз признал себя виновным, ты показал, что изнасиловали Марину на противоположном от совхозного сада берегу пруда?

— Я ведь не знал, где ее изнасиловали. Я показал то место, около которого увидел потом ее труп.

— А почему потом стал говорить, что изнасиловали Марину под второй яблоней в совхозном саду?

— Юсов сказал, что так показывает Алик. Он даже показал мне листок, такой небольшой серый лист, написанный рукой Алика. Вот я и подтвердил.

Я достаю скопированный мною из дела план совхозного сада с нанесенными на нем яблонями и пешеходной тропинкой к берегу пруда. Нахожу вторую по счету яблоню (от дома Богачевой) и прошу Сашу показать путь от этой яблони к тому месту, с которого они, по их показаниям, сбросили тело Марины в воду.

Саша смотрит на меня с недоумением.

— Почему от этой яблони? Я ведь указывал на другую.

И уверенно опускает палец на вторую по счету яблоню, но только с другого конца совхозного сада, с того края, который примыкает к небольшому оврагу и забору руслановской дачи.

— Ты уверен, что показал именно эту яблоню? Ты ведь помнишь, что в совхозный сад вместе с тобой приезжали понятияе. Суд может их вызвать.

— Я точно помню, что я показал именно эту яблоню.

Еще за два дня до этого разговора, читая первый том следственного дела, я обратила внимание на упущение, которое сделал следователь Юсов при составлении протокола выезда на место преступления вместе с Сашей.

Протокол «выезда на место», как его сокращенно называют, — очень важный следственный документ. В нем следователь фиксирует не только, каким путем обвиняемый шел, около какого предмета остановился, на что показывал следователь, но и расстояние, которое отделяет один ориентир от другого.

В аналогичном протоколе выезда с Аликом Буровым Юсов так и записал:

Дошел до дома Богачева. Повернул налево. Через 13,5 метра показал на вторую от дома Богачевых яблоню, находящуюся в 6 метрах по прямой от пешеходной тропы.

В протоколе же выезда с Сашей написано так:

...дошел до дома Богачевых. Повернул налево. По пешеходной дорожке дошел до второй от края яблони и показал на нее как на место, где они с Буровым изнасиловали Марину.

А дальше во всех следственных документах Юсов писал, как нечто бесспорно установленное, что Алик и Саша показали на одно и то же место — под второй яблоней от края — как на место совершения преступления.

Но, хотя я это упущение зафиксировала, в тот момент я вовсе не придавала ему серьезного значения. Я считала, что его можно объяснить простой небрежностью следователя — ведь составлял он этот протокол в тот период, когда Саша признавал себя виновным. А в таких случаях часто документы оформляются небрежно — раз обвиняемый сознался, какие еще доказательства его вины потребуются суду!

Иначе расценил это Лев Юдович, когда я в разговоре с ним упомянула о недостатках этого протокола.

— Ты Юсова не знаешь. Я достаточно наблюдал его, пока знакомился с делом. Он подлец, но он формалист и опытный следователь. За этим что-то кроется. Я уверен, что это сознательная фальсификация.

Сейчас Левины подозрения получили свое первое подтверждение.

На следующий день в суде опять берусь за первый том. Там все фотографии выездов. Кадр за кадром. И волейбольная площадка, и улица с санаторским домом. Вот дом Богачевых. Наконец, фотография Алика. Он стоит боком к яблоне и показывает на нее вытянутой рукой. Яблоня большая, с раскидистыми ветвями, с густой листвой. Только нижние толстые ветви проступают сквозь нее. В глубине на фоне неба — высокий деревянный столб электропередачи.

Саша на фотографии стоит в той же лозе, так же протянута рука. Только яблоня мне кажется меньше, и справа от нее виден в траве пенек от срубленного дерева. Столба электропередачи нет. Но фотография плохая — вся верхняя часть какое-то расплывчатое грязное пятно.

На следующий день с утра берусь за второй том. Несколько дней подряд изучаю его. Юсов запротоколировал показания понятых,

выезжавших вместе с Аликом. Но показаний тех понятых, которые присутствовали при выезде в деревню Саши, в деле не было.

Это уже нельзя было считать оплошностью. Это не могло быть случайностью.

Помимо того, что косвенно подтвердилось, что Саша показал на другое дерево, это свидетельствовало и о большем.

Очень часто следователь выбирает понятых из числа лиц, милиции хорошо известных, состоящих в ее «активе». На таких понятых следователю легко влиять. Они не подведут, когда речь пойдет о каких-то нарушениях, допущенных следователем. То, что Юсов не допросил этих понятых, свидетельствовало, что они были людьми посторонними, влиять на которых он или боялся, или даже не мог. Значит, защита должна ходатайствовать о допросе их в суде. В удовлетворении такого ходатайства суд никогда не отказывает.

По мере изучения дела я находила ряд мелких деталей, которые поначалу казались мне совершенно незначительными. Но наступал какой-то момент, когда подсознательная работа мысли выталкивала такую деталь на поверхность и заставляла думать о ней.

Так, в одном из первых показаний говорилось, что, закончив играть в мяч, подростки пошли к колодцу, чтобы помыть мяч и руки. Следствие учитывало эту подробность при расчете времени — на мытье мяча и рук следователь отпустил им 2 минуты.

Но почему они все-таки мыли руки? И не только руки, но и мяч?

Я знала, что в тот день, 17 июня, была хорошая солнечная погода. Днем дети купались — значит, было жарко. Если бы мяч во время игры попал в какое-то грязное место (а такие места, конечно, в деревне есть), то возникла бы необходимость вымыть мяч. Мыть же руки должен был бы только тот из них, кто этот мяч доставал из грязи. Но руки мыли все.

Значит, я могу допустить, что накануне был сильный дождь. Сильный потому, что, несмотря на жаркую погоду, за день грязь не высохла. Но если грязь не высохла в самой деревне, где ходят люди, где спортивная площадка, то тем более должно быть грязно в совхозном саду и по дороге от сада к пруду. Если на минуту допустить, что мальчики проделали весь тот путь, который им приписывают по обвинительному заключению, они не могли прийти сухими и чистыми в дом Акатовых.

В беседе с Сашей выясняю все эти подробности. Он утверждает, что действительно накануне был сильный дождь. Более того, говорит, что место на берегу пруда, с которого, по версии обвинения, был сброшен труп Марины, всегда очень грязное, болотистое. И еще

Саша рассказывает, что мать Акатовых очень строгая хозяйка и, если бы у него или у Альки были грязные ботинки, она бы их на порог дома не пустила.

Так возникает новое ходатайство, которое суд обычно тоже удовлетворяет, — запросить данные о погоде за дни, предшествовавшие 17 июня 1965 года.

И, конечно, центральное место в наших разговорах занимает вопрос о том, почему же Саша признавал себя виновным.

Саша не жаловался на дурное с ним обращение, на побои, на те действительно необычно трудные условия, в которых он находился до перевода в тюрьму. Условия в камере предварительного заключения были хуже домашних, но они поразили его намного меньше, чем если бы он был городским мальчиком, привыкшим к водопроводу, канализации, горячей воде и другим благам городского комфорта. Как ни трудно было спать на жестких голых, ничем не прикрытых деревянных нарах, есть всухомятку (кухни при камерах предварительного заключения нет), мерзнуть ночью и изнемогать от духоты неветилируемого помещения днем, — но не это заставило его признать себя виновным.

Юсов Саше не угрожал. Он просто поместил с Сашей в камере некоего «дядю Ваню» — взрослого мужчину, который рассказывал Саше об ужасах тюрьмы Московского уголовного розыска — знаменитой Петровки, 38, о том, как там избивают, как издеваются над людьми и сами заключенные, и надзиратели, и следователи.

А Юсов каждый день говорил Саше, что от его признания зависит, в какой тюрьме его будут содержать до суда. Если признается — «Матросская тишина», не признается — Петровка, 38. Более того, Юсов говорил Саше, что если бы он признал себя виновным, то отпала бы необходимость содержать его под стражей до суда.

Дядя Ваня, который находился неотлучно при Саше все дни, вплоть до самого признания, и был переведен из Сашиной камеры, как только Саша подписал протокол этого признания, ежедневно и ежечасно уговаривал Сашу признаться. Признаться не потому, что Саша действительно виноват, а потому, что в его невиновность никто не поверит.

— У тебя нет другого пути, кроме признания, — говорил дядя Ваня. — Если ты не признаешься, тебя переведут на Петровку, 38, и там уже, хочешь не хочешь, придется признаться. И будут еще дальше мстить. И срок дадут больше и потом, когда исполнится тебе восемнадцать лет, отправят в самый далекий и плохой лагерь. Ты будешь среди убийц, которые проигрывают людей в карты, а убить или изуродовать им вообще ничего не стоит.

И дядя Ваня поднимал рубашку и показывал огромный шрам, который проходил от груди через весь живот.

— Видишь, как меня отделали? Чудом спасся.

Каждый день Юсов вызывал Сашу для допроса и спрашивал:

— Ну как, надумал признаваться? Не надумал — иди подумай.

Мне торопиться некуда, я могу и еще подождать.

Когда Саша пытался объяснить, что он действительно ни в чем не виноват, Юсов отвечал, что эти сказки ему слушать не интересно. Что этому он не верит, да и ни один суд не поверит.

И Саша возвращался в камеру. И дядя Ваня вновь начинал рассказывать, как хорошо относится суд к подросткам, которые признают себя виновными. И как мало им дают.

— Если признаешься, дадут тебе не больше пяти лет. А могут и совсем отпустить как малолетку. Дадут из школы хорошую характеристику. И семья у тебя хорошая, трудовая. Вполне могут отпустить.

И так каждый день. Но Саша стоял на своем:

— Не виноват.

Все решило заявление Алика, которое Юсов показал Саше. В этом заявлении Алик писал, что он решил во всем признаться и что совершил преступление, «поддавшись предложению Саши». Саша не знал тогда, что уговорил Алика написать это заявление специально посаженный к нему «дядя Сережа».

— Вот видишь, Саша, — сказал Юсов. — Теперь тебе уж совсем деться некуда. Будешь упорствовать, так Алик все на тебя свалит. Ему все снисхождение — он ведь раскаивается, а тебе все наказание.

И Саша понял, что нужно торопиться.

Теперь уже не было сомнений в том, что прав дядя Ваня, прав Юсов.

— Кто же поверит, что ничего этого не было? Что не насиловали, не убивали? Нужно скорее признаться, чтобы в тот же день, а не позднее, чем Алик. Тогда и ему будет снисхождение. Нужно признаться и сказать, что первым предложил Алька и что он — Саша — Мари-ну не душил. Чтобы не быть главным обвиняемым.

Саша уже знал от дяди Вани, что такое главный обвиняемый — «паровоз» и что «паровоз» всегда получает срок намного больше.

В тот же день, 6 сентября, Алик стал Сашиным врагом не на жизнь, а на смерть в борьбе за второе место в этом деле. И не знал Саша, что в том же сентябре, через несколько дней после страшной между ним и Аликом очной ставки эта борьба кончилась. Что Алик подал заявление, что он ложно оговорил себя и Сашу.

А тогда — 6 сентября — Саша с надеждой слушал заверения следователя, что никто не узнает, что Алик подал заявление первым.

И что, когда Саша признается, он ему разрешит написать письмо домой. А потом, и, наверное, очень скоро, Юсов сможет отпустить его домой до суда.

Так объяснял мне Саша причину своего ложного признания.
Убедительно ли это?

Убедительно ли, что то ощущение полной безнадежности, невозможность вырваться из этого круга «Юсов — дядя Ваня», потеря не только веры, но и надежды на то, что тебе поверят, захотят разобраться, явилось достаточной причиной, чтобы взять на себя вину в тяжком преступлении, которого не совершал?

Я уверена, что однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Для одних этого может оказаться достаточным, для других — нет. Может быть, для тех взрослых, которых задерживали по подозрению в убийстве Марины (солдат Согрина, Зуева, Базарова, хулигана Садыкова и других), этого оказалось бы недостаточным. Возможно, у них оказалось бы больше силы воли, осмотрительности, умудренности, жизненной опытности для того, чтобы все это противопоставить следствию, тем противозаконным приемам психологического воздействия, которые применил Юсов.

Они могли не убояться запугиваний дяди Вани, не поверить обещаниям Юсова.

Алик и Саша не смогли выдержать этого нажима. У них не было ни силы характера, ни образования, ни жизненного опыта. Это были обычные деревенские мальчики, которые ни разу в жизни не расставались с родителями, которые воспитывались в условиях беспрекословного послушания взрослым и полного доверия к авторитету образованного человека.

Я убеждена, что никто не может определить предел той сопротивляемости, которой обладает человек. Это трудно сделать даже в отношении самой себя. Многие склонны преувеличивать эти пределы, некоторые недооценивают силу своего собственного характера. Тем более невозможно установить этот предел для другого. Единственное мерило — субъективное эмоциональное мнение оценивающего.

Я поверила Саше.

И тогда мне сразу стали понятны все те грубые нарушения закона, которые допустил следователь Юсов.

Он не мог не понимать, что условия содержания в камере предварительного заключения значительно хуже тюремных, что даже взрослых людей не разрешается содержать там свыше трех суток. Юсов содержал в этих условиях подростков 14 суток. В расчете на то, что сами условия содержания будут способствовать более быстрому признанию.

Закон категорически запрещает содержать совместно в одной камере взрослых и подростков. Раздельное содержание несовершеннолетних — безусловное требование закона. Юсов пошел и на это нарушение, надеясь, что эти два взрослых человека уговорят мальчиков признаться.

Мало того, сам арест Саши и Алика был произведен вопреки закону. И дело не только в том, что Юсов путем обмана увез мальчиков из дома, не объявив им и их родителям о том, что арестовывает их. Основным нарушением закона было то, что Юсов вообще не имел права их арестовывать.

В распоряжении следователя Юсова не было ни одного из перечисленных в законе оснований для ареста.

Саша и Алик не были застигнуты на месте преступления. Гибель Марины была окружена полной тайной, и очевидцев ее не было. Ни на теле, ни на одежде, ни в доме мальчиков ничего, что могло быть отнесено к свидетельству против них, обнаружено не было.

Почему же опытный следователь шел на такое грубое нарушение закона?

Получив это дело для расследования более чем через год после гибели Марины, Юсов видел только один путь расследования — получение признания. Он знал, что мальчиков допрашивали много раз до того, как дело было передано ему. Он знал и о том, что задерживались по подозрению в этом деле и другие люди. Но он сосредоточил все следствие только на Саше и Алике. Он сразу отбросил все остальные версии, как не сулившие ему успеха. Он понимал, что теперь, через столько времени, получить признание в совершении преступления он может, только сломив волю неизобличенного человека. Сломить волю Зуева или Согрина было труднее, чем волю Саши или Алика. Вот почему выбор пал на них. А все нарушения закона стали способом и методом подавления их воли. Я знала, что раньше Юсов делал довольно успешную карьеру следователя. Затем за служебные нарушения был переведен в провинциальную прокуратуру, где работал несколько лет.

Дело Алика и Саши было чуть ли не одним из первых (если не первым), порученных Юсову после возвращения на работу в центральный аппарат Московской областной прокуратуры. Успешное раскрытие этого преступления сулило ему быстрое продвижение по службе (особенно с учетом того, что дело было на контроле в ЦК КПСС).

Юсов мог пойти на нарушение закона в расчете на то, что раскрытие преступления с признанием вины снимет с него ответственность за эти нарушения. (По правилу «Победителей не судят».) И тог-

да начали одновременно действовать два фактора, между собою связанные. Желание сделать карьеру и страх, что уже допущенные им служебные злоупотребления станут известными.

В этих условиях уже не реальное раскрытие преступления, а только осуждение мальчиков стало его целью. И для достижения этой цели он не останавливался ни перед чем. Фальсификация доказательств стала методом расследования дела.

По советскому закону вся работа следователя должна проходить втайне. Лица, разглашающие данные предварительного следствия, отвечают за это в уголовном порядке. Методика ведения следствия по делу мальчиков была удивительной и непохожей на другие дела еще и тем, что следователь Юсов настойчиво и целеустремленно сам разглашал материалы следствия. Каждому свидетелю, которого Юсов вызывал к себе на допрос, он не только рассказывал обстоятельства дела так, как он считал нужным, но и показывал заключение экспертов-гидрологов. И если жители деревни сомневались вначале, возможно ли вообще было утопить Марину в том месте, на которое показывали Алик и Саша, то, читая заключение экспертизы, они верили ученым и соглашались с тем, что утопить Марину было возможно.

Юсов показывал свидетелям фотографии той одежды, которая была на трупе Марины, — разорванных в клочья спортивных трикотажных брюк. И говорил:

— Видите, они порвали эти брюки, когда раздевали Марину.

Рассказывал Юсов свидетелям только о тех показаниях мальчиков, в которых они признавали свою вину, и только о тех доказательствах, которыми, по его мнению, эта вина подтверждалась.

Юсов создал особую категорию свидетелей — свидетелей признания. Эти люди вызывались в суд только для того, чтобы рассказать, что Юсов допрашивал Алика или Сашу вежливо и спокойно. Ни к чему их не принуждал. И что признавались мальчики добровольно.

Но и остальные свидетели в результате разговоров с Юсовым перестали быть обыкновенными свидетелями, на объективность и добросовестность которых мы могли рассчитывать. Они стали свидетелями убежденными. Те незначительные факты, очевидцами которых они были, обросли таким количеством деталей и соображений, полученных ими от Юсова, что они уже и сами не могли (а зачастую и не хотели) отделить правду от вымысла. Раз от раза показания этих свидетелей становились все пространнее и категоричнее.

К началу процесса у меня с Сашей установился полный контакт. Каждую нашу встречу начинали с того, что он давал мне показания так, как если бы это было в суде. Мне приходилось учить его, как стоять перед судом, когда он обязан вставать, когда и кому он может задавать вопросы. Сама задавала ему множество вопросов. Тех, которые, несомненно, будут задавать ему прокурор и судья.

Все это необходимо потому, что контакты между подзащитным и адвокатом в период процесса очень затруднены. Суд разрешает адвокату беседовать с подзащитным во время перерывов, до и после судебного заседания, но только в присутствии конвоя. Это единственная для подсудимого возможность общаться со своим адвокатом.

Я предупредила Сашу, что такие беседы у нас будут. Учитывая то столкновение, которое у меня уже было с судьей, мы договорились, что Саша сам будет просить разрешение на эти беседы.

И вот первый день.

Дело слушается в большом зале Московского областного суда. Собрались все вызванные свидетели — более ста человек. Для нас с Юдовичем ни одного знакомого лица. Мы никогда раньше их не видели, не слышали звука их голосов. Всегда допрос свидетеля в суде может принести много неожиданностей. А в этом деле?

Нам с Юдовичем надо добиться, чтобы свидетели показывали правду.

И только то, что им действительно известно.

О чем они свидетельствуют?

О времени, когда закончили играть в волейбол, и о времени, когда услышали пение девочек. Или о том, как побледнел Саша, увидев всплывший труп Марины. («Так побледнеть мог только убийца».)

Или о том, что родители Алика плохие люди и, конечно же, в такой семье не мог вырасти хороший сын.

Но суд будет их допрашивать — эти сто человек. И эмоциональный заряд ненависти и мести, который они накопили, будет ежедневно и ежечасно действовать на суд. Укреплять его предубеждение против обвиняемых в том недоверии, которое возникает всегда и которое определяется самим фактом привлечения к уголовной ответственности.

Мы смотрим на всех этих толпящихся людей и пытаемся угадать, кто мать Марины — Александра Костоправкина, кто мать девочек Акатовых. Внезапно мы видим женщину. Она стоит в группе свидетелей и что-то им объясняет. Среднего роста, очень приземистая, почти квадратная, старая. Стриженные, совершенно седые волосы завиваются мелкими кольцами. В волосах большой гребень.

Мне кажется, что одновременно мы со Львом произносим:

— Берта Карповна. Берта Бродская.

Почему мы так хорошо запомнили это имя? Имя жительницы Измалкова, которая и свидетельницей-то не была.

В те дни, когда пропала Марина, Бродской не было. Она отдыхала. Когда Бродская вернулась в Измалково, первые страсти уже потухли. Люди вернулись к своим повседневным делам, без которых жить невозможно. У Бродской был дом, в котором она жила одна, и неугасший общественный темперамент, для которого уже давно не было выхода. Берта Карповна принадлежала к той породе людей, которых не только в официальных документах, но и в быту называют «старые большевики».

Это не только партийная принадлежность. Это типаж. Часто и внешний облик как у Берты. Это особым образом ровно под гребешок, в одну линию подстриженные волосы. И манера одеваться, сохранившаяся с первых лет после революции. Но главное — это мировоззрение. Мировоззрение несгибаемого, никогда ни в чем не сомневающегося человека. Им не свойственны предположения — суждения всегда категоричны. Эти люди на работе были источником многих бед для сослуживцев. Уйдя на пенсию, они становятся «общественниками». Этот титул дает им право бесцеремонно вмешиваться в чужую жизнь, следить за «моральным обликом» своих соседей. Сделаться вершителями общественного суда над чужой жизнью.

Берта Бродская была именно таким человеком.

Включив ее в список свидетелей, чей вызов он считал обязательным, Юсов знал, что никаких свидетельских показаний Бродская дать не может.

Не было ни одного, даже самого мелкого обстоятельства, которое Бродская могла бы подтвердить или опровергнуть. Юсов вызвал ее, чтобы ее устами в суде говорил «народный гнев», чтобы от нее услышали требования беспощадного приговора.

Старая коммунистка-пенсионерка, она стала первым возбудителем злобы. Все заявления с требованием смерти мальчикам, которых по закону расстрелять нельзя, были написаны ею. Ее подпись на этих петициях была первой. В ее показаниях было записано: «Никаких сомнений в том, что они убийцы. Я убеждена в этом, и я требую для них смертной казни».

«Независимый» судья, вынося приговор, будет не только учитывать, что дело это на контроле ЦК. Он знает, что если его приговор не удовлетворит такого человека, как Берта Карповна, то за этим последует поток негодующих заявлений.

Только для такого психологического давления и могла быть вызвана эта свидетельница.

Мы стояли с Юдовичем в коридоре, ощущая враждебность всех этих людей, переносящих свою ненависть к обвиняемым на нас, их защитников.

Дело мальчиков трижды рассматривалось в судах первой инстанции.

В общей сложности одни судебные заседания по их делу продолжались пять месяцев. Пять месяцев сконцентрированного драматизма. Пять месяцев напряженной работы. Как передать эту скрытую напряженность судебного заседания? Когда внимание обострено до предела. Когда каждая минута ожидания ответа — испытание.

Не знаю, можно ли вообще передать рассказом эту особую, волнуемую и изнуряющую атмосферу суда.

Судебные речи — это устное творчество. Компонентами их воздействия является не только мысль и даже не только слово, эту мысль выражающее, но жест, взгляд, иногда улыбка, тембр и модуляции голоса.

Судебное следствие в не меньшей степени устное творчество. Даже стенографическая запись не дает нам о нем представления. В стенограмме все бесстрастно. И слова, и паузы. Читатель не видит, как судья слушает свидетеля и слушает ли вообще. Или сидит, откинувшись на высокую спинку своего кресла, и думает о чем-то своем. Читатель не слышит, каким тоном задают свои вопросы судья или прокурор. Он не знает, слышалась ли в них благожелательность или угроза, а может быть, и откровенная ирония. Читатель не видит, как смотрит судья на подсудимого и что находит подсудимый в его взгляде.

И, наконец, читатель не слышит паузы — живого, полного смысла минутного молчания в судебном зале, когда говорят взгляд или жест и когда бессмысленно и мертво в стенографическом отчете.

Пожалуй, самым трудным, на самом высоком напряжении было это первое слушание дела в Московском областном суде.

Мы понимали, что впереди сложные перекрестные допросы. Понимали, что деспотический характер Кириллова будет создавать дополнительную, не деловую, а потому и наиболее тяжело переносимую нервозность.

И все же...

Судебное заседание объявляется открытым.

Оглашено уже обвинительное заключение.

Сейчас те первые вопросы, которые неизменно задаются по установленному законом порядку.

— Гражданин Буров, понятно ли вам предъявленное обвинение? Признаете ли себя виновным?

Место Алика сзади за спиной Юдовича. Сейчас он встанет и будет отвечать. Все знают, что он не признает себя виновным. Его ответ не должен быть неожиданностью. Лев слегка поворачивает голову, чтобы видеть Алика. И вдруг резкий окрик:

— Я вам запрещаю смотреть на Бурова! Не смейте поворачиваться!

Это кричит не конвойный. Это судья Кириллов так разговаривает с адвокатом.

Когда Лев волнуется, он бледнеет. Когда он злится, у него раздуваются ноздри. Сейчас он стоит, готовый отвечать, бледный, с плотно сжатыми челюстями, с раздувающимися ноздрями. И опять окрик:

— Товарищ адвокат, садитесь! Я не разрешаю вам вступать в пререкания с судом.

— Я требую, чтобы суд дал мне возможность сделать заявление. Прошу занести в протокол мои возражения против действий председательствующего.

И снова судья:

— Товарищ адвокат, садитесь. В свое время я дам вам такую возможность.

И Лев вынужден подчиниться. Председательствующий — «хозяин» процесса. И адвокат, и прокурор обязаны выполнять даже такое, не только не законное, но и лишнее всякого смысла распоряжение.

Я не сомневаюсь, что Лев в удобный момент вновь вернется к этому вопросу, что этот инцидент найдет отражение в протоколе

судебного заседания. А сейчас он поступает совершенно правильно, что не дает конфликту перерасти в откровенную перебранку.

Сашиного ответа все ждут с напряженным нетерпением. Ведь он отказался от данного им признания в самом конце следствия, действительно уже после беседы с адвокатом Козополянской, а потом вновь признал себя виновным, а потом опять изменил свои показания.

К счастью, мне незачем поворачиваться, чтобы увидеть его. Он сидит ближе к суду, наискосок от меня, и его лицо мне прекрасно видно.

— Гражданин Кабанов, понятно ли вам предъявленное обвинение? Признаете ли вы себя виновным?

Я чувствую, как общее волнение передается мне.

Вижу, как Саша медленно встает. Его лицо мне кажется бледнее обычного. Успеваю заметить, как пристально, глаза в глаза, смотрит на него председательствующий.

И вдруг Саша резко поворачивается ко мне спиной. Так, что он уже не вполоборота к суду, а прямо лицом к ним. Сзади мне видно, что его голова не опущена, — значит, продолжает смотреть на суд (это как я его учила) и четко произносит:

— Виновным себя не признаю.

— Ни в чем?

— Ни в чем.

И вздох в зале. В этом зале, где только родные подсудимых, мать Марины и еще несколько человек, получивших на это разрешение, — каждый звук раздается очень громко. И этот вздох облегчения родителей, и:

— Мерзавец! — (это прошептала Александра Костоправкина).

Жду привычных слов:

— Садитесь, Кабанов.

Но вместо этого Кириллов просит конвой подвести к нему обвиняемого. И вот Саша стоит перед судейским столом, один среди пустого пространства. В своих коротких, выше щиколотки, брюках, в серой тюремной куртке из «чертовой кожи», в огромных, явно не по ноге, башмаках. Такой нескладный и жалкий.

А Кириллов, приподнявшись с кресла, перегнувшись через стол, отчетливо произносит:

— Еще раз ответь мне на этот вопрос: признаешь ли ты себя виновным? И не спеши, думай. Мы будем ждать...

И вновь Сашино:

— Нет, — в молчании зала.

— Не слушай никого, кто учил тебя лгать. Суд умеет отличить ложь от правды.

Саша молчит.

— Чего же ты молчишь? Кто тебя учил лгать? Говори правду, никого не бойся.

Саша опять молчит. Чувствую, что мое вмешательство в этот момент может только повредить, только усилить недоверие к Сашиним показаниям. И Лев тоже шепчет мне:

— Молчи. Пусть допрашивает сам, лишь бы поверил.

— Тебя кто-нибудь учил говорить неправду? — опять спрашивает судья.

— Учил.

— Кто? — Это вскрикивает Кириллов.

— Кто? — доносится с прокурорского места.

— Дядя Ваня.

Это ответ ошеломляющий. Ни о каком дяде Ване в деле нет ни малейшего упоминания. (Мне о нем стало известно только из Сашиного рассказа.)

— Какого еще дядю Ваню выдумал?

— Я не выдумал. Его посадили со мной сразу в одну камеру. Он и учил меня: «Все равно не поверят, ни следователь, ни судья, что это не вы сделали. Только хуже тебе будет. В суде нужно только признаться. Все судьи любят, когда сознаются...»

— Нечего нам рассказывать, что судьи любят, а что не любят, — прерывает Кириллов Сашин ответ. — Садись.

Наш прокурор, забываемая «прокурорша» (так называла ее Сашина мама) — Волошина.

В этом сложном деле, где все было загадкой, все неизвестным, — для нее все было ясно. Все было, как говорила она, «проще простого».

В ней гармонично сочетались глупость с полной правовой необразованностью. Кроме того, она была груба и невоспитанна. Единственный способ поддержания прокурорского авторитета Волошина видела в том, чтобы задавать вопросы как можно громче, с какой-то уже выработанной иронически-уничтожительной интонацией. Вне судебного заседания она сразу менялась. Вполне дружелюбно с нами разговаривала и непрерывно жаловалась на возрастные смены настроения, на «приливы», которые ее мучили.

Эти смены настроения наступали внезапно. Иногда в ходе допроса, который она вела. Тогда происходящее уже совершенно переставало быть похожим на судебное заседание. Волошина не в состоянии была слушать ответ на вопрос, прерывала допрашиваемого, не давая ему закончить мысль. Вмешивалась в допросы, которые вели мы.

Ее правовая необразованность создавала для нее безусловное преимущество. Нормы ведения процесса ее не ограничивали — она их просто не знала.

Вот так и начался этот процесс. С жестким и вспыльчивым председательствующим, с истеричной прокуроршей, с негодующей потерпевшей.

И еще один участник процесса — общественный обвинитель. Это учительница той школы, в которой семь лет учились Марина, Алик и Саша.

Как велика была сила предубеждения, как безоговорочно отдавалось доверие слову «признался», как всеохватывающа была злоба, чтобы даже школа оказалась втянутой в эту борьбу против мальчиков — их учеников. Чтобы те учителя, которые семь лет были их духовными воспитателями, которые ежегодно отмечали их отличное поведение, которые знали их как добрых и послушных, послали своего представителя в суд. Послали с одним требованием: «Осудить и наказать по всей строгости закона без всякого снисхождения».

Эта учительница пришла в суд с твердой убежденностью — «виновны». «Раз признались — значит, виновны». И ничто не могло поколебать этой страстной веры. Помощь, которую она оказывала прокурору, поистине была неоценимой. Каждый день, во всех перерывах она наблюдала за нами, адвокатами. Старалась прислушиваться к тому, о чем мы между собою говорим. Следила за тем, чтобы никто из свидетелей не только не говорил с нами, но и не смотрел в нашу сторону.

В такой обстановке окружающих нас подозрений, скрытого за нами наблюдения и нескрываемого недоброжелательства мы работали все полтора месяца, пока длилось судебное следствие в Московском областном суде.

В первый день подсудимых не допрашивали. Читали обвинительное заключение, обсуждали ходатайства о вызове дополнительных свидетелей и решали другие организационные вопросы судебной процедуры.

Закончили раньше обычного — около 5 часов. Следующий день с утра начнется допросом Саши. Я обращаюсь к суду с просьбой разрешить мне поговорить с ним. Хочу немного подбодрить его, обсудить еще раз некоторые тактические вопросы.

— Товарищ адвокат, беседовать с вашим подзащитным вы будете только в тюрьме и только после окончания судебного следствия. Раньше этого я вам свидания не дам. В равной мере это относится и к адвокату Юдовичу. Вам понятно? Все. Судебное заседание...

Он хочет закрыть судебное заседание и лишить меня и Льва возможности официального возражения. Потому я и прерываю его. Я подробно аргументирую требование о предоставлении свидания, ссылаюсь на статьи закона, которые мне такое право предоставляют.

Я это делаю не для него. Он закон прекрасно знает. И не для заседателей, которым все безразлично. Мне нужно, чтобы секретарь записал мои возражения в протокол. Это уже работа на последующую судебную инстанцию. Если Кириллов осудит мальчиков и мы будем обжаловать приговор, такое нарушение будет считаться серьезным. А в совокупности с другими нарушениями, в особенности с сомнительностью самого обвинения, оно может привести к отмене приговора.

Кириллов слушает меня спокойно, с чуть снисходительной улыбкой.

— Все, товарищ адвокат? Вы закончили?

И, глядя на уже встающего Юдовича:

— Вы, конечно, присоединяетесь к этой аргументации? Вас устроит, если мы запишем в протокол, что вы сделали аналогичное заявление?

И опять Кириллова перебивают. На этот раз Саша. Он тоже встал и просит разрешения обратиться к суду.

— Ну, что у тебя там такое? Уже адвокат за тебя сказал.

— Я хочу сказать, — говорит Саша, — что отказываюсь от всех свиданий с адвокатом, пока вы сами не предложите. Я не хочу, чтобы вы думали, что меня подучают.

И пауза. Длительная пауза, когда председательствующий пристально смотрит в глаза Саши. И мне кажется, что в этом взгляде живой интерес, а не угроза. И я быстро думаю: «Какой Саша молодец! Как достойно он это сказал!»

Слежу за секретарем: записывает ли она заявление Саши в протокол? Это очень важно. Адвокат в кассационной инстанции может ссылаться только на то, что отражено в протоколе судебного заседания.

Сколько длится эта пауза — секунды или минуты? Мне она кажется очень длинной. А Кириллов молчит и смотрит на Сашу. И Саша не опускает голову и продолжает смотреть прямо Кириллову в глаза.

— Хорошо, Кабанов. Я принимаю это условие. Я сам скажу, когда будет можно переговорить с адвокатом. На сегодня мы окончили работу. Завтра начинаем с твоего допроса. Обдумай все. И я еще раз напоминаю тебе — говори нам правду.

Мы со Львом сидим уже в пустом зале, подавленные всем, что происходило. И грубостью председательствующего, и оскорблениями от матери Костоправкиной, и больше всего откровенным нарушением закона. Как защищать в условиях, когда наши подзащитные пол-

ностью изолированы, оторваны от нас? Даже ведь взрослые, образованные и опытные обвиняемые с нетерпением ждут встречи, чтобы спросить у нас: «Ну как? Как ваше мнение? А правильно я сказал?..»

Мы обдумываем и согласовываем те заявления, которые каждый из нас в письменном виде подаст суду. Об ущемлении законных прав обвиняемых, о тех незаконных препятствиях, которые чинит нам суд. Мы абсолютно согласно решаем, что так в письменном виде будем фиксировать каждое допущенное судом грубое нарушение закона, каждую откровенную грубость со стороны суда, как по отношению к Алику и Саше, так и в наш адрес. Но так же согласно решаем все терпеть от Костоправкиной — матери погибшей Марины. Матери, действительно ослепленной страшным горем. Мы были готовы прощать ей грубость, уважая ее горе. Но, принимая решение «терпеть», мы не представляли всего того, что нам придется услышать и вытерпеть.

Рассказывая о деле мальчиков, я употребляю местоимение «я» только потому, что это мои мемуары. Все то полезное, что сделала защита в этом деле, делали двое. И роль Льва Юдовича была отнюдь не менее активной, чем моя. Мы работали в этом деле не просто дружно и согласованно. Мне кажется, что никого из нас тогда не интересовал личный успех. Все было действительно подчинено той единственной задаче, которая стояла перед нами, — задаче защиты. Мы вместе обсуждали каждую деталь этого дела, вместе вырабатывали общую тактику защиты.

Я ценила страстную и смелую напористость допросов, которые проводил Юдович, и его блестящее знание материалов дела.

Были допросы, которые лучше удавались ему. Бывало и так, что допрашивала я, и Лев, считая, что все исчерпано, не задавал потом ни одного вопроса.

Мы не боролись за лидерство в защите. Но в одном лидерство, несомненно, принадлежало Юдовичу. Главная ненависть Костоправкиной в этом первом судебном процессе была направлена на Льва. Ему выдержать наше обещание — терпеть — было значительно труднее. Это было особенно трудно потому, что судья не только не делал Костоправкиной замечаний, не только не пресекал ее грубые выходы, но было видно, что он получает истинное удовольствие, глядя, как Костоправкина стоит подбоченившись перед судьейским столом в той позе, в которой, наверное, привыкла стоять в ссоре со своими деревенскими соседями. Крепкая, сильная, еще не старая женщина в скорбном черном платке на голове со сверкающими от гнева глазами. И громким голосом, почти крича, говорит суду:

— Этому нанятому адвокату я вообще отвечать не буду. У меня дочь убили, а он денежки получает, свинину ест...

— Почему свинину? — спрашиваю я Льва.

Он удивленно пожимает плечами. Только потом мы узнали, что уже написано и отправлено в разные партийные и правительственные инстанции заявление Костоправкиной–Бродской о том, что родители Бурова зарезали своего кабана и кормят этой свиной Юдовича.

На мои вопросы Костоправкина отвечает. Стоит, не поворачивая ко мне головы, поджав губы. А потом обязательно спрашивает у судьи:

— Я должна отвечать этому адвокату?

— Отвечайте, — как-то с сожалением говорит Кириллов.

И так несколько дней подряд до тех пор, пока нам со Львом делается окончательно понятно, что решили мы терпеть и не реагировать неправильно. Что мы не только переоценили свои возможности терпеть, но что наше молчание воспринимается Костоправкиной как слабость, как разрешение продолжать.

А между тем за те дни, которые прошли, допрошены оба — и Саша и Алик. Уже прозвучал в суде рассказ об условиях, в которых их содержали, об уговорах и обманах со стороны Юсова. Уже рассказал Саша, что, признаваясь, показал на выезде совсем другое место преступления, чем Алик. Уже решил суд вызвать понятых, запросить справку из камеры предварительного заключения о том, кто содержался совместно с мальчиками, запросить сведения о погоде за дни, предшествовавшие гибели Марины. Все эти наши ходатайства, несмотря на возражения прокурора, были удовлетворены.

Кириллов слушал показания Саши более спокойно, и нам даже казалось — с интересом. И среди тех вопросов, которые он задавал, было действительно много нужных и разумных, и было видно, что не только мы, но и он дело знает.

Уже должен был начаться допрос свидетелей, когда вдруг Кириллов объявил перерыв на целый день и, подчеркнуто обращаясь к Саше, сказал:

— Кабанов, я держу свое слово. Я сам предлагаю вам свидание с адвокатом. Товарищи адвокаты, можете сегодня у меня получить разрешение на свидание. Завтрашний день в вашем распоряжении.

Каким нам это казалось в тот момент добрым предзнаменованием! Но еще много раз потом, в течение полутора месяцев судебного разбирательства, охватывало нас отчаяние. Казалось — все. Суд слушает дело явно с одной тенденцией — обвинительной.

День объявленного судом перерыва я провела с утра в суде, а в тюрьму решила поехать во второй половине дня. Выходя из Областного суда, я встретила Юдовича. Он тоже собрался ехать в тюрьму. Это было очень удачно для меня — ведь у него машина, и мне не надо

будет тащиться с пересадками на метро, а потом троллейбусом, а потом пешком. Словом, прямо во дворе Областного суда я села ко Льву в машину, и мы поехали. Выезжая, увидели прокурора Волошину, которая внимательно смотрела на нас.

А на следующее утро, когда я стояла на лестничной клетке и курила, я услышала оживленный голос нашего прокурора:

— Ну, сегодня они у нас получают! Это будет хороший подарок.

А через несколько секунд увидела поднимавшихся по лестнице Волошину и Костоправкину.

— Здравствуйте, товарищ адвокат. Ну как, были вы вчера у своего подзащитного?

Александра Тимофеевна прошла мимо нас, не поворачивая головы в мою сторону. Не здороваясь.

О каком «подарочке» они только что говорили? Какая неожиданность нас ждет?

Со Львом переговорить не успела. Он пришел точно в назначенное время.

Вышел состав суда. Судебное заседание объявляется открытым. Мы все садимся. Волошина продолжает стоять.

— Я должна срочно предъявить суду очень важный документ и прошу приобщить его к делу, — говорит она и передает суду какую-то маленькую бумажку зеленоватого цвета.

Кириллов читает. Потом передает ее молча одному заседателю. Тот многозначительно кивает головой. Потом — второму. Та же реакция. Теперь — очередь Костоправкиной. Она берет ее в руки и, даже не глядя на нее, произносит:

— Прошу приобщить.

Что это может быть? Неужели камера предварительного заключения дала справку, что с мальчиками никто больше не содержался? Тогда это действительно удар. Это мгновенно проносится в голове, пока судья произносит обычное:

— Товарищи адвокаты, ознакомьтесь с документом.

И вот эта бумага в наших руках. Справка:

На запрос прокуратуры Московской области сообщаем, что согласно данных регистрации 24 февраля сего года были предоставлены свидания Юдовичу с его подзащитным Буровым. Время прихода — 15 часов 35 минут, время ухода — 18 часов 20 минут; адвокату Каминской с ее подзащитным Кабановым: время прихода — 15 часов 35 минут, время ухода — 18 часов 50 минут.

Основание — решение Московского областного суда.

Гербовая печать Учреждения № 1.

Времени на раздумье у нас нет, да оно и не очень нужно. Незаконность и необоснованность такого ходатайства очевидна. И не только потому, что, поехав совместно в тюрьму, мы не нарушили ни одного закона, никакой инструкции, никакой этической нормы поведения адвоката. Главная необоснованность этого ходатайства в том, что содержание справки никакого отношения к делу мальчиков не имеет.

Смотрю на Льва. Как и положено — бледное лицо и раздувающиеся ноздри. Он уже готов кинуться в бой. И решаю — отвечать буду я.

Какое у меня лицо, когда я не просто волнуюсь, а злюсь? Когда негодование — основное чувство, владеющее мною? Мне никогда никто об этом не говорил. Самой мне кажется, что лицо у меня не меняется. Я знаю, что не бледнею и не краснею. Только ощущение окаменелости в лице. И говорю несколько медленнее. Отчеканиваю каждое слово. Сейчас очень важно не терять самоконтроля, не допустить, чтобы «понесло». Потому, что ходатайство прокурора не такое безобидное, как это может показаться сначала. Оно не грозит ни мне, ни Льву никакими личными неприятностями. Но это тоже работа на будущее — на возможную отмену приговора и направление на следствие. А тогда, если справка будет в деле, следователь может вызвать на допрос Юдовича или меня, просто чтобы проверить, соответствует ли эта справка действительности. И вот уже основание для отстранения нас от участия в деле. Свидетель по делу не может быть защитником по этому делу.

Вот стою я сейчас перед судом и, как мне кажется, очень спокойно, чеканя каждое слово, прошу, чтобы представитель государственного обвинения подробно разъяснил, в подтверждение какого пункта обвинения Бурова и Кабанова в убийстве Марины Костопрывкиной просит он приобщить эту справку. Хорошо помню и сейчас лицо Кириллова в этот момент. Его голову, откинутую назад к спинке кресла, и выжидающий взгляд, и даже небольшую паузу после моей просьбы-вопроса. Он явно ждал, что я разражусь гневной тирадой. И мне действительно этого хотелось. Но я должна сдерживать себя и стоя ждать, пока он повернет голову налево — в сторону Волошиной — и произнесет:

— Вы действительно не аргументировали свое ходатайство. Вопрос адвоката обоснован. В подтверждение каких обстоятельств этого дела вы просите приобщить справку?

Но я не сажусь, прошу разрешения продолжить.

Я прошу, чтобы одновременно представитель государственного обвинения разъяснил, на основании какого закона прокуратура делает самостоятельные запросы в период рассмотрения дела в суде.

У меня есть все основания предполагать, что подобный вопрос не был согласован с судом, который по собственной инициативе предложил нам свидание в один и тот же день. Если я ошибаюсь, то прошу ознакомиться меня с текстом ходатайства прокурора и с резолюцией суда.

И Кириллов, опять откинувшись на спинку кресла, смотрит на меня, и я на него. И небольшая пауза, когда мертвая тишина в зале. И потом голос судьи:

— Вы не ошиблись, товарищ адвокат. Суду об этом ничего известно не было.

И, повернувшись к Волошиной:

— Вы продолжаете настаивать, товарищ прокурор? Вы будете аргументировать свое ходатайство?

— Да, я прошу обсудить мое ходатайство. Я считаю его обоснованным. Больше мне добавить нечего.

И привычный кивок председателя вправо — к одному заседателю и влево — к другому.

— Запишите определение. (Это уже секретарю.)

Совещаясь на месте, судебная коллегия по уголовным делам определяет: в ходатайстве прокурора, как необоснованном, отказать. Справку вернуть, как не имеющую отношения к делу.

А теперь встает Лев и со всей силой своего воинственного темперамента делает заявление. Он просит суд указать прокурору на недопустимость и противозаконность его действий. Он говорит и о том, что все это время мы проявляли терпение и выдержку, не реагируя на оскорбления со стороны Костоправкиной, что делали это, сочувствуя ее горю. Мы были вправе ожидать, что сам председательствующий разъяснит Костоправкиной недопустимость ее поведения. Наши ожидания оказались напрасными. Сейчас мы настойчиво просим суд обеспечить нормальную возможность работы и оградить от дальнейших оскорблений.

И опять кивок направо и налево и голос Кириллова:

— Костоправкина, суд вас предупреждает: в судебном заседании вы должны вести себя прилично. Товарищ прокурор, суд делает вам замечание.

С этого дня уже не повторялись безобразные сцены первых дней процесса.

Проходит несколько дней, и вот мы всем составом суда, вместе с подсудимыми, их родственниками и Костоправкиной переходим в маленькую комнату с плотно зашторенными окнами. Нам предстоит слушать магнитофонные записи и смотреть кинокадры. Там уже все оборудование. Киноустановка, магнитофон. На стене висит киноэкран.

Первые кадры. Как старое немое кино с убыстренными движениями. В большой группе людей с трудом узнаю Алика и чуть впереди него — Юсова. Набегающие друг на друга, сменяющиеся кадры как-то даже увеличивают количество людей, количество сторожевых немецких овчарок, которых ведут на поводках конвойные. Видны подбегающие человеческие фигуры, но все это нечеткое, размытое.

Вот Юсов приостанавливается, и Алик тут же вслед за ним. А может быть, мне только показалось, что Юсов первый, — это ведь доля секунды. Алик протягивает руку и... Лента обрывается, только белый освещенный экран и щелканье проекционного аппарата свидетельствуют о том, что это не конец.

И опять вижу улицу и идущих людей — в середине между собаками Саша. Идет опустив голову. Юсов рядом, положив ему руку на плечо. Вот дошли до дома Богачевых, повернули налево и... Опять только треск и освещенный экран.

Прокурор объясняет: это дефекты съемки. Снимал кинолюбитель. Сейчас будут следующие кадры.

Толпа людей. Юсов и Саша рядом. Протянутая Сашина рука. Куда он показывает? Какой путь они прошли от дома Богачевых? Досадно, что именно эта спорная часть пути оказалась незафиксированной, испорченной.

Какое впечатление на меня произвели эти кадры? Как доказательство — никакого. Ни за обвинение, ни против.

И все же эмоциональное впечатление от этих кадров было. Я впервые увидела их — Алика и Сашу — такими, какими они были в первые дни признания, выведенными на позор всей деревне — соседям, подругам, товарищам. Увидела покорность и послушность в их позах. Как-то острее почувствовала их беспомощность и потому еще больше стала жалеть их.

Сейчас начнем слушать магнитофонную запись. В зале тишина. Отчетливо слышу первые слова, произнесенные следователем Юсовым. Это очная ставка. Юсов сообщает, что будет производиться магнитофонная запись и что при очной ставке присутствует адвокат Борисов. Голос Алика узнаю сразу. Действительно, звучит спокойно. Рассказывает подробно об игре в волейбол. Слышу слова: «Саша первый предложил изнасиловать Марину, я не хотел. Мы пошли по главной улице...»

Голос Алика делается более глухим, слова менее разборчивы. Какой-то шум, сначала отдаленный, а потом усиливающийся, все время мешает слушать. Но вот это уже не просто шум — это музыка. Прекрасная мелодия полонеза Огиньского звучит в нашем судебном зале, и как-то через нее, еле слышно, пробиваются те страшные слова, которые мучили меня в первый день:

— Это ты первый! Зачем ты на меня наговариваешь? Это ты предложил...

И опять музыка, и никаких слов расслышать невозможно.

— Что это такое?

Это Кириллов обращается к прокурору.

— Да это проще простого. Следователь забыл выключить радио. Музыка играла очень тихо и не мешала вести очную ставку, а микрофон стоял как раз под репродуктором. Но это не важно. Есть ведь протокол этой самой очной ставки, записанный самим Юсовым. Он полностью соответствует магнитофонной записи.

Действительно, такой протокол есть. Именно его я читала, готовясь к делу. Показания мальчиков записаны там очень подробно, с множеством деталей изнасилования. Записано и как раздевали, и как тащили Марину, как уронили ее труп по дороге. Все это воспроизводится в обвинительном заключении как безусловное доказательство вины мальчиков. Но ничего этого — ни одной из этих деталей — не донеслось до меня сквозь бравурные звуки полонеза.

В перерыве решаем просить дать нам возможность еще раз прослушать эту пленку. В любое удобное суду время. В судебном заседании, или после него, или завтра рано утром. Но услышать, разобратся и записать этот текст для себя нам необходимо.

Процессуальный закон, разрешающий применение звукозаписи при допросе, содержит обязательное для следователя правило. Он категорически запрещает производить фрагментарную запись показаний. Только от начала и до конца. От первых слов следователя, объявляющего о дате и месте допроса, до последних слов допрашиваемого о том, что дополнений он не имеет.

Таким же обязательным требованием закона является одновременное со звукозаписью ведение следователем обыкновенного письменного протокола. Этот письменный протокол должен по идее полностью соответствовать звукозаписи. Однако все понимают, что практически это невозможно. Следователь не в состоянии дословно записать все сказанное на допросе. Поэтому фонограмма всегда полнее, а следовательно, и длиннее одновременно с ней ведущегося протокола.

Наше желание восстановить полный текст звукозаписи объяснялось необходимостью услышать все мельчайшие подробности, которыми сопровождался рассказы обоих мальчиков на этой очной ставке. Но не скрою, что было и другое. Мы хотели проверить, в какой мере соответствует рукописный протокол этой очной ставки тому, что действительно говорили Алик и Саша и что, несомненно, запечатлено на пленке. Наша подозрительность в данном случае подкреплялась еще и тем, что у Льва и у меня сложилось впечатле-

ние, что если читать этот протокол в том же речевом темпе, что и на фонограмме, то такое чтение займет больше времени. Значит, этот протокол длиннее. Значит, в нем есть что-то, чего нет в фонограмме и, следовательно, чего мальчики вообще не говорили.

Обсудить эти наши подозрения с Аликом и с Сашей у нас возможности не было. Когда еще Кириллов даст нам новое свидание? Самым разумным мы считали записать всю эту фонограмму на свой магнитофон и уже потом, не задерживая работы суда, самостоятельно ее расшифровать.

Такое ходатайство мы и заявили, как только возобновилось судебное следствие. Его обоснованность и законность очевидны. Адвокат имеет право знакомиться с любыми материалами дела и копировать их для себя.

И опять кивок Кириллова направо к одному заседателю и налево — к другому и потом секретарю:

— Запишите определение. В ходатайстве отказать.

Сколько раз на протяжении судебного разбирательства в Областном суде мы вновь возвращались к этому ходатайству. И устно с занесением в протокол, и с приобщением к делу письменного текста. Но опять были те же кивки головой в обе стороны и краткое определение: «Отказать».

А дни шли. И, мне кажется, несостоятельность обвинения должна была стать явной и для суда.

Уже допрошены подружки Алика и Саши, с которыми они играли в волейбол и с которыми потом встретились в доме Акатовых. Все они утверждали, что мальчики отсутствовали не больше пятнадцати минут. Девочки говорили, что согласились на следствии увеличить это время только по настоянию следователя. С каким пристрастием их допрашивали! И не только суд и прокурор, но и общественный обвинитель, их собственная учительница.

Защита делала заявление за заявлением, что применяются недопустимые меры воздействия на несовершеннолетних свидетелей. Что председательствующий не пресекает этого беззакония.

И все чаще Кириллов опять обрывал нас:

— Ваше заявление будет занесено в протокол. Товарищ общественный обвинитель, можете продолжать.

И уже всем было ясно, что «признание» мальчиков было подлинной «царицей дела». Формула «раз признался — значит, виновен» продолжала, как нам казалось, надежно цементировать в глазах суда эту дефектную постройку.

И только показания учительницы Саши и Алика Волконской не вписались в эту схему. Юсов пригласил ее участвовать в Шашином

допросе в качестве представителя школы. В суде прокурор просила Волконскую подтвердить, что Саша во время этого допроса признавался добровольно, что Юсов не оказывал на него давления. После того как Волконская все это подтвердила, Волошина спросила ее:

— Ну, может быть, вы хотите добавить что-нибудь к своим показаниям?

— Когда допрос был закончен, — ответила Волконская, — Саша спросил Юсова: «Ну а теперь вы меня отпустите?» Этот вопрос показался мне совершенно абсурдным. Но еще больше меня удивил ответ Юсова: «Что ты, Саша. Как я могу отпустить тебя сейчас. Ты ведь знаешь, что здесь полно Марининых родственников».

Так неожиданно Сашино объяснение о том, что он признал себя виновным потому, что Юсов обещал ему за это отпустить его, получило важное подтверждение.

Из всего того, что происходило в последующие дни, расскажу лишь о допросах Бродской, Марченковой и понятых.

Берта Карповна вошла в зал судебного заседания уверенно и спокойно. Так же уверенно и спокойно отвечала на вопросы суда.

— Да, мне известно, что они (она ни разу не назвала мальчиков ни по имени, ни по фамилии, хотя знала их со дня рождения) убили Марину. Марина была исключительная девочка. Из таких потом вырастают героини. А они терзали ее, как фашисты. Они не только лишили мать любимой дочери. Они лишили весь советский народ прекрасного человека, которым по праву можно было бы гордиться. И от имени всех я требую от нашего суда, суда, избранного народом: никакой пощады этим убийцам. Им не место на нашей земле!

Аплодисменты. Не положенные в судебном зале аплодисменты. Это общественный обвинитель и Костоправкина. Но никаких вопросов. Ни суд, ни прокурор никаких вопросов Бродской не задают.

Сейчас наша очередь. На вопрос суда мы — Лев и я — отвечаем, что вопросы к свидетелю имеем.

— Я пришла сюда, чтобы выступить перед судом. Я свою обязанность выполнила. Больше мне здесь не с кем разговаривать, — уверенно и спокойно говорит Берта Карповна. Какое победоносное выражение у нее на лице!

— Товарищ председатель, вы предупредили свидетеля об обязанности говорить суду только правду. Но вы, видимо, забыли предупредить ее о второй обязанности — отвечать на вопросы. Я прошу объяснить это свидетельнице Бродской, предупредить ее, что отказ грозит ей уголовной ответственностью.

— Свидетельница Бродская, суд вас предупреждает, что вы не вправе отказываться отвечать на вопросы участников процесса, в том

числе и адвокатов. Если их вопросы будут несущественны, суд их снимет. А сейчас слушайте вопросы и отвечайте.

И пошли вопросы. И после каждого Бродская спрашивает у судьи, обязана ли она отвечать. И Кириллов неизменно бросает:

— Отвечайте.

Ни один из наших вопросов суд не может снять.

— Видели ли вы сами, свидетель, что делали 17 июня от 10 часов вечера до 11 часов вечера Бузов и Кабанов?

— Видели ли вы, свидетель, 17 июня Марину, Алика и Сашу на главной улице?

— Были ли вы 17 июня вечером в доме Акатовых?

— Видели ли вы приход Бузова и Кабанова во двор к Акатовым?

— Можете ли вы описать, в чем были одеты в этот вечер Бузов и Кабанов?

И на каждый вопрос получаем ответ:

— Нет, не видела. Нет, не слышала.

И так по каждому пункту обвинения, пока разозленная и негодующая Берта Карповна почти кричит суду:

— Да ничего я не видела. Я пришла сюда, чтобы сказать суду свое мнение, мнение старого коммуниста.

Бродская не знает, что закон специально запрещает суду использовать мнения свидетелей как доказательства по делу. Каким бы ни был приговор по делу. Какими бы аргументами суд ни обосновал его, имя Бродской в нем уже фигурировать не должно.

Совсем по-другому проходит допрос Марченковой. Вся ее внешность как будто говорила: «Чего вы от меня хотите? Вы видите, какая я старая, какая больная, какая запуганная?..»

Ее одежда, походка, еле слышный голос — все подчеркивает старость и немощность. И трясущиеся от волнения руки, и палка, на которую она опирается, — все вызывает к ней жалость.

На первое обращение к ней суда Марченкова вообще ничего не отвечает. При повторении вопроса медленно сдвигает теплый шерстяной платок, которым завязана голова. Прислоняет ладонь к левому уху и просит:

— Говорите очень громко. Я почти не слышу.

Успеваю заметить, как переглядываются прокурор и судья, а потом Волошина вопрошающе смотрит на Костоправкину и та пожимает плечами.

Для нас со Львом вся эта сцена тоже неожиданность. Как могло случиться, что ни Алик, ни Саша, ни их родители никогда не говорили нам о том, что Марченкова почти глуха? Главная свидетельница

ца обвинения, свидетельница «по слуху». Ведь все то, что она рассказывала, что послужило основанием для ареста и обвинения мальчиков, сводилось к одному. Из своей квартиры, со второго этажа, через полуоткрытую форточку она услышала и узнала голос Марины. Она услышала не только голос, но и слова: «Алька, отстань, не приставай. Сашка, как тебе не стыдно». И потом смех.

А сейчас она стоит в непосредственной близости к судейскому столу, почти вплотную к нему, наклонив голову и просит:

— Повторите. Не слышу.

— И давно это с вами? — как-то растерянно спрашивает Кириллов.

— Давно, очень давно. И не слышу ничего, а уж видеть и вовсе не вижу.

— Это она притворяется! Совсем не такая уж глухая, — громко шепчет Костоправкина прокурору.

А Марченкова не отвечает, только зло блеснули глаза под толстыми стеклами очков.

Действительно, впечатление некоторого наигрывания. Потому и допрашивать ее начали очень осторожно: где лечится? С какого времени? У каких врачей?

Сразу чувствуем, что попали на удачную тему. О болезнях отвечает охотно, с подробностями и с большими знаниями специальных медицинских терминов.

И показывает дальше:

— День запомнила потому, что не работала, была выходная. Занималась дома хозяйством. Голос Марины узнала. Но тогда никакого внимания на этот разговор не обратила. Подумала — идут себе ребята и балуются. Только потом уже, когда прошло много времени после гибели Марины, вспомнила о нем. Поэтому я и плакала на кладбище. Ведь, если бы я вмешалась, ничего бы и не было.

Как только закончили допрос, заявили ходатайство: запросить из санатория, где работает Марченкова, табель ее рабочих дней и дней отдыха за июнь месяц. Ведь 17 июня — это не воскресенье. Если окажется, что она в этот день работала, то не исключено, что весь этот рассказ относится к другому дню и к гибели Марины никакого отношения не имеет.

Запросить из поликлиники, где Марченкова состоит на учете, историю ее болезни. Это ходатайство очень важное. Когда ознакомимся с документами, можно будет решать вопрос и о судебно-медицинской экспертизе. Только судебно-медицинские эксперты могут твердо ответить, имела ли Марченкова возможность слышать из своей комнаты то, что говорили на улице.

Прокурор оставляет это ходатайство на усмотрение суда.

Опять кивки в обе стороны. Определение: «Ходатайство оставить открытым. Решить вопрос о необходимости запроса перечисленных в нем документов после допросов всех вызванных свидетелей».

Такой ответ адвокаты часто слышат в суде. И в подавляющем большинстве случаев это — завуалированная форма отказа. В нашем деле уже были такие определения. Оставлены открытыми до следующего в конце судебного следствия рассмотрения ходатайства о вызове и допросе солдат, о допросе в суде того самого Назарова, который признавал себя виновным в изнасиловании и убийстве Марины. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас шансов, что их удовлетворят.

Более того, некоторые из удовлетворенных судом ходатайств остались нереализованными. Не получены до сих пор справки из камер предварительного заключения Звенигорода и Голицына.

Зато справка о погоде уже в суде. Дождь действительно был. И не только накануне — 16 июня, а в течение трех предшествующих дней. И допрошенные свидетели — сестры Акатовы и их мать — утверждали, что и одежда и обувь мальчиков были сухими и чистыми.

Допрос понятых, вызванных по ходатайству защиты, назначили на 25 и 26 марта.

Первым понятым был рабочий небольшого завода из близлежащего поселка Баковка. Алика он никогда не видел и при его выезде на место не присутствовал. Сашу впервые увидел в тот день 10 сентября 1966 года, когда в качестве понятого был приглашен следователем Юсовым выехать совместно с Сашей Кабановым в деревню Измалково.

Сомневаться в добросовестности и объективности свидетеля ни у суда, ни у защиты оснований нет. Он вызван по моему ходатайству, и потому суд, не задавая ему никаких вопросов, предоставляет право первого допроса мне.

Я проверяю, были ли разъяснены понятому его права и обязанности при выполнении этого следственного действия.

— Да. Следователь Юсов разъяснил, что я должен быть все время рядом с Сашей. Внимательно следить, как он показывает дорогу. Хорошо запомнить весь путь, по которому мы будем идти, и, главное, место, на которое Кабанов покажет как на место совершения изнасилования, и места, с которого сброшен был труп в воду.

— Можете ли вы сейчас воспроизвести этот путь и показать по схеме те места, на которые указывал Кабанов?

— Да, конечно. Я все это помню прекрасно.

Первую часть показания свидетеля слушаю спокойно. Волей-больная площадка. Колонка, у которой мыли руки. Главная улица, дом Акатовых, санаторский дом.

Постепенно чувствую, как не просто волнение — страх — охватывает меня. От того, что сейчас скажет свидетель, может зависеть вся дальнейшая судьба Саши и Алика. Ведь совпадение их показаний о месте преступления — одно из основных доказательств виновности. Я верю тому, что мне рассказал Саша. У меня нет причин сомневаться, что свидетель скажет правду, но все равно волнуюсь с такой силой, как будто это решается моя собственная судьба.

— Я хорошо помню, — продолжал свидетель, — с левой стороны улицы последний угловой дом. В протоколе мы записали фамилию тех, кто в нем живет. Сразу за ним мы повернули налево и пошли по небольшой пешеходной тропе, которая идет вдоль всего совхозного сада. Мы шли по этой тропе. Потом Саша остановился и сказал: «Здесь». И показал на яблоню. Я хорошо помню, что это вторая от края яблоня.

В этом ответе есть только намек, одно слово на то, что получу нужный ответ: «Шли». Та яблоня, на которую показал Алик, — в самом начале сада, как только свернешь с главной улицы.

— Можете ли вы найти эту яблоню на схеме?

— Конечно, ведь схема составлялась при мне. Я ее хорошо помню.

И свидетель подходит к столу суда, смотрит на лежащую там схему и уверенно показывает:

— Вот она.

Что он показал? С моего места я разглядеть не могу. Прошу разрешения суда тоже подойти к столу.

— В этом нет необходимости, товарищ адвокат. Товарищ секретарь, запишите: «Суд удостоверяет, что свидетель показал на вторую яблоню от противоположного деревне конца совхозного сада, примыкающего к оврагу и забору дачи Руслановой». Записали, товарищ секретарь?

Я удовлетворена этой записью и продолжаю допрос:

— Производилось ли хронометрирование времени, необходимого, чтобы преодолеть весь этот путь?

— Нет, не производилось.

— Измеряли ли вы длительность пути до совхозного сада и после того, как свернули на пешеходную тропу?

— Еще по дороге в Измалково Юсов сказал, что замерять расстояние будет только в совхозном саду. Но, когда мы свернули с улицы на тропу, обнаружили, что рулетку никто не взял. Юсов предло-

жил мне замерить расстояние шагами. Я сосчитал количество шагов от начала тропы до того места, где Кабанов остановился и указал на яблоню. А результат записал на бумажке.

— У вас сохранилась эта записка?

— Нет. Я там же на месте передал ее Юсову.

— Чем объяснить, что в протоколе выезда вы не отразили эти замеры? Ведь вы подписывали протокол?

— Я предложил Юсову записать, но он сказал, что достаточно указать — «вторая яблоня от конца сада». Мне показалось, что этого действительно достаточно, поэтому согласился подписать протокол.

У меня вопросов больше нет. Нет вопросов и у Юдовича, не задают вопросов судья и прокурор, и свидетелю разрешают сесть и остаться в зале.

Вторым понятым тоже оказался рабочий из Баковки. Опять задаю ему те же вопросы, но уже меньше волнуясь, когда жду ответов. Более уверена, что получу не просто благоприятный, но очень важный ответ.

Показания свидетелей абсолютно совпадают. Уже записывает секретарь в протокол судебного заседания: «Кабанов указал на вторую яблоню от конца совхозного сада, который примыкает к оврагу и даче Руслановой».

У меня вопросов больше нет. Но прокурор Волошина просит разрешения тоже задать несколько вопросов.

— Скажите, свидетель, с вами встречались родственники подсудимых перед этим судом?

— Нет. Я с ними незнаком.

— Вас никто не просил дать именно такие показания?

— Нет. Мне вчера принесли домой повестку, и сегодня утром я приехал в Москву. Со мной никто не разговаривал.

— А здесь, в суде, до начала судебного заседания на вас никто не пытался воздействовать?

— Да что вы! Я же объяснил вам, что я никого здесь абсолютно не знаю. Никого раньше не видел.

— Вы правду показали, свидетель? Вы ведь знаете, что за ложные показания вы можете быть осуждены на пять лет лишения свободы? Вы отдаете себе в этом отчет?

— Суд меня предупредил, что я должен говорить правду. Да я и без этого рассказал бы то же самое. Ведь так и было на самом деле.

Кириллов сидит задумавшись и, мне кажется, не слушает ни вопросов, ни ответов. Те же равнодушные, скучающие лица у наших двух заседателей. Я даже не могу вспомнить, кто они — мужчины или женщины, молодые или старые.

За все полтора месяца я не услышала звука их голоса. Даже в таком деле их ничто не заинтересовало. Только ответные кивки головой, выражающие согласие с мнением председательствующего.

— Скажите, свидетель, в вашем присутствии Юсов принуждал Кабанова рассказывать об убийстве? — продолжал допрос прокурор.

— Нет, не принуждал.

— Значит, он рассказывал добровольно?

— Юсов его не принуждал.

— А дорогу он показывал добровольно?

— Юсов сказал: «Иди так, как шли 17 июня». И он пошел от волейбольной площадки по главной улице.

— Скажите, свидетель, нам тут все уже рассказывали, что Кабанов был спокоен, когда рассказывал об изнасиловании и убийстве; вы подтверждаете эти показания?

Так задавать вопрос нельзя. Нельзя заранее сообщать свидетелю, какие показания давались до него, но судья не делает замечания прокурору.

— Отвечайте, свидетель.

— Мне трудно сказать, волновался Кабанов или был спокоен. Говорил он спокойно. Я даже помню, что меня это удивило; даже показалось, что он не спокоен, а как-то безучастен. Как будто рассказывает что-то, не имеющее к нему никакого отношения. Он ни на что не реагировал. Даже когда собралось много народу и кричали: «Негодяй! Убийца!», он продолжал оставаться таким же безучастным.

Прокурор закончил допрос. Сейчас свидетеля отпустят, но я решила задать еще несколько вопросов. Последние ответы этого свидетеля заинтересовали меня.

— Где составлялся протокол выезда?

— Все данные записывались прямо на месте. Окончательно оформляли уже в милиции в Баковке.

— С кем из участников выезда вы возвращались в Баковку?

— Со мной в одной машине ехали Юсов, Кабанов, фотограф и второй понятой, фамилии его не знаю.

— Спрашивал ли Юсов о чем-нибудь Кабанова в машине?

— Нет. Юсов молчал, выглядел очень усталым.

— А Кабанов? Он спрашивал о чем-нибудь Юсова?

— Это был даже не вопрос. Он просто сказал: «Скорее бы домой».

— Юсов что-нибудь ответил на это?

— Да. Он сказал: «Подожди, не так быстро».

— Вы хорошо это помните?

— Я помню это прекрасно. Этот разговор очень поразил меня, я ему не могу найти никакого объяснения.

Этот день для нас, адвокатов, был праздником. Как и день, когда допрашивали Марченкову.

Впереди не оставалось ничего, что могло бы хоть как-то подтвердить обвинение. По-прежнему только признание и показания Саши и Алика о его причинах.

29 марта эксперты дали ответы на вопросы суда и сторон. Высказали свои предположения: «Возможно, имело место изнасилование», «Возможно, труп мог переместиться в воде», «Возможно, что обнаруженные на теле кровоподтеки были прижизненными» и т.д. и т.п.

Закрывая в этот день судебное заседание, Кириллов сообщил:

— Объявляется перерыв на два дня. Следующее судебное заседание будет открыто 1 апреля в 9 часов 30 минут.

И уже нам — обвинителям и адвокатам:

— Приготовьте все дополнения (это значит справки, характеристики, дополнительные вопросы). После этого перейдем к прениям сторон. Дополнительное время на подготовку к речам предоставлено не будет.

Стоим ошарашенные. Вот и ответ на все наши ходатайства, которые суд, так и не рассмотрев, оставил открытыми. Значит, 1 апреля он нам просто откажет в них. Сколько зияющих пробелов в этом деле! Их по-прежнему можно закрыть только одним: «Подсудимые признавали себя виновными, и у суда нет оснований сомневаться в достоверности этих показаний».

Мы решили соединить все наши ходатайства в одно развернутое большое ходатайство и одновременно просить суд о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Марченковой. Мы решили рискнуть, просить об этом, не ознакомившись с медицинскими документами. Дело в том, что все наши ходатайства суд обсуждает устно. Удовлетворяет или отказывает в них почти без аргументации: «Находит обоснованным» или «Находит необоснованным». Ходатайство же о назначении экспертизы суд обязан обсуждать в совещательной комнате и вынести по нему подробно мотивированное письменное определение.

Мы понимаем, что после того, как записали в протокол судебного заседания, что Марченкова не слышит вопросов суда, что, с ее слов, у нее значительная потеря слуха, суд не может найти убедительных аргументов для отказа в таком ходатайстве.

Согласовали содержание ходатайства, а также кому выступать первым и как делить между собой те основные вопросы, о которых нужно говорить в речах.

По нашей договоренности моя речь должна быть посвящена психологическому и фактическому анализу причин признания. Анализу всех доказательств, относящихся к продолжительности времени, которое определяло возможность или невозможность совершить преступление, и к анализу заключения всех экспертиз: судебно-медицинской (способны или не способны были Саша и Алик в том — 1965-м — году к совершению полового акта), второй судебно-медицинской экспертизы (трупа Марины), экспертизы одежды Марины и, наконец, гидрологической экспертизы.

Потребность вновь разобраться и обдумать еще и еще раз велика. Для меня потребность даже как-то отстраниться от дела. Еще раз как бы со стороны, как бы посторонним взглядом оценить все «за» и «против», чтобы не слишком легко отбрасывать «против», чтобы не слишком доверчиво принимать все «за». В эти два дня я вновь, как при подготовке к делу, ставлю себя на место судьи. Судьи достаточно объективного, но требовательного.

Что произошло тогда со мной?

Я раскладывала бесконечные пасьянсы, курила сигарету за сигаретой, вставала и ходила по комнате. Меня распирало от количества мыслей. Но они оставались отдельными, не соединенными в необходимую непрерывную цепь. Они шли потоком, в котором не было подлинного объединяющего стержня. И тогда я решила перестать думать. Дать себе полный отдых. Заняться другими — отвлекающими — делами.

Я быстро делаю в уме расчет. При всех условиях 1 апреля я говорить не буду — на это время не хватит. А потом впереди будет целая ночь — прекрасное время для подготовки.

Так и прошли эти два дня в хозяйственных хлопотах, слушании музыки и полном умственном безделье. Я знала, что ничем не рискую. Не рискую даже в том случае, если бы вдруг случилось невероятное и мне пришлось произнести речь. Ведь фактически она — защитительная речь — уже давно готова. Что, как только начнет действовать сама атмосфера суда, что-то повернется и все встанет на свои места. На меня эта атмосфера судебного заседания, особенно в заключительной стадии судебных речей, всегда действовала безотказно. Как бы плохо я себя ни чувствовала перед этим — все уходило, даже зубная боль. Я часто сравнивала себя со старой цирковой лошадью, которая, понуро опустив голову, стоит где-то в глубине за кулисами. Но вот раздались звуки привычного циркового марша, и голова уже поднята и в нетерпении бьет она копытом.

Словом, я отправилась в суд без всяких тезисов речи.

Лев был абсолютно готов к произнесению речи. И ему ведь действительно говорить именно сегодня. Он показал мне свои наброски или, вернее, очень подробные тезисы — 80 страниц убористым почерком. Подготовил он и наше общее ходатайство. Он же и будет его заявлять.

Выходит состав суда. Мы садимся. Кириллов объявляет судебное заседание открытым. Сейчас Лев передаст наше ходатайство. Но Кириллов останавливает его и что-то тихо шепчет заседателю справа — кивок головы, заседателю слева — кивок головы, и объявляет:

— Суд удаляется на совещание для вынесения определения.

Что это может значить? Что это за определение, которое выносится по инициативе суда, без ходатайства прокурора, без ходатайства защиты? Мы смотрим друг на друга с недоумением. Такое же недоумение и на лице нашей прокурорши Волошиной. Я вижу, что секретарь суда складывает свои бумаги и собирается уйти из зала. Это она может себе позволить, если предупреждена судьей, что ушли они надолго, что впереди длительное совещание...

— С первым апреля, — говорю я Льву.

Он смотрит на меня с удивлением.

— С первым апреля! Тебя разыграл суд. Добродетель, как ей положено, наказана, а лень восторжествовала — они отправляют дело на доследование. Как хорошо, что я не готовилась к речи!

Суд вышел из совещательной комнаты через два с половиной часа. Они оглашают определение, по размеру равное приговору. В нем перечислены все основные дефекты следствия, основные нарушения закона, допущенные Юсовым. В нем дано указание разыскать и допросить тех, кто содержался вместе с Аликом и Сашей в камерах предварительного заключения, вновь передопросить солдат. Указано на то, что их показания были противоречивы и причину этих противоречий необходимо установить.

В определении суда повторяется формулировка, которую мы, адвокаты, так часто употребляли в ходе процесса:

...установить возможность для подсудимых совершить преступление еще не значит доказать, что преступление совершили именно они.

И предлагается провести судебно-медицинскую экспертизу для определения степени потери слуха у Марченковой; и указывается, что суд установил, что подсудимые указывали в период признания на разные места якобы совершенного преступления.

Разгромное для прокуратуры определение. Не только по длине, но и по содержанию это почти приговор. Только Алика и Сашу не

выпустят на свободу. Они останутся в тюрьме. Сегодня — 1 апреля — ровно семь месяцев со дня их ареста.

Через несколько минут заседание было закрыто. Все еще толпились в зале. А я? Я уже, конечно, в коридоре, в положенном месте для курильщиков.

И вот Кириллов. Он, улыбаясь, удовлетворенный идет по коридору. Увидел меня и быстро подходит:

— Ну что ж, товарищ адвокат Каминская, был рад с вами познакомиться. Буду рад видеть вас и в других моих процессах. А сейчас хочу дать совет вам и Юдовичу. Передайте вы это дело другим адвокатам.

— Это, собственно, почему? Потому, что вы написали в определении и о возможном воздействии адвокатов? Вы действительно сейчас так думаете?

Кириллов молчит.

— Или мы были тем боярином, которого кидают с крыльца, чтобы успокоить народ?

— Может быть, в какой-то мере вы и правы. И все же уходите лучше из этого дела. Неприятностей с ним не оберетесь.

И не попрощавшись отошел.

Но мы в деле остались. И никогда не пожалели об этом, хотя неприятности действительно были. Да и у кого из адвокатов их не бывает!

Но, вспоминая много раз это дело не для мемуаров, не последовательно, а как часть моей жизни, я вспоминала Кириллова не когда он кричал: «Я вам запрещаю смотреть на Бурова! Не поворачивайтесь!» — я вспоминала его в те минуты, когда он читал это свое определение. Спокойно и с достоинством, как и подобает судье.

МОСКОВСКИЙ областной суд предложил прокуратуре доследовать ряд обстоятельств и, в том числе проверить причины, по которым были допущены следователем Юсовым нарушения процессуальных норм.

Кому прокурор области поручит вести теперь это дело? Ответ на этот вопрос мы получили очень скоро. Новым следователем, который должен был проверить работу Юсова, дать ей оценку и стать тем самым, в какой-то мере, его судьей, был сам Юсов.

Хотя в тот день, 1 апреля, мы со Львом, конечно, не могли предположить такого нового проявления необъективности со стороны прокуратуры, но все же были достаточно осторожны. Каждый из нас объяснил своему подзащитному его право заявлять отвод следователю. У нас была договоренность, что, если будет назначен Юсов, Алик и Саша заявят о своем недоверии ему. Твердо откажутся давать показания и отвечать на его вопросы.

Мальчики многому научились за полтора месяца судебного следствия. Они не чувствовали себя такими потерянными и беспомощными. У них появилась надежда. Они понимали, что за эту надежду стоит и нужно бороться. Мы были уверены, что эту нашу договоренность Алик и Саша сумеют выполнить, какое бы воздействие на них ни оказывали.

Однако, как только дело вернулось в прокуратуру, мы подали совместное заявление на имя начальника следственного отдела об освобождении мальчиков, указывали, что сам арест был незаконен, что в деле нет достаточных для содержания под стражей доказательств их виновности.

Мы не рассчитывали на быстрый успех. Но также понимали, что если не начать борьбу немедленно, то и через два месяца, когда

истечет шестимесячный срок, Алик и Саша на свободу не выйдут. (Время, пока дело находится в суде, не засчитывается в установленный законом срок предварительного заключения.)

Последовательно во все прокурорские инстанции мы писали заявления с просьбой освободить мальчиков. И неизменно получали ответ, что наше заявление направлено в прокуратуру области для рассмотрения по существу. И уже оттуда: «Оснований для удовлетворения ваших ходатайств не усматривается».

И опять шло время. Мальчики продолжали сидеть в тюрьме, и мы, адвокаты, абсолютно не знали, что же происходит там, в следственных кабинетах тюрьмы и прокуратуры.

Позвонил мне следователь Юсов, когда он закончил все следствие и предложил начать знакомиться с делом.

Мы с Сашей сидели с утра до вечера и читали (а я и писала) все то, что содержалось в новых четырех томах следственного производства.

Юсов проделал титаническую работу. Он допросил всю деревню. Никого из ее жителей он не обошел. Он собрал все сплетни, все слухи, которые возникали и распространялись там. Сколько внимания и старания приложил Юсов, чтобы доказать, что новый плащ, который купили Наде Акатовой, конечно, не мог быть куплен на деньги ее родителей. И давался полный расчет заработков семьи Акатовых. А следом идет допрос Бродской. Она уверена, что плащ Наде купили не иначе как на деньги Буровых, чтобы Надя в суде давала хорошие показания. И еще видели в деревне, как шла по улице одна из свидетельниц, которая в Областном суде давала показания в пользу мальчиков. И было ясно видно, что она выпила, и, конечно, не на свои деньги. Она не такая, чтобы самой водку покупать, — любит, чтобы ее угостили. Ясно, что поднесли ей Буровы.

И так страница за страницей.

Единственный новый документ, приобретенный Юсовым к делу, — это справка из районного отдела милиции о том, что действительно в камерах предварительного заключения совместно с Кабановым содержался гражданин Кузнецов Иван, а с Буровым — Ермолаев Сергей. И что эти лица были освобождены после установления их личности с предложением «покинуть пределы города Москвы и Московской области».

Это очень важно, что подтверждаются заявления Алика и Саши о том, что с ними содержались взрослые люди. Но кто они? Где они? Почему их задерживали? Почему предложили покинуть Москву и Московскую область?

Юсов даже не сделал попытки найти и допросить их.

Ни Алик, ни Саша показаний Юсову не давали. На первом же допросе они заявили ему отвод. Саша даже собственноручно записал в этом единственном протоколе:

Я вам не доверяю потому, что вы обманули меня. Я признался потому, что вы обещали отпустить меня. Вы знали, что я ни в чем не виноват. Отвечать на ваши вопросы не буду.

С тех пор его и Алика Юсов не вызывал. Но это не помешало ему закончить дело, оставив в обвинительном заключении все прежние доказательства виновности.

Опять пишем подробное ходатайство. В его основу положены такие доводы:

1. Предварительное следствие проведено необъективно и с нарушением закона.
2. Признание вины от обвиняемых добыто незаконными методами.
3. Определение Московского областного суда осталось невыполненным.

И здесь по пунктам — каждое указание суда — отдельный пункт.

Просительными пунктами ходатайства были:

1. Выполнить все указания Московского областного суда.
2. Поручить расследование другому — объективному — следователю.
3. Изменить меру пресечения Бурову и Кабанову, освободив их из-под стражи.

Ответа ждали недолго. Он был краток и решителен: «За необоснованностью отказать».

И все. И жаловаться некому. Потому, что следствие уже закончено и дело направлено в Московский областной суд.

Уже кончилось лето. Начался новый учебный год — второй год, когда мальчики не ходят в школу, а дело в суде все не назначалось. Это могло быть и добрым признаком — может быть, Областной суд не принял дело? Может быть, вернул его на доследование?

И вот в конце сентября 1967 года узнаем, что дело будет рассматриваться в Московском городском суде.

В «Деле мальчиков» все необычно. Необычны и причины, по которым оно передано в Московский городской суд.

Областной и Городской суды занимают одну и ту же ступень в судебной иерархии. Их различия не в правах, а только в той территории, которая охватывается их подсудностью. Потому ни сложность

дела, ни его объем, ни тяжесть обвинения не могут повлечь за собой передачу дела из одного из этих судов в другой. И в данном случае причина была совсем иная.

Московский областной суд отказался рассматривать «Дело мальчиков». *Никто* из судей Областного суда не захотел выносить по нему обвинительный приговор. *Никто* не решался оправдать их — ведь все они знали, что дело на контроле ЦК КПСС. И повод для того, чтобы им отказать, дала сама Костоправкина. Возмущенная тем, что Кириллов не осудил мальчиков, она вместе с Бертой Бродской начали писать заявления уже не только на адвокатов. Появилась также жалоба:

Мы сами видели, как родители Бурова и Кабанова после окончания суда в зале судебного заседания передали секретарю большой сверток, завернутый в бумагу. Это, конечно, были деньги для судьи Кириллова и для секретаря, чтобы записала в протокол только то, что выгодно подсудимым.

Никаких последствий ни для Кириллова, ни для секретаря это заявление не имело. Всем контролирующим инстанциям было ясно, что взятку так не дают. Не передают деньги в присутствии многих людей прямо в зале суда.

То, что заявление было только поводом для отказа, а не его реальной причиной, явно видно из того, что дело не было передано другому судье в том же Областном суде, как это делается всегда, когда первоначальный судья оказывается чем-то скомпрометированным. Здесь все судьи сами распространили на себя подозрение, и в сопроводительном письме в Верховный суд так и было написано, что Костоправкина выразила недоверие всему Областному суду.

Они уцепились за это заявление как за якорь спасения от профессионального поражения. И легко пошли на то, чтобы лишить себя профессиональной победы — вынесения правосудного приговора.

Московский городской суд принял дело без возражений. Так случилось, что второй раз судила Алика и Сашу член Московского городского суда Карева.

«Дело мальчиков» слушалось в большом зале на втором этаже. Я люблю этот зал. В нем я произносила свою первую защитительную речь. В нем же я выслушала первый в своей практике оправдательный приговор. Я даже немного верила, что этот зал приносит мне удачу, как школьницы верят в счастливое платье, которое помогает сдать экзамены.

Опять в зале судебного заседания Алик и Саша. За деревянным барьером, прямо за нашими спинами. Напротив нас прокурор Волошина. На первой скамье Александра Костоправкина. За ней родители мальчиков. Еще дальше, сбоку, почти в конце зала еще один человек. Это известная журналистка Ольга Чайковская. Ее судебные очерки в те годы часто появлялись в «Литературной газете» и в «Известиях». Да и сейчас, уже живя в Америке, я продолжаю читать в «Литературной газете» ее статьи, посвященные советскому правосудию. Ольгу уговорила прийти на этот процесс я, когда мы со Львом решили, что пригласить корреспондента необходимо. Мы исходили из того, что присутствие корреспондента само по себе будет сдерживать суд. Заставлять его более строго соблюдать закон, не препятствовать осуществлению защиты. Мы понимали, что, если дело будет рассматриваться объективно, мальчики будут оправданы.

Остаются последние минуты до открытия судебного заседания, когда Волошина обращается к Костоправкиной:

— А где же общественный обвинитель? Почему ее нет?

И вот тут открывается дверь и входит человек, которому суждено было сыграть не просто большую, но и очень необычную роль в нашем деле, в судьбе Алика и Саши.

Это женщина. Ни я, ни Лев не знаем, кто она. Только сразу обращают на себя внимание приятная, мягкая улыбка и лучистые, смеющиеся глаза. А это редкость в судебных залах. Она оглядывается по сторонам, быстро подходит к столу прокурора и что-то ей шепчет. Достает и показывает какую-то бумагу. А потом садится рядом с ней. Словом, видно, что собирается остаться и слушать дело. Входит суд. Все встают. А мы и не знаем, кто этот новый участник процесса, который так неожиданно появился у нас.

Суд проверяет явку. Подсудимых доставили. Прокурор Волошина — кивок в ее сторону, адвокаты Каминская и Юдович — кивок в нашу сторону — явились. Общественный обвинитель — вопросительный взгляд в сторону Волошиной — не явился.

— Явился, — заявляет неизвестная нам женщина. — Общественный обвинитель — это я. Моя фамилия Бабенышева. Я уполномочена Московской писательской организацией выступить по этому делу в качестве общественного обвинителя.

Проверяются ее полномочия. Смотрим на ее бумаги и мы. Они оформлены явно неправильно. Не приложен протокол общего собрания. Не соблюдена необходимая форма. Мы можем возражать против ее участия в процессе. Но тогда суд вызовет первого общественного обвинителя. Ту учительницу, которую мы уже знаем. А это все-таки писательница, интеллигентный человек. Есть надежда, что

захочет разобраться или во всяком случае не будет такой кровожадной. И мы соглашаемся.

— Возражений не имеем, — записывает секретарь.

И дальше: «Суд определил допустить к участию в деле по обвинению Бурова и Кабанова общественного обвинителя гражданку Бабенышеву Сару Эммануиловну».

С этого началось слушание дела. И опять допрос Саши, а потом Алика.

Карева не кричит на них. Не смотрит пристально в глаза, когда они дают показания. Не делает нам замечаний, когда мы поворачиваем голову. Спокойно, плотно поджав губы, она слушает. Когда сама допрашивает Сашу, не призывает его говорить правду и не угрожает ему.

Только когда переходим к допросу свидетелей, Карева перестает быть спокойной и сдержанной. Все свидетели четко разделены ею на две группы: «хороших» — против мальчиков и «плохих» — за мальчиков. С первыми говорит любезно и доброжелательно. Других, из второй группы, прерывает, непрерывно напоминает об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. И тут оказывается, что Юсов проделал вовсе не бесполезную работу, собрав все сплетни, кухонные дразги и пересуды, которыми полна была деревня.

Особенно тяжело досталось семье Акатовых — матери и двум сестрам Наде и Нине; Лене Кабановой — Сашиной сестре и Ирочке — дачнице, которая вместе с матерью в то лето снимала комнату у Акатовых.

И это понятно. Эти свидетели показывают время прихода мальчиков, и противопоставить их показаниям судье нечего. Никто, кроме них, не видел и не знает, когда Алик и Саша пришли в дом Акатовых.

Часами, не минутами, а часами держит их Карева перед судейским столом. И вновь, и вновь задает одни и те же вопросы. Расчет на изнеможение, на то, что не устоят. Надя старше, ей уже больше шестнадцати лет — возраст, с которого наступает уголовная ответственность за ложные показания в суде. Каждый ее ответ прерывается напоминанием об этом. И детально спрашивают, когда купила плащ и на какие деньги.

— Но я ведь уже работаю! Это моя первая зарплата. Почему вы мне не верите? У меня же другого плаща не было. Ведь все в нашей деревне ходят в плащах.

И опять вопрос о времени. И опять напоминают об уголовной ответственности. Надя стоит бледная и только повторяет:

— Но я же говорю правду.

Так прошло все утро. Потом объявили перерыв на обед и Карева сказала:

— После обеда мы продолжим ваш допрос.

А в зале сидит корреспондент «Литературной газеты» Чайковская и все это слушает и пишет. И наш расчет, что присутствие корреспондента как-то свяжет судью, явно не оправдывается.

Пусть не думает мой читатель, что Лев и я принимали это как нечто естественное, обычное.

В книге Владимира Буковского «И возвращается ветер...» есть такие строчки:

В кодексе я вычитал, что имею право делать замечания на действия судьи... Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь с принятия кодекса этим правом пользовался, — конечно, судья эту статью не помнит...

Это напрасные сомнения. Статью 243 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР знают и помнят все судьи. Это статья, которая определяет обязанности председательствующего в судебном заседании. Знают они и заключительные строки этого закона:

...в случае возражения кого-либо из лиц, участвующих в судебном разбирательстве, против действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол судебного заседания.

В этом процессе такие наши возражения заявлялись неоднократно.

Карева выслушивала их, смотрела на нас холодным взглядом своих светлых глаз, еще сильнее поджимала губы, но не прерывала, не обрывала. На какое-то время ее допрос становился более спокойным, более академичным. А потом все начиналось сначала.

Не лучше обстояло дело и с удовлетворением самых насущных наших ходатайств. Отказали нам и в вызове в суд для допроса должностных лиц милиции, по незаконному распоряжению которых Алик и Саша содержались вместе со взрослыми и при попустительстве которых мальчиков держали в камере предварительного заключения сверх установленного законом срока. А ведь так важно было установить, почему было допущено это нарушение. Уже дважды в этом суде отказали нам в возможности скопировать или хотя бы несколько раз прослушать магнитофонную запись «признания» и очной ставки.

Дважды заявляли мы ходатайство о выезде всем составом суда для осмотра места происшествия. Мы уже знали, какие серьезные доказательства невиновности дадут нам результаты этого выезда.

Еще летом, когда дело было в прокуратуре, мы со Львом выезжали туда. Исходили все берега Самаринско-Измалковских прудов. Спускались с высокого берега — того места, с которого, по обвинению, Алик и Саша бросили тело Марины. И убедились — этого не могло быть. Не могло быть потому, что большая часть пути от совхозного сада к берегу проходит по грязной и мокрой тропинке. Но, главное, потому, что прямо под горкой, с которой якобы бросали тело в воду, оказалась песчаная коса, довольно далеко уходящая в воду. Чтобы добросить тело рослой четырнадцатилетней девочки до того места, где было глубже, где тело Марины могло бы утонуть, были недостаточны усилия и нескольких взрослых. А мальчикам в то время еще не было пятнадцати лет.

Мы увидели, что яблони, под которыми якобы насильовали Марину, расположены почти вплотную к нахоженной пешеходной тропе. И трудно, даже невозможно предположить, что кто-либо мог решиться именно там совершить насилие.

Мы убедились в том, что место, где найдена была кофта Марины, пуговица от ее плавок и пуговица от мужского белья, совершенно закрытое, защищенное кустами и деревьями от всякого постороннего взгляда. Увидели, что прямо от этого места по каменным плитам старой разрушенной плотины можно совершенно незаметно подойти к тому концу пруда, где и был впоследствии обнаружен всплывший труп Марины.

Прокурор Волошина дважды возражала против выезда суда в Измалково:

— Все ясно. Ходатайство адвокатов приведет только к ненужной затяжке процесса.

Дважды Карева, кивнув направо и налево уже новым заседателям, отказывала нам.

Правда, были и такие ходатайства, которые суд удовлетворил. Вызваны и допрошены в судебном заседании солдаты Согрин, Зуев и Базаров. Их показания в суде, на мой взгляд, должны были еще более усилить подозрения, которые возникли против них сразу после гибели Марины.

Они ушли от волейбольной площадки вместе с девочками Акастовыми (то есть в 22 часа 30 минут — 22 часа 40 минут), на 4–5 минут раньше Марины, Алика и Саши. Их путь от главной улицы деревни шел по пешеходной тропе через весь совхозный сад, а потом вдоль забора дачи Руслановой (значит, мимо того места, где была найдена кофта) к даче маршала Буденного.

В своих первых показаниях на следствии в 1965 году солдаты говорили, что сразу, не задерживаясь на даче, они вышли на шоссе,

где их ждала машина. Шофер же машины Полещук утверждал, что приехал за солдатами около 23 часов, ждал их 2 часа и только около часа ночи «они подошли к машине все трое». Правда, потом Полещук изменил показания, перенес время прихода солдат на более раннее, «исключая возможность совершения преступления» (из приговора Московского городского суда по делу Бурова и Кабанова). Но в распоряжении суда появились новые данные, начисто подрывающие доверие к этому, выгодному для солдат варианту их показаний.

Свидетель Полещук показал в суде, что он ждал солдат не один. Что еще по дороге к даче Буденного он заехал за своей знакомой Галей и она вместе с ним находилась в машине, пока не пришли солдаты. На обратном пути в часть он завез Галю домой. Эта свидетельница по ходатайству защиты была разыскана и допрошена.

День, о котором шла речь, она запомнила очень хорошо, — на следующий день после этого она переезжала на другую квартиру.

С шофером Полещуком вечером я ездила только один раз и спутать этот день с другим не могу. Я хорошо помню, что он заехал за мной в 22 часа и предложил поехать с ним посмотреть дачи генеральского поселка. Я раньше там никогда не бывала. Мы приехали на угол Минского шоссе. Ехали 20–30 минут. Потом посмотрели очень красивую дачу Буденного и еще кого-то рядом с ней. Вернулись к машине в 22 часа 50 минут. Я это время помню, потому что смотрела на часы. Я очень волновалась потому, что пришлось долго ждать, а было уже поздно. Полещук был расстроен, что так подвел меня, извинялся. Они пришли только около часа ночи. Я это хорошо знаю, так как приехала домой в начале второго часа ночи.

Как же допрашивает Карева эту свидетельницу? О чем спрашивает? О том, почему Галя решила поехать так поздно вечером с посторонним мужчиной. И почему пошла с ним вдвоем смотреть чужие дачи.

— Но я ведь думала, что там его товарищи, что мы не будем вдвоем. И мы не делали там ничего плохого. Посмотрели и ушли.

— И часто вы так с незнакомыми мужчинами катаетесь по ночам?

Галя стоит бледная, глаза полны слез.

— Вы ведь сами меня нашли и сами меня вызвали. Сказали, говорить все, что знаю. За что же вы на меня так нападаете? Я сказала все, как было.

— Никто на вас не нападает, свидетель. Вы в суде. Суд не нападает — суд разъясняет вам ваше поведение.

Что-то записывает в свой блокнот Ольга Чайковская. Что-то пишет в свои листки Сара Бабеньшева — наш общественный обвинитель.

В первые дни процесса она задавала много вопросов Алику и Саше. Их показания в суде явно поразили ее.

А потом допрашивали Александру Костоправкину. Сара слушала ее показания о том, какой хорошей девочкой была Марина. Сара верила Александре Костоправкиной. Да ведь и в процесс Бабеньшева шла с полным убеждением в виновности мальчиков. Шла обвинять.

Но прошло несколько дней, и я услышала, как в перерыве Сара сказала, обращаясь к прокурору:

— Какое страшное и какое странное дело.

— Чего же здесь странного? Все проще простого. Убили, а теперь выкручиваются.

Где-то с этого времени стало меняться отношение к Бабеньшевой прокурора, а потом и суда. Им не нравилась необычайная для представителя общественности активность. Не нравилось, что она не запугивает свидетелей, не стыдит их, а спокойно задает вопросы. Они сидели за одним столом — Бабеньшева и Волошина, — как живой пример контраста между интеллигентным и безграмотным, но самодовольным человеком. Ее несовместимость с судом была очевидной. И это понимал суд. Он перестал видеть в ней помощника. Он начал подозревать в ней противника.

Вопросов, которые задавала Бабеньшева, не снимали, но всем своим видом Карева показывала, что не только сами эти вопросы, но и вообще ее участие в этом деле суду совершенно не нужно. Как-то после очередного нашего ходатайства о выезде на место преступления и возражения на него прокурора Карева сказала:

— Общественный обвинитель, конечно, поддерживает ходатайство?

— Поддерживаю. И считаю очень важным. Я ведь живу в Переделкино. Я сама много раз бывала в этих местах...

— Товарищ общественный обвинитель, я вам разъясняю, что вы не свидетель. Мы выслушали ваше мнение по заявленному ходатайству. Садитесь.

А через два дня после этого утром к началу заседания появилась в зале учительница — наш первый общественный обвинитель. И прокурор, и Костоправкина просили допустить ее в качестве второго общественного обвинителя. Но суд этого сделать не мог. Ведь ее полномочия относились только к процессу в Московском областном суде, новых она не представила. Суд вынужден был признать наши возражения обоснованными и отказал в допуске второго общественного обвинителя.

Трудно передать, какой травле подвергалась Бабенышева со стороны Костоправкиной. Ее озлобленность усиливалась тем, что ведь это по ее — Костоправкиной — просьбе писательская организация выделила общественного обвинителя. Ведь это она — сама Костоправкина — буквально умолила Сару дать свое согласие на участие в процессе, то есть на полтора месяца ежедневной, абсолютно безвозмездной работы, совершенно ей чужой.

Я помню, как бывало стыдно нам, адвокатам, когда поздним дождливым вечером мы отъезжали от здания суда на Левиной машине, а Бабенышева и Чайковская шли пешком до метро (это не менее 15 минут хода). И мы не могли предложить им довести их. Боялись одним этим повредить делу и скомпрометировать Ольгу и Сару.

Допросили в Московском городском суде и Назарова — того, кто еще до Алика и Саши признался, что изнасиловал и убил Марину.

Его показания очень интересны. Они важны, как опровержение тезиса: «Раз признался — значит, виноват».

Вот он стоит в зале суда, доставленный в сопровождении конвоя из тюрьмы, и само его присутствие заставляет каждого, доверяющего признанию как неопровержимому доказательству задуматься.

Как же так! Ведь он признался. Раз он признался — значит, виноват. Но тогда не виноваты Алик и Саша. А если виноваты Алик и Саша, то не виноват Назаров. Значит, одного признания мало. Значит, нужны и другие доказательства.

Я много пишу об этом. Я делаю это потому, что абсолютно убеждена, что как ни разработана эта проблема теорией права, как ни декларируется во всех учебниках, что на признание нельзя безоговорочно полагаться, но в подавляющем большинстве случаев эти правильные слова остаются декларацией.

Человеку, не пережившему ужаса незаслуженного ареста, мучений недоверия и пренебрежения к нему, трудно вместить в свое сознание ту силу психологического коллапса, который приводит к самоговору — ложным показаниям на самого себя.

Показания Назарова важны для нас и как ответ на вопрос о возможных причинах самоговора. Назарова допрашивал другой следователь, не Юсов. А причины его признания и признания мальчиков оказались совершенно одинаковыми. Когда Назаров говорил, что не виноват, ему не верили — ведь он уже ранее был судим за изнасилование. Каждую его попытку доказать невиновность следователь отвергал, как не заслуживающую внимания. Назаров долго держался, говорил:

— Не я.

А потом наступил срыв, и он признался в том, чего, очевидно, не совершал. Были и обещания облегчения участи, были и угрозы расстрелом. Но, по его словам, главной причиной была безнадежность. Понимание того, что ему все равно не поверят.

И еще одно важное обстоятельство, которое необходимо было выяснить путем допроса Назарова. Ведь Назаров не просто признал себя виновным. Запись его показаний изобилует конкретными деталями, связанными с обстоятельством гибели Марины.

Он указал день, когда это случилось, время и место изнасилования. Он рассказывал, что изнасиловал девочку 14–15 лет под небольшим деревом в овраге, около забора какой-то дачи. То есть описал то самое место, где уже была найдена кофточка Марины. Рассказывал, как снимал с нее эту самую красную кофточку. Говорил, что после изнасилования убил девочку и бросил ее тело в пруд.

Откуда все это было ему известно, если он не убийца?

Назаров утверждал, что все это, все эти детали стали ему известны от самого следователя. Единственное, что не мог ему сказать следователь, — это как, каким способом была убита девочка. Заключения судебно-медицинской экспертизы тогда еще не было.

И Назаров показал, что он зарезал ее, нанеся несколько ножевых ранений. А потом пришло к следователю заключение экспертов-медиков, и узнали, что никаких следов ножевых ранений на трупе не было.

Показания Назарова в Московском городском суде поразительно совпали с показаниями мальчиков. Ведь оба они утверждали, что описание нижней одежды Марины они узнали от Юсова. Юсов не только рассказывал им об этом, но и показывал фотографии всех этих вещей. Единственное упущение Юсова — это то, что он показывал фотографии в присутствии понятых. И только благодаря этому рассказ мальчиков нашел подтверждение в суде.

Наконец наступил момент, когда суд решил удовлетворить наше ходатайство и дал нам возможность получить стенографические записи всех допросов и очной ставки, которые были записаны на магнитофонную пленку. Нам не доверили самим провести эту работу. Ее поручили прокуратуре Московской области.

Работники прокуратуры подготовили стенограмму магнитофонной записи, а нам предоставили необходимое время, чтобы сопоставить ее с рукописным текстом допроса, составленного Юсовым.

Изучая стенограмму, мы установили 26 случаев несоответствия. И каждый из них представлял собой приписку тех самых фактов и деталей, по поводу которых в обвинительном заключении написано:

Вина Бурова и Кабанова в предъявленном им обвинении подтверждается тем, что, признавая себя виновными в изнасиловании и убийстве Марины Костоправкиной, они сообщили следствию о таких деталях, которые могли стать им известны только в связи с совершением преступления. Их вина доказывается также и тем, что, допрошенные отдельно, они сообщили следствию одни и те же детали, относящиеся к месту и способу изнасилования и убийства.

Теперь нам предстояло добиться, чтобы результаты нашей проверки были официально признаны судом, приобщены к делу. Только после этого мы получим право говорить о них в защитительных речах и, если понадобится, писать об этом в кассационных жалобах. У нас был только один путь. Заставить, именно заставить суд в судебном заседании проверить наши утверждения пункт за пунктом. И по каждому пункту отдельно записать в протоколе судебного заседания: «Суд удовлетворяет следующие несоответствия» — и далее кавычки и полный текст выявленной приписки.

Мы предвидели, что это наше ходатайство вызовет решительное сопротивление суда. Поэтому необходимо было заявить его так, чтобы суд поначалу даже не подозревал его подлинной цели и смысла.

На следующий день Юдович принес в суд большой разграфленный лист бумаги. Первая графа — текст стенограммы по каждому из 26 пунктов. Вторая графа — текст протокола по этим же пунктам. Третья — фиксация выявленных расхождений.

Лев сам предложил, чтобы ходатайство об удостоверении судом расхождений заявляла я.

Как только открылось судебное заседание, я попросила о приобщении к делу стенограммы магнитофонных записей. Прокурор мое ходатайство поддержал, и без всяких осложнений оно было удовлетворено. С этого момента стенограмма стала «материалами дела» и я получила право удостоверять любые имеющиеся в ней формулировки.

Рассмотрели еще какие-то незначительные вопросы судебной процедуры, и вот суд объявил:

— Переходим к дополнениям к судебному следствию.

Какой-то дополнительный вопрос задала Волошина. Спокойно провел дополнение и Юдович — все то, что он просил, суд удостоверял.

Наконец наступила моя очередь. Я начала с того, что задала один и тот же вопрос Бурову и Кабанову:

— Не задавал ли следователь Юсов каких-либо дополнительных вопросов уже после того, как была прекращена запись показаний на магнитофон?

И оба мальчика ответили:

— Нет.

Карева и Волошина охотно выслушали такие ответы. Они видели в них свидетельство того, что закон соблюден. Все, что говорилось, записано на пленку, ничего не упущено. А мне была важна фиксация этого обстоятельства, чтобы предупредить возможность объяснения, дописок, то есть фальсификаций, чисто техническим нарушением правил звукозаписи. Мол, допрос был закончен, следовательно не успел все записать и потому вновь уточнял какие-то второстепенные детали.

Как договорились, начала уточнять отдельные формулировки из заключений экспертиз, даты некоторых документов. То есть все то, что определяется формальным требованием, — в речи можно ссылаться только на то, что проверено и удостоверено судом.

И вот:

Я: В протоколе очной ставки между Буровым и Кабановым в томе третьем на листе дела 129 имеется следующая запись: «...»

Карева: Товарищ секретарь, запишите: «Суд удостоверяет наличие следующей записи в протоколе очной ставки в томе третьем на листе дела 129...»

Я: В стенограмме этой же очной ставки по этому же вопросу имеется следующая запись: «...» (опять цитата).

Я привожу запись, в которой никаких существенных расхождений нет. Оба текста почти дословно совпадают.

Карева: Товарищ секретарь, запишите: «Суд удостоверяет...»

Так еще две цитаты с очень небольшими расхождениями.

А потом:

Прошу удостоверить. В томе третьем на листе дела 86 в протоколе допроса Бурова записано: «Марина вырвала левую руку, и я сильнее стал держать ее. У Марины были еще плавки. Плавки с нее снял Сашка».

Карева: Суд удостоверяет...

Я: Прошу удостоверить, что в стенограмме эта запись отсутствует. Никакого упоминания о плавках и о том, кто их снимал, в ней нет.

И пауза. Та самая, которая так невыразительно выглядит в книге и которая почти как взрыв там, в суде.

Карева: Товарищ адвокат, что вы хотите этим сказать?

Я: Я хочу сказать, товарищ председательствующий, что в томе третьем на листе дела 86 имеется запись, которую вы уже удостоверили. Я также хочу сказать, что в стенограмме такая запись отсутствует. Прошу вас проверить и в соответствии с законом удостоверить правильность моего утверждения.

И опять пауза. А потом Карева медленно произносит:

Товарищ секретарь, суд удостоверяет, что такая запись в стенограмме отсутствует.

Я: Прошу удостоверить, что в рукописном протоколе допроса подсудимого Кабанова в томе третьем на листе дела 96 записано: «Я бросил кофту Марины недалеко от забора руслановской дачи».

В магнитофонной записи эти его показания зафиксированы: «Кто из нас прятал кофту Марины и где — не помню».

Хорошо помню, как вскочила Волошина с криком:

— Этого не может быть! Наверное, есть уточнение в конце протокола!

Но я спокойна. Ни в начале, ни в конце представленной самим прокурором расшифровки этого нет.

И опять:

Карева: Товарищ секретарь, суд удостоверяет...

Еще одно такое сопоставление, и взрывается Карева:

Товарищ адвокат, суд вновь предлагает вам аргументировать ваше ходатайство. Объясните, для чего вы заставляете нас делать эту работу?

Я: Пожалуйста, товарищ председатель. Основанием моего ходатайства является статья 294 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Она обязывает меня просить вас об удостоверении тех материалов дела, которые имеют значение для защиты. Поскольку протоколы допросов моего подзащитного и его очных ставок несомненно являются доказательством по делу, а стенограмма вами уже приобщена, я и прошу вас об удостоверении отдельных выдержек из них.

Карева: Это все, что вы можете сказать в обоснование вашей просьбы?

Я впервые вижу Кареву такой. Все ее лицо покрыто красными пятнами. Она с трудом сдерживает не волнение даже, а бешенство. Бешенство от впервые ощущаемого ею собственного бессилия — у нее нет возможности отказать мне. Она вынуждена каждый раз произносить:

— Удостоверяю.

Говорю спокойно, каким-то, как мне казалось, даже скучным голосом. Только почему-то не могу остановить дрожь в коленях, скрытых от всех адвокатской трибуной. Но это не потому, что боюсь и волнуюсь. Это от необходимости сдерживать презрение к ней, судье — «объективному и беспристрастному избраннику народа».

Уже потом, в перерыве, Юдович и Чайковская сказали, что ни разу в процессе не видели у меня такого лица. Лица, полностью лишённого всякого выражения.

Так продолжалось около часа. А потом Карева сделала ещё одну попытку остановить меня:

— Товарищ адвокат, по плану работы суда мы должны сегодня закончить судебное следствие. Мы слушаем вас достаточно долго. У суда нет времени целый день тратить на такую работу.

— Вы ошибаетесь, товарищ председательствующий. У суда всегда есть время, чтобы проверить материалы дела так, как этого требует закон. Вы знаете, что не можете отказать мне в осуществлении моего права на защиту из-за отсутствия на то времени.

И так было до конца. Пока все 26 пунктов нашего списка не были внесены в протокол.

Так закончилось судебное следствие в Московском городском суде.

Прения сторон — заключительная часть судебного процесса. После речей обвинителя и защиты только последние слова подсудимых и... приговор.

Подсудимые ждут этого дня почти с таким же волнением, как дня приговора. Большинство из них твердо уверено — как скажет прокурор, так и будет. Может быть, только год или два суд сбросит.

В том, что Волошина будет просить признать мальчиков виновными, сомнений ни у кого из нас не было. Понимали это Алик и Саша. Понимали это и их родители.

И все же мы не только предполагали, мы были почти уверены, что нас ожидает во время прений сторон нечто необычное. И что это необычное прозвучит с трибуны обвинения. Так это и случилось.

Первый раз слова «вина не доказана» и «прошу оправдать» в деле мальчиков произнесли не мы, адвокаты. Этими словами закончила свою речь общественный обвинитель Сара Бабеньшева.

Передо мной и сейчас лицо Сары, ее смущенная улыбка, когда прозвучало: «Слово для поддержания обвинения предоставляется общественному обвинителю товарищу Бабеньшевой».

Ее первый, чуть растерянный, даже испуганный взгляд. Помню, как медленно она встала, слышу ее негромкий голос. Кажется, она начала так: «Я шла в суд с чувством глубокого сочувствия горю матери, трагически потерявшей своего ребенка. Я шла с чувством ужаса перед совершенным преступлением и негодованием против тех, кто виновен в гибели Марины. Я сохранила эти чувства и сейчас. Так же, как и тогда, я готова просить суд наказать убийц Марины. Но сегодня я не знаю, кто они».

Сара рассказывала (именно рассказывала) в своей речи, как она постепенно, слушая показания Саши и Алика, теряла ту непоколебимую уверенность, с которой шла в суд, согласившись быть обвинителем. Как зарождались у нее сомнения в правдивости показаний мальчиков.

То, что произошло у нас в процессе, было просто уникально. Такой самостоятельности и независимости, думаю, не продемонстрировал ни один из общественных обвинителей.

Но помимо этого общего значения речь Сары Бабенышевой была очень интересна и самим анализом доказательств. Особенно в той ее части, которая относилась к показаниям свидетельницы Марченковой.

Много раз, думая о том, как родились эти показания, впервые прозвучавшие на кладбище над могилой, я ощущала их истеричность. Про себя я называла Марченкову кликушей, не находя для нее более точного определения. Бабенышева назвала ее «плакальщицей». Читая показания этой свидетельницы, записанные следователем, Бабенышева сумела ощутить в них традиционный народный ритуал обрядного «плача» над могилой усопшего. И, произнося свою речь, цитируя эти показания, произнося их чуть нараспев, Сара заставила всех нас увидеть и почувствовать это. Она сумела показать, что само построение показаний Марченковой точно укладывается в законы фольклорного жанра. Сначала сожаление о погибшей, неутешность горя о ней. Потом восхваление ее достоинств: «умница», «красавица». Вина живых в том, что недоглядели, не уберегли: «Прости, Мариночка, деточка, прости меня, старую. Отпусти меня. Зачем снишься мне каждую ноченьку. Не уберегла тебя, не спасла тебя» и т.д.

Сара говорила, что содержание посмертного оплакивания, в котором единственное достоверное — смерть оплакиваемого, следствие сделало краеугольным камнем обвинения. Придало силу свидетельского показания литературному вымыслу.

Я хорошо помню, что Юдович произнес в тот день блестящую защитительную речь. Но вспомнить сейчас, через многие годы, отдельные куски его речи, строй его аргументов я не могу. Я помню сейчас свою речь только потому, что привезла с собой ее стенограмму. Я помню куски из речи прокурора Волошиной, но именно те куски, которые цитирую или на которые отвечаю в своей речи.

Это не потому, что мы, адвокаты, произнесли плохие, неинтересные речи. Отнюдь нет. Стенографические записи наших речей были предметом специального изучения и обсуждения на заседании криминалистического общества Московской коллегии адвокатов.

Обсуждались и изучались наши речи и на специально посвященных этому производственных совещаниях в юридических консультациях.

Но эти речи, при всей непохожести стиля, манеры изложения, все же оставались традиционными судебными речами. Это не слабость? Это закон профессии. Речь Бабенышевой так запомнилась именно в силу ее абсолютной нетрадиционности, необычности для суда. В этом была особая сила эмоционального ее воздействия.

Речь прокурора Волошиной, как мы и ожидали, была дословным повторением того, что записано в обвинительном заключении. И хотя прокурор вынуждена была признать, что следователь Юсов допустил нарушения закона при производстве расследования, закончила она свою речь так: «Я не могу не признать, что Буров и Кабанов были хорошими мальчиками. Ничто в их поведении не свидетельствует о том, что у них были преступные наклонности. Если бы они не отказались от признания своей вины, они могли бы прийти в суд с *гордо поднятой головой*. Но они от этого признания отказались. Я считаю их вину доказанной и прошу суд приговорить их по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР к 10 годам лишения свободы каждого».

Мне казалось тогда, да и сейчас я придерживаюсь этого мнения, что ничто лучше не выражает психологическое пристрастие к «признанию», его гипнотическую силу, чем эти слова: «Они могли бы прийти в суд с *гордо поднятой головой*».

Слова, произнесенные в отношении тех, кого сама прокурор считала виновными в совершении одного из самых тяжких и самых безнравственных преступлений.

Прения сторон по делу мальчиков длились два дня. Я произносила речь на второй день. После моей речи был объявлен обеденный перерыв.

Мы стояли в длинной очереди в столовой Городского суда между судьями, прокурорами, адвокатами. Некоторые из них слушали наши речи. Левину — вчера, мою — сегодня. Нам обоим довелось тогда выслушать много лестных слов в наш адрес. И то, что это говорили судьи и прокуроры, было не только приятно. Это вселяло и некоторую надежду. Нам казалось, что если они, судьи, так безоговорочно признают убедительность наших доводов, если они соглашаются с тем, что мы опровергли достоверность признания, то ведь и Карева такая же судья, как и они. Может быть, и она, несмотря на свою предубежденность, спокойно оценит все «за» и «против».

Именно в этот момент, когда мы со Львом обменивались этими словами, вошла Карева и, обращая ко мне, громко сказала:

— Товарищ Каминская, я не могу удержаться, чтобы не сказать вам, что вы сегодня произнесли замечательную речь.

А я стояла подавленная, понимая, что надеяться не на что. Что Карева никогда не сказала бы так в присутствии своих и моих коллег, если бы не решила безоговорочно, что мальчиков она осудит.

А через три дня — 23 ноября 1967 года — мы, стоя в зале Московского городского суда, слушали приговор. С волнением, когда кажется, что сердце замирает, ждали, когда же услышим те главные слова, ради которых работали столько месяцев. Ради которых действительно не спали ночами. Ради которых вкладывали в эту работу не просто умение и добросовестность, но и кусок своей жизни.

И вот они звучат, эти слова.

Именем Российской Социалистической Федеративной Республики. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговорила... признать Бурова и Кабанова виновными в предъявленном им обвинении по статье 102 Уголовного кодекса. И определить им наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому.

Как мы ни были к этому готовы, каким тяжким, как будто непредвиденным грузом ложатся эти слова. И так всегда. Во всех делах, где уверен в своей правоте. Как бы ни понимала умом, что осудят, все равно абсолютно иррационально надежда продолжает жить до этой последней минуты.

Я, как, наверное, и все адвокаты мира, немного волнуюсь перед речью. Мне, как и всем, хочется сказать ее хорошо. Здесь и чувство профессиональной чести, наверное, и немного тщеславия. Кому не приятно услышать после речи похвалу?.. Но я никогда не сравню интенсивность этого волнения с той, которую испытываю в день вынесения приговора. И когда меня товарищи спрашивали: «Когда ты больше волнуешься — перед речью или после нее?» — я всегда отвечала:

— Больше всего, несравнимо больше волнуюсь, ожидая приговор и во время его чтения.

Суд очень утомляет. Часто, приходя домой вечером, я от усталости не хотела и не могла ни с кем разговаривать. Молча ела обед, молча, не читая, не глядя на телевизор, сидела потом у себя в кабинете.

После обвинительного приговора это была уже не просто усталость, а изнеможение. Ощущение такой слабости, когда трудно и лень протянуть руку, сделать лишний шаг.

В день вынесения приговора Саше и Алику, бессонной ночью, я думала: «Проклятая работа. Я ненавижу эту профессию. Лучше стать дворником, прислужгой — кем угодно, но не участвовать в этой гнусной комедии».

И я действительно в эти часы ненавидела свою профессию — ту, которую называю профессией моей жизни.

Карева вынесла не только обвинительный приговор. Она вынесла еще частное определение, утверждая, что Саша отказался от тех показаний, где признавал себя виновным, под влиянием адвоката Козополянской. Карева не нашла ничего предосудительного во всех тех беззакониях, которые творил Юсов. Она не только не вынесла частного определения в его адрес, но и в самих формулировках приговора обошла все то, что бесспорно было установлено в суде. И незаконный арест, и незаконное — сверх срока — содержание в камере предварительного заключения, да еще вместе со взрослыми.

Ни слова не было сказано в приговоре о приписках к протоколу допроса, которые она сама же удостоверила.

Карева вынесла определение против Козополянской не потому, что было доказано в суде, что под ее влиянием Саша изменил свои показания. Осуждая мальчиков, она была обязана указать причину изменения ими показаний. Определение против Козополянской работало на обвинительный приговор.

Карева обошла молчанием все нарушения, совершенные Юсовым, не потому, что не понимала их серьезности. Но определение против Юсова работало бы против обвинительного приговора.

Самое трудное в том состоянии подавленности, в которое меня привел этот чудовищно несправедливый приговор, было не поддаться отчаянию, не потерять активности в борьбе. Не дать овладеть собою ощущению безнадежности от сознания — все, что делали, все, чего добились в Областном суде, было впустую. Заставить себя надеяться — ведь впереди Верховный суд.

На следующий день после приговора, вечером, у меня была назначена встреча с родителями Саши.

На эту встречу с Сашиним отцом Георгием и с Клавдией Кабановыми я шла с чувством глубокой вины и стыда перед ними. И никакие самоуспокоения — я ведь сделала все, что могла, — не снимали этого чувства.

Клавдия и Георгий пришли в консультацию с огромным букетом роз. И опять я поразилась врожденному чувству благородства и чуткости этой простой женщины. После такого приговора, на следующий день после того, как ее сын, в невиновности которого она была уверена, получил 10 лет, Клавдия пришла ко мне только для того, чтобы сказать:

— Я благодарю вас. Я никогда не забуду того, что вы для нас делаете.

Не я успокаивала ее, а она говорила мне все те слова, которые собиралась сказать ей я.

— Ведь это не конец, Дина Исааковна, — говорила она. — Не может быть, чтобы Верховный суд оставил приговор в силе. Мы верим, что вы и Юдович добьетесь правды.

А на следующий день в следственном кабинете тюрьмы № 1 почти те же слова повторил мне Саша. И слова благодарности, и слова непоколебимой уверенности, что все будет хорошо.

Их вера в советское правосудие была больше моей — ведь они его меньше знали. В отличие от них я никогда не могла сказать: «Не может быть...» У меня было право только на слово «Надеюсь...».

Наступил новый, 1968 год. С момента ареста Алика и Саши прошло 16 месяцев. За это время они имели одно свидание с родителями — после вынесения приговора. Теперь же дело направлено в Верховный суд, и права на свидание нет и у нас — адвокатов. Алик и Саша будут сидеть в тюрьме в полном неведении о том, что происходит с их делом, до тех пор пока Верховный суд республики не рассмотрит его. А тогда — либо лагерь, если приговор останется в силе, либо опять тюрьма, если приговор отменят с направлением на новое дополнительное расследование. Поэтому хотелось, чтобы этот срок особенно строгой изоляции был как можно короче. Чтобы дело в Верховном суде назначили как можно скорее. Но помочь этому никакой адвокат не может. Это та рутина, изменить которую невозможно.

Наконец нам сообщили — 9 апреля 1968 года в 10 часов утра дело слушается в Верховном суде.

Состав коллегии нам хорошо известен — эти судьи рассматривают все жалобы на приговоры Московского городского суда. Председательствовал в тот день один из лучших судей Верховного суда Романов. Докладчик — член суда Карасев.

Народу собралось очень много. Пришли наши товарищи адвокаты. Все уже были наслышаны о том, какое это спорное и интересное дело.

Карасев докладывал больше часа. Изложил доводы приговора, положенные в обоснование осуждения мальчиков. Очень подробно изложил аргументацию наших кассационных жалоб. Левина жалоба очень большая, обстоятельная, почти 50 страниц. Моя несколько короче, но тоже 30 страниц. В ней пять основных разделов. Вот их заголовки.

- I. В материалах дела нет объективных доказательств вины Кабанова.
- II. Ни один из допрошенных свидетелей не изобличает Кабанова в изнасиловании и убийстве Марины.
- III. Обвинительный приговор основывается на самооговоре Бурова и Кабанова.
- IV. Признавая себя виновными, Буров и Кабанов дали противоречивые показания.
- V. В материалах дела имеются бесспорные доказательства невиновности Кабанова.

Жалоба заканчивалась так:

На основании изложенного, считая, что Кабанов осужден Московским городским судом за преступление, которого он не совершал, что материалы дела не только не подтверждают обвинительной версии, но и полностью опровергают ее, прошу Судебную Коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор Московского городского суда в отношении Кабанова отменить и дело производством прекратить.

После докладчика давали объяснения мы, адвокаты. Слушали нас внимательно, с интересом, который, мне казалось, не ослабевал.

По установленному порядку адвокат в кассационной инстанции лишь дополняет жалобу, более подробно, детально аргументирует отдельные ее тезисы. Несмотря на то что мы подали очень подробные жалобы, таких дополнений к ним было много.

С не меньшим интересом выслушал суд и объяснения Бабышевой.

А потом встал прокурор — представитель высшей прокурорской инстанции Республики. Его заключение сводилось к следующему.

Дело расследовано достаточно полно. Вина подсудимых бесспорно доказана их собственным признанием на предварительном следствии. Их вина также доказана показаниями свидетельницы Марченковой и других многочисленных свидетелей, утверждающих, что Буров и Кабанов отсутствовали не менее 35–40 минут. Этого времени было совершенно достаточно, чтобы изнасиловать и убить Марину.

И суд его слушал так же внимательно и так же благожелательно, как и нас.

И уже третий раз мы стоим, встречая выходящий из совещательной комнаты суд.

В руках у Романова два небольших листа. Это слишком мало для определения об отмене приговора. И мы — я и Лев — смотрим друг на друга с таким отчаянием. Ведь это почти конец. Почти безнадежность.

Оглашается резолютивная часть определения.

Мы переглядываемся — опять надежда. Для того чтобы отказать нам, не надо много времени. Не надо писать только заключительные строки.

И вот:

Руководствуясь статьей 339 Уголовно-процессуального кодекса, Судебная Коллегия постановила:

Приговор Московского городского суда от 23 ноября 1967 г. в отношении Бурова и Кабанова отменить. Дело о них направить в тот же суд на новое рассмотрение со стадии предварительного рассмотрения.

Меру пресечения Бурова и Кабанова не изменять.

Как мы счастливы! Как тогда, в Областном суде, год тому назад, когда Кириллов тоже признал доказательства вины недостаточными и направил дело на следствие. Мы были счастливы тогда, хотя понимали, что для Алика и Саши впереди еще месяцы тюрьмы. Понимаем мы это и сейчас. Но ведь все-таки отменили. Все же признали, что суд осудил мальчиков неправильно.

Через три дня я сижу в Верховном суде и читаю полный текст определения. Все наши доводы, именно в наших формулировках вошли в текст этого определения как обоснование отмены приговора. Тут и то, что приговор суда основывается только на самооговоре подсудимых, и то, что в деле отсутствуют объективные доказательства вины, что заключения экспертиз не дают оснований для утверждения, что «убийство М. Костоправкиной было совершено именно подсудимыми».

И так по всем пунктам.

Специально фиксируются в определении все те нарушения закона, которые допустил Юсов во время расследования дела, — на четырех страницах определения полностью цитируются разделы наших жалоб, посвященные этому вопросу.

Это была победа. Это была серьезная награда за наш труд. А Саша и Алик ничего об этом не знают и еще не скоро узнают. Ведь права на свидание с ними опять не имеют ни родители, ни мы, адвокаты.

Наконец 29 мая узнаю, что дело отправлено в прокуратуру. И в тот же день мы с Юдовичем направляем прокурору Московской области Гусеву заявление. Мы пишем, что Буров и Кабанов содержатся под стражей сверх установленного законом предельного срока, и просим немедленно их освободить.

Никакого ответа.

Какая-то стена молчания окружала «Дело мальчиков». От родителей Саши и Алика знаем, что никого из измалковских свидетелей в прокуратуру не вызывают. Впечатление такое, что делом вообще никто не занимается.

Так прошло три месяца, и нам ничего не удавалось добиться, ничего узнать о деле.

17 августа мне и Льву были переданы телефонограммы: на следующий день в 10 часов утра прокурор Московской области Гусев может принять нас.

И вот мы у него в кабинете.

Высокий мужчина сидел за огромным старинным письменным столом. Увидев нас, даже не приподнялся, только кивнул головой, что должно было означать или «здравствуйте», или «садитесь». Я решила расценить это как и то и другое и, не ожидая приглашения, села

в стоящее прямо у стола кресло. Рядом со мной Лев. Гусев не дал нам выговорить ни единого слова.

— Я решил удовлетворить вашу просьбу. Дело для расследования передано следователю прокуратуры товарищу Горбачеву. Я также принял решение удовлетворить вашу просьбу и освободить Бурова и Кабанова из-под стражи. В ближайшие дни они будут дома. Можете сообщить это родителям.

Как прекрасно это неожиданное известие! Скорее вниз по лестнице на улицу, через дорогу, на любимый всеми москвичами Пушкинский бульвар. Где старые липы, а на скамейках всегда пенсионеры и влюбленные.

И где сейчас стоим мы — сияющие и смеющиеся. Ведь у нас такая радость — *наших* мальчиков выпускают, *наши* мальчики уходят из тюрьмы.

В такой день невозможно заниматься никакими делами. У нас праздник. Только одно дело мы не можем отложить. Надо скорее сообщить об этом родителям. Донести этот праздник, эту радость до них.

Позвонить в Измалково мы не можем — ни у одного из ее жителей телефона нет. Поехать туда мы тоже не можем. Если увидят в деревне нас, входящих в дом Буровых или Кабановых, будет скандал. Встретаться с родителями мы можем только в консультации.

Решаем заехать ко мне домой, взять моего сына, довести его до ближайшего к деревне места на шоссе и там ждать, пока он пешком пойдет в дом Кабановых.

Через два часа мы вернулись ко мне домой. Все было прекрасно, Лев поднял наш традиционный тост:

— За нашу профессию!

Как мы любили ее — нашу профессию — в этот день!

А тут раздался телефонный звонок. И когда я подняла трубку, там только рыдания. Ни одного слова. Только рыдания, которые невозможно сдержать. И я тоже начинаю плакать вместе с ней — с Сашиной мамой.

20 августа 1968 года, через 23 месяца и 20 дней, мальчики вернулись домой. С этого же дня возобновилось следствие по их делу. Оно длилось семь месяцев. И мы опять не знали ничего о том, что происходит там, уже в другом следственном кабинете, у другого следователя, но в той же прокуратуре Московской области.

Через несколько дней после отмены приговора в Верховном суде, когда я переписывала определение, ко мне подошел Карасев, который был докладчиком по нашему делу.

— Что, товарищ Каминская, продолжаете свою работу над делом? — полушутя спросил он, увидев, как я, почти дословно, переписываю весь текст.

— Не могу отказать себе в удовольствии иметь полный текст этого определения.

— А я им недоволен. — И в ответ на мой вопросительный взгляд добавил: — Дело нужно было прекращать. Здесь нечего доследовать.

Но потом решили предоставить эту возможность прокуратуре. Пусть они сами тихо прекратят это дело. Так будет меньше жалоб, меньше шума.

Мы с Юдовичем мало верили, что прокуратура прекратит дело. Слишком много нарушений было допущено не только Юсовым, но и начальником следственного управления прокуратуры и самим Гусевым, санкционировавшим незаконный арест Саша и Алика и незаконное их содержание под стражей.

Уже не только защита Юсова, — им бы пожертвовали легко, — но и защита чести мундира всей прокуратуры области определяла их настойчивость — добиться осуждения мальчиков и этим самым спихать допущенные нарушения закона.

Наступил 1969 год.

В середине марта следователь Горбачев вызвал мальчиков, Юдовича и меня, чтобы объявить, что расследование по делу закончено. Нам предоставлена возможность вновь знакомиться с делом. После чего оно будет направлено в суд. Сейчас это уже 10 толстых томов от 300 до 500 страниц в каждом.

Начинаем с девятого тома, с документов, идущих после определения Верховного суда.

И сразу неожиданность.

В то время как мы посылали жалобы с просьбой освободить Алика и Сашу, в то время, когда мы тщетно ждали ответов на эти жалобы, дело вновь рассматривалось в Верховном суде РСФСР. В его Президиуме, с участием самого Льва Смирнова — в то время председателя Верховного суда РСФСР, а ныне председателя Верховного суда Союза ССР. Только теперь — в марте 1969 года — нам, защитникам, делается известным, что еще в июне 1968 года заместитель прокурора РСФСР принес протест на определение Верховного суда. Просил отменить его и оставить в силе приговор Московского городского суда.

По закону адвокатов не извещают о дне слушания протеста. Но ведь нас не просто не известили, от нас скрыли сам факт, что такой протест принесен.

К счастью, в этом нашем случае Президиум Верховного суда РСФСР протест прокурора отклонил. Более того, в постановлении, которое он вынес, еще более резко отмечались нарушения закона и низкое качество расследования. А если бы было принято другое, противо-

положное решение? Разве не чудовищна сама возможность полного лишения права на защиту в такой высокой судебной инстанции?

Лишение адвокатов права не только дать объяснения при рассмотрении дела (это предусмотрено законом), но даже написать и подать свои возражения на протест.

Вторая, не менее поразительная неожиданность, — это то, что прокуратура разыскала и допросила взрослых, которые содержались в камерах предварительного заключения с Буровым и Кабановым.

Разыскать их оказалось совсем не трудно. Все это время они безвыездно проживали в самом Одинцове. Но самое поразительное — это то, что Кузнецов оказался вовсе не Кузнецовым, а Скворцовым. И именно под этой фамилией та же одинцовская милиция его задержала. А Ермолаев оказался совсем не Ермолаевым, а Дементьевым.

Во имя чего начальник милиции Одинцовского района подписал справку в суд, в которой все было неправдой — и фамилии задержанных, и их возраст, и то, что им было предложено милицией выехать из Москвы и из Московской области? Скрывать подлинные имена этих взрослых было нужно и выгодно только в одном случае — если эти взрослые были посажены в камеры предварительного заключения со специальной целью, специальным заданием. И выгодно это было не руководству милиции, а следователю Юсову и тем работникам уголовного розыска, которые по его заданию такую оперативную разработку проводили.

Скворцов и Дементьев давали показания очень скупо. За что их задержали, не знают. Сказали, какая-то проверка. Почему держали целую неделю, тоже не знают. Выпустили их в один день — 7 сентября 1966 года (на следующий день после того, как Саша и Алик признались). Никаких подписок о выезде из Московской области с них не брали. Действительно, оба они содержались в одной камере с мальчиками. Сейчас уже смутно помнят и самих мальчиков, и о чем разговаривали. Но никто им не поручал уговаривать мальчиков признаться.

Третья неожиданность.

Следователь Горбачев вновь выезжал с понятыми на место происшествия, в совхозный сад. Отдельно с каждым из тех шести понятых, которые уже раньше выезжали туда вместе с Юсовым и Буровым и Кабановым. Каждый понятой указал в совхозном саду место под яблоней, на которое в 1966 году показывали Буров и Кабанов, как на место изнасилования Марины. Тут же при выезде были проведены все необходимые замеры. Результаты замеров во всех шести случаях были абсолютно одинаковыми. Утверждения Алика и Саши

о том, что они показывали на разные места, на вторую по счету ябло-ню от противоположных концов сада, результатами этих измерений опровергались.

Это было тем более удивительно, что двух из этих понятых до-прашивали в Московском областном суде и тогда они полностью под-твердили показания Саши по этому вопросу.

Обсуждая со Львом эти новые данные, я прочла ему выписки из протоколов всех шести выездов на место происшествия. На каж-дом из этих протоколов стояла дата выезда — одна и та же на всех ше-сти. На каждом из них проставлено время, когда начался выезд и ког-да он закончился. Одно и то же время на всех протоколах. Значит, ясно было, что было сделано не шесть выездов отдельно с каждым по-нятым, не шесть замеров, которые все совпали сантиметр в санти-метр, а один выезд и один замер. Это еще не свидетельство того, что мы получим при допросе этих понятых правдивые ответы. Это толь-ко первая ниточка, потянув за которую мы можем рассчитывать до-биться правды.

Оба согласованно решаем — о вызове и вторичном допросе по-нятых просить сейчас не будем. Об установленной нами новой фаль-сификации, кроме нас двоих, никто не должен знать. Весь расчет — на полную неожиданность при допросе понятых в суде.

Было и еще одно немаловажное изменение — свидетель Мар-ченкова на допросе у следователя Горбачева показала, что ранее дава-ла неправдивые показания, так как боялась мести со стороны роди-телей Бурова. Что она не только слышала голос Марины, но и видела Марину и мальчиков. Явная неправдоподобность этих показаний бы-ла очевидна для каждого, кто видел, как Марченкова, несмотря на сильные стекла очков, ощупывает палкой дорогу перед собой. И это в освещенном помещении суда. Как же могла она увидеть из окна сво-ей комнаты лица тех, кто находился от нее на расстоянии 15 метров, да еще при условии, что люди эти были в темноте?

Повторяем вновь то ходатайство, которое заявляли еще в Мо-сковском областном суде, — истребовать из поликлиники, где Мар-ченкова состоит на учете, подлинную историю ее болезни.

28 марта 1968 года все мы — Юдович, я, Саша и Алик — подпи-сали необходимый протокол в том, что с материалами дела мы пол-ностью ознакомились. Теперь надо ждать того дня, когда оно вновь, уже в третий раз, начнет слушаться в суде.

Как долго придется ждать, никто предсказать не может. Один-два, а может, и четыре месяца. Счастье, что мальчики теперь на свобо-де, дома, что это многомесячное испытание будет не таким тягост-ным и мучительным.

Ровно через два месяца — 28 апреля Сашу и Алика опять арестовали.

Это сделал прокурор Московской области, впоследствии заместитель Генерального прокурора СССР, а ныне заместитель председателя Верховного суда СССР Гусев, который так «великодушно» решил отпустить Алика и Сашу всего только шесть месяцев назад.

Зачем это было сделано? Расследованию дела мальчики помешать не могли хотя бы потому, что следствие уже было закончено. Опасаться того, что они скроются от суда, никаких оснований не было. Находясь эти шесть месяцев на свободе, они вели себя безупречно.

Я могу найти этому только одно объяснение. Это был психологический шантаж, и шантажировал Гусев тот суд, который должен был рассматривать дело. Арестовав мальчиков, он тем самым говорил: «Мы тверды в своей позиции и не отступимся от нее. И будем бороться за нее со всей той мощью и полнотой власти, которую имеем».

Наверное, Гусеву было безразлично, на свободе эти самые Алик и Саша или в тюрьме. Он это сделал не против них. И арест просто оказался орудием давления на суд. И Гусев использовал это орудие безо всякого сожаления.

И опять шли месяцы. И мы опять не имели права поехать в тюрьму к своим мальчикам, которые уже повзрослели, которых уже и мальчиками назвать неправильно. Там, в тюрьме № 1, они отпраздновали свое гражданское совершеннолетие.

Учитывая необычайную сложность этого дела, Верховный суд РСФСР по нашей с Юдовичем просьбе принял его к своему производству.

В сентябре 1969 года началось третье судебное рассмотрение дела по обвинению Бурова и Кабанова.

Мы шли в этот суд с сознанием предельной, на последней черте, личной ответственности. Для нас это был действительно последний судебный бой по этому делу: «Приговор Верховного суда окончателен и кассационному обжалованию не подлежит».

Опять за нашей спиной деревянный барьер, по бокам которого конвойные. А за барьером — «мальчики». Сашу я уже видела до суда несколько раз. Видела, как он похудел, побледнел после этого второго ареста. Встретил меня, когда пришла к нему со словами:

— Вот и опять тюрьма. Видно, из этого не вырваться.

Саша понимает, что надежда есть, она не потеряна. Но этот второй арест после счастья свободы сломил его. Поэтому я ездила к нему на свидание несколько раз, хотя по делу говорить уже нечего. За эти два с половиной года все достаточно выяснялось, проверялось и согласовывалось.

Петухова, члена Верховного суда РСФСР, председательствующего по делу мальчиков, я увидела впервые, когда он в сопровождении двух заседателей вышел в судебный зал, чтобы открыть заседание. Впервые в этот же день увидела заместителя прокурора Московской области Кошкина. Он новый обвинитель в нашем деле вместо Волошиной. Гусев и тут решил продемонстрировать свою решимость бороться, поручив поддерживать обвинение своему первому заместителю.

Не сидит за прокурорским столом и Сара Бабенышева. Общественного обвинителя вообще нет. Оглядываю зал — только родители Алика и Саши да Александра Костоправкина. И мы: Лев Юдович и я.

Если, рассказывая о стиле работы судьи Кириллова (Московский областной суд), я больше всего писала о его грубости, а стилем работы Каревой в нашем деле была нескрываемая и неподавляемая необъективность, то отличительной чертой работы Петухова было спокойствие.

Спокойно выслушивал наши многочисленные ходатайства, спокойно выслушивал и возражения на них прокурора. А потом таким же спокойным, даже излишне тихим голосом оглашал определение: «Удовлетворить» или «Отказать».

Правда, почти все наши основные ходатайства были удовлетворены. Вызван начальник Одинцовского отделения милиции, начальник уголовного розыска того же района. Истребована копия истории болезни свидетельницы Марченковой. Истребована по нашему ходатайству и книга регистрации задержаний в камере предварительного заключения за август–сентябрь 1966 года. Нам важно было проверить по документам, под какими фамилиями были задержаны Кузнецов (он же Скворцов) и Ермолаев (он же Дементьев).

Но отказано в ходатайстве о выезде составом суда на место происшествия «за нецелесообразностью».

Невозмутимость и спокойствие Петухова передалось и всем участникам процесса. Абсолютно корректен был прокурор Кошкин. Не кричал, не возмущался, когда Алик и Саша говорили, что невиновны. Не кричал и не возмущался, когда свидетели давали показания, идущие вразрез с версией обвинения.

Сдерживала свою ненависть и Александра Костоправкина. Но это не произошло само собой. В один из первых дней, когда Юдович начал задавать ей вопросы, Александра, не поворачивая к нему голову, не глядя на него, решительно заявила:

— Этим адвокатам — Юдовичу и Каминской — я вообще отвечать не буду. Они за деньги выгораживают истинных убийц. Они не советские защитники. Так советские защитники себя не ведут.

Костоправкина стояла подбоченившись, в той, уже привычной для нас позе, которой выражала презрение к нам.

— Прежде всего, Александра Тимофеевна, опустите руки. Вы разговариваете с Верховным судом. Так в суде стоять нельзя. А теперь выслушайте меня внимательно. Если вы хотите, чтобы мы вас слушали, если хотите рассказать нам о том, что вам известно, вы должны отвечать на вопросы всем участникам процесса. Товарищи адвокаты добросовестно выполняют свою обязанность — они защищают своих подзащитных. Именно для этого они и пришли сюда. Их помощь нам нужна так же, как и помощь товарища прокурора. Мы очень уважаем

ваше горе. Мы помним, как погибла ваша дочь. Но просим и вас помнить, что для того, чтобы правильно разобраться в этом деле, мы должны работать, и работать спокойно.

И Костоправкина приняла это условие. Она поняла, что нарушать его ей не позволят.

За те почти два месяца, в течение которых слушалось это дело, я два раза заметила на лице Петухова признаки раздражения. Но и то только потому, что специально наблюдала за ним в эти важные для нас, адвокатов, минуты. А голос его и тогда оставался таким же тихим и невозмутимым.

Первый раз это было связано с допросом шести понятых.

Еще утром, до начала судебного заседания, Петухов, встретив меня в коридоре, сказал:

— У вас сегодня тяжелый день. Ведь показания понятых прокуратура расценивает как очень важное доказательство.

Я ничего ему не ответила. Ведь мы с Юдовичем твердо решили, что обнаруженная нами фальсификация должна быть полной неожиданностью для всех, в том числе и для суда.

И вот допрос понятого, который первый раз выезжал с Аликом Буровым.

Очень кратко рассказывает, как следователь Горбачев предложил ему поехать вместе с ним в Измалково. Следователь просил его показать место — яблоню, на которую Алик показывал 7 сентября 1966 года.

— Я сразу ее узнал и показал следователю. Мы замерили расстояние и записали в протокол.

У суда к свидетелю вопросов нет. У прокурора — тоже все ясно.

— Скажите, свидетель, с кем вместе вы ехали в Измалково? — Это я задаю вопрос.

— Я ехал вместе со следователем Горбачевым.

— На чем вы туда ехали?

— Мы ехали на автомашине.

— Вы не припомните марку автомашины и ее цвет?

— Помню. Это был голубой микроавтобус.

— Кроме вас и следователя, больше никого в этой машине не было?

— Только мы и шофер.

— А на месте, в Измалкове, когда вы показывали на яблоню и производили замеры, были еще какие-либо люди?

— Нет. Только я и следователь.

— Не можете ли вы вспомнить число и время этого выезда?

— Число помню очень хорошо — это было 2 марта 1969 года. А время я сам сказал следователю. Он его по показаниям моих часов и внес в протокол. Там оно записано точно.

— У меня к свидетелю вопросов больше нет. Прошу суд меня проверить. В том десятом на листе дела 52 имеется протокол этого выезда. На нем дата — 2 марта, время выезда 10 часов 15 минут, время возвращения в Одинцово — 12 часов.

И хотя Петухов смотрит на меня тем же ничего не выражающим взглядом, я уверена, что он разочарован. Зачем эти вопросы? Что я выяснила? Чего добилась?

Но вот второй свидетель. Тоже понятый, выезжавший с Буровым. Тот же рассказ. Ни у суда, ни у прокурора вопросов нет. Я повторяю все свои вопросы. Ответы этих свидетелей абсолютно совпадают.

— Никаких противоречий. — Это реплика прокурора.

— Действительно, никаких противоречий. Я прошу суд запомнить, что эту оценку первым дал прокурор. А теперь прошу проверить дату и время, указанные в протоколе этого выезда — том 10, лист дела 53.

И Петухов читает: «2 марта. Время выезда 10 часов 15 минут, время возвращения в Одинцово — 12 часов».

Когда начал давать показания третий свидетель, я увидела, что Петухов сам перевернул следующий лист дела. И вот тут-то я и заметила, что его всегда бледное лицо покраснело.

Но уже через минуту он сам своим тихим голосом задавал свидетелю мои вопросы и спокойно выслушивал ответы.

— Да, ехали только я и следователь. Больше никого с нами не было. Ехали на голубом микроавтобусе.

Так прошел допрос и оставшихся трех свидетелей. И уже не нужно было объяснять Петухову, что все шесть протоколов — это фальсификация. И что все шесть свидетелей лгут.

Когда закончился допрос последнего свидетеля, Петухов сказал:

— Свидетели, я мог бы напомнить вам, что за дачу ложных показаний вы несете уголовную ответственность. Я не угрожаю вам. Я призываю вас дать добросовестные показания суду. Я прошу вас сказать правду.

И тогда они рассказали, как было на самом деле. Как всех их 2 марта собрали в Одинцовском отделении милиции. Как следователь Горбачев объяснил, что произошла техническая ошибка в оформлении старых протоколов выездов. Поэтому сейчас всем необходимо поехать туда, вместе постараться найти место, которое

показывали Буров и Кабанов. Рассказали, что там, в Измалкове, они спорили, показывали разные места. И тогда следователь сказал, что надо решать большинством голосов. Так победу одержало мнение четырех понятых, которые выезжали с Буровым. Двое, выезжавшие ранее с Кабановым, оказались в меньшинстве, но протокол подписали все. Вчера их всех опять собрали в Одинцовском отделении милиции и сказали: «Раз каждый подписал отдельный протокол, то и в суде нужно говорить, что был один со следователем, что больше никого не было».

— Мы так и поступили.

Так совпадение времени в шести протоколах помогло защите опровергнуть серьезное доказательство, выдвинутое прокуратурой.

Но вот в зал судебного заседания входит свидетельница Бродская. Бродская просит разрешения давать показания сидя — она плохо себя чувствует. Суд делает для нее исключение. И вот между столом защиты и столом обвинения поставлен специально для нее принесенный стул. Она сидит на нем плотно и уверенно, «сильная духом», не знающая колебаний.

Громким голосом, чеканя каждое слово, Бродская произносит знакомый нам текст:

— Мне известно, что они убийцы. Я в этом уверена, и никто не может в этом сомневаться. Бесчестные люди (взгляд в нашу сторону) подучили их отказаться от признания. Как старая коммунистка, я обращаюсь к вам — советскому суду — с требованием беспощадно наказать их!

Так она закончила свои показания. И опять тихий голос Петухова:

— Свидетельница Бродская, мы вас слушаем, мы ждем ваших *свидетельских* показаний. Расскажите суду, что вам известно по делу.

— Но я же вам сказала, мне известно, что они убийцы. Мне известно, что они терзали и мучили Марину. Они сами в этом признались. Что же еще вам нужно? Каждый советский человек понимает, что у нас в стране могут признаться только виновные!

И Бродская, как-то забыв, что она больна, что просила разрешения давать показания сидя, встает и уже вновь требует у суда не только от своего имени, но и от имени всех честных советских людей — осудить и сурово наказать. И тут опять покрывается краской около скул всегда бледное лицо Петухова, как-то особенно плотно сжимаются его губы.

Но через долю минуты, когда пауза почти незаметна, его голос тих и спокоен:

— У суда к вам, свидетель, вопросов больше нет. Товарищ прокурор, вы имеете вопросы к этому свидетелю?..

Как будто слово «свидетель» произнесено несколько иронично. А может, мне это только кажется?..

Пожалуй, самым сенсационным днем в нашем процессе был день допроса заместителя начальника уголовного розыска Московской области.

Весь этот допрос от начала до конца провел Юдович, и провел так, что никому уже не было нужды задавать вопросы.

Как ни старался свидетель уйти от прямых ответов, как ни ссылался на невозможность раскрыть тайну оперативной работы, он вынужден был признать, что взрослые Скворцов и Дементьев были помещены в камеры Алика и Саши со специальным заданием, что именно поэтому скрывались их подлинные фамилии. И что проводил он эту оперативную разработку по поручению следователя Юсова.

Трудно переоценить важность тех сведений, которые сообщил тот свидетель, отвечая Юдовичу.

В тот же день допрашивали Скворцова и Дементьева. Свидетели подтвердили, что сидели в одной камере один с Аликом, другой — с Сашей. Узнали их сразу, как только вошли в зал. Оба категорически отрицали, что оказывали какое-либо воздействие на мальчиков.

Спрашиваем, рассказывали ли они об условиях содержания в лагере, о том, какая обстановка в тюрьме на Петровке, 38 — тюрьме Московского уголовного розыска.

Оба свидетеля отрицают и это.

Но тот, кого Саша называет «дядя Ваня», вынужден признать, что был судим за нанесение тяжких повреждений в драке. Что во время следствия содержался в той самой тюрьме на Петровке, 38, что отбывал наказание в лагере строгого режима.

И тогда Петухов обращается к свидетелю:

— У суда к вам просьба. Расстегните рубаху и поднимите майку.

Юдович и я с напряжением ждем того, что нам сейчас придется увидеть.

«Дядя Ваня» растерянно смотрит на судью, а потом расстегивается, поднимает майку, и перед судом — широкая, вся покрытая татуировкой грудь, пересеченная наискосок большим багровым шрамом.

Именно о таком шраме еще в первом суде рассказывал Саша. Именно таким шрамом пугал его «дядя Ваня», рассказывая о зверствах, которые ожидают Сашу в лагере.

Этот день стал для нас днем надежды, которая имела вполне реальную почву.

Судебное следствие подходило к концу. Уже истребована и приобщена к делу копия истории болезни Марченковой. И мы читаем данные за 1965 год — год гибели Марины: «Правый глаз — практически слепа. Левый глаз — зрение сохранено на 20% при развивающемся катаракте обоих глаз. Слух снижен против нормы: левое ухо на 60%, правое ухо — на 85%».

Оглашена справка — выписка из табеля рабочих дней Марченковой.

17 июня 1965 года был ее рабочим днем. А ведь она утверждала, что слышала разговор и видела Марину в тот день, когда не работала, была выходная.

Допрошены все свидетели. Ни один из них мальчиков не уличал. Все шло хорошо, но тревога и неуверенность не пропадали. Слишком много разочарований принесло нам это дело.

И вновь прения сторон.

И вновь прокурор, уже Кошкин, а не Волошина, просит признать мальчиков виновными и приговорить их к 10 годам лишения свободы. И говорит, что они виновны не только в гибели Марины. Что сейчас по их вине гибнет другой человек — следователь Юсов. Что после отмены приговора Московского городского суда он тяжело заболел. У него инсульт. Он парализован, лишился речи. Что Юсов ждет — этот приговор реабилитирует его честь, последнее, что у него осталось.

Мне было жаль Юсова. Он должен был поплатиться за все преступное зло, которое причинил мальчикам, за то зло, которое причинил правосудию. Я считала, что ему не место в прокуратуре, что его должны судить по законам о преступлениях против правосудия. Я не считала бы справедливым, чтобы то, что он сделал, осталось безнаказанным. Но такого наказания — неподвижности и немоты — я не могла бы пожелать никому.

Но, слушая эту часть речи прокурора, я одновременно думала о тех двух людях, о тех двух «мальчиках», которые самые лучшие, самые безоблачные, самые беззаботные и радостные годы в жизни каждого человека провели в тюрьме. И виновником этого был Юсов. Я думала о Клавдии и Георгии Кабановых, родителях Саши; о родителях Алика, которые 3 года жили с ежечасным чувством несправедливости и незаслуженности горя, свалившегося на их семьи. Я думала, что возраст от 16 до 19 лет у меня, у всех моих сверстников был возрастом наибольшего накопления знаний, формирования вкусов, взглядов на жизнь, нравственных принципов. Для Саши и Алика эти 3 года тоже были годами накоплений знаний и опыта. Они узнали, что такое коварство и ложь. Их опытом юности стала тюрьма, их

друзьями стали сокамерники. Их нравственные принципы формировали тюремные надзиратели. Нелегко им будет в жизни, если даже теперь, через 3 года, они вернуться домой. Нелегко будет вернуть доверие к людям. А если не вернуться сейчас? Если 10 лет лишения свободы, которые нужно отбывать с сознанием, что это ни за что, что их осудили неправильно?..

После Кошкина слово для защиты было предоставлено Юдовичу.

Слушать нас в этот раз пришло много народу. Помимо обычных посетителей пришли наши коллеги. Пришли стажеры и молодые начинающие адвокаты. Пришли друзья Льва. Впервые за годы моей работы я разрешила прийти и своим друзьям.

Речь Льва произвела на всех огромное впечатление. Его поздравляли все, и поздравляли заслуженно. Я помню, как мой друг жал Льву руку и говорил:

— Это замечательно! Это блестящая речь.

Подошла ко Льву и я.

— Ты бандит, разбойник с большой дороги, — сказала я ему.

— Прости меня, Диночка, я виноват, я это сделал не нарочно. Я просто увлекся.

Конечно, это было именно так. Лев увлекся и забыл о том распределении материала, которое существовало с самого начала. Он не только захватил «мои» темы. Он говорил о них в моих формулировках, которые осели в его памяти и перестали для него быть чужими.

Я была не просто в растерянности, я была в отчаянии. Но потом — как я была благодарна Льву за то, что он лишил меня права повторять самое себя. Благодаря ему моя речь получила нужное внутреннее напряжение, когда мысли и слова приходят сами. Когда продуманная речь приобретает достоинства экспромта. То, как мы говорили, я написать не умею. Да через 15 лет это и невозможно. Мне кажется, что это была лучшая из произнесенных мною речей.

После коротких последних слов Алика и Саши, в которых они сказали, что ни в чем не виноваты, и просили их оправдать, суд ушел на вынесение приговора. И вот через три дня опять большой зал Московского областного суда. Я сижу за тем же столом, что и тогда, зимой 1967 года, когда впервые увидела большую, во весь лист, фотографию — смеющееся лицо Марины. Я сижу одна, еще никто не пришел. И я рада, что я одна, что есть время справиться с волнением.

9 часов утра. Ввели Алика и Сашу. Опять по бокам барьера солдаты с винтовками. Только сегодня их больше, чем обычно. В день вынесения приговора всегда усиленный конвой.

Пришел Юдович. Уже пустили публику и родителей.

И наконец:

— Прошу встать. Суд идет.

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — Это звучит тихий, спокойный голос Петухова. — Проверив материалы дела, выслушав показания свидетелей, речь прокурора, полагавшего обвинение доказанным, и речи защитников, просивших об оправдании обвиняемых, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР находит...

Мне кажется, что я стою совершенно спокойно. Только руки, опущенные вниз, крепко сжаты в кулаки.

— Судебная коллегия находит...

Как-то очень торжественно вдруг зазвучали эти слова, необычайно громок голос судьи Петухова. Быстро смотрю на Льва. Какое бледное, напряженное у него лицо...

А судья продолжает:

— ...обвинение, предъявленное Бурову и Кабанову, недоказанным.

И дальше какие-то слова, которые уже не слышу. Впервые смотрю назад, в зал. Первым замечаю лицо писателя Сергея Смирнова. Лицо, залитое слезами, которые он даже не пытается скрыть. А потом какой-то вскрик. И из дальнего конца зала с протянутыми вперед руками бежит прямо к арестованным Леночка — сестра Саши.

Помню, как начальник конвоя преградил ей дорогу:

— К арестованным подходить не положено.

Как Петухов, на минуту прервав чтение, сказал:

— Пустите ее.

И как они — Саша и Леночка, — крепко обнявшись, не разжимая рук, не отпускали друг друга ни на мгновение, слушали всю остальную, очень длинную часть приговора.

И, наконец, последние слова приговора.

Торжественные слова.

— На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 310, 316, 317, 319 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговорила: Бурова Олега и Кабанова Александра по суду считать оправданными.

Меру пресечения, избранную Бурову и Кабанову, отменить и из-под стражи освободить немедленно в зале судебного заседания.

Команда начальнику конвоя:

— Освободить оправданных.

И открывается дверь деревянного барьера, который три года отгораживал Алика (Олега) и Сашу (Александра) от жизни.

А мы слевой здесь же, на глазах у всех, что-то кричащих, плачущих и смеющихся, целуемся. И я чувствую слезы у него на лице и говорю:

— Лева, это неприлично — ты плачешь.

— А ты знаешь, как ты слушала приговор? Хочешь, я тебе покажу? — Он быстро произносит: Предъявленное Бурову и Кабанову обвинение находит недоказанным. — И вдруг всплескивает руками и хватается за голову: Думаешь, это прилично адвокату хвататься за голову во время чтения приговора?

И мы опять смеемся, и нас целуют уже родители, и Леночка, и Саша, и Алик.

Милый Саша, может, он был и не лучше многих других мальчиков его возраста. Но для меня он стал любимым. Как, наверное, становятся любимыми выхоженные и вынянченные твоим уходом безнадежные больные. Даже покидая свою страну и беря с собой самые любимые книги и самые любимые фотографии, я взяла с собой фотографию Саши. Фотографию, которую он мне прислал много лет спустя. Там он взрослый, в военной форме и со значком отличника боевой подготовки, которым награждают старательных солдат, с трогательной и смешной надписью: «Дорогая Дина Исааковна! Желаю вам большого счастья в личной жизни, труде и учебе. Ваш Саша».

Кто же, пережив все это, может назвать работу адвоката мучительной? Я уверена, что это — самая счастливая работа на свете.

Шло время. Новые дела, новые подзащитные. Новые поражения и победы. А значит, и новые разочарования и радости.

Но «Дело мальчиков» я не забывала, как, уверена, не забывали о нем и другие участники этого трудного судебного процесса. В двух номерах «Литературной газеты» была напечатана огромная статья Ольги Чайковской. Как и эта часть моих воспоминаний, статья называлась «Признание».

Как-то раз, это было через два или три месяца после вынесения приговора, я встретила в коридоре Верховного суда Петухова. Мы обрадовались друг другу, как радуются друг другу люди, совместно участвовавшие в чем-то хорошем, имеющие общее воспоминание, которое дорого обоим.

Петухов пригласил меня в свой кабинет, и мы сидели и вспоминали, как все это происходило. Я рассказала, что мальчики учатся, стараются наверстать упущенное и закончить десять классов школы.

А потом я спросила у Петухова:

— Почему вы отказали нам в таком важном ходатайстве, как выезд на место в Измалково? Ведь это было так важно для вас самому все увидеть.

— Вы правы, это действительно очень важно. — И тут Петухов улыбнулся. — Это так важно, что я сразу, как только начал знакомиться с делом, понял это. И тут же поехал туда. Один. Пока меня никто из свидетелей не знал. И все это видел. Совхозный сад, и берег пруда, и песчаную косу, уходящую далеко в воду, и поляну, спрятанную сзади кустов, где нашли кофту Марины. Так что я имел основание отказать вам в ходатайстве за нецелесообразностью.

Я слушала это и думала: «Какое это счастье, когда правосудие вершит такой судья! Спокойный, с трезвым умом и подлинным стремлением разобратся в деле».

А потом опять прошли годы. Саша отслужил военную службу, женился. У него родился сын. Он продолжал жить в том же Измалкове. И многие из тех, кто кричал ему: «Убийца! Негодяй!», приходили к нему в гости и поражались тому, как они могли поверить, что именно он — Саша — изнасиловал и убил Марину...

Как-то раз московский корреспондент «Вашингтон пост» Питер Оснос попросил меня рассказать ему о каком-нибудь интересном уголовном деле, потому что он задумал написать серию статей о советском суде. И, конечно же, я ему рассказала о «Деле мальчиков». Показала ему и статью Чайковской об этом деле.

А потом мне позвонил сын, который за несколько лет до этого эмигрировал и жил в Вашингтоне. Он позвонил и сказал:

— Как приятно было читать в нашей газете о деле, которое я так хорошо помню.

Так мне стало известно, что и американский читатель познакомился с Сашей и Аликом и узнал о страшной гибели Марины.

Прошло еще несколько лет. И вот я сижу в кабинете следователя прокуратуры Москвы Пантюхина. Он вызвал меня не как адвоката. Я — подозреваемая. И его интересует, кому я рассказывала о «Деле мальчиков». И зачем я рассказывала о нем иностранному корреспонденту, и какую цель преследовала я, делая это достоянием прессы империалистической страны. И, наконец, понимаю ли я, что подобные мои действия могут быть расценены как направленные на подрыв авторитета Советского Союза.

Я искренне ответила, что нет, не понимаю. Плохие следователи, прокуроры, судьи есть всюду. Я уверена, что мой читатель поймет, что это сложное дело является гордостью советского правосудия. Правосудия, которое сумело отрешиться от плена признания, пробиться через толщу общественного негодования, забыть о том, что дело находится на специальном контроле ЦК КПСС.

Так я и сказала следователю Пантюхину. И добавила, что горжусь тем, что участвовала в деле, в котором правосудие восторжествовало.

И я действительно этим горжусь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Первым политическим делом в моей адвокатской практике было дело, в котором я не участвовала. Первой защитительной речью в политическом процессе была произнесенная речь в защиту писателя Юлия Даниэля.

Сейчас, когда пишу эту книгу, в моем распоряжении только память и маленький квадратный листок пожелтевшей бумаги с типографски отпечатанным текстом:

Московская Городская Коллегия Адвокатов
Регистрационная карточка № 279 12 января 1966 г.
ОРДЕР № 89

Юридическая консультация Ленинградского района поручает адвокату Каминской Д.И. вести уголовное дело гражданина Даниэля Ю.М. в (где) — следственном отделе К.Г.Б. при Совете Министров СССР.
Заведующий Юридической Консультацией —
(Подпись).

Этот документ свидетельствует о том, что договор с клиентом на защиту оформлен и гонорар внесен в кассу консультации. Этот документ — единственное установленное законом официальное полномочие на защиту. Он создает права и обязанности не только для меня, но и для следователя. Для меня — право и обязанность защищать, для следователя — предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела вместе с Даниэлем.

Когда адвокат приступает к изучению дела, он должен вручить ордер следователю.

Ордер № 89 остался у меня.

Все мои попытки осуществить право и обязанность защищать Юлиа Даниэля были пресечены самым решительным образом.

О самом деле Синявского и Даниэля, о деле двух писателей, осужденных советским судом к длительным срокам лишения свободы, написано уже много.

«Белая книга» по делу Синявского и Даниэля, труд и честь в составлении которой принадлежат Александру Гинзбургу, содержит не только зарубежные и отечественные отклики на этот процесс, но и почти полную его стенограмму. Книга эта переведена на несколько европейских языков, и интересующийся читатель может прочесть ее. Мне же хочется рассказать не о процессе, участником которого я не была. Я хочу рассказать о том, как организовывался этот процесс, какие задачи ставились перед его участниками-адвокатами и какими методами власти достигли выполнения этих задач.

Это известно очень ограниченному кругу людей даже в Советском Союзе. Я в их числе. Мой рассказ об этих событиях — показания свидетеля-очевидца.

Мне хочется также попытаться воссоздать атмосферу, царившую в то, уже далекое, время конца 1965 — начала 1966 года, время от ареста Синявского и Даниэля до их осуждения к семи и пяти годам заключения в лагерях строгого режима.

Это мне кажется тем более необходимым, что, вспоминая сейчас эти события, я еще раз убеждаюсь, что они явились поворотным и определяющим рубежом. Заставили многих заново определить свое место в жизни, свою нравственную позицию.

В годы, прошедшие после смерти Сталина, и особенно после XX съезда коммунистической партии, в Советском Союзе шел непрерывный процесс самоосознания. Процесс для людей старшего и даже моего поколения достаточно мучительный. Менялось само понятие смелости, гражданского мужества, порядочности.

Этот медленный в рамках жизни одного поколения процесс раскрепощения духа был поразительно быстрым и стремительным даже для такого молодого государства, как Советский Союз.

Я помню страшные и позорные дни травли Пастернака — воистину великого поэта России. Травли, вызванной его романом «Доктор Живаго», который был напечатан на Западе и публикация которого в Советском Союзе была запрещена. Награждение Пастернака Нобелевской премией за его литературное творчество явилось как бы сигналом, по которому началась организованная государством кампания, целью которой было заставить Пастернака отказаться от премии и публично покаяться в «предательстве».

Тогда звучала только официальная пропаганда. Ни один голос в моей стране не прозвучал открыто в его защиту. И это не потому, что не было людей, мучительно страдавших от этой гнусной и безжалостной травли. И даже не потому, что чувство страха не ушло еще из сознания людей. Мне кажется, что многим, к которым причисляю и себя, просто даже и не приходила в голову сама возможность свободного участия в общественной жизни. От рождения до зрелости общественная жизнь в моем сознании привычно ассоциировалась с участием в официальных демонстрациях, митингах и собраниях, организуемых властями. Единственной законной и понятной для меня и тех, кого я знала, формой выражения несогласия было молчание. Молчание стало мериллом мужества и порядочности человека.

С этим мериллом подходили к поступкам людей и в «пастернаковские» дни. Даже такой близкий и любимый Пастернаком человек, как Ольга Ивинская, в своей книге «В плену времени» (изданной в 1978 году на Западе) продолжает измерять мужество и порядочность этим же мериллом — неучастием и молчанием.

Первым известным мне открытым выражением подлинного отношения общества к творчеству Пастернака и к его творческой судьбе стали его похороны.

Пастернак умер 30 мая 1960 года. Ни в одной из газет сообщение о его смерти не появилось. Лишь на третий день — 2 июня — в «Литературной газете» было напечатано извещение о смерти «писателя, члена Литературного фонда СССР Пастернака Бориса Леонидовича». Даже обычных традиционных слов «с глубоким прискорбием» в этом извещении не было. Не сообщалось и о том, где и в какое время состоятся похороны. А ведь извещение было напечатано в день похорон, тщательно и продуманно организованных Литературным фондом по указанию КГБ.

Проводить Пастернака в последний путь приехали в подмосковную деревню Переделкино тысячи москвичей. Звонили друг другу по телефону и сообщали место и время похорон. Около касс Киевского вокзала и в поездах были вывешены самодельные объявления, написанные от руки на листках, вырванных из ученической тетради, с указанием точного маршрута к дому Пастернака в Переделкино.

Я знаю, что руководству Литературного фонда было дано указание не допустить, чтобы похороны превратились в демонстрацию. Было заранее решено (это мне известно достоверно), что специальный похоронный автобус с гробом Пастернака и членами его семьи быстро проедет дорогу от дома до кладбища, где немедленно, не ожидая всех собравшихся, гроб будет захоронен. Но осуществить этот план руководителям Литературного фонда не удалось. Не удалось

потому, что гроб несли на руках всю дорогу до кладбища (примерно полтора километра), сменяя друг друга и не допуская к нему никого из официальных лиц.

Ольга Ивинская имела основание назвать главу о похоронах Пастернака строкой из стихов: «Несли не хоронить, несли короновать».

Талант Бориса Пастернака был достаточно велик, чтобы тысячи людей пришли проводить своего поэта. Но людьми, пришедшими на эти похороны, владело не только чувство утраты, но и чувство солидарности. Желание хоть в этот последний трагический момент выразить свое несогласие с позицией властей и выразить не участием, а, может быть, впервые в жизни — действием. И также, наверное, впервые в жизни эти несколько тысяч знакомых и незнакомых между собой людей почувствовали себя духовно близкими. Это было новое, ранее не испытанное чувство соборности.

С того дня, дня похорон Пастернака, до ареста Синявского и Даниэля прошло всего 5 лет. Очень скоро и из передач зарубежного радио, и из рассказов, передаваемых от одного к другому, стало известно, что оба они передали какому-то зарубежному издательству свои повести и рассказы. Что эти произведения были опубликованы во Франции под псевдонимами. (Псевдоним Синявского — Абрам Терц, псевдоним Даниэля — Николай Аржак.) Стало известно, что содержание этих произведений явилось причиной их ареста и обвинения в антисоветской пропаганде и агитации (по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР).

С кем бы мы ни встречались тогда, разговор об аресте Синявского и Даниэля возникал неизбежно. Не все были единодушны в своих оценках. Я помню разговоры о том, что, передав свои произведения без разрешения властей иностранному издательству, согласившись и даже желая, чтобы эти произведения были там опубликованы, Синявский и Даниэль предали интересы либеральных, но официально публикуемых писателей. Что в результате этого неизбежно ожесточится цензура, исчезнут последние признаки того времени, которое не только называли, но и ощущали как оттепель. (Интересно, что точно такие же упреки выдвигались впоследствии и против евреев-эмигрантов, «предающих интересы оставшихся, подрывающих своим отъездом остатки государственного доверия к евреям».)

Но я не могу вспомнить ни одного человека, который бы не только одобрял, но и не осуждал бы самым безоговорочным образом как сам факт привлечения Синявского и Даниэля к уголовной ответственности, так и их арест.

Мы (я и муж) были единодушны. Для нас было несомненно моральное и юридическое право писателя печатать свои произведения

в любой стране, не испрашивая специального разрешения. Также несомненна для нас была и правовая несостоятельность применения понятия антисоветской агитации или пропаганды к художественному творчеству. Но, несмотря на это, мы понимали, на какой отчаянный риск пошли Синявский и Даниэль. Понимали и то, что арест их был согласован КГБ с высокими партийными инстанциями и уже одно это предreshало неизбежность суда и осуждения.

Не зная лично Синявского и Даниэля, мы не сомневались, что оба они пошли на этот риск во имя осуществления права писателя на свободу творчества. Поэтому мы испытывали уважение к их поступку и восхищались их мужеством.

Часто в разговорах со мной и друзьями муж говорил, что с радостью принял бы на себя защиту одного из них. И хотя никто из родственников или знакомых Синявского и Даниэля к нам за помощью тогда не обращался, мы обсуждали это дело как адвокаты-практики. Обсуждали тактику защиты и правовую аргументацию.

Когда я сейчас пишу все это, я стараюсь с наибольшей степенью правдивости и точности воспроизвести не столько даже общий интерес к делу Синявского и Даниэля, а наше — мое и мужа — к нему отношение. Мы вместе сейчас вспоминаем и отдельные разговоры и последовательность событий, и все же многое — особенно даты, а иногда и хронологическая последовательность — ушло из нашей памяти.

Когда это случилось? Когда произошла наша первая встреча с Ларисой Богораз (женой Даниэля) и Марией Розановой (женой Синявского)? Скорее всего, в начале декабря 1965 года. Но оба мы прекрасно помним, как это случилось. И вечерний поздний телефонный звонок наших друзей, и слова:

— Как было бы отлично, если бы вы сейчас приехали к нам.

И что-то неуловимое в тоне, каким эти слова были произнесены. Что-то, заставившее нас, несмотря на усталость и на какие-то совсем другие планы на остаток вечера, бегать по улице в поисках такси, чтобы скорее добраться, узнать, что же случилось.

Прямо не снимая теплых пальто, прошли на балкон, выходящий на одну из центральных московских улиц (наивная конспирация).

— Нужна ваша помощь. — Это говорит наш друг. — Ларисе и Марье необходимо с вами посоветоваться. Они сейчас придут сюда.

Наш друг явно взволнован ожидаемым приходом. Он внимательно смотрит вниз и на противоположный тротуар — нет ли там праздно стоящих или медленно прохаживающихся фигур, чей внешний облик никогда не вызывает сомнений — наружное наблюдение.

А потом мы сидим в очень большой комнате на мягком диване за низким журнальным столиком, а напротив нас в глубоких креслах — Мария и Лариса. Собственно, как оказалось, обе они хотели не столько посоветоваться, сколько узнать, не согласится ли кто-нибудь из нас защищать их мужей. Мы были не первые адвокаты, к которым они обращались. Но те, с кем им пришлось разговаривать до нас, предупреждали, что смогут просить суд лишь о смягчении наказания. Очевидно, мы были первыми, кто в такой предварительной беседе сказал, что советский уголовный закон не преследует за опубликование произведений за рубежом, что в действиях Синявского и Даниэля нет состава преступления и что в суде следует ставить вопрос об оправдании.

Нам с мужем оставалось решить, кто же из нас двоих станет защитником Синявского или Даниэля. Кто из нас — потому что, хотя мы оба были согласны на защиту, совместное наше участие в деле было невозможно. Президиум Коллегии адвокатов считал чрезвычайно нежелательным одновременное участие адвокатов-супругов в одном (даже обычном) деле. Тем более мы понимали, что в деле политическом нам вместе участвовать не разрешат. Кроме того, у меня было и второе, для меня не менее важное соображение. Я предполагала, что осуществление принципиальной защиты, активный спор с обвинением может повлечь за собой исключение из адвокатуры. И считала, что рисковать этим одновременно мы не можем.

Значит, кто же из нас?

У мужа допуска не было. Но мы тогда считали это легкоустранимым препятствием. Существовала практика «разовых» (на одно дело) разрешений. Мы были уверены, что кандидатура мужа не встретит возражений, так как у него была хорошая профессиональная репутация. Это нам казалось тем более реальным, что председателем президиума Коллегии адвокатов был в то время наш близкий друг Василий Александрович Самсонов. От него в основном зависело благоприятное решение этого вопроса, и на его помощь мы твердо рассчитывали. Более того, мы надеялись, что Самсонов согласится принять защиту второго обвиняемого. За его плечами уже был опыт участия в политических процессах (он участвовал в получившем широкую известность деле Краснопевцева и других). Зная Самсонова очень близко, мы считали, что его согласие будет гарантией достойного выполнения профессионального долга.

В тот вечер мы согласованно решили, что, если Самсонов согласится участвовать в этом деле, он будет защищать Синявского, а мой муж — Константин Симис — Даниэля.

Почему же все-таки муж, а не я?

Я думаю, что мы оба понимали, что Константин к такой защите психологически более готов, чем я. Я была согласна защищать, я не считала возможным отказаться от участия в политическом деле. Муж же этого хотел. Зная его характер и убеждения, я понимала, что для него участие в таком процессе связано с большим риском, чем для меня. Но я также понимала, что им двигала глубокая внутренняя потребность выразить свое отношение к беззаконию и произволу в наиболее для него доступной и свойственной форме профессиональной защиты. Кроме того, я была уверена, что защищать в этом деле он сможет лучше меня.

И это не потому, что вообще считала его лучшим, чем я, защитником. Наоборот. Если допустимо в отношении самой себя применить слово «дар», то, мне кажется, я этим даром обладала в большей степени. Но специфика именно этого процесса, в котором требовался не только правовой, но и глубокий литературоведческий анализ, делала кандидатуру Константина наилучшей.

Через несколько дней вопрос об организации защиты был полностью решен. Самсонов согласился защищать Синявского. Кроме того, он сказал, что разовый допуск для защиты Даниэля муж несомненно получит. Все дальнейшие переговоры о защите Андрея Синявского Мария вела уже непосредственно с Самсоновым.

И опять не помню, сколько прошло времени, — наверное, две или три недели, когда к нам вечером приехал Василий Александрович и сказал, что оформление разового допуска для мужа очень осложнилось, что делу придается где-то на самых больших верхах особое значение и что, хотя еще нет окончательного отказа, надо иметь в резерве другого адвоката для защиты Даниэля. Естественно, что этим резервным адвокатом стала я. Лариса — жена Даниэля — дала безоговорочное на это согласие.

В первых числах января 1966 года стало окончательно известно, что мужу в допуске отказано. Так я стала официальным защитником Даниэля.

Имя Андрея Синявского было мне известно еще до ареста. Я читала его блестящее предисловие к однотомнику Бориса Пастернака, его литературно-критические статьи в журнале «Новый мир». Но я не только никогда не читала художественной прозы Синявского, но и не знала о ее существовании. Имя Юлия Даниэля впервые услышала только в связи с его арестом. Уверена, что примерно такая же степень осведомленности или, вернее, неосведомленности была и у большинства. Ведь оригинальные художественные произведения этих двух писателей в Советском Союзе никогда не издавались.

Взрыв общественного возмущения, который охватил тогда небывало широкий круг людей, определялся не местом Синявского и Даниэля в литературе, не преклонением перед их талантом (теперь для меня несомненным), а самим фактом привлечения к уголовной ответственности за содержание художественного произведения, возможностью судить автора за слова и мысли, произнесенные вымышленными персонажами повестей и рассказов. Уже однажды поняв, что несогласие можно выразить не только молчанием, люди стали действовать и говорить.

5 декабря 1965 года на площади Пушкина в Москве состоялась первая после установления сталинского режима свободная демонстрация. В преддверии неизбежного суда над Синявским и Даниэлем демонстранты требовали, чтобы этот суд был гласным и открытым. Распространялись листовки с этим же требованием.

В середине декабря 1965 года Лариса Богораз обратилась с письмом к Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу, к Генеральному прокурору СССР и в редакции центральных советских газет.

Она писала, что репрессии по отношению к писателям за их художественное творчество «являются актом произвола и насилия».

Я утверждаю это и буду отстаивать свое мнение, как в частных беседах, так и в любой открытой публичной дискуссии.

Одновременно Лариса направила председателю КГБ и Генеральному прокурору письмо, в котором сообщала об угрозах со стороны следователя уже в ее адрес.

Меня не пугают эти — и любые другие — угрозы... Мне нечего бояться, мне нечего терять; материальных ценностей я за всю свою жизнь не приобрела и научилась не дорожить ими, а мои духовные ценности останутся при мне при всех обстоятельствах...

Я никого не прошу ни о каких одолжениях, снисхождениях, льготах. Я требую соблюдения норм человечности и законности.

С письмом к Генеральному прокурору СССР и председателю КГБ обращается и жена Синявского Мария:

Очень может быть, что результатом этого письма будет и мой арест (мне постоянно этим угрожают)... но даже естественный страх перед подобными репрессиями не может меня остановить...

Я утверждаю и буду утверждать впредь повсюду, что в них (произведениях Синявского. — Д.К.) нет ничего антисоветского, что это — беллетристика, и только беллетристика.

Проза Терца может нравиться или не нравиться, но несходство литературных вкусов и оценок не повод для ареста писателя...

Теперь, через 18 лет, в Советском Союзе и на Западе появилась уже некоторая привычка к таким письмам, утеряно то ощущение невероятности, потрясения, которое они вызывали. И это напрасно. Каждое такое письмо — это и теперь акт высокого, отчаянного мужества, проявление подлинной стойкости человеческого духа. Но тогда, когда впервые прорвалось это, десятилетиями длившееся, навязанное сверху молчание, впечатление от этих писем было совершенно ошеломляющим.

Я начала с этих двух писем, хотя вовсе не уверена, что они были первыми. Писали ученые, художники, искусствоведы, писатели. Эти письма, подписанные полными именами авторов, с невероятной быстротой расходились по Москве, порождая новые письма, обращения и требования.

Редкий день не приносил нам тогда известий и о тех, кто выступил в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля за рубежом. Газеты Вашингтона, Нью-Йорка, Парижа, Рима, Лондона, писатели, ученые и артисты почти всех стран мира высказывали свое возмущение арестом и озабоченность судьбою двух писателей. С призывом помочь им обращались к Союзу советских писателей, к лауреату Нобелевской премии писателю Шолохову, к министру культуры Фурцевой, к председателю Совета Министров Косыгину.

Советские люди, которые писали письма в защиту Синявского и Даниэля, вряд ли надеялись повлиять на исход их дела. Если такие оптимисты и были, то очень немного. Мне кажется, что основное чувство, которое определяло поведение, было: «Не могу молчать». Понимание того, что промолчать и не возразить будет недостойно.

Значение перелома, который произошел тогда в сознании и поведении людей, трудно переоценить.

Дело Синявского и Даниэля стало поводом для общественного движения за соблюдение законов, гласности, свобод. Круг людей, включившихся в него, все более и более расширялся. Если в период травли Пастернака мерилom порядочности было «неучастие», если тогда мужеством не только считался, но и являлся отказ выступить и клеймить на митинге или в газете, то теперь неучастия было недостаточно. Общественное мнение уже осуждало тех, кто отказывался из страха подписать письмо или обращение в защиту.

Это изменение нравственного климата ощущалось всеми, поднимало людей в их собственных глазах.

Я не пишу историю правозащитного движения. Не ставлю перед собой и задачу дать социальный анализ тех сдвигов, которые про-

исходили в обществе. Я должна была рассказать об этом, как о явлении непосредственно связанном с защитой Даниэля.

Уже много лет спустя, когда состоялось мое знакомство с вернувшимся из лагеря в Москву Юлием, он говорил, как важно было для него тогда, до суда, знать, что их не проклиняет и не осуждает неофициальное общественное мнение. Что люди, пренебрегая страхом, отказавшись от осторожности, встали на их защиту. Говорил о том, какую нравственную поддержку, несомненно, это оказало бы.

Как же случилось, что он этой нравственной поддержки не получил? Что он и Андрей Синявский только после процесса впервые услышали о том, что внимание всего мира было привлечено к их предстоящему процессу?..

Ответ на этот вопрос прямо связан с тем, как организовывался судебный процесс над ними.

Следствие уже подходило к концу, и мы, адвокаты, готовились к первому свиданию с нашими подзащитными. Мне предстояло вместе с Даниэлем обсудить все сложные вопросы литературоведческой экспертизы. Мы также должны были решить, каких дополнительных свидетелей необходимо вызвать, какие документы следует приобщить к делу. Поэтому подробная информация о кампании в защиту Синявского и Даниэля перерастала рамки нравственной поддержки и превращалась в составную часть защиты.

Мы часто встречались с Самсоновым и вместе обсуждали ряд общих вопросов предстоящего дела. Василий Александрович прекрасно понимал, что участие в политическом процессе всегда связано с личным риском для адвоката, но не считал тогда, что нам может грозить исключение из коллегии. Я уже прочла те произведения Синявского и Даниэля, которые им вменялись в вину, и у меня не возникло сомнений, что в суде мы будем ставить вопрос об их полном оправдании. Помню, как Василий сказал мне:

— Я уже слишком долго на посту председателя президиума. Я предпочитаю уйти с этого поста красиво.

Самсонов понимал, что после того, как он произнесет в этом процессе слова: «Прошу оправдать», председателем президиума столичной Коллегии адвокатов он уже больше не будет.

Шла нормальная, хотя и очень напряженная подготовка к делу, и ничто не предвещало значительных осложнений. И в тот день звонок Василия не внес никакой тревоги.

— Мне нужно обсудить с тобой кое-какие вопросы. Я простудился — лежу в постели. Так что приезжай ко мне, и мы вместе обмозгуем, как поступить.

Наш разговор начался сразу с категорического утверждения:

— Ни я, ни ты в этом процессе выступать не будем. Мы сами должны отказаться от защиты. — И, не давая мне возможности возразить или спросить, продолжал: — В этом процессе нам с тобой делать нечего. Этот процесс установочный и, если хочешь знать, постановочный. Защищать по-настоящему нам не позволят. Позорить свое имя я тоже не хочу. Поэтому я отказываюсь. Для тебя это тоже единственный выход из положения. Я прошу тебя во имя тебя самой отказаться от этого дела.

— Мы не можем этого сделать. Ни ты, ни я. Мы знали, что идем на какой-то больший или меньший риск. Риск оказывается больше, чем ты предполагал. Неужели для тебя ничего не значит, что ты сам себе должен сказать, что ты струсил? Что боишься добросовестно выполнить свой долг? Я от защиты не откажусь.

Но Василий опять продолжал меня убеждать, говорил о том, как любит нас с мужем, как ему дорого наше благополучие. Что он не может допустить, чтобы я пожертвовала собой ради чужих, неизвестных мне людей.

Я уверена, что это были не пустые слова, что Василий действительно боялся за меня, что им в тот день руководило в первую очередь дружеское чувство.

Это был долгий, тяжелый разговор, где каждый старался убедить другого, и ни один в этом не преуспел.

Мы расстались возмущенные друг другом. Я — тем, что определяла как профессиональное предательство; он — моей неблагодарностью, нежеланием внять тому, что он называл «голосом рассудка». Расстались на том, что он волен поступать как хочет, я же остаюсь защитником Даниэля.

А через день после этого ко мне в консультацию позвонила секретарь президиума Городской коллегии адвокатов и попросила срочно приехать на какое-то совещание.

Самсонов принял меня в своем кабинете. Он уже не убеждал меня. Он просто информировал:

— Нас вызывают в Московский комитет партии. Пока не поздно, ты еще можешь отказаться от защиты. Ах, ты предпочитаешь поехать в МК? Хорошо, тогда выйди, пожалуйста, в коридор. Я скоро освобожусь, и мы поедem.

Прошло, наверное, минут пятнадцать, когда Самсонов вышел из кабинета.

— Ты еще здесь?

— Конечно. Мы же должны ехать в МК.

— Я еду один, тебе там делать нечего. Но я хочу тебя предупредить, что защищать Даниэля ты не будешь. Мы не позволим тебе ставить всю адвокатуру под удар.

Помню, я еще сказала Василию, что он не может запретить мне защищать Даниэля, что у него нет такого права. Что отстранить меня от работы или лишить допуска можно только решением всего президиума.

— У меня нет времени на дискуссии. Единственная просьба — прислать сегодня же ко мне обеих жен. Я должен срочно выделить им других адвокатов. Прощай.

Так мы расстались. Расстались навсегда. Встречаясь в судах или на совещаниях, мы еле кивали друг другу головой и проходили мимо, не останавливаясь. Терять друзей очень трудно. Я знаю, что это было тяжело и Василию. Как-то через несколько месяцев после этого нашего «прощай» он говорил общему другу, что разрыв с нами для него «незаживающая рана». Говорил о том, что со временем я сумею оценить, что именно он меня спас от позора или исключения из коллегии. Я это не оценила.

Я не осудила бы Самсонова, если бы он с самого начала отказался от защиты Синявского. Каждый человек вправе сам решать такие вопросы. Я осуждала Самсонова за то, что он дважды предал нашу профессию. Он — председатель Коллегии адвокатов — капитулировал перед незаконными требованиями Московского комитета партии. Я знаю, что этими требованиями были:

1. Полностью скрыть от обвиняемых тот общественный резонанс, который имело их дело.
2. Отказаться в защитительной речи от критики литературоведческой экспертизы.
3. Отказаться от произнесения в публичном судебном заседании прямой просьбы об оправдании подзащитных.

Я считала, что он дважды предал нашу профессию, потому что выполнение этих требований ослабляло законные возможности защиты не просто абстрактного обвиняемого, но его собственного клиента, его собственного подзащитного.

Я ни в какой мере не хочу сказать, что за годы нашей дружбы я считала Василия своим политическим единомышленником. Но я была уверена, что нас связывает общность взглядов на профессиональный долг.

Когда общие друзья говорили, что мы должны простить Василия, что он вынужден был поступить так, мы с этим согласиться не могли. Самсонов нас ничем не обидел. Просто он оказался не тем человеком. И нам уже не о чем было с ним разговаривать, а значит, и незачем было встречаться. Я думаю, что и он не вправе был ждать от

меня благодарности. Непреклонность той линии, которую он провел в этом деле, определялась уже не заботой обо мне, а боязнью за свое положение. Ведь лично ему Московский комитет КПСС поручил организовать защиту соответственно с выдвинутыми требованиями.

Как бы перебирая все, только что написанное, моя память воскрешает прекрасные дни нашей дружбы. И время, когда мы вчетвером на террасе в благословенной подмосковной Жуковке, и долгие ночные разговоры. И, главное, ту атмосферу дружеской благожелательности, почти родственной любви, которая всегда окрашивала наши прошлые отношения. Мне было бы легче вовсе не вспоминать эту неприглядную историю, скрыть ее ото всех, благо мало кто об этом знал и еще меньше людей, которые об этом помнят. Я рассказываю это не только потому, что, приступая к книге, приняла решение писать все так, как это было, как я помню. Иначе вообще не стоило браться за это нелегкое для меня дело.

Главное, что заставило меня рассказать все это с такой дотошной подробностью, была давно преследующая меня мысль, что наибольшее зло в те послесталинские годы творили вовсе не злодеи и палачи, а соглашатели. Что, наверное, те врачи-психиатры, которые обрекали и обрекают здоровых людей на «пытку психиатрией», делают это тоже не потому, что причинять людям страдание является их внутренней потребностью. Во все нет. Их ставят в такие условия, когда они должны или подчиниться, или быть выброшенными.

А судьи? Разве не хотели бы они быть справедливыми и беспристрастными? Но и перед ними стоит тот же выбор. Мы — адвокаты, судьи, врачи — избрали себе профессию, которая дает нам право участвовать в разрешении чужих человеческих судеб. И если уж людям таких профессий пренебрегать своим профессиональным долгом во вред другому, зависимому от них, — лучше уж действительно идти в дворники.

Вот почему я тогда так сурово осудила поведение Самсонова.

Я рассказываю об этом с непрошедшим чувством боли и утраты. Я всегда считала Самсонова одним из лучших адвокатов моего поколения, не только в силу его таланта, но и по чувству личной ответственности, которое ему было присуще. Я жалею его потому, что и он оказался жертвой системы, которая либо подчиняет себе человека полностью, либо выбрасывает его.

О том, как дальше развивались события, мне осталось рассказать немного.

Расставшись с Самсоновым, я тут же, как он просил, вызвала к себе в консультацию Марию и Ларису и передала им содержание нашего с ним разговора. Я сказала Ларисе, что от защиты Даниэля не откажусь, но сомневаюсь, что меня допустят к участию в деле.

Я ни разу — ни до, ни после — не видела Ларису и Марию в таком состоянии отчаяния и растерянности, как во время этого разговора. Ведь у них совсем не оставалось времени. В последнюю минуту их мужья остались без адвокатов. Кого искать? И стоит ли искать вообще, если каждый избранный ими адвокат будет поставлен в положение, при котором защищать невозможно?

На следующий день вечером я была в консультации на производственном совещании, когда мне вновь позвонил Самсонов:

— Только что от меня ушли эти дамочки. Не дай тебе бог когда-нибудь выслушать то, что они позволили себе сказать мне.

И он повесил трубку.

А еще через день от Ларисы я узнала, что они вынуждены были согласиться на кандидатуры других адвокатов, рекомендованных им Самсоновым.

Так закончилась длинная история о том, как я не защищала Юлия Даниэля. История, которая в «Белой книге» Александра Гинзбурга заключается в одной строке: «Кандидатура защитника Каминской была отведена Коллегией адвокатов без объяснения причин».

В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

- а) свобода слова;*
- б) свобода печати;*
- в) свобода собраний и митингов;*
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.*

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.

Конституция СССР 1936 года

Статья 125

1978 год.

Позади отъезд из Советского Союза. Месяцы ожидания американской визы в Италии. Приезд в Соединенные Штаты. Первые встречи с американцами. Первое время вхождения в совершенно новую, во многом непонятную и неожиданную жизнь.

В тот вечер мы с мужем были гостями американской семьи.

Это не просто дружеское приглашение на обед. Нас, вынужденных покинуть Советский Союз, знакомят с американским инакомыслящим, американским борцом за права человека.

Мы сидим за столом, и каждый из нас высказывал суждение о том, чего он не знал. Наш собеседник ничего не знал о жизни в Советском Союзе. Мы имели только первое и потому очень приблизительное представление об Америке. Он утверждал, и пытался в этом убедить и нас, что в Советском Союзе есть подлинная свобода слова и убеждений, что СССР — страна демократическая. А то, что сажают

в тюрьмы, судят и осуждают за политические преступления, — это, конечно, нехорошо.

— Но ведь это не только у вас, — говорил он. — В Америке тоже нарушают права человека, тоже есть свои политические судебные процессы, свои несправедливо осужденные.

Это был долгий и нелепый спор безо всякой надежды на взаимопонимание. И хотя мы говорили как будто об одном и том же, каждый из нас вкладывал в этот термин — «политическое преступление» — привычный для социальной системы своей страны смысл.

Когда я рассказывала о политических процессах, в которых участвовала сама, наш оппонент слушал меня с явным недоверием. Он не мог поверить, что единственным основанием ареста и осуждения может явиться открытое и публичное выражение мысли. Что по какой бы статье Уголовного кодекса ни были осуждены советские борцы за права человека (по статье ли 70 — антисоветская агитация и пропаганда или по ст. 190-1-3 — грубое нарушение общественного порядка и клевета на советский общественный и государственный строй), они отбывают годы тюрьмы, лагеря и ссылки только за то, что воспользовались дарованным им Конституцией правом на свободное выражение своих убеждений или своего отношения к конкретным действиям советского правительства.

С подобным недоверием мне потом приходилось сталкиваться довольно часто.

— Наверное, их обвиняли в чем-то еще. Не может быть, чтобы их судили только за это...

Так реагировали на мои рассказы и начинающие жизнь американские студенты, и люди с большим жизненным опытом.

Вот почему я решила начать эту главу с рассказа, который буду вести не я, а представители советского правосудия. Я хочу, чтобы с этих страниц зазвучали их жесткие голоса. Пусть вместо меня говорят следователи прокуратуры и КГБ, судьи высших судебных инстанций, члены специально созданного комсомольского отряда при Московском комитете ВЛКСМ. Пусть они сами дадут обоснование обвинительному приговору. У меня есть возможность вести рассказ от их имени: передо мной — выписки из реального уголовного дела.

Итак: «Уголовное дело „О грубом нарушении общественного порядка“».

СЛЕДСТВИЕ

Говорят свидетели — члены комсомольской оперативной дружины. Протокол допроса свидетеля Малахова 26 января 1967 года (том 1, лист дела 14):

Я член комсомольской оперативной дружины. 22 января сего года нас известили о необходимости наблюдать за порядком на площади Пушкина, так как там ожидается какое-то нарушение. Мы прибыли на площадь вечером, примерно в 5 часов 30 минут — 5 часов 40 минут. Около 6 часов у памятника Пушкина собралась группа молодежи, думаю, человек 30. Они стояли около самого памятника тесной группой. Вскоре появились три плаката на белом материале. На одном из плакатов было написано: «Свободу Добровольскому, Галанскову, Лашковой и Радзиевскому». Нам было известно, что это имена лиц, недавно арестованных органами КГБ. На двух других: «Требуем пересмотра статей 70 и 190 Уголовного кодекса как противоречащих конституции».

Я и командир отряда Двоскин подошли к ближайшему плакату об отмене антиконституционного Указа. Его держали девушка и парень. Я попросил их отдать плакат. Они отдали без сопротивления. Все произошло очень быстро и тихо.

Протокол допроса свидетеля Клейменова 26 января 1967 года (том 1, лист дела 144):

Я являюсь инструктором Городского комитета ВЛКСМ и начальником оперативного отряда при Московском комитете комсомола.

Вместе с членами оперативной комсомольской дружины я 22 января сего года вел наблюдение на площади Пушкина. Нас предупредили, что мы должны явиться на площадь вечером, после 5 часов 30 минут. Примерно в 5 часов 45 минут члены дружины начали наблюдение, рассредоточившись в нескольких пунктах. К 6 часам на площади собралась группа молодых людей, которые подошли к памятнику Пушкина. Их было человек 20. Затем несколько человек из этой группы встали на постамент и молча подняли над головой антисоветские лозунги.

Увидев, что содержание лозунга антисоветское, мы быстро окружили эту группу и отобрали лозунги.

Один из участников, сейчас мне известна его фамилия — это Хаустов — начал сопротивляться и лозунга не отдавал. Завязалась борьба. Когда мы возились с Хаустовым, я услышал чей-то голос из группы, стоявшей на пьедестале: «Не сопротивляйся! Витька, не сопротивляйся». Хаустов сопротивление прекратил, и его доставили в штаб дружины на Советской площади.

Вообще на площади было тихо. Когда уже увели задержанных и граждане стали расходиться, высокий молодой человек в толпе выкрикнул: «Долой диктатуру». Наши дружинники его немедленно задержали и тоже доставили в штаб. Он оказался Евгением Кушевым. Больше никто никакого сопротивления не оказывал.

Абсолютно аналогичные показания дали все остальные члены оперативной дружины и несколько работников милиции.

В последних числах марта 1967 года расследование дела подошло к концу. Уже допрошены свидетели, обвиняемый, их родственники, друзья и просто знакомые. Следователь должен составить последний документ по делу — обвинительное заключение.

Но этого не произошло.

Говорит прокурор города Москвы Мальков.

Препроводительное письмо от 8 апреля 1967 г.

(том III, лист дела 1).

Начальнику Комитета Государственной Безопасности по Москве и Московской области генерал-лейтенанту Светличному. Направляется в порядке статьи 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР дело по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР для дальнейшего расследования.

Препроводительное письмо прокурора Малькова — это образец циничного нарушения закона.

Статья 126 Уголовно-процессуального кодекса не давала права прокурору Москвы направить дело в КГБ.

По делам о преступлениях, предусмотренных статьями... 190-1, 190-2, 190-3 Уголовного кодекса РСФСР, предварительное следствие производится следователями органов прокуратуры.

Эта статья запрещает следственному аппарату КГБ расследовать дела, отнесенные к подследственным прокуратуры.

Передача дела из прокуратуры в КГБ обычно свидетельствует, что делу придается особое значение, что по важности оно приравнивается к особо опасным государственным преступлениям.

В августе 1967 года следствие закончилось. Было составлено обвинительное заключение.

Говорят старший следователь КГБ капитан Смелов — автор этого документа, начальник Следственного управления КГБ по Москве и Московской области полковник Иванов и начальник Управления КГБ по Москве и Московской области генерал-лейтенант Светличный, утвердившие обвинительное заключение (том III, лист дела 248):

...будучи знаком с Галансковым, Лашковой, Радзиевским, Добровольским, встал на незаконный путь выражения своих требований и организовал демонстрацию с требованием их освобождения и пересмотра статей 70 и 190-1-3 Уголовного кодекса РСФСР.

На его квартире был изготовлен лозунг «Свободу Добровольскому, Галанскову, Лашковой и Радзиевскому». Он пригласил других лиц на демонстрацию и сам принимал в ней активное участие, держа лозунг. Следовательно, совершил преступление, предусмотренное статьей 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.

Человека, о котором говорится в этом документе, защищала я.

Я признавала все: и то, что он организовал демонстрацию, и то, что сам участвовал в ней, и то, что изготовил лозунг, а затем на площади молча поднял его над своей головой. Я не признавала только того, что это — уголовное преступление.

Свобода демонстраций гарантируется советской Конституцией. Более того, в Советском Союзе нет таких законов, инструкций или циркуляров, которые запрещали бы участие в самостоятельных демонстрациях или регламентировали бы порядок их проведения. Вот почему я заявила следователю Смелову ходатайство о прекращении дела «за отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного».

Следователь Смелов в этом ходатайстве мне отказал.

Я защищала этого человека в Московском городском суде и просила о его оправдании.

Судебная коллегия Московского городского суда под председательством судьи Шаповаловой признала его виновным и осудила к максимальной по статье 190-3 мере наказания — к трем годам лишения свободы.

Я обжаловала этот приговор в Верховный суд РСФСР.

В кассационной жалобе я писала:

Не оспаривая фактических обстоятельств дела, изложенных в приговоре, считаю, что они не дают оснований для признания моего подзащитного виновным в совершении уголовного преступления.

Я просила Судебную коллегия Верховного суда РСФСР:

Отменить приговор Судебной коллегии Московского городского суда и дело производством прекратить.

Говорят члены Судебной коллегии Верховного суда РСФСР Карасев, Ершов, Гаврилин:

Сам осужденный не отрицал, что он организовал сбор людей на площади с тем, чтобы публично объявить требования о пересмотре уголовных законов

и освобождения его знакомых, арестованных за антисоветскую агитацию и пропаганду, для чего составил тексты лозунгов и сам изготовил один из лозунгов. Он также не отрицал, что принял активное участие в организованной им демонстрации.

Суд обоснованно пришел к выводу, что этими действиями был грубо нарушен общественный порядок.

Приговор Московского городского суда был оставлен в силе. Осужденный полностью отбыл весь трехгодичный срок наказания. Я ничем не смогла ему помочь.

Я проиграла в этой битве с советским правосудием. Проиграла в споре о том, имеют ли граждане СССР право на публичное выражение своих мнений, имеют ли они право на демонстрации.

А теперь отступление.

Я сижу за большим письменным столом. Напротив меня молодой человек. На нем клетчатая рубашка с отложным воротником. Коротко, по-тюремному остриженные волосы. Что-то — может быть, выражение глаз, высокий лоб, ощущение внутренней силы — напоминает портреты молодого Ленина.

Время действия — конец июля 1967 года. Место действия — Лефортовская тюрьма, следственный изолятор КГБ.

Действующие лица — я и мой предполагаемый подзащитный.

«Предполагаемый» не потому, что я еще не дала согласие на защиту. Мною решение уже принято. Не решил еще он.

— Вы член КПСС?

— Нет.

— У вас есть допуск к политическим делам?

— Есть.

Это не следователь задает мне вопросы. Это меня допрашивает мой подзащитный. Это он обвиняется в организации демонстрации у памятника Пушкину 22 января 1967 года. Это он держал лозунг «Требуем пересмотра и отмены антиконституционных законов».

Так состоялось мое первое знакомство с человеком, имя которого теперь стало знаменитым. Это он удостоился вполне заслуженной чести быть гостем английской королевы и беседовать с президентом США Картером. Это его, «недоучившегося студента», «уголовного преступника», «тунеядца», «хулигана» (так писали о нем в советских газетах) советское правительство обменяло на генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Имя этого человека Владимир Буковский.

И было ему тогда 24 года. И не было известности, славы, сопутствующего им почета.

За 24 года он достиг очень малого. Окончил школу и поступил на биологический факультет Московского университета. Потом был из него то ли исключен, то ли отчислен «по собственному желанию». Ни профессии, ни того, что принято называть общественным положением.

Следствие по его делу закончено. Нам предстоит вместе знакомиться со всеми материалами, заявить ходатайства, а затем ждать суда. Мы почти не разговариваем. И не потому, что мешает сидящий рядом с нами следователь. Нам просто пока не о чем говорить. И о чем, действительно, беседовать с человеком, который начинает знакомство с обидного недоверия, на которое у него есть право.

Он меня не знает. Наличие допуска в его глазах говорит явно не в мою пользу. И я не пытаюсь разубедить его. Единственное, что можно противопоставить этому недоверию, — это сказать, что буду просить о его оправдании. Но и этого пока сделать не могу — ведь я еще не читала дела. Не знаю показаний свидетелей, не знаю правовой аргументации обвинения. И я говорю ему то единственное, что соответствует правде:

— Мне надо ознакомиться с делом. Только тогда я скажу свои выводы, скажу о той позиции, которую смогу занять в суде. Я хочу, чтобы вы понимали, что мною могут руководить только эти соображения. Если я буду считать, что в ваших действиях есть состав уголовного преступления, я вам об этом скажу, и мы сможем расстаться. Если же материалы дела дадут мне возможность утверждать, что нарушения общественного порядка не было, что демонстрация не препятствовала нормальной работе транспорта, я, естественно, должна буду ставить вопрос о вашем оправдании. Другой позиции у юриста быть не может. А я — юрист.

Вот мы и сидели друг против друга и работали. Я тщательно переписывала все показания свидетелей, обвиняемых, протоколы многочисленных обысков. Это мое досье. То досье, которое удалось привезти с собой и которое дает мне возможность сейчас рассказать об этом деле.

А теперь говорит Владимир Буковский.

Протокол допроса подозреваемого 26 января 1967 г.
(том II, лист дела 7).

Виновным себя не считаю. Мне не понятно, в чем меня подозревают. То, что произошло на площади Пушкина 22 января, не считаю нарушением общественного порядка. 22 января в 18 часов я находился на постаменте памятника Пушкину. Всего к памятнику собралось около 50 человек. Кто именно — говорить отказываюсь. Примерно через три минуты были подняты

транспаранты: «Свободу Добровольскому, Галанскову, Лашковой и Радзиевскому» и «Требуем пересмотра статьи 70 и нового Указа, противоречащих Конституции». Я являюсь участником демонстрации и полностью разделяю эти требования. Никаких нарушений общественного порядка не было. Работу транспорта никто не нарушал. Через несколько минут на площади появились люди, не имевшие повязок или других отличительных знаков, указывавших на то, что они — представители власти.

Не представляя никаких документов, с разного рода криками и угрозами они набросились на демонстрантов и стали вырывать плакаты. На площади я держал плакат с требованием пересмотра законов. На все вопросы, относящиеся к участию в демонстрации других лиц, отвечать отказываюсь.

Протокол допроса обвиняемого Буковского 6 марта 1967 г.

(том II, лист дела 11).

Виновным себя не признаю. Статьи 70 и 190-3 считаю антиконституционными и антинародными.

Считаю демонстрацию не нарушением общественного порядка, а гарантированным конституцией правом. Я являюсь одним из организаторов и инициатором демонстрации и активным ее участником.

Протокол допроса обвиняемого Буковского 27 марта

(том II, лист дела 13).

Почти всех участников демонстрации приглашал я; кого конкретно — не называю. 22 января у себя на квартире я собрал часть участников демонстрации — примерно 30 человек. Я структурировал их о порядке проведения демонстрации. Было твердо решено не оказывать никакого сопротивления представителям власти и при первом же требовании расходиться.

Эти последние показания, которые Владимир давал следователю прокуратуры.

Много раз потом, выступая в других политических процессах, я думала о том, насколько легче быть мужественным в суде, чем на следствии. В судебном заседании сама обстановка, присутствие слушателей и зрителей, даже та минимальная гласность, которой сопровождаются политические суды в Советском Союзе, создают дополнительный и очень мощный импульс для проявления мужества. Сознание того, что тебя слышат, что твои слова станут известны товарищам и единомышленникам, — это огромная нравственная поддержка.

А в групповых процессах, где рядом с тобой равные тебе товарищи по скамье подсудимых, поведение каждого — пример и помощь другому.

Буковский был один. Он давал показания безо всякой надежды на то, что они станут кому-нибудь известны.

И в самом деле, мог ли он предположить, что я, его адвокат, через многие годы буду радоваться тщательности, с какой переписывала тогда эти поразившие меня показания.

Не предполагала такой возможности и я. Просто готовилась к очень трудной защите (ведь это было первое политическое дело в моей адвокатской практике) и выписывала все то, что могло мне для этой защиты понадобиться в суде. Но, читая показания Владимира, оценивая их, я с каждой страницей дела все больше поражалась его твердости, все больше думала о том, какую дорогую цену готов платить этот еще только начинающий жить человек за то, чтобы быть самим собой, за право думать и говорить то, что он думает.

Я уважала Буковского за твердость, с которой он отстаивал свои взгляды, за то, как он оберегал своих товарищей. Во всех своих показаниях он употреблял только одно местоимение — «я». «Я организовал», «Я инструктировал», «Я предлагал тексты лозунгов».

Он ни разу не ответил ни на один вопрос о роли и действиях других участников демонстрации, ни разу не назвал их имен. Не изменил он своего поведения и тогда, когда узнал, что он одинок. Что наступил такой этап следствия, когда один из участников демонстрации вообще перестал употреблять местоимение «я», а говорил только «он».

В книге Буковского «И возвращается ветер...» есть такие строчки:

Быть одному — огромная ответственность. Прижатый к стене человек сознает: «я» — народ, «я» — нация... и ничего другого. Он не может пожертвовать своей честью, не может разделить, распаться и все-таки жить. Отступить ему больше некуда. И инстинкт самосохранения толкает его на крайность — он предпочитает физическую смерть духовной.

Это высокое чувство личной ответственности, органическая невозможность пожертвовать своей духовной свободой являются той основой, которая определяет сознательный героизм. Порождает ситуацию, когда героизм становится естественной, единственно возможной для человека формой его поведения. Это дано немногим. Владимиру это было дано. Но возможность нравственного противостояния далась и ему не сразу, а с приобретением определенного жизненного опыта. Печального опыта преследований КГБ, обысков, допросов, арестов, тюремной жизни.

Его арестованные товарищи по демонстрации были намного моложе его. Их оппозиционность к существующему в стране режиму определялась скорее эмоциональным неприятием жестоких требований цензуры к людям искусства (оба они были начинающими поэтами), чем сложившимися политическими убеждениями. Они согласились принять участие в демонстрации протеста против ареста их товарищей импульсивно, а потом сомневались в правильности принятого решения. Оба они пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что «неудобно отказать», «неудобно изменить данному слову».

Арест стал первым в их жизни настоящим столкновением с мощью советского аппарата подавления.

Итак, говорит второй участник демонстрации Евгений Кушев.

Допрос подозреваемого 24 января 1967 г.

(том I, лист дела 92).

Я полностью признаю себя виновным по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР в том, что принял участие в сборище, грубо нарушившем общественный порядок в городе Москве... Буковский предложил мне принять участие, и я не отказался. Я пришел на площадь Пушкина уже тогда, когда все начали расходиться. Это было в 18 часов 10 минут. Мне рассказали, что дружинники задержали несколько человек и увезли их. Мне было неудобно, что я не пришел на демонстрацию, и потому я решил крикнуть «Долой диктатуру». Ко мне подошли какие-то люди и увели меня. С этого дня я нахожусь под стражей. Я очень раскаиваюсь в том, что согласился на предложение Буковского, тем более что вовсе не разделяю его взглядов. Я осуждаю свое поведение.

В этих показаниях Кушева нет ничего, что могло бы ухудшить положение Буковского. Буковский сам признавал, что был одним из организаторов демонстрации, и Кушев, несомненно, был осведомлен об этих его показаниях.

Все последующие показания Кушева для меня, защитника Буковского, особого интереса не представляли. То, что он говорил о Владимире, относилось больше к их литературным интересам и попытке создания молодежного литературного объединения «Авангард».

На вопрос о политических взглядах и убеждениях Буковского Кушев ответил:

— На политические темы мы с ним не разговаривали.

Никакой эволюции в этих показаниях не было. Свое раскаяние и сожаление о случившемся он пронес от начала следствия и до самого его конца.

По-иному выглядят показания Вадима Делонэ.

Говорит Вадим Делонэ.

Показания подозреваемого 27 января 1967 г.

(том II, лист дела 39).

Считаю, что нарушения общественного порядка не было. Я, совместно с Хаустовым, держал лозунг «Свободу Добровольскому, Лашковой, Галанскову и Радзиевскому». Никакого сопротивления не оказывал. Лозунг отдал по первому требованию.

Допрос обвиняемого 6 марта 1967 г.

(том II, лист дела 41).

Виновным себя не признаю. Считаю, что статьи 70 и 190-1-3 неконституционные. На площадь Пушкина я пришел, чтобы выразить свой протест против этих статей и ареста моих знакомых Добровольского, Галанскова и других.

Что случилось с Вадимом потом, когда расследование дела перешло в руки КГБ? Почему остальные его показания звучат совсем по-другому?

Я вправе высказать лишь те мысли и предположения, к которым пришла еще тогда, знакомясь с делом.

Возможно, два месяца тюрьма исчерпали его силы. Он не мог больше сопротивляться страху перед неизбежным наказанием, противостоять соблазну обрести свободу, заплатив за это нравственным осуждением демонстрации, открытым раскаянием в том, что пришел, чтобы в ней участвовать.

Когда я впервые увидела Делонэ, совсем мальчика, красиво-го, интеллигентного и раздавленного той ролью, которую ему предстояло сыграть в суде, у меня не достало духа осудить его, хотя все его последующие показания создавали тяжелый фон в обвинении Буковского. Не осудило его тогда и общественное мнение. Но суд его собственной совести оказался более суровым и непримиримым. И я уверена, что в значительной мере именно потребность самореабилитации, потребность вернуть себе право на самоуважение привели его 25 августа 1968 года на Красную площадь и толкнули на участие в демонстрации протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Вадим заслужил право на самоуважение тем спокойным мужеством, с которым держал себя во время суда в 1968 году. Именно это заставило меня назвать его имя, имя человека, тюрьмой, лагерем и вынужденной эмиграцией полностью искупившего ту давнюю вину, которую многим другим безоговорочно и легко прощали. Вину, которую многие легко прощали сами себе.

16 марта 1967 года Делонэ обратился к следователю с «Заявлением о чистосердечном раскаянии».

В этом заявлении были все те слова, которыми люди обычно осуждают свое поведение и поступки. Сожаление о прошлом, обещания на будущее. Не удивило меня и то, что этим «сожалениям» была придана строгая правовая форма. Следователи часто подсказывают такие формулировки обвиняемым. Это делается тогда, когда целью следствия перестает быть проверка доказательств. Это случается тогда, когда все усилия следствия направлены на то, чтобы добиться раскаяния.

В деле о демонстрации раскаяние следствию было необходимо. Властям нужно было организовать судебный процесс над людьми поверженными. Я думаю, что передача, вопреки закону, дела из прокуратуры в КГБ преследовала эту цель. Здесь действовал фактор устрашения. И не только за счет «солидности фирмы», но и потому, что передача дела КГБ — свидетельство большей тяжести преступления, большей опасности его для общества.

Но когда одного устрашения мало, его обычно подкрепляют обещанием свободы. Вот почему следователь не ограничился тем, что просто записал в протокол допроса Делонэ: «Я раскаиваюсь, я сожалею о содеянном». Ему нужно было, с одной стороны, закрепить это раскаяние так, чтобы от него нельзя было отказаться. С другой — облечь это раскаяние в такую форму, которая дала бы суду основание применить к Вадиму меру наказания, не связанную с лишением свободы. Ведь когда следователь говорил Делонэ, что в случае чистосердечного раскаяния наказание, которое изберет суд, не будет суровым, он не обманывал его. Он знал, что суд несомненно согласится с предложениями о мере наказания, которые будут исходить от такого мощного органа, как КГБ.

Так появился в деле документ, названный «Явка с повинной». И так, «Явка с повинной» (том II, лист дела 60).

Буковский очень сильно воздействовал на меня.

Буковский считал, что можно добиться чего-то только демонстрациями, а иначе нас просто танками раздавят.

Далеко идущие планы Буковского, которые зиждутся на его глубокой неприязни, если не сказать — ненависти — к коммунизму, меня отнюдь не устраивали.

А вот и то, ради чего обвиняемый все это писал:

Я пишу это потому, что, если мое дело не передадут в суд или мерой наказания будет не заключение, я приложу все силы к исправлению своих ошибок и предостерегу других. А это будет бесполезно.

Этот документ, обеспечивающий обвиняемому бесспорное снисхождение суда, открывал новый этап следствия.

А 31 мая 1967 года появляются самые тяжелые из показаний Делонэ против Буковского (том III, лист дела 107):

Буковский лидер молодежного подполья.

Буковский политик со сложившимися убеждениями, что при существующем государственном строе демократические преобразования невозможны.

Мечта Буковского — создание в нашей стране многопартийной системы.

Я понимал, что его позиция близка к антисоветчине. Я понимал, что мне с ним не по пути.

Трудно сказать, ограничивались ли намерения КГБ в этот период расследования только задачей психологического воздействия на Буковского, желанием добиться компромиссного соглашения с ним, надеждой на то, что под угрозой привлечения по статье 70 Уголовного кодекса он согласится покаяться в суде, осудить сам факт демонстрации и свою роль в ее организации. Или действительно было намерение дополнительно предъявить ему обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. Бесспорно одно — запугать, деморализовать Владимира им не удалось.

И опять говорит Владимир Буковский.

Показания 5 мая 1967 г.

(том III, лист дела 157).

Свои политические убеждения не скрываю и привык говорить о них открыто.

Мои политические убеждения как противника коммунизма сложились к 1960 году и с тех пор почти не претерпели изменений.

Я противник монопольной роли коммунистической партии в осуществлении демократических свобод. Считаю, что демократическим и правовым государство будет только тогда, когда обеспечит гражданам демократические свободы. Изменять свои убеждения или отказываться от них я не собираюсь.

Этими словами закончил Буковский в том — 1967-м — году свой разговор с КГБ. Больше ему вопросов не задавали.

Наверное, никогда раньше, до защиты Владимира, я не испытывала такого страстного желания помочь человеку, желания, соединенного с пониманием того, что передо мной стена, прошибить которую не могу ни логическими рассуждениями, ни ссылками на закон.

(Потом, в последующих политических делах оба этих чувства возвращались всегда. Они не ослабевали со временем, не становились менее мучительными.)

Дни и часы я проводила за изучением этого, такого несложного по своей фабуле, по правовой структуре, но такого необычного для советской жизни дела. Для меня было уже совершенно ясно, что я буду ставить вопрос об отсутствии состава преступления и об оправдании Владимира. Сказала я об этом и ему.

Так из «предполагаемого» защитника я превратилась в защитника, которому он начал доверять.

Помогло этому и то, что я не последовала совету моих товарищей по защите и не заявила ходатайства о проведении повторной стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Мои коллеги были тут, собственно, передаточным звеном. Инициатива, как я поняла, исходила от руководства Следственного управления КГБ.

Такое ходатайство открывало новый, казавшийся моим товарищам выгодным путь для разрешения всего дела: «Буковского направят на экспертизу, и дело будет приостановлено. Это даст возможность оттянуть слушание дела до празднования пятидесятилетия советской власти, а следовательно, до амнистии. При любом заключении экспертизы Буковский выигрывает. Если он будет признан здоровым, он, как и наши подзащитные, подпадет под действие Указа об амнистии. Если же, вопреки ожиданиям, его признают душевнобольным, то принудительное лечение в психиатрической больнице все равно лучше, чем суд и лагерь». Мои коллеги были совершенно искренни, давая такой совет. В те годы никто из нас даже отдаленно не мог предположить, что психиатрия станет средством борьбы с инакомыслием, способом самой чудовищной, антигуманной расправы с ним.

Дело Буковского было первым в моей практике, породившим такие подозрения.

О том, что Владимир уже несколько раз подвергался психиатрическому обследованию и даже принудительному лечению в специализированной больнице, я знала еще до встречи с ним, как знала до встречи с ним о его детстве, обстановке в семье. Знала о его вкусах и склонностях, интересах, особенностях его характера.

Его мать — Нина Ивановна Буковская — очень быстро почувствовала ко мне доверие. Поняла, что я спрашиваю ее обо всем этом не из любопытства, что это часть моей подготовки к защите. А я, в свою очередь, радовалась, что она человек умный, наблюдательный и очень объективный в своих оценках. Но когда она сказала, что Владимира признавали невменяемым, направляли на принудительное лечение, долгое время держали в сумасшедшем доме только за его политические взгляды, что он совершенно здоровый человек, — я ей не поверила.

Нина Ивановна прекрасно знала, что надежды на то, что Владимира после суда отпустят домой, нет. Она знала, что его ждет лишение свободы. Я видела, чего ей стоило быть всегда выдержанной, держаться с достоинством. Но когда нам приходилось говорить о времени, которое Владимир провел в психиатрической больнице, она теряла самообладание. Она никогда не плакала, но лицо ее покрывалось сплошным красным пятном. Я видела, что она боится больницы для Владимира гораздо больше, чем лагеря.

И все же я не могла поверить в то, что она рассказывала. Не могла допустить, что в сумасшедший дом сознательно помещали здорового человека. И, естественно, считала, что не могу руководствоваться ее мнением и противопоставить его мнению профессионалов. Сомнения появились и все более увеличивались после встречи с Владимиром. Его ясный ум, способность логически мыслить и четко формулировать мысль, отсутствие всякой нервозности, взвинченности удивительно противоречили моему хотя и непрофессиональному, но и не совсем дилетантскому представлению о душевнобольном человеке.

Заключения психиатров усилили мои сомнения.

За сравнительно короткий срок (с 1963 года) Владимир успел пройти два стационарных обследования в Московском институте имени Сербского, два года находился в специальной Ленинградской психиатрической больнице, затем в такой же больнице в подмосковном городе Люблино, потом в психиатрической больнице «Столбовой».

В период следствия по нашему делу его вновь подвергли психиатрической экспертизе и на этот раз признали вменяемым.

Сколько врачей его смотрели за это время, а выводы оказывались совершенно разные, взаимоисключающие: «вялотекущая форма шизофрении», вывод — «невменяем»; «психопатическое развитие личности», вывод — душевным заболеванием не страдает, вменяем, ответственен за свои действия.

Я не могла отнести противоречивость выводов за счет сложности диагностики, неясности клинической картины или существенных изменений в его состоянии — развитии или компенсации заболевания, так как в описательной части каждого из актов экспертизы перечислялись одни и те же симптомы. Я впервые столкнулась с медицинскими документами, в которых независимость политических суждений и критика советского образа жизни открыто признавались признаками душевного заболевания.

Я обратилась за консультацией к двум крупным психиатрам — клиницистам с многолетним опытом работы в психиатриче-

ских больницах. Оба моих консультанта, независимо друг от друга, пришли к абсолютно совпадающим выводам. Они отказались дать категорическое заключение о психическом состоянии человека, которого не видели, но утверждали, что приведенная в документах симптоматика не давала оснований для признания его душевнобольным.

Помню, как один из них все никак не мог поверить, что я показываю ему точную копию заключения экспертизы.

— Вы уверены, что переписали все, ничего не упустили? Не может быть, чтобы только по таким симптомам врач позволил себе констатировать болезнь. Это было бы чудовищно!

Когда мои коллеги пришли ко мне с предложением заявить ходатайство о направлении Владимира на экспертизу, я уже прошла весь этот путь от сомнений до уверенности. Я считала, что не обязана, пользуясь противоречиями в заключениях, настаивать на повторном обследовании. А право на то, чтобы использовать эти противоречия для «облегчения» участи Владимира, принадлежит не мне, а ему. Я считала, что только он может решить, действительно ли это облегчение и хочет ли он этим облегчением воспользоваться. Вот почему я отказалась заявить ходатайство.

Не согласился на этот путь, на это «облегчение», и Владимир. Именно тогда, по собственному его признанию, он окончательно поверил в то, что у него «честный» адвокат.

Мы привыкли друг к другу в долгие часы и дни ознакомления с делом; и все же настоящей слаженности в работе, которая была у меня потом с Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз (Даниэль), не получилось.

Частично это можно объяснить несовпадением задачи, которую каждый из нас ставил перед собой. Моей задачей было защищать, то есть применительно к этому делу дать правовой анализ статьи 190-3 Уголовного кодекса, статьи 125 Конституции и тех материалов дела, которые непосредственно относились к самой демонстрации. Владимир же ждал суда как открытой трибуны, которая впервые даст ему возможность высказать «все». Защита правомерности демонстрации была для него лишь частью общей задачи. Он хотел втиснуть в рамки последнего слова все свои политические взгляды и убеждения. Я стремилась помочь ему, чтобы его выступление было очень четким, концентрированным, чтобы он не загромождал его несущественными деталями.

Главным препятствием, как это ни покажется странным, оказались познания Буковского в уголовно-процессуальном законодательстве.

Время содержания под стражей до суда он использовал для изучения процессуальных законов и пришел на свидание со мной с ощущением первооткрывателя. Его цепкая память действительно вобрала, наверное, все 420 статей российского процессуального кодекса. Но от этого он не стал юристом, не обрел способности отбора. Его знания были знаниями дилетанта, уверенного в том, что он один является обладателем этого богатства.

Интересно, что тогда, во время нашей беседы в тюрьме, буквально засыпая меня номерами статей Уголовно-процессуального кодекса, которые не были соблюдены следствием, он ни разу не заговорил о действительно серьезном нарушении закона.

В самом начале расследования дела о демонстрации из него были выделены все материалы об одном из ее участников (Хаустове), и дело в отношении его рассматривалось судом отдельно. Постановление о выделении дела Хаустова было грубым нарушением закона и реально ущемляло законные интересы остальных обвиняемых.

Вошедший в законную силу приговор по делу Хаустова предопределял судьбу остальных обвиняемых. Этот приговор не только устанавливал, что сам факт активного участия в демонстрации 22 января около памятника Пушкину является грубым нарушением порядка и, следовательно, уголовным преступлением, но и перечислял имена тех, кто был этими активными участниками. Так задолго до суда над Буковским, Делонэ и Кушевым вопрос об их виновности был закреплён приговором по делу Хаустова.

Возможно, есть доля и моей вины в том, что Владимир не сумел почувствовать ко мне полного доверия еще тогда, в следствии, а потому не воспользовался некоторыми из моих советов.

Зато, как это ни странно, я почувствовала необычайное доверие ко мне со стороны одного из следователей, который отсиживал положенные часы, наблюдая за нашей работой. Часто уже после того, как Владимира уводили в камеру, мы оставались с ним в кабинете вдвоем. Я читала дело, а он просто томился от скуки. Тогда постепенно он начал рассказывать мне о себе, о своей прежней — до КГБ — работе, о жене, о сыне, которому было тогда 17 лет.

Почти каждый такой разговор переходил на дело, которое я изучала. Видно было, что оно его очень интересует, что ему любопытно, какую позицию по этому делу я займу. Как-то раз он прямо спросил:

— И о чем же вы будете просить суд, Дина Исааковна?

— Об оправдании. Следствие не доказало нарушения общественного порядка.

Он посмотрел на меня очень внимательно и только сказал:

— Трудное у вас положение, Дина Исааковна, — и замолчал.

А на следующий день опять:

— Вот вы говорите — оправдать. А как его оправдывать, когда он враг. На него ведь никакие уговоры не действуют. У него характер негибкий. Конечно, вы защитник, вы должны защищать, но что-то с ним делать все-таки надо.

Прошло еще несколько дней, и мы опять остались вдвоем.

— Знаете, Дина Исааковна, я все время думаю о вашем подзащитном. Все рассуждаю — в чем мы промахнулись, упустив такого человека. С таким ведь в разведку идти не страшно, такой никогда не подведет. В мужестве ему не откажешь.

Он это сказал так искренне, с таким неподдельным желанием самому разобраться в этом противоречии — «враг» и «в разведку идти не страшно», — что я поверила, что разговор, который он ведет, — это не провокация. Что он просто пользуется возможностью, редкой возможностью для работника КГБ, говорить с человеком, которого может не опасаться.

Владимир Буковский тоже вспоминает в своей книге этого следователя. Он пишет о рассказе следователя, почти дословно совпадающем с тем, который в те же дни довелось услышать мне. Это рассказ о войне. О том, как погибли, но не сдались его товарищи. О том, как немцы, по приказу своего командира, хоронили их с воинскими почестями.

— Они так хоронили своих врагов, но врагов мужественных. Вот и ваш Буковский хоть и враг, но за мужество я его уважаю.

Слово «враг» он употреблял в каждом разговоре о Владимире. Употреблял его как некое заклинание, успокаивающее совесть.

Обычно я его слушала молча, не вступая с ним в разговор, не возражая ему. Он следователь, я адвокат. Не с ним обсуждать мне достоинства или недостатки человека, которого он обвиняет, а я защищаю. Но в этот раз я не промолчала:

— Ну что же, будем считать эти слова о Володином мужестве теми воинскими почестями, которыми вы сопровождаете вами же подготовленные похороны.

Следователь больше не заводил со мной разговор ни в этот, ни в несколько последующих дней, последних дней моего ознакомления с делом.

Наступил последний день. Все материалы дела — показания обвиняемых, свидетелей, заключения экспертиз — были уже мною досконально изучены. Но я не уходила домой — хотела дочитать фотокопию книги Джиласа «Новый класс». Когда еще представится такая возможность! Мне было неловко, что я задерживаю нашего следователя — ведь он не вправе был уйти раньше меня. Я нервничала и мысленно ругала Владимира за отвратительное качество этой копии.

— Читайте спокойно, Дина Исааковна, — вдруг сказал следователь. — Я ведь тоже только здесь это прочел. Я подожду. Мне торопиться некуда.

Когда мы прощались в этот вечер, он очень прочувственно жал мне руку и желал всяческого счастья.

На улице было уже совсем темно. Я шла узким безлюдным переулком вдоль длинной стены, отгораживающей Лефортовскую тюрьму, как вдруг услышала поспешные шаги. Обернувшись, увидела догонявшего меня следователя.

— Мне хочется сказать вам еще несколько слов, Дина Исааковна. Я хочу сказать, что вы взяли на себя трудную задачу. Я не желаю вам успеха — ведь и вы понимаете, что судьба Буковского уже решена. Мы были обязаны его изолировать. Я вам рассказывал о моем сыне. Я его очень люблю. Я очень хочу, чтобы он был счастливым, чтобы у него была хорошая жизнь. Но я хотел бы, чтобы он обладал такими же человеческими качествами, как Буковский.

— Боюсь, что счастливая жизнь с такими человеческими качествами несовместима. Прощайте, я вам тоже желаю всего хорошего, — ответила я.

Больше этого человека я никогда не встречала. Не знаю, ушел ли он из КГБ, как пишет об этом Буковский. Хотелось бы верить, что это действительно так. Уж очень хорошая у него раньше была работа — работа школьного учителя.

СУД

Я ждал этого суда, как праздника, — хоть раз в жизни есть возможность громко высказать свое мнение... Никакой торжественности, трагичности — обычная казенщина, канцелярская скука и безразличие.

В. Буковский. «И возвращается ветер...»

Я не знаю судебного процесса, дни которого были бы для меня будничными и обычными, а тем более скучными. Наверное, потому они сейчас в моей памяти. С лицами судей, прокуроров, адвокатов и, конечно, моих подзащитных. Помню их имена, за что судили, где судили, кто судил.

Дни суда над Владимиром были для меня необычнее этих всегда необычных дней.

Неожиданность, необычность наступала по мере того, как я подходила к зданию Московского городского суда. Одиноко стоящие

«фигуры в штатском» среди спешащей толпы привокзальной улицы. Необычайное скопление машин возле суда.

Вместо «Здравствуйте, товарищ адвокат», которым многие годы приветствовал меня постоянный милиционер суда, слышу:

— Вам куда? — И незнакомый человек в штатском преграждает мне дорогу, внимательно рассматривает мое адвокатское удостоверение. — Вы защитник Буковского? Проходите.

9 часов 50 минут. Звенит звонок, предупреждающий о начале рабочего дня. Сейчас вся ежедневная толпа посетителей, ожидающая на улице, вольется в здание, заполнит лестницы, коридоры, залы. Я уже слышу шум голосов...

Пустой коридор Московского городского суда. Я никогда не видела его таким. Ни посетителей, ни адвокатов, ни работников суда.

Уже потом узнала, что для нашего процесса полностью освободили целый этаж. Перенесли слушание других дел, переместили в другие комнаты справочное бюро и канцелярию.

Все для того, чтобы никто из посторонних не мог проникнуть в этот коридор, чтобы никто из непосвященных не узнал, что слушается политическое дело, что судят за демонстрацию.

Начало процесса задерживается — ждут прихода знаменитого эксперта-психиатра доктора Даниила Лунца. Суд вызвал его в заседание для дачи заключения о психическом состоянии Владимира Буковского.

А Владимир сидит за моей спиной, и каждый раз, поворачиваясь к нему, я вижу бледное спокойное лицо и улыбку. Он прекрасно владеет собой, но я знаю, что это спокойствие человека решившегося. Что он только ждет минуты, когда судья произнесет:

— Подсудимый Буковский, суд предлагает вам дать показания по предъявленному обвинению.

И тогда он выскажет им все, что он думает о советской демократии, коммунизме, тоталитаризме. Это его цель. Его задача. И никто и ничто не может его остановить.

Владимиру нужно, чтобы судья и прокурор прерывали его. Тогда он сможет изобличать их в нарушении законов, требовать занесения этих нарушений в протокол судебного заседания. Мне нужно, чтобы дело слушалось спокойно, чтобы суд не ограничивал меня в возможности выяснить у свидетелей то, что я считаю необходимым.

Владимир поставил перед собой цель доказать, что статья 190-3 Уголовного кодекса противоречит Конституции, что она незаконна. Я буду доказывать, что эта статья не противоречит Конституции. Это демагогический путь. Но для меня — единственный путь в борьбе с обвинением.

В Советском Союзе нет такой судебной инстанции, которой было бы дано право признать закон «противоречащим Конституции». У суда нет права критиковать закон. У него есть только одна обязанность — соблюдать закон.

Поэтому и адвокат не может просить суд сделать то, чего закон суду не позволяет. Но я могу и должна утверждать в суде, что и после принятия нового закона — статьи 190-3 — граждане вправе пользоваться гарантированными Конституцией СССР политическими свободами. Что автоматически ставить знак равенства между демонстрацией протеста и грубым нарушением общественного порядка недопустимо.

Такое утверждение полностью основано на законе. Ни в самом тексте статьи 190 Уголовного кодекса, ни в последующих к ней комментариях слово «демонстрация» вообще никогда не употреблялось.

Для меня это не просто позиция в заведомо безнадежном деле. Для меня это часть борьбы с произволом и беззаконием. Это мое участие в правосудии. Мое место в борьбе за соблюдение закона.

Забегая несколько вперед, я хочу рассказать о небольшом эпизоде, связанном с показаниями Буковского в суде.

Владимир говорил суду, что, организовывая демонстрацию, он был абсолютно уверен, что она будет разогнана, что в распоряжении демонстрантов окажутся считанные минуты.

И тогда судья спросила его:

— Зачем же вы тогда затевали это бессмысленное дело?

— Я не считал нашу демонстрацию бессмысленной и сейчас уверен в том, что это не так. Люди, которые шли по улице, сохранили в своей памяти, что они были свидетелями свободной демонстрации. Они вспомнят о том, что этот забытый метод выражения протеста существует. Вот и вы, гражданин судья, не забудете нашего дела и нас. Вы и потом будете думать о людях, которые вышли открыто выразить свое мнение и которых вы осудили. Так что наша демонстрация была совсем не бесполезной.

Я помню, как внимательно слушала Владимира судья Шаповалова. Ее долгий, пристальный взгляд, пауза... И потом:

— Продолжайте, Буковский, мы вас слушаем.

Так и я, несмотря на то что знала предрешенность этого дела, не считала занятую мною позицию бессмысленной. Как никогда не считала бессмысленной борьбу за точное соблюдение закона, сколько бы раз ни приходилось терпеть в этой борьбе поражение.

Мне больше никогда не приходилось участвовать в судебных процессах под председательством Шаповаловой. Она стала членом Верховного суда РСФСР и уже не слушала дел по первой инстанции.

Но мы часто встречались в коридорах суда. Еще издали, заведя меня, она замедляла шаг и с подчеркнутой приветливостью здоровалась.

Судья Шаповалова перебивала Владимира, когда он проводил параллель между фашистской Испанией и Советским Союзом. Она перебивала его, когда он говорил о произволе в нашей стране. Но я не знаю другого судьи, который позволил бы сказать ему и половину того, что выслушала Шаповалова. Шаповалова осудила его, прекрасно понимая правовую абсурдность обвинения. Но мне кажется, что она не забыла ни этого дела, ни Буковского.

...Наконец появился наш эксперт Даниил Лунц.

Невысокого роста, всегда очень тщательно одетый, очки в толстой роговой оправе. Гладко зачесанные, поседевшие на висках черные волосы. Многие называли его потом «полковником КГБ в белом халате». Но он не был похож на полковника. У него был вид вполне интеллигентного штатского человека. И он действительно происходил из очень интеллигентной и достойной семьи. Его отец был еще до революции известным в Москве детским врачом. Пользовался огромным уважением и популярностью. Он бросил Москву, бросил годами налаженную практику и уехал в деревню — бесплатно лечить крестьянских детей.

Имя его сына — эксперта-психиатра Даниила Лунца впоследствии получило широкую известность, но известность печальную и позорную. Он — ученый, врач с многолетним опытом — стал тем, чьими руками КГБ карал инакомыслящих «пыткой психиатрии». Сейчас начнется судебный процесс.

Секретарь дает распоряжение впустить публику. И сразу же наш небольшой зал наполнился, набился до отказа какими-то необычными для суда людьми. Они все знали друг друга, громко разговаривали, смеялись, какая-то единая по своему облику «оперативно-комсомольская» масса.

Потом это станет привычным, будет повторяться во время каждого процесса над инакомыслящими. Я начну отличать тех, кого видела раньше, от тех, кого впервые включили статистами в эту массу. Они нужны были для того, чтобы заполнить зал «своей», надежной публикой, чтобы не пустить в зал других — тех, кто с утра до вечера в течение трех дней будет стоять на улице перед судом и ждать каждой вести о своих друзьях-подсудимых. Так власти пытаются обеспечить закрытость этих «открытых» процессов. Так пытаются пресечь всякую возможность утечки информации из зала суда. И все же, чаще всего кому-нибудь из родственников подсудимых удавалось пронести в сумочке или в кармане пиджака магнитофон или кто-то умудрялся тайно стенографировать ход процесса.

Так после каждого процесса появлялась почти дословная запись всего того, что происходило в суде.

За столом защиты я и мои коллеги. Товарищи по профессии — противники по позиции в этом деле. Делонэ защищает адвокат Меламед, Кушева — адвокат Альский. Для них, как и для меня, это первый политический процесс.

Каждый советский адвокат, да и каждый человек, разбирающийся в советской действительности, прекрасно понимает разницу между тем, чтобы сказать в суде по политическому делу: «Мой защитный этого не сделал, это не доказано, и поэтому он должен быть оправдан», и утверждением: «Да, он это сделал, это доказано, но это не преступление».

Первое утверждение абсолютно аполитично и потому для адвоката безопасно. Второе же, пусть даже строго основанное на законе, всегда находится в оппозиции к идеологической партийной установке. Именно поэтому оно перерастает рамки правовой и приобретает черты политической защиты.

Если бы мои коллеги могли оспаривать сам факт участия Делонэ и Кушева в демонстрации, они безо всяких колебаний и оговорок ставили бы вопрос об их оправдании. Они произнесли бы эти магические слова:

— Прошу оправдать, — и снискали бы международную славу мужественных и принципиальных адвокатов. Но такая позиция в нашем деле была исключена. Участие всех обвиняемых в демонстрации было доказано. А защищать само действие, защищать право человека на участие в демонстрации протеста они не решались.

Оба они члены партии, и им вести идеологический спор в суде труднее, чем мне. Для них реально существует понятие партийной дисциплины и, особенно, партийной ответственности.

Как я жалела тогда, что дело Хаустова уже рассмотрено, что рядом со мной нет такого единомышленника, как Софья Васильевна Калистратова. Мы с ней всегда поражались «синхронности» наших мыслей и даже совпадениям формулировок.

Уже после того, как моя кассационная жалоба была рассмотрена и отклонена Верховным судом РСФСР, Павел Литвинов принес мне запись нашего процесса и суда над Хаустовым. Даже из краткой записи видно, что, хотя Калистратова признавала вину Хаустова в сопротивлении дружинникам, она, так же как и я и до меня, говорила о том, что участие в демонстрации не образует состава уголовного преступления, и просила об оправдании Хаустова по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.

Позиция Меламеда и Альского значительно облегчалась тем, что само государственное обвинение признавало роли Делонэ и Кушева

второстепенными. В тексте обвинительного заключения было записано, что они не были ни инициаторами, ни организаторами демонстрации. А их непосредственное участие расценивалось КГБ как менее активное по сравнению с Буковским и ранее осужденным Хаустовым.

Поэтому в суде допрос свидетелей по фактическим обстоятельствам дела для Меламеда и Альского должен был быть подчинен тому, чтобы эту второстепенную роль представить еще менее значительной. Доказать суду, что по степени активности действия Вадима и Евгения мало чем отличались от действий остальных участников демонстрации, которых к уголовной ответственности вообще не привлекли, хотя их имена были известны следствию.

Признавая сам факт участия в демонстрации преступным, адвокаты должны были убедить суд в несправедливости применения к их подзащитным сурового наказания — лишения свободы. Такая просьба к суду была тем более обоснованной, что санкция статьи 190-3 предусматривает, помимо лишения свободы, и такое наказание, как штраф или исправительно-трудовые работы (без направления в лагерь).

Тогда — 29 сентября — перед началом судебного заседания тезисы будущих защитительных речей моих коллег Меламеда и Альского кратко и упрощенно формулировались так:

1. Преступление доказано.
2. Преступные действия квалифицированы правильно.
3. Участие подсудимого в преступлении доказано.
4. При избрании меры пресечения просим учесть...

И далее обычное перечисление: молодость, первая судимость, чистосердечное раскаяние, тлетворное влияние Буковского и так далее и тому подобное.

Вправе ли были мои коллеги соглашаться с обвинением, основываясь на том, что Делонэ и Кушев признавали себя виновными? Обязаны ли были они следовать в защите линии признания вины, которую избрали их подзащитные? Было ли это полезно для достижения конкретной цели — защиты человека, которая всегда стоит перед адвокатом, независимо от того, выступает он в уголовном или политическом деле?

Советское право не дает четких ответов на эти вопросы. Исходя из общих положений советского права и по установившейся практике, позиция подзащитного может считаться обязательной для его защитника только в том случае, когда подсудимый утверждает, что он не совершал тех действий, в которых его обвиняют. Адвокат не вправе признать в суде доказанными те факты, которые отрицает его подза-

щитный. В тех же случаях, когда обвиняемый признает себя виновным, адвокат, в определенных ситуациях, может разойтись с ним в позиции. Если защитник видит, что обвинение основывается на признании, что нет других бесспорных доказательств вины, что признание противоречит объективным фактам, он не только вправе, но и обязан суд просить об оправдании «за недостаточностью доказательств».

Такая позиция не является чисто академической. Судебная практика знает случаи (хотя их, естественно, очень мало), когда суд, соглашаясь с такой позицией защиты, оправдывал обвиняемого.

Совершенно бесспорно, на мой взгляд, что в тех делах, где защита не оспаривает фактов, где возражения против обвинения ограничиваются толкованием закона и правовым анализом предъявленного обвинения (а именно таким было наше дело), адвокат абсолютно самостоятелен в выборе позиции и ни в какой мере не может считать себя связанным тем, что его подзащитный признает себя виновным. Ведь, не обладая юридическими познаниями, обвиняемый может ошибочно признавать совершенные им действия преступными в тех случаях, когда закон их преступлением не считает.

Значительно труднее ответить на вопрос: являлась ли позиция моих коллег тактически полезной? Имела ли она больше шансов на успех в силу ее реалистичности, чем заведомо безнадежная просьба об оправдании?

Естественно, что у адвоката, когда он просит о снисхождении, значительно больше надежд на то, что суд удовлетворит его просьбу (полное оправдание — явление достаточно редкое в советском правосудии) и победа будет одержана. Но я уверена, что и тот адвокат, который обоснованно просит суд об оправдании, если и терпит поражение, то при этом добивается такого же смягчения участи для своего подзащитного. Добивается потому, что, понимая необоснованность обвинения, но не решаясь вынести оправдательный приговор, судья всегда компенсирует это возможно более мягким наказанием. Именно это последнее соображение давало мне, помимо законного, и моральное право никогда не занимать в суде компромиссную позицию. Именно потому я считала, что позиция моих товарищей не оправдывалась желанием реально облегчить участь Делонэ и Кушева. Ведь, участвуя в политических процессах, адвокат не может руководствоваться тем, что исход дела предрешен. Он должен защищать так, как этого требуют закон и материалы дела. Иначе он неизбежно превращается в пособника судебного произвола.

Задача, которую я ставила перед собой, готовясь к допросу подсудимых и свидетелей, естественно определялась избранной мною позицией защиты Буковского.

В моем досье сохранились краткие тезисные наброски — план моей защиты. Привожу их в том виде, в каком были они тогда, когда я вовсе не предполагала выносить их на суд читателей.

1. Право граждан на демонстрацию гарантировано советской конституцией.
2. Являясь организатором демонстрации на площади Пушкина, Буковский предпринял все необходимое, чтобы никто из ее участников не нарушал общественный порядок.
3. Являясь участником демонстрации, Буковский сам не нарушил общественный порядок.
4. Вмешательство комсомольской оперативной дружины и последующий разгон мирной демонстрации были вызваны только содержанием поднятых лозунгов.
5. Такое вмешательство нельзя признать правомерным, так как содержание лозунгов не образует состава преступления, предусмотренного статьей 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.
6. Вывод — просьба об оправдании Буковского.

Этой аргументации и соответствовал круг тех вопросов, которые я собиралась задавать свидетелям. Мне было важно, чтобы они подтвердили, что демонстрация не сопровождалась шумом и беспорядком, что вмешательство комсомольской оперативной дружины было вызвано только содержанием лозунгов, которые они (члены дружины) считали «антисоветскими» и «незаконными». Это последнее было особенно важно. Дело в том, что статья 190-1-3 предусматривает ответственность за совершение трех разнородных преступлений.

Первым из них является распространение в устной, письменной или иной форме клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Такое обвинение в нашем деле предъявлено не было.

Это была серьезная ошибка следствия, просчет в конструкции обвинения. Просчет, который давал защите не только возможность оспаривать обвинение по существу, но и формальное право утверждать, что противоправными были действия не участников мирной демонстрации, а тех, кто без законных к тому оснований эту демонстрацию разогнал.

Судебное следствие по делу о демонстрации на площади Пушкина продолжалось два дня. Третий день процесса — прения сторон и приговор.

Как и в любом уголовном деле, судебное следствие началось с оглашения обвинительного заключения и последующих обязательных вопросов, которые председательствующий задает каждому из подсудимых отдельно.

— Понятно ли вам обвинение?
— Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

Вадим Делонэ и Владимир Буковский ответили на эти вопросы точно так же, как отвечали на них следователю.

Вадим: Обвинение понятно. Виновным себя признаю.

Владимир: Обвинение непонятно. Виновным себя не признаю.

Неожиданным был ответ Евгения Кушева. (Цитирую его по протоколу судебного заседания, лист дела 353, оборот.)

Кушев: Обвинение мне понятно. Все те события, в которых меня обвиняют, в обвинительном заключении описаны правильно. Но мне не кажется, что я нарушил общественный порядок, возмутил покой граждан или помешал нормальной работе транспорта.

С каким упреком и, мне кажется, с мольбой смотрел в этот момент на Евгения адвокат Альский. Ведь ответ Кушева был предвестником новой позиции. Кушев не говорил суду «Я не признаю себя виновным», но он отказывался сказать «Я виноват».

Его ответ ставил адвоката перед необходимостью самому ответить на этот вопрос, лишал его того естественного прикрытия, каким было для него «признание» Кушева.

Первым в суде давал показания Вадим Делонэ. Он говорил очень спокойно, с подкупающей, я бы даже сказала — с артистической искренностью.

Его слушали внимательно, не перебивали, давая возможность высказать все, что он считал нужным. В суде Вадим уже не говорил о том, что его участие в демонстрации объясняется влиянием Буковского, ни словом не обмолвился о политических взглядах и убеждениях Владимира.

Давая такие показания, Делонэ не мог не понимать, что это может очень тяжело отразиться на его последующей судьбе. Но он уже обрел мужество и уверенность в себе. И, если я уж цитировала показания Вадима на предварительном следствии, было бы несправедливо скрыть то, что он говорил в суде.

Цитирую его показания по протоколу судебного заседания, лист дела 359, оборот.

Я считаю, что демонстрация сама по себе не является нарушением общественного порядка.

Лист дела 359:

Владимир нисколько не принуждал меня идти на демонстрацию. Это решение я принял сам.

Лист дела 358:

Когда Владимир спросил меня, согласен ли я с содержанием лозунгов, я ответил, что согласен. Я знал, что Советский Союз подписал Декларацию прав человека и что Советская Конституция признает право на демонстрации.

Лист дела 357:

О порядке демонстрации говорил все время Буковский. Он инструктировал нас не сопротивляться. Это он крикнул на площади Хаустову, чтобы он не сопротивлялся и отдал лозунг.

А вот показания Евгения Кушева.

Лист дела 361:

Арест Галанскова и Добровольского меня очень взволновал. Их идеи я не считаю антисоветскими. Кроме того, считаю, что с идеями надо бороться идеями, а не тюрьмой.

Лист дела 363, оборот:

Владимир всех предупреждал не сопротивляться, и лозунги отдать по первому требованию и разойтись. Нарушения общественного порядка со стороны демонстрантов не было.

Кушев говорил суду о том, что считал себя обязанным принять участие в демонстрации во имя дружбы, которая связывала его с арестованными КГБ Галансковым и Добровольским.

— Для меня в этом решении главным была наша дружба. Правовые вопросы меня тогда не занимали. Я не верил в то, что мои друзья могли совершить что-нибудь непорядочное, а тем более преступное, поэтому не мог оставаться сторонним наблюдателем.

Когда прокурор Миронов спросил Евгения, понимает ли он, что сама демонстрация была незаконной, Кушев ответил:

— Я не могу с этим согласиться. Я не считаю демонстрацию незаконной. Наша конституция разрешает демонстрации. Демон-

страция является естественной и законной формой проявления гражданских чувств.

Ни Вадиму, ни Евгению судья Шаповалова не задала ни одного вопроса. Она ни разу не прервала их. Не пыталась уличить в том, что на предварительном следствии они по-другому оценивали свое участие в демонстрации.

Это не было безразличием человека, уже принявшего решение. Это было проявлением свойственной именно ей корректности и подлинного профессионализма. Она старалась не изменить присущей ей спокойной манере ведения процесса и тогда, когда начал давать показания Владимир Буковский.

Вот произнесены традиционные слова:

— Подсудимый Буковский, суд предлагает вам дать показания по существу предъявленного обвинения.

И Владимир начал:

— Я уже заявил суду, что не признаю себя виновным. Более того, я не понимаю, в чем меня обвиняют. Меня судят за то, что не может считаться преступлением ни в одном демократическом государстве, не должно считаться преступлением даже в такой стране, как Советский Союз.

Буковский говорил, что в Советском Союзе свобода слова реально не существует, что еще в 1961 году его друзья Осипов, Кузнецов и Бокштейн были осуждены судом только за то, что издавали рукописный журнал, что дело это не единственное — в Советском Союзе много таких дел, например недавнее дело писателей Синявского и Даниэля.

Шаповалова слушала показания Буковского до этой последней фразы с таким спокойным, непроницаемым выражением лица, как будто ничего необычного не происходило. Как будто не впервые в этом судебном зале звучали слова:

— В Советском Союзе — атмосфера несвободы. Гарантированные конституцией права граждан не соблюдаются.

Но когда были названы имена Синявского и Даниэля, судья перебила Владимира — в первый и в последний раз за все время, что он давал свои пространные и очень резкие по тону показания:

— Буковский, суд рассматривает дело о событиях 22 января. Я прошу вас давать объяснения именно по предъявленному вам обвинению. Мы не уполномочены сейчас обсуждать дело Синявского и Даниэля.

Так же спокойно, с тем же непроницаемым выражением лица выслушала она жалобу Буковского на ее действия, на то, что она прервала его показания, не дает ему возможность объяснить мотивы своих действий.

— Секретарь, запишите заявление Буковского в протокол судебного заседания. Буковский, вы можете продолжать показания по предъявленному вам обвинению.

Вся остальная часть показаний Буковского была столь же резкой по тону, с теми же непримиримо четкими формулировками его отношения «к любой форме тоталитаризма», непримиримости ко всякому подавлению демократии. Но все эти формулировки были логически связаны с целью демонстрации или с тем, как эта демонстрация была разогнана. И Шаповалова его не прерывала.

Показания всех вызванных защитой свидетелей полностью подтверждали, что демонстранты молча подняли лозунги, что их действия не сопровождалось нарушением порядка. Это же подтвердили и члены комсомольской дружины, разогнавшей демонстрацию.

Свидетель Клейменов (начальник комсомольской оперативной дружины, инструктор Московского комитета ВЛКСМ):

Мы подошли к группе у памятника только после того, как появились лозунги. Я видел нарушение общественного порядка в том, что группа собралась с лозунгами (листы дела 367, оборот — 368).

Свидетель Двоскин (начальник дружины):

До того, как толпа не выбросила лозунги, мы не подходили к ней; нас привлекло содержание лозунгов (лист дела 369).

Дал свое заключение и эксперт-психиатр Даниил Лунц:

Буковского, как не душевнобольного, следует признать вменяемым. Заключение о том, что Буковский страдает вялотекущей шизофренией, было ошибочным.

Судебное следствие подошло к концу.

И вновь мы, адвокаты, собрались вместе, чтобы обсудить позицию защиты. Дело в том, что после проведенного судебного следствия мои коллеги понимали, что непристойно адвокату полностью соглашаться с обвинением; признавать, что действия их подзащитных грубо нарушили общественный порядок.

Мы пришли к общему решению, что Меламед и Альский основную часть своих речей посвятят характеристикам подзащитных, анализу обстоятельств, которые привели их к решению принять участие в демонстрации. Оба они скажут, что судебное следствие не установило ни одного факта нарушения общественного порядка. Решено было,

что от имени всей защиты я дам подробный юридический анализ всего того, что произошло на площади Пушкина.

Так разрешился наш спор, который начался еще в то время, когда мы изучали дело перед окончанием следствия.

1 сентября 1967 года судебное заседание открылось речью прокурора Миронова.

У меня нет возможности цитировать ее по протоколу судебного заседания — прения сторон в нем не фиксируются. Но сохранились моя запись и запись, сделанная Павлом Литвиновым. Это позволяет мне показать, как обосновало государственное обвинение свою просьбу об осуждении Буковского к трем годам лишения свободы.

Итак, речь прокурора Миронова:

Анализ материалов дела дает мне основания утверждать, что подсудимые совершили преступление, представляющее большую опасность для нашего государства. Преступление, которое они совершили, очень редкое в нашей стране. Именно поэтому оно особенно опасное.

Буковский и Хаустов, узнав об аресте своих товарищей, организовали демонстрацию протеста против этого ареста и против этих законов. Они выражали свое несогласие в обход существующих правил, и в этом я вижу нарушение общественного порядка.

Их лозунги требовали свободу арестованным и пересмотра советских законов. Я считаю, что квалифицирующий признак «грубого» нарушения порядка заключается в дерзости этих лозунгов. Подсудимые позволили себе выступить против наших законов, против органов государственной безопасности. Их действия были направлены на подрыв авторитета наших законов, на подрыв авторитета КГБ.

В этом большая общественная и политическая опасность действий подсудимых. Все трое являются активными участниками преступления, и я прошу советский суд всех их признать виновными.

Слово для произнесения речи в защиту Вадима Делонэ было предоставлено адвокату Меламеду.

Его речь, как мы и договорились, была посвящена характеристике Вадима, условиям его воспитания, мотивам, которыми он руководствовался, приняв участие в демонстрации.

Сказал Меламед и о том, что Делонэ не нарушил общественный порядок и потому по статье 190-3 Уголовного кодекса он должен быть оправдан.

И все же я считаю, что он, а вслед за ним и адвокат Альский нарушили нашу договоренность. Разрушили то единство в позиции, достигнуть которого нам стоило большого труда.

Как и почему родилась юридически порочная формула «не преступное, но противоправное деяние», которую Меламед настойчиво проводил через всю защитительную речь с самых первых ее слов?

Как может юрист признавать общественно опасным осуществление гражданином предоставленного ему конституционного права?

И как адвокат мог говорить о «противоправности» демонстрации, если нет ни одного закона, ни одной нормы не только уголовного, но и административного права, которая была бы нарушена?

Ни на один из этих вопросов речь Меламеда ответа не давала.

Адвокат Альский не говорил ни об общественной опасности, ни о противоправности. Он просто заявил, что разделяет правовую позицию, которая только что была доложена суду.

Никто из них не сказал о том, что мне от имени всей защиты поручено дать правовой анализ предъявленного подсудимым обвинения.

Я думаю, они не захотели разделить и поддержать мою позицию не только потому, что опасались неприятностей. Меламед и Альский не могли принять мою позицию и внутренне. Существует некая психологическая преграда, которая часто мешает людям принимать непривычное или непонятное.

На нашей памяти (а Меламеду, старшему из нас, было тогда около 55) не было ни одной стихийной демонстрации, ни одного митинга или шествия, которые не были бы санкционированы соответствующими партийными инстанциями. Демонстрация, которую организовал Буковский, выходила за рамки того, что мои коллеги могли считать дозволенным. Годами выработанный стереотип мышления сопротивлялся этому.

Кроме того, наверное, каждому человеку свойственно, пусть даже подсознательно, соразмерять степень личного риска с важностью для него того, во имя чего на такой риск решаться. Мои коллеги считали демонстрацию 22 января бессмысленной и не хотели рисковать своим положением из-за идеи, которая была им чужда.

Помимо общей для нас темы — обсуждения вопроса о законности демонстрации — была еще одна тема, которой адвокат Альский посвятил значительную часть своей защитительной речи. Это — религиозность Кушева и то влияние, которое свидетель Левитин-Краснов оказал на религиозное мировоззрение Евгения.

Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов человек глубоко религиозный. Наверное, действительно под влиянием частных встреч и бесед с ним Кушев принял православие.

Адвокат Альский — член коммунистической партии и атеист — не мог с этим примириться. Вот цитаты из его защитительной речи:

Кушев — способный поэт, круг его знакомых составляли такие непризнанные поэты, как Галансков и другие. Но воинствующие защитники религии страшнее непризнанных поэтов.

Граждане судьи, я прошу вас своим приговором оградить от Левитина-Краснова свидетелей Людмилу Кац, Воскресенского и других юношей и девушек. Ведь это бесчеловечно — тащить в религию неустойчивых юнцов.

Альский был искренен. Эта часть его речи, совершенно не связанная с предъявленным Кушеву обвинением, явилась эмоциональным порывом, проявлением безнравственной ограниченности, нетерпимости, воспитанной школой и комсомолом.

Адвокат Меламед был хорошим и совсем не глупым человеком. Он заслуженно считался квалифицированным адвокатом. Но, защищая Делонэ, к которому религиозность Кушева уж совсем никакого отношения не имела, тоже не удержался от этого «внутреннего порыва». И ему зачем-то понадобилось вспомнить о том, что Кушев крестился, что его крестным отцом был Левитин-Краснов, и уверять суд, что «то, что сделал Левитин-Краснов с Кушевым, было действительно ужасно».

Во время перерыва, который был объявлен перед моей речью, я спросила у Альского, что, собственно, он имел в виду, предлагая «оградить этих юношей и девушек»? Посадить Левитина? Или отправить его в ссылку? Или, может быть, этих самых юношей и девушек изолировать в какой-то специальный интернат и таким способом «оттащить» их от религии?

И тогда вмешался присутствовавший при этом Меламед:

— Я не понимаю твоего возмущения. Альский совершенно прав. Мы не можем оставаться равнодушными и мириться с тем, что молодые люди увлекаются религией.

Закончили свои речи Меламед и Альский совершенно одинаково:

— Материалами дела не доказано, что мой подзащитный нарушил общественный порядок. Поэтому по статье 190-3 прошу его оправдать. Но если суд со мной не согласится и признает, что нарушение общественного порядка было, то прошу избрать меру наказания, не связанную с лишением свободы.

Разница заключалась в том, что адвокат Меламед просил суд:

— Не разрушать светлый творческий мир Делонэ.

А адвокат Альский:

— Пощадить светлые молодые ростки, которые появились в душе Кушева за те месяцы, пока он находился в тюрьме.

Признание того, что демонстрация 22 января была противоправной, было компромиссом, но компромиссом, который нисколь-

ко не ухудшал положение Делонэ и Кушева. Я ни тогда, ни сейчас не упрекаю моих товарищей за то, что они пошли по такому пути. Но эта их позиция поставила меня перед необходимостью возражать не только представителю обвинения, но и им.

У меня сохранились довольно подробные тезисы моей речи. Поэтому я могу и сейчас передать ее содержание.

Я говорила суду, что осознаю сложность стоящей передо мной задачи. Что я сознательно лишаю себя права говорить, подобно моим коллегам, о трудных обстоятельствах жизни Владимира, которые позволили бы просить о снисхождении к нему.

— Адвокат не может просить о снисхождении к невиновному, и единственная просьба, с которой я обращаюсь к суду, — это просьба об оправдании Буковского.

Я говорила о том, что не могу согласиться с утверждением обвинения и моих товарищей по защите, что дарованное конституцией право на демонстрацию может быть ограничено.

Говорила и о том, что показания всех допрошенных свидетелей дают мне основание утверждать, что демонстрация не сопровождалась шумом или бесчинством. Собравшиеся около памятника Пушкину не нарушили работы учреждений или предприятий, не препятствовали свободному движению транспорта. Дружинники подошли к демонстрантам только после того, как были подняты лозунги. Именно содержание лозунгов было причиной их вмешательства. В содержании этих лозунгов видит нарушение общественного порядка и прокурор.

Я соглашалась с тем, что по советским законам содержание лозунга может явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности. Лозунги могут быть оскорбительными, содержащими призыв к совершению преступления, призыв к разжиганию национальной розни. Тогда для тех, кто их демонстрирует, может наступить уголовная ответственность по соответствующим статьям Уголовного кодекса: за оскорбление, за подстрекательство к преступлению и так далее, но вовсе не за нарушение общественного порядка.

Лозунги, поднятые на площади Пушкина, ничью честь не оскорбляли, не содержали призыва к совершению преступления. Критика же органов КГБ, как и критика любого органа государственного управления, является правом гражданина.

Требование пересмотра законов и освобождения арестованных не образует состава преступления.

Я возражала прокурору, который говорил о том, что, хотя стихийные демонстрации в нашей стране не запрещены, но эта демонстрация была организована «в обход установленных правил».

— Какие это правила? — говорила я. — Если они установлены не уголовным законом, то и не уголовным законом должно караться их нарушение. Но мне вообще такие правила неизвестны. Не назвал их и прокурор.

Вот краткий анализ материалов дела, которые предопределили естественный из него вывод — просьбу об оправдании Буковского.

Я и потом, после того как приобрела опыт участия в политических процессах, считала, что позиция, которую заняла в этом деле, была правильной. Я никогда не упрекала себя за то, что не защищала политических взглядов Владимира, не солидаризировалась с его оценками политического строя в Советском Союзе, хотя с некоторыми из них была согласна. Это та грань, которую адвокат не может перейти, если не намеревается занять место своего подзащитного на скамье подсудимых. Такого намерения у меня не было.

Но со временем, с приобретением опыта защиты в политических процессах, я по-новому оценила эту первую свою защитительную речь. Защита Буковского против обвинения в грубом нарушении общественного порядка вовсе не требовала анализа его убеждений. Но, правильно отказавшись защищать его убеждения, я не должна была и давать им оценку.

Я упрекала себя впоследствии за то, что позволила себе в этой речи назвать убеждения Буковского несерьезными и тем самым дала понять суду, что я его взгляды не разделяю.

Как потом я ни старалась найти себе оправдание, я потерпела поражение в этом споре, который вела со своей совестью.

Если бы этот спор относился ко мне одной, я могла бы на этом признании поставить точку. Но это был грех общий. Его тогда разделяли со мной и те адвокаты, чье мужество не подвергается сомнению. И объяснить подлинную причину такого поведения мне кажется необходимым.

В советской адвокатуре существовало (да и поныне существует) неписаное правило, которое требует от адвоката, выступающего по делу, связанному с идеологией, не просто осудить «вредные», с официальной точки зрения, убеждения, но и выявить свою гражданскую позицию.

Называя взгляды Буковского несерьезными, отмежевываясь от них, я это делала не только в силу инстинкта самосохранения (хотя и это имело место), но (и это — главным образом) бездумно следуя привычной установившейся схеме. Должно было пройти время, мое сознание должно было значительно эволюционировать для того, чтобы я могла поставить перед собой вопрос: «Почему и для чего я должна в защитительной речи выявлять свою гражданскую позицию?»

Судят не меня, а другого человека, следовательно, суду мои убеждения должны быть безразличны. Так для чего же адвокат должен произносить эти слова осуждения? Во имя чего я должна выявлять свое «гражданское» отношение?

И я не могла не ответить на этот вопрос однозначно: только во имя самосохранения.

В последующих политических процессах я тоже не переходила грань — не солидаризировалась с теми оценками советской действительности, которые декларировали мои подзащитные. Иногда это не вступало в конфликт с моей совестью потому, что я действительно не разделяла их взглядов. Бывало, что это являлось результатом сознательного компромисса, от которого просто не хватало мужества отказаться. Но ни в одном из последующих политических дел я уже этой традиции не следовала и свою «гражданскую» позицию не выявляла. Интересно, что первое за годы моей работы взыскание (в 1971 году) президиум Московской коллегии объявил мне за то, что, произнося речь по политическому делу, я не выявила свою «гражданскую» позицию.

Последние слова подсудимых — последняя возможность для них обратиться к суду.

Как правило, в обычном уголовном деле последнее слово бывает очень кратким. Несколько слов о раскаянии и просьба о снисхождении, если подсудимый признает себя виновным, и просьба об оправдании, когда он свою вину отрицает.

Для обвиняемых в политическом преступлении, особенно для тех, кто спорит с обвинением, последнее слово часто — главная стадия процесса. В последнем слове они могут сказать все то, что считают важным и полезным для своей защиты, в том числе и о мотивах, которые ими руководили. Никто из участников процесса не вправе в этой стадии задавать им вопросы, прерывать их, не вправе ограничивать подсудимых во времени. Только в одном случае председательствующий может останавливать подсудимого во время произнесения последнего слова, — если он «касается обстоятельств, не имеющих отношения к делу» (статья 297 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР).

Мне очень понравилось последнее слово Вадима Делонэ. Слушая Вадима, я вновь отмечала врожденный артистизм. Умение говорить с такой подкупающей искренностью, когда каждое сказанное слово действует на ум и сердце слушателя. Это была прекрасная защитительная речь, произнесенная с тактом, чувством собственного достоинства и сдержанностью.

Вадим в этой речи ни разу не сказал, что признает себя виновным.

— Я не даю юридической оценки своим действиям. Вам, а не мне решать — преступил я границу закона или нет. Могу сказать одно: принимая участие в демонстрации, я никак не предполагал, что совершаю правонарушение. (Последние слова всех подсудимых цитирую по записи Павла Литвинова.)

Очень удачно использовал он ту часть речи прокурора Миронova, где тот говорил о стихийных демонстрациях.

— Прокурор приводил пример, когда люди, радуясь очередному запуску космонавтов и желая поделиться с другими своей радостью, выходят на улицу с самодельным лозунгом «Ура! Наши в космосе!». Ну а мы хотели поделиться своим горем: арестовали наших друзей, и мы хотели поделиться своим беспокойством за их судьбу.

Делонэ считал свое участие в демонстрации ошибкой, но не потому, что признавал ее незаконной, а потому, что не считал демонстрацию наилучшим способом выражения своей точки зрения.

— Я вышел на площадь, не думая, что совершаю что-то противозаконное, да и сейчас полагаю, что мы ничего не нарушили, — так начал свое последнее слово Евгений Кушев.

— Главным для меня, — говорил он, — была дружба. И я вышел на площадь именно потому.

Кушев говорил и о том, что религия — это личное дело каждого человека. Что он не может понять, почему здесь, в судебном процессе, столько страстных и несправедливых слов было сказано о его пути к христианству.

Все, кто был в зале, — публика, участники процесса, судьи — слушали Вадима и Евгения внимательно, но все понимали, что главное — впереди, что «главным» будет последнее слово Буковского. Таким оно и оказалось. «Главным» по взрывной силе, по бесстрашности формулировок, по откровенному нежеланию считаться с ограничительными рамками дозволенного в суде. При всей своей нетрадиционности и неожиданности для советского суда это последнее слово было абсолютно традиционным для политических процессов дореволюционной России, когда обычно судебная трибуна использовалась для пропаганды политических убеждений. Предъявленное обвинение для Буковского было только предлогом, и мне временами казалось, что он о нем просто забывает. Забывает и о себе, и о том, что ждет его дальше, о тех последствиях, к которым может привести его последнее слово.

— Для чего внесена в советскую конституцию гарантия уличных шествий и демонстраций? Для чего внесена такая статья? Для октябрьских и Первомайских демонстраций? Но для демонстраций, которые организует государство, не нужно было вносить такую

статью — ведь и так ясно, что этих демонстраций и так никто не разгонит. Нам не нужна свобода «за», если нет свободы «против». Мы знаем, что демонстрация протеста — это мощное оружие в руках трудящихся, это их неотъемлемое право во всех демократических государствах. Где отрицается это право? Передо мной лежит газета «Правда» от 19 августа 1967 года. В Мадриде происходил суд над участниками первомайской демонстрации. Их судили по новому закону, который недавно был принят в Испании и предусматривает тюремное заключение для участников демонстрации от полутора до трех лет. Я констатирую трогательное единодушие между фашистским испанским и советским правительствами.

Свобода слова и печати есть в первую очередь свобода критики; хвалить правительство и так никто не запрещает. Если внесены в конституцию статьи о свободе слова и печати, то имейте терпение выслушивать критику. Как называются страны, в которых запрещено критиковать правительство и протестовать против его действий? Может быть, капиталистическими? Нет, мы знаем, что в буржуазных странах существуют коммунистические партии, которые ставят своей целью подрыв капиталистического строя...

Закончил Буковский так:

— Существуют понятия честности и гражданского мужества. Вы — судьи, в вас предполагаются эти качества. Если у вас действительно есть честность и гражданское мужество, вы вынесете единственно возможный в этом случае — оправдательный — приговор...

Я абсолютно не раскаиваюсь в том, что организовал эту демонстрацию. Я считаю, что она сделала свое дело, и, когда окажусь на свободе, я опять буду организовывать демонстрации.

...Я привела эти длинные цитаты не столько для того, чтобы подтвердить ими митинговый характер последнего слова Буковского, сколько для того, чтобы сказать моему читателю: в этот день, 1 сентября 1967 года, в Московском городском суде впервые со времени наступления сталинского террора в открытом судебном заседании звучали слова такой беспощадной критики в адрес советского строя. Впервые говорил человек, которого не мог остановить судья, которого не испугало заявление прокурора о том, что «...здесь совершается новое уголовное преступление».

Поздно вечером 1 сентября 1967 года был оглашен приговор: Делонэ и Кушев вышли на свободу. Они были признаны виновными и осуждены к условной мере наказания. Владимира, как организатора демонстрации и как человека, отказавшегося раскаться, приговорили к трем годам лишения свободы — максимальному наказанию по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.

Этот приговор, вынесенный именем Российской Федерации, был продиктован суду высокими партийными инстанциями и, вплоть до меры наказания каждому из подсудимых, согласован с КГБ. Но подписала этот приговор, понимая всю его правовую несостоятельность, судья Шаповалова.

И если признать, что существует личная ответственность человека, что конформизм в условиях государственного подавления личности не является достаточным оправданием, — то ответственность за этот неправосудный приговор, за годы лишения свободы, на которые был обречен Владимир Буковский, несет именно она.

И опять свидание в Лефортовской тюрьме, обсуждение вопросов, которые неизбежно возникают после суда в преддверии кассации.

В Верховном суде Республики я выступала уже одна (мои коллеги были довольны приговором и не обжаловали его).

В моих объяснениях были высказаны те же мысли, что и в защитительной речи, только манера их изложения была иная, менее эмоциональная, почти как голая архитектурная конструкция. Помню, как закончила эти объяснения:

— Считаю, что Буковский осужден неправильно — он не совершил уголовного преступления, не нарушал советского закона. Ваше определение должно разрешить не только его судьбу. Оно явится и ответом на вопрос — существует ли в Советском Союзе та свобода демонстраций, которая декларирована нашей конституцией.

Никто из состава этого «высокого» суда не сделал мне замечание, прокурор не воспользовался правом реплики. Но ответ на поставленный мною вопрос был дан отрицательный — приговор Московского городского суда был оставлен в силе.

С того времени и до моего отъезда из Советского Союза мы с Владимиром виделись только однажды. Это было после его возвращения из лагеря и незадолго до нового ареста и нового суда.

Я уже была лишена допуска к политическим делам. Владимир пришел спросить меня, соглашусь ли я опять его защищать, если он добьется разрешения. Не откажусь ли я от этого согласия, даже если от меня этого потребуют.

Вспоминая этот разговор в своей книге, Владимир пишет, что, заручившись моим согласием, он был уверен, что я не откажусь от него «даже на смертном одре».

Мне трудно судить, как бы я себя повела «на смертном одре», но твердо могу сказать, что в более для меня привычной ситуации отказать от его защиты меня бы никто не уговорил. И все-таки я его не защищала. Не помогли ни его феноменальное упорство, ни длительная голодовка, которую он держал.

Нина Ивановна Буковская, мать Владимира, обратилась к председателю Московской коллегии адвокатов с просьбой разрешить мне защищать Владимира. На этом заявлении Апраксин написал:

Ваша просьба не может быть удовлетворена. Адвокат Каминская не имеет допуска к подобным делам в соответствии со списком, утвержденным КГБ.

В результате в этот раз Буковского защищал адвокат Швейский, имеющий допуск «в соответствии со списком, утвержденным КГБ».

Больше с Владимиром в Советском Союзе нам повидаться не удалось. У него опять ни дня на свободе, опять годы лагеря и тюрьмы. Но я не забывала его. После каждого свидания с Владимиром его мать передавала мне от него приветы и даже поздравления с праздником. Значит, и он не забыл своего первого адвоката. Я безотказно оказывала Нине Ивановне Буковской всю ту юридическую помощь, которая была в моих силах. Знала от нее и о том, что с Советским Союзом ведутся долгие переговоры об обмене Владимира.

В 1976 году мы вместе с нашими друзьями уезжали на дачу в Перхушково в тридцати километрах от Москвы.

Это было днями полного отрыва от обычной московской жизни — ни газет, ни радио. Только прекрасный зимний лес, долгие лыжные прогулки, долгие вечерние разговоры за обедом, переходящим в ужин. В тот день наши друзья привезли с собой транзисторный приемник. Мы сидели все вместе за круглым столом в нашей маленькой столовой и слушали «Голос Америки». Пробиваясь сквозь какой-то треск и музыку, прозвучал голос диктора: «Самолет, на борту которого находится Владимир Буковский, прибыл в...»

И дальше сплошной треск разрядов. Уже потом, перебивая друг друга, повторяя каждое услышанное слово, поняли, что этот давно ожидаемый обмен состоялся, что Владимир свободен.

Впервые за многие годы Буковский был исключен из традиционного тоста московских интеллигентов — тоста номер два, тоста за тех, кто «там». Впервые пили за него в этот вечер все тосты — за его свободу, за его будущее, за то, чтобы слава не испортила его.

— Вот и еще один человек уехал. Еще одного больше никогда не увидим, — сказала я.

Зима, проливной дождь. Я, мой муж и еще трое наших спутников, каким-то чудом втиснутые в маленький автомобиль, едем по уже темной дороге.

Человек, сидящий со мной рядом, обращается ко мне:

— Дина Исааковна, это невероятно, что мы вместе едем в этой машине, безо всякого дела, просто в гости. Ведь обычно я встречался с вами в Лефортовской тюрьме...

Время действия — декабрь 1977 года.

Место действия — дорога из Лондона в Брайтон.

Действующие лица — я и Владимир Буковский.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 41074/56-68С
«О НАРУШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И КЛЕВЕТЕ
НА СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СТРОЙ»

Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать... Не могу даже подумать о чехах, слышать их обращения по радио, — и ничего не сделать, не крикнуть.

ЛАРИСА, 25 АВГУСТА 1968 Г.

Позади только что закончившийся суд над Анатолием Марченко, известным диссидентом, автором книги «Мои показания», в которой он — бывший политический заключенный — описал тюрьмы и лагеря времен правления Хрущева.

Его осудили за нарушение паспортного режима. Но это была лишь внешняя причина. Подлинным основанием привлечения его к уголовной ответственности были написанные им и переданные на Запад для публикации открытые письма в поддержку нового направления демократизации в Чехословакии.

В народный суд Тимирязевского района Москвы, где слушалось это дело, пришли многие друзья Анатолия. Помню Павла Литвинова, Бориса Шрагина, Анатолия Якобсона и других, имена которых мне были известны по их участию в борьбе за права человека в Советском Союзе. Среди пришедших был и самый близкий и дорогой Анатолию человек, его нынешняя жена — Лариса Богораз-Даниэль. По иронии судьбы, судебный процесс над Анатолием происходил в тот самый день — 21 августа 1968 года, когда советские войсковые части вступили на территорию Чехословакии, оккупировали ее для того, чтобы, как сказано было в «Правде» 21 августа, «...служить делу мира и прогресса».

Все мы, собравшиеся в народном суде, уже знали об оккупации Чехословакии. Все, кроме Марченко. Меня специально просили ни-

чего ему об этом не говорить. Его друзья не сомневались, что он в судебном заседании будет протестовать против вторжения и этим навлечет на себя новые преследования.

После приговора (Марченко был осужден к одному году лишения свободы) народный судья сказал, что я смогу ознакомиться с протоколом судебного заседания 26 августа и тогда же получу решение на свидание с Анатолием в тюрьме. Я обещала Ларисе и Павлу Литвинову встретиться с ними до того, как пойду на свидание с Анатолием. Мы назначили и время встречи — 25 августа в 6 часов вечера.

Наше знакомство с Ларисой Богораз-Даниэль началось с моей неудачной попытки защищать ее бывшего мужа — писателя Юлия Даниэля. Знакомство это не оборвалось тогда. У Ларисы и ее друзей часто возникала необходимость получить у меня совет. Но, помимо этого и независимо от этого, мы просто испытывали друг к другу чувство искренней симпатии, довольно быстро перешедшее в дружбу.

С Павлом Литвиновым я познакомилась позже, наверное в 1967 году, когда начала выступать в политических процессах. Но родители Павла — мои добрые и давние знакомые, с которыми меня связывали и общий круг друзей, и любовь к музыке, и совместные туристские походы. Поэтому, хотя мои встречи с Павлом носили деловой характер и были связаны с организацией защиты по нескольким политическим делам, дружба с его родителями сразу же определила неформальный характер наших отношений. Кроме того, Павел мне очень нравился мягкостью, терпимостью и личным мужеством, в котором я имела возможность убедиться еще во время процесса над Юрием Галансковым и Александром Гинзбургом.

11 января 1968 года, накануне окончания этого процесса, Павел и Лариса написали и передали на Запад для публикации обращение «К мировой общественности».

В то время в Москве и других городах страны многие писали и подписывали самые разнообразные письма протеста, в которых резко критиковали нарушения «социалистической законности», выступали с требованиями соблюдения демократических норм. Каждое из этих писем было заметным явлением общественной жизни. Слушали их по западным радиостанциям, читали и передавали из рук в руки тонкие листки папиросной бумаги с еле различимым текстом.

Каждый вечер, когда я приходила в консультацию, секретарь передавал мне пачку почтовой корреспонденции. Я вскрывала конверт за конвертом. Это были письма совершенно незнакомых мне людей. Большинство начиналось так:

Генеральному прокурору СССР
Верховный суд РСФСР
Копии:
Генеральному секретарю ЦК КПСС
Л.И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Н.Б. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
А.Н. Косыгину
Адвокатам: Б.А. Золотухину, Д.И. Каминской

Почти в каждом из этих писем перечислялись нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела Галанскова и Гинзбурга и других. Почти каждое письмо содержало требование к властям — соблюдать собственные законы. Каждое такое письмо для его автора могло повлечь полное крушение всей его сложившейся жизни и требовало незаурядного мужества, а все вместе они свидетельствовали о возрождении общественного мнения, уничтоженного в нашей стране еще в начале 20-х годов.

Обращение Павла и Ларисы заметно отличалось от большинства полученных мною писем своим нравственным, гражданским пафосом. Они обращались не к властям, не к правительству и коммунистической партии, а к каждому из нас — «к каждому, в ком жива совесть». Они ставили каждого человека перед необходимостью нравственного выбора.

Помню, мы слушали это обращение по радио вместе с пришедшими к нам друзьями:

Граждане нашей страны!

Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас... Сегодня в опасности не только судьба трех подсудимых — процесс над ними ничем не лучше знаменитых процессов 30-х годов, обернувшихся для нас таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться.

Мы слушали, боясь пропустить хоть одно слово — ведь это впервые голос диктора обращался непосредственно к нам, взывал к нашей чести.

Ведь родилось, выросло и даже успело состариться целое поколение, к которому никогда так не обращались и для которого поэтому звучание слов «совесть» и «честь» было особенно торжественным.

Ставшие сейчас привычными термины «диссиденты», «инакомыслящие» тогда только приобретали права гражданства. В те годы

мне приходилось встречаться с теми, кто впоследствии приобрел широкую известность своим участием в диссидентском движении. Их, безусловно, объединял неконформизм и достойное уважение мужество, готовность жертвовать своим благополучием и даже свободой. Однако это были очень разные люди.

Иногда мне казалось, что некоторых из них слишком увлекает сам азарт политической борьбы. Разговаривая с ними, я явно ощущала, что, борясь за свободу высказывания своих мнений, они в то же время недостаточно терпимы к мнениям и убеждениям других людей. Недостаточно бережно, без необходимой щепетильности распоряжаются судьбами тех, кто им сочувствует.

Помню, как-то после одной такой беседы я, вернувшись домой, сказала мужу:

— Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но, когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти, — мне этого не захотелось.

Мое отношение к Павлу, Ларисе и многим другим определялось не только тем, что я разделяла их взгляды, что наши оценки советской действительности совпадали. Меня привлекала нравственная основа их убеждений и методов, которыми они и движение (получившее впоследствии название «правозащитного») пользовались. Некоторые из участников этого движения силою внешних обстоятельств стали моими подзащитными. Моими друзьями они становились по моему внутреннему выбору.

Вот почему, договариваясь с Павлом и Ларисой и уже считая их своими друзьями, я попросила их прийти 25 августа 1968 года ко мне домой, а не в юридическую консультацию.

Воскресенье 25 августа. Я хорошо помню этот день и наше возвращение с загородной прогулки в Москву, обусловленное встречей с Ларисой и Павлом. Помню и то, как негодовала, когда они не пришли в назначенное время, даже не позвонив, не предупредив, что наше свидание откладывается.

А потом сквозь треск и шум, всегда сопровождавшие передачи западного радио, мы услышали:

Сегодня на Красной площади в Москве небольшая группа людей пыталась продемонстрировать протест против оккупации Чехословакии.

И я сразу же сказала:

— Это они.

Ничто в наших предшествовавших разговорах не давало мне оснований для такого предположения. Более того, у меня было впе-

чатление, что Павел и Лариса лично для себя не считали демонстрацию наилучшим способом выражения несогласия или протеста. Что им более свойственны индивидуальные письма и обращения к обществу, которые дают возможность не только протестовать, но и подробно этот протест аргументировать. Но я видела, как Павел и Лариса были потрясены оккупацией Чехословакии, и, зная этих людей, понимала, что они не смогут промолчать. Исключительность самого события определила и выбор исключительной, несвойственной им формы протеста.

А уже на следующий день — 26 августа — я держала в руках ту записку, которую поставила эпиграфом к этой главе.

Короткую, обращенную ко мне записку, которую Лариса во время обыска у нее на квартире каким-то чудом смогла написать и передать для меня.

...Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать...

И тут же несколько слов для Анатолия:

...Пожалуйста, прости меня и всех нас за сегодняшнее — я просто не в состоянии поступить иначе. Ты знаешь, какое это чувство, когда невозможно дышать.

На следующий день мне стали известны имена всех участников демонстрации: Константин Бабицкий, Лариса Богораз-Даниэль, Наталья Горбаневская, Вадим Делонэ, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг.

Когда я узнала, что Вадим Делонэ был одним из участников демонстрации, первое чувство, которое испытала, было чувство острой жалости. Я понимала, что он был самым обреченным из всех этих, обреченных на наказание людей. Ведь он уже был осужден за участие в демонстрации на площади Пушкина, и новое осуждение, да еще за совершение аналогичного преступления, давало право суду не только назначить ему максимальное наказание (три года лишения свободы), но и присоединить весь срок, не отбытый по предыдущему приговору.

— Почему не оберегли его? Как могли допустить, чтобы он принял участие в демонстрации?..

Но еще до первого свидания с Павлом и Ларисой я знала, что свойственная им человечность и чувство ответственности за судьбы других не изменили им и в этот раз. Для них приход Вадима на Крас-

ную площадь был полной неожиданностью. Никто из остальных участников демонстрации Вадиму о своих намерениях не рассказывал. Не рассказывали именно потому, что хотели уберечь его.

Не знаю, права ли я была в своей уверенности, но ни тогда, ни позднее не сомневалась в том, что кроме общей для всех причины демонстрации — протеста против ввода советских войск в Чехословакию — у Вадима была и вторая, глубоко личная причина, которая привела его тогда на Красную площадь. Для него участие в демонстрации являлось и формой самореабилитации. Я употребляю термин «самореабилитация» потому, что ему не было необходимости реабилитировать себя в глазах других. Никто его не винил за те прошлые показания в КГБ, которые он давал по делу о демонстрации на площади Пушкина.

Некоторые вообще не признавали морального права за людьми, никогда не терявшими свободы, судить тех, кто на себе испытал тяжесть тюремного заключения. Но все соглашались с тем, что поведение Вадима на том прошлом суде не вызывало никаких нареканий.

Я с большим уважением отношусь к этой второй причине, как к проявлению чувства высокой требовательности к самому себе.

Мне кажется, что в этот же день, но во всяком случае в первые же дни после демонстрации мне стало известно, что Лариса просит меня быть ее адвокатом. Вскоре с аналогичной просьбой о защите обратилась ко мне и Флора — мать Павла Литвинова.

Созвонившись со следователем, советником юстиции Акимовой, и удостоверившись, что в показаниях Ларисы и Павла нет противоречий, я приняла защиту обоих. От следователя Акимовой я также узнала, что всем арестованным участникам демонстрации предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка и в клевете на советский общественный и государственный строй. (Статьи 190-1 и 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.)

Расследование дела было закончено небывало быстро — в течение двух недель, и с 14 сентября полностью укомплектованный состав защиты приступил к ознакомлению с материалами дела. Помимо меня в деле участвовали: Софья Каллистратова — защитник Вадима Делонэ, Николай Монахов — защитник Владимира Дремлюги и Юрий Поздеев — защитник Константина Бабицкого. В отношении Файнберга и Горбаневской дело было выделено в связи с тем, что они были направлены на судебно-психиатрическую экспертизу.

Итак, 14 сентября 1968 года — день, когда я начала изучать дело, а значит, и день первой встречи с подзащитными в Лефортовской тюрьме — следственном изоляторе КГБ.

Я знала, что Лариса и Павел ждут моего прихода. Что они видят во мне не просто защитника, которому можно доверять, что сам факт встречи именно со мной будет для них радостью. Возможность увидеть их, говорить с ними была горькой радостью и для меня.

Впервые за годы своей работы я ехала в тюрьму на свидание с людьми, которые были мне дороги, которых я любила и которыми восхищалась.

Мое знакомство со следователем Галаховым состоялось, как только я пришла в Лефортовскую тюрьму. Галахов — член бригады следователей, которая постановлением прокурора Москвы была специально создана для расследования этого дела. Теперь, когда следствие уже закончено, ему поручено обеспечить мне возможность ознакомиться с делом, с каждым из моих подзащитных в отдельности.

Галахов предупредил меня, что наша работа должна быть закончена в максимально сжатый срок.

— Руководство приняло решение передать дело в суд до истечения месячного срока. Просьба к вам организовать работу так, чтобы нас не задерживать. Вы можете работать так поздно, как вам это будет необходимо, — с администрацией тюрьмы этот вопрос согласован.

Расследование дела о демонстрации на Красной площади было закончено в небывалый, поражающий своей сжатостью срок. Зная стиль и условия работы следственного аппарата прокуратуры, я могу с уверенностью сказать, что этот срок был определен в каких-то очень высоких инстанциях, явно выходящих за рамки прокуратуры. Следователи в течение двух недель не только завершили допросы семи арестованных демонстрантов, примерно тридцати свидетелей, но и обеспечили проведение шести психиатрических экспертиз, проходивших в тюрьме, одной психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского (в отношении Натальи Горбаневской) и судебно-криминалистической экспертизы в специализированном научно-исследовательском институте.

Мне, как и другим адвокатам, было совершенно ясно, что всем этим дирижировало, обеспечивало незамедлительное выполнение этих формально необходимых следственных действий ведомство сильное и авторитетное, то есть КГБ.

А для того, чтобы удобнее было руководить расследованием, КГБ распорядился содержать всех арестованных по нашему делу в тюрьме, которая прокуратуре неподведомственна и куда по постановлению, подписанному прокурором, арестованного вообще не примут, — в следственном изоляторе КГБ в Лефортове.

Просьба ознакомиться с делом в пределах сентября была абсолютно выполнима. Мне было ясно, что при ежедневной работе я успею прочесть все материалы следственного досье, сделать из него необходимые выписки и что у меня останется достаточно времени, чтобы подробнее обсудить позицию защиты и подготовить моих подзащитных к суду.

Я понимала, что следователь не разрешит нам втроем работать одновременно в одном кабинете, так как это нарушало бы обязательную изоляцию обвиняемых, и, в свою очередь, попросила организовать работу так, чтобы я могла видеться с каждым из моих подзащитных ежедневно. Я хотела иметь возможность видеть Павла и Ларису каждый день, чтобы рассказывать им о семьях и о близких им людях и обязательно каждый день их «кормить».

Опыт общения со следователями по предыдущим политическим делам убедил меня, что одни следователи быстрее и без особого противления, другие после уговоров, но все они в конце концов соглашались на это отступление от тюремных правил и разрешали в их присутствии «кормить» арестованных. Единственное требование, которое они ставили и которое мы неукоснительно соблюдали, — все должно быть съедено здесь, в следственном кабинете, в камеру ничего уносить нельзя.

Предложенный мною порядок работы — с одним из подзащитных до обеда, а со вторым — после обеда — возражений не вызвал. Договорились с Галаховым и о том, что Ларису и Павла на обед увести не будут, что даст нам возможность сохранить много времени для работы.

С этого дня я ежедневно приносила обильные обеды, приготовленные матерью Павла. Когда утром я приходила в тюрьму, сгибаясь под тяжестью огромного портфеля, с которым муж обычно ходил за покупками, Галахов, укоризненно качая головой, неизменно повторял:

— И охота вам, Дина Исааковна, таскать такую тяжесть? Ну, принесли бы пару бутербродов, яблоки. А то настоящие горячие обеды приносите, да еще на двух человек!

14 сентября в первую половину дня я решила работать с Ларисой Богораз.

Лариса вошла в комнату легко и непринужденно, без всякой тени подавленности, и сразу ко мне, путая официальное «Дина Исааковна» и фамильярное, уже ставшее для нас привычным дружеское «ты».

Подготовка к защите на этом этапе — это тщательное изучение всех материалов, которые за две недели собрала и запротоколировала бригада следователей.

Формулировка обвинения, предъявленного всем привлеченным к ответственности, кроме Ларисы, совпадала дословно. Она — общая для всех, безо всякой попытки индивидуализации, хотя это безусловное требование закона.

Расследованием по делу установлено:

Павел Литвинов (или Вадим Делонэ, или Константин Бабицкий. — *Д.К.*), будучи несогласен с политикой КПСС и Советского Правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу в защите его социалистических завоеваний, одобренной всеми трудящимися Советского Союза, вступил в преступный сговор с другими обвиняемыми по настоящему делу (перечисляются фамилии остальных обвиняемых. — *Д.К.*) с целью организации группового протеста против временного вступления на территорию ЧССР войск пяти социалистических стран. Ранее изготовив плакаты с текстами, содержащими заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, а именно: «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу», «Долой оккупантов», «Свободу Дубчеку», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» (на чешском языке), 25 августа сего года в 12 часов дня явились к Лобному месту на Красной площади, где совместно (перечень фамилий остальных обвиняемых. — *Д.К.*) принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок и нормальную работу транспорта: развернул вышеуказанные плакаты и выкрикивал лозунги аналогичного с плакатами содержания, то есть совершил преступления, предусмотренные статьями 190-1 и 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.

Для того чтобы эта формулировка соответствовала требованиям советского закона, в ней, помимо общего изложения событий, обязательно должно было быть указано: что конкретно в каждом из плакатов следствие считает «ложным измышлением», кто из обвиняемых какой из этих плакатов «изготовлял» (ведь изготовление клеветнических произведений образует самостоятельный состав уголовного преступления — статья 190-1), какие именно тексты и кто из обвиняемых выкрикивал.

От обвинительной власти требуется индивидуализировать вину каждого обвиняемого и степень его активности по сравнению с другими участниками групповых действий.

Не менее наглядно пренебрежение к требованиям закона проявилось и в том, как было сформулировано дополнительное обвинение в отношении Ларисы Богораз:

Будучи не согласна с действиями КПСС и Советского Правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу, она 22 августа 1968 года на-

правила об этом два заявления на имя директора и в профсоюзную организацию Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации и координирования.

Из этой формулировки нельзя понять ни то, какие именно заявления направила Лариса, ни то, почему направление заявления является уголовным преступлением, ни то, какое преступление она совершила.

Для того чтобы это обвинение перестало быть таинственным, я сразу приведу текст этих абсолютно одинаковых заявлений:

В знак протеста против оккупации Чехословакии Советскими войсками я объявляю забастовку с 21 по 31 августа (том 3, листы дела 193, 194).

Я знаю, как работают следственные органы Москвы, и могу сказать с уверенностью, что подобные формулировки не были результатом неопытности или небрежности. Я не допускаю и мысли, что старший следователь прокуратуры Москвы, советник юстиции Акимова позволила бы себе такое нарушение закона по любому из тех многих (не политических) уголовных дел, которые ей приходилось расследовать. То, что именно так были оформлены следственные документы по делу о демонстрации на Красной площади, я могу объяснить двумя причинами.

Первое. Необходимостью выполнить поручение высоких партийных инстанций и КГБ и привлечь всех без исключения участников демонстрации к уголовной ответственности. И второе. Невозможностью в полном соответствии с законом оформить обвинение в действиях, которые по этим же законам не являются преступными.

Материалы дела о демонстрации — это три толстых тома. Но уже с первого дня мне стало ясно, что для защиты важен первый том — с показаниями свидетелей — и те части остальных двух томов, где содержатся очные ставки. Обвиняемые же на большинство вопросов следователей отвечать отказывались.

Перечитывая сейчас свои выписки из следственного досье, отбирая те показания, которые интересно представить читателю, я вижу, что все они значительно менее эффектны, чем бьющие в глаза своей непримиримостью и политическим темпераментом показания Владимира Буковского. Это не потому, что участники демонстрации на Красной площади — люди менее мужественные, менее убежденные. Просто они другие.

Сдержанный тон показаний более свойственен их характеру, возрасту и той позиции поведения на следствии, которую каждый из них избрал самостоятельно, но в которой все они оказались поразительно солидарны.

Если Владимир Буковский говорил следователю: «Свои политические убеждения не скрываю и привык говорить о них открыто», то все участники демонстрации на Красной площади вообще отказались беседовать со следователями о своих взглядах и убеждениях, ограничив свои объяснения мотивами демонстрации.

Пожалуй, единственным человеком, который по складу своего характера мог нарушить этот общий тон сдержанности, был Владимир Дремлюга. Но на следствии он давать показания отказался, сохранив для суда весь свой темперамент бойца.

Солидарность и непреклонность в избранной линии поведения была первой особенностью, которую я отметила, читая показания обвиняемых.

Самые подробные показания, которые Лариса Богораз дала на следствии, заняли несколько строк:

25 августа пришла на Красную площадь. Подняла транспарант с протестом против ввода войск в Чехословакию. На вопрос о том, какой плакат держала я и какие именно плакаты держали мои товарищи, отвечать отказываюсь. Мои действия не нарушили общественный порядок и движение транспорта, не препятствовали воскресной прогулке граждан. Само выражение протеста не нарушает общественного порядка. Лозунги не содержат клеветнических измышлений, а выражают критическую точку зрения по одному конкретному вопросу. Обвинение против нас считаю несостоятельным. Отказываюсь принимать участие в работе следствия и больше ни на какие вопросы отвечать не буду (том 3, лист дела 182).

Так же кратко выглядят показания Павла Литвинова от первых — в день задержания — и до последних 12 сентября.

От показаний отказываюсь. Считаю задержание насиланием со стороны лиц в штатском. Через следствие я обращаюсь с жалобой на лиц, задержавших нас. На все остальные вопросы отвечать отказываюсь (том 3, лист дела 7, 25 августа).

Читая показания Ларисы и Павла, я с удовольствием отмечала не только их мужество — оно не было для меня неожиданностью, но и сдержанный, спокойный тон этих показаний. Та же спокойная сдержанность была и в более подробных показаниях двух других участников демонстрации — Вадима Делонэ и Константина Бабицкого.

В самый день задержания, 25 августа 1968 года, Константин Бабицкий, молодой ученый, автор трудов по математической лингвистике, сказал:

Сегодня я пришел на Красную площадь, чтобы выразить свой протест против трагической ошибки нашего правительства — вооруженного вмешательства в дела Чехословакии (том 2, лист дела 20).

В своих последующих показаниях Бабицкий говорил, что не боится назвать цель демонстрации высокой.

То же осознание высокой цели пронизывало показания не только обвиняемых, но и их друзей и родственников, которые были очевидцами демонстрации.

Том 2, лист дела 70. Показания свидетеля Татьяны Великой:

Вопрос следователя: Расскажите, что вам известно по этому делу?

Ответ: Утром в воскресенье мой муж Константин Бабицкий сказал, что должен быть на Красной площади у Лобного места в 12 часов, чтобы выразить протест против введения войск в Чехословакию. На мой вопрос он ответил, что кроме него будут и другие участники, но кто именно — я не спрашивала.

Вопрос: Пытались ли вы воздействовать на мужа, отговорить его? Ведь у вас трое несовершеннолетних детей, и вы должны были понимать последствия.

Ответ: Я не пыталась отговорить. Если муж считал, что во имя совести он должен так поступить, — отговаривать его было бы просто бесчестно.

А сейчас мне кажется необходимым сделать небольшое отступление и вновь вернуться к словам записки Ларисы Богораз: «Не ругайте нас, как все нас ругают».

В один из первых дней после демонстрации к нам домой пришел друг Ларисы и Юлия Даниэля Анатолий Якобсон. Только однажды потом за долгие годы нашей дружбы я видела Анатолия в состоянии такого безудержного отчаяния. Тот второй раз был в день прощания, когда Анатолия изгнали из Советского Союза.

Навсегда в моей памяти осталось его залитое слезами лицо и то, как он сквозь рыдания пытался читать болезненно им любимые строки прощания с Ленинградом из стихов Анны Ахматовой:

Разлучение наше мнимо:

Я с тобою неразлучима,

Тень моя на стенах твоих...

Я никогда после этого прощания Анатолия не видела. Он действительно был неразлучим со своей страной и в изгнании покончил жизнь самоубийством.

А в тот августовский день в 1968 году Анатолий сидел в моей комнате, закрыв лицо своими сильными руками, и сквозь рыдания повторял раз за разом:

— Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними.

25 августа Анатолия не было в Москве. Только на следующий день он узнал о демонстрации и об аресте самых близких своих друзей.

Анатолий написал замечательное по силе и точности открытое письмо, посвященное демонстрации на Красной площади. Рукописный подлинник этого письма, ставший теперь для меня печальной реликвией, лежит в моем досье по делу о демонстрации с тех самых дней.

Многие люди, гуманно и прогрессивно мыслящие, признавая демонстрацию отважным и благородным делом, полагают одновременно, что выступление, которое ведет к неминуемому аресту участников и к расправе над ними, неразумно, нецелесообразно...

От Анатолия я узнала то, о чем мне потом рассказывали другие друзья демонстрантов: намерение провести демонстрацию протеста не встретило поддержки у многих из их единомышленников. Делались отчаянные попытки отговорить их, предотвратить демонстрацию именно потому, что считали ее «неразумной», «нецелесообразной».

Вот чем объяснялись эти, поначалу непонятные для меня, повторяющиеся слова в записке Ларисы — «не ругайте», «простите».

Как-то совсем недавно я разговаривала уже здесь, в Америке, с моим добрым другом, тоже эмигрантом, изгнанным из Москвы. Он был в числе тех, кто 24 августа объезжал квартиру за квартирой. К Бабицкому, к Ларисе, к Павлу Литвинову — с единственным намерением удержать их, предотвратить демонстрацию. Им руководила абсолютно гуманная цель — уберечь их. Ведь он, как и другие, предвидел единственно возможный в советских условиях исход такого открытого протеста.

— Сейчас я понимаю, что был не прав. Я не должен был их отговаривать. Я должен был быть с ними.

Письмо Анатолия Якобсона было ответом всем тем сочувствующим, кто осуждал демонстрацию:

К выступлениям такого рода нельзя подходить с мерками обычной политики, где каждое действие должно приносить непосредственный, материально измеримый результат, вещественную пользу.

Демонстрация 25 августа — явление не политической борьбы, а явление борьбы нравственной...

Исходите из того, что правда нужна ради самой правды, а не для чего-нибудь еще; что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, даже если он бессилён это зло предотвратить...

И еще:

Семеро демонстрантов, безусловно, спасли честь советского народа. Значение демонстрации 25 августа невозможно переоценить.

Анатолий с полным правом назвал всех участников демонстрации героями 25 августа.

С каждым новым днем работы над делом я все больше и больше убеждалась, что первое дело о демонстрации (дело Буковского и других) принесло определенный опыт не только мне. Следственные органы по-своему тоже этот опыт учитывали и старались избежать тех явных дефектов в конструкции обвинения, которые были допущены в первом деле.

Тогда, конструируя обвинение, КГБ исходили из того, что уже одно содержание лозунга может рассматриваться как нарушение общественного порядка. Следствие тогда вполне устраивали показания свидетелей комсомольцев-оперативников, что их вмешательство, то есть разгон демонстрации и задержание участников, было оправдано «антисоветским» или «клеветническим» характером лозунгов. Формально суд разделил эту позицию и осудил Буковского и других по статье 190-3 Уголовного кодекса. Но правовая несостоятельность обвинения после суда стала очевидна всем, в том числе и КГБ.

Поскольку советская власть не может и не хочет мириться с инакомыслием, в какой бы форме оно ни выражалось, то отпадал естественный и законный вывод из прошлой ошибки — признание демонстраций гарантированным конституцией правом граждан нашей страны. Вместо этого было добавлено второе обвинение — в изготовлении и распространении клеветнических измышлений, квалифицированное по статье 190-1 Уголовного кодекса.

Предъявив это дополнительное обвинение, следственная власть, вопреки закону, полностью освободила себя от обязанности его доказать или аргументировать, ограничившись простым перечислением текстов плакатов. Вторую же часть обвинения она старалась доказать любыми способами, и доказать так, чтобы избежать упреков защиты в том, что сам факт демонстрации рассматривается как нарушение общественного порядка.

Обвинительную власть уже не могли устроить показания свидетелей, что нарушение общественного порядка они усмотрели в содержании плакатов. Необходимы были доказательства, что демонстрация сопровождалась бесчинствами и нарушала нормальную работу транспорта.

В распоряжении следствия по этому пункту обвинения, помимо показаний обвиняемых, были показания трех групп свидетелей.

Первая группа — это друзья и родственники подсудимых.

Вторая — свидетели Ястребова и Леман. Свидетели незаинтересованные, чьи показания полностью подтверждают рассказы обвиняемых и их друзей.

Третья группа — это подлинные свидетели обвинения, то есть те, чьи показания используются обвинением как доказательство вины в нарушении демонстрантами общественного порядка и нормальной работы транспорта.

Я хочу представить моим читателям равную с судом возможность самим оценить материалы дела и самим сделать вывод о доказанности обвинения.

Итак, показания свидетелей первой группы.

Татьяна Великанова, жена Константина Бабицкого (том 2, листы дела 70–71 оборот):

Я видела, как муж вместе с остальными участниками демонстрации сели вокруг Лобного места и развернули плакаты... Примерно через 2 минуты подбежали две группы мужчин и стали эти плакаты вырывать. Один, я хорошо запомнила его в лицо, ударил Файнберга ботинком в лицо. У Файнберга весь рот был в крови. Никто из знакомых мужа даже не поднялся и никак не реагировал на провокацию.

В том крыле, где сидел Литвинов, тоже кого-то били, кого — не рассмотрела. Какой-то мужчина ударил пинком моего мужа в бедро.

Побои наносили не из толпы собравшихся граждан, а определенные специальные люди, но без повязок.

Свидетель Панова, знакомая Татьяны Великановой (том 2, лист дела 72–73, допрос 12 сентября):

Направляясь на Красную площадь к Татьяне Великановой, увидела, как у Лобного места кольцом сели на ступеньки люди и развернули белые полотна с надписями. Было 12 часов. Почти сразу к ним с двух сторон бросились люди в гражданской одежде, сразу начали избивать тех, кто сидел с плакатами, и отнимать эти плакаты. Все происходило очень быстро. Бабицкий сидел рядом с человеком, у которого было разбито, окровавлено лицо. Никто из тех, кто сидел у Лобного места, даже не повернулся и ничего не сказал, когда их начали избивать.

Абсолютно аналогичные показания дали и другие знакомые и друзья демонстрантов.

Показания второй группы свидетелей — очевидцев демонстрации, которые при разных обстоятельствах оказались 25 августа на Красной площади.

Свидетель Ястребова (том 1, лист дела 90, допрос 28 августа):

Мое постоянное место жительства — Челябинск. В Москву приехала в отпуск. 25 августа я пришла на Красную площадь в 11 часов 50 минут — просто хотела посмотреть площадь и мавзолей Ленина. Я видела, как к Лобному месту подходила эта группа, и все сели на парапет. Буквально мгновенно подняли вверх руки, в которых были лозунги... Почти сразу подбежали мужчины и отобрали лозунги. Эти люди даже не поднялись на ноги — продолжали сидеть. Один мужчина сгоряча ударил довольно увесистым портфелем по голове одного из сидящих. Люди из толпы его останавливали. Видела, как еще один мужчина на них замахивался.

Когда их задерживали, они шли спокойно...

Свидетель Леман (том 1, лист дела 5, допрос 25 августа):

25 августа был на Красной площади, увидел толпу у Лобного места и подошел. Какой-то человек ударил сидящего в зеленой рубашке по зубам. В этот момент их стали сажать в машины. Вдруг ко мне подбежали несколько человек и схватили меня за руки. Один сказал: — Этот? — Другой ответил: — Нет. Но первый повторил: — Этот. — Они заломили мне руки, дали по шее и затолкали в машину; так я оказался в пятидесятом отделении милиции. Никого из задержанных я не знаю.

Прокуратура Москвы очень тщательно проверяла обстоятельства, при которых свидетель Леман оказался на Красной площади и был задержан. Было бесспорно установлено, что никого из демонстрантов он не знал, очевидцем демонстрации оказался совершенно случайно и его задержание было ошибкой.

И, наконец, показания свидетелей третьей группы — свидетелей обвинения.

Из них я приведу только те, которые были наихудшими для обвиняемых и на которых впоследствии базировался обвинительный приговор.

Свидетель Богатырев (том 1, лист дела 54, допрос 27 августа):

25 августа пришел на Красную площадь около 12 часов, чтобы погулять там. Увидел толпу у Лобного места. Там кто-то выкрикивал «Свободу Дубчеку». Я побежал. Этих граждан уже сажали в машины. Картина была омерзительная. Задержанные вырывались, оскорбляли граждан, выкрикивали лозунги — вели себя как отъявленные хулиганы. Одна из женщин обзывала собравшихся сволочами, провокационно кричала, что ее избивают, хотя никто ее не бил, визжала. Кто-то передал мне отобранные у них плакаты, я не читал их и передал в милицию. В машине они продолжали кричать. В отделении милиции я сообщил свой адрес и ушел.

Свидетель Веселов (том 1, лист дела 90, допрос 28 августа):

25 августа пришел к 12 часам на Красную площадь для прогулки. Увидел большое скопление народа, шум. Я подошел. У Лобного места стояла группа людей. Они держали транспаранты, кричали. Я видел, как их сажали в машину. Женщина, которая стояла у Лобного места, ударила меня ногой и кричала «Тираны», «Насильники».

Свидетель Давидович (том 1, лист дела 26, допрос 27 августа):

В Москве был проездом. Мое постоянное место жительства — Коми АССР. 25 августа был в ГУМе и вышел из него на Красную площадь около 12 часов. Увидел группу людей,двигающуюся по площади к Лобному месту. Они сели около Лобного места со стороны Красной площади. Тут же развернули плакаты «Руки прочь от ЧССР», второй на чешском языке. Стала собираться толпа. Участники этой группы начали произносить речи. Собравшиеся граждане требовали, чтобы их задержали.

Мужчины в штатском стали активно сажать участников этой группы в подошедшие автомашины. Я тоже стал помогать. Их никто не бил.

И, наконец, полностью приведу документ, против которого в моем досье стоит знак «NB».

Том 1, лист дела 7. Рапорт инспектора отдела регулирования Уличного движения Кукулина.

25 августа во время несения постовой службы заметил на проезжей части Лобного места группу лиц с плакатами. Стоя на проезжей части с плакатами в руках, они кричали. Эта группа мешала движению транспорта, идущего из Спаских ворот Кремля на улицу Куйбышева и обратно. На мое требование уйти с проезжей части граждане не реагировали и продолжали стоять и кричать.

Все это — и показания последней группы свидетелей, и рапорт инспектора ОРУДа — серьезный обвинительный материал. Если суд будет с доверием относиться к их показаниям, он их использует как доказательство вины в нарушении общественного порядка, а рапортом подкрепит обвинение в нарушении нормальной работы транспорта.

Оставаясь наедине с каждым из моих подзащитных, мы обсуждали эти показания. И Павел Литвинов говорил мне:

— Дина Исааковна, ведь это полное вранье. Демонстрация была сидячая. Мы сидели на тротуаре и не поднимались до тех пор, пока нас не стали сажать в машины. За все то время, что мы там были, через площадь не прошла ни одна машина.

— Диночка (это уже говорит Лариса), но ведь всем понятно, что это неправда. Никто из нас ни на секунду не поднимался. Мы так решили заранее — сидеть на тротуаре и не поддаваться ни на какую провокацию. Ведь даже когда били, ни один из нас не крикнул, не оттолкнул от себя.

И Павлу, и Ларисе я верю безоговорочно. Верю потому, что это говорят именно они. Но, помимо этого, еще когда читала дело, профессиональная привычка удержала в памяти такие детали, которые позволяли сначала сомневаться, а потом уже в суде безо всякого сомнения сказать:

— Вся эта группа свидетелей дает ложные показания по целому ряду самых существенных для обвинения деталей. Рапорт инспектора ОРУДа — фальсификация.

Что породило у меня сомнения в правдивости этих свидетелей?

Прежде всего, конечно, то, что их рассказ (о том, как происходила демонстрация и как задерживали демонстрантов) опровергался показаниями обвиняемых, которым, повторяю, я верила, и всех остальных очевидцев демонстрации, в числе которых были люди совершенно незаинтересованные, в чьей объективности сомневаться было нельзя.

Теоретически свидетели обвинения — Веселов, Богатырев и другие — также посторонние, значит, тоже незаинтересованные и объективные, как Ястребова и Леман.

И вновь перелистываю страницы дела, чтобы проверить себя. И вписываю в свое досье против каждого из свидетелей:

Свидетель Веселов — сотрудник воинской части 1164.

Свидетель Богатырев — сотрудник воинской части 1164.

Свидетель Иванов — сотрудник воинской части 1164.

Свидетель Васильев — сотрудник воинской части 1164.

Как случилось, что все они оказались в один и тот же день и час в одном и том же месте?

Почему ни один из них не сказал на допросе, что договорился встретиться со своими сослуживцами или хотя бы случайно встретил их на Красной площади?

Почему следователь, который у всех свидетелей подробно выяснял все, связанное с приходом на Красную площадь, ни одному из этих свидетелей не задал само собой напрашивающийся вопрос: была ли их встреча случайным совпадением или обусловлена договоренностью?

Следователь не спросил их даже о том, знакомы ли они вообще друг с другом. Как будто бы надеялся на то, что никто из участников процесса не заметит, что все эти свидетели, согласованно дающие показания против обвиняемых, являются сотрудниками одной и той же воинской части.

И еще одна деталь. Заполняя анкетные данные свидетеля, следователь не может ограничиваться лишь указанием номера части. Он должен указать звание свидетеля и то министерство, в ведении которого эта воинская часть находится (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, КГБ).

В анкетных данных этих свидетелей в графе «Занимаемая должность» — загадочное для воинской части и принятое только в системе КГБ слово «сотрудник». К какому министерству относится воинская часть 1164, указано не было.

Из анкетных данных свидетеля Давидовича я узнала, что у него высшее юридическое образование, что он предъявил следователю не паспорт, а удостоверение личности Министерства внутренних дел и что место его работы — воинская часть 6592. Сопоставляя это с тем, что его постоянное место жительства и работы Коми АССР (республика, где сосредоточены лагеря строгого режима и тюрьмы), у меня были все основания предполагать, что Давидович является ответственным (о чем свидетельствует наличие высшего юридического образования) работником тюрьмы или лагеря.

Конечно, само по себе это еще не означает, что он говорит следствию неправду, но относиться к его показаниям как к показаниям

человека объективного я уже не могла. Кроме того, в показаниях Давидовича была одна подробность, явно свидетельствующая, что он либо говорит неправду, либо сознательно скрывает обстоятельства, при которых оказался на площади.

Давидович утверждал, что он вышел из ГУМа. Но каждый москвич знает, что в воскресенье в ГУМе торговли не бывает, для покупателей он закрыт. Значит, если Давидович, как он утверждал, пришел на Красную площадь просто для воскресной прогулки, он в помещение ГУМа попасть не мог. Другое дело, если он был участником «оперативного мероприятия».

ГУМ своим фасадом выходит на Красную площадь, а торцевой частью на улицу Куйбышева, то есть на «правительственную магистраль», по которой следуют машины в Кремль и из Кремля на Старую площадь, в здание ЦК КПСС. Поэтому в здании ГУМа расположены круглосуточные посты оперативного наблюдения.

Если Давидович, утверждая, что на Красную площадь он вышел из ГУМа, сказал правду, это значит, что он находился там как участник запланированного «оперативного мероприятия».

Мой опыт работы адвоката избавлял меня от сомнений по поводу того, согласятся ли «сотрудники» — участники этого мероприятия — давать любые показания, которые от них потребует КГБ. Такое понятие, как уважение к правосудию, к обязанности гражданина говорить в суде только правду, в Советском Союзе вообще встречается нечасто. Те же свидетели, о которых пишу сейчас, могли не опасаться и привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Более того, они знали, что ни следователь, ни судья не будут даже пытаться уличить их во лжи, какой бы явной эта ложь ни была. Что потом каждое слово, сказанное ими по подсказке КГБ или прокуратуры, суд будет защищать от критики со стороны адвокатов и самих подсудимых.

Но я понимала, что весь этот ход рассуждений, важный для моей оценки показаний свидетелей, не может быть использован в суде, пока я не найду подтверждения того, что КГБ действительно оказывал давление на этих свидетелей.

Но, как ни скрывай, ложь обязательно где-то проявится.

И вот:

Том 1, лист дела 69, допрос свидетеля Куклина 27 августа.

25 августа стоял на посту на углу улицы Куйбышева. Заметил группу в 8–10 человек, которые шли по направлению к Лобному месту. Не знаю, почему, но я сразу обратил на них внимание и сразу побежал туда. Когда я прибежал на площадь, я увидел что-то в руках у граждан, которые сидели на тротуаре Лоб-

ного места... Близко к Лобному месту я не подходил и потому лозунгов не видел и выкриков не слышал... В этот же день после сдачи смены я написал рапорт.

Противоречия между показаниями Куклина и им же написанным рапортом очевидны.

В показаниях: «...Выкриков не слышал».

В рапорте: «...Они стояли на проезжей части и кричали...»

В рапорте: «На мое требование уйти с проезжей части эти граждане не реагировали, продолжали стоять и кричать».

Но как мог свидетель обратиться к демонстрантам с каким бы то ни было требованием, если близко к Лобному месту он не подходил (протокол допроса)?

Куклин — не обычный свидетель. Он инспектор ОРУДа. Ему был доверен один из самых ответственных постов в Москве — участок правительственной трассы, соединяющей Кремль с ЦК. Все его внимание сосредоточено на обеспечении правильного и безаварийного движения машин на обслуживаемой им территории, куда входит и Красная площадь. Естественно, что его показания представляют наибольшую ценность для решения вопроса о том, действительно ли демонстрация привела к нарушению нормальной работы транспорта. В рапорте он пишет:

Эта группа мешала движению транспорта, идущего из Спасских ворот Кремля на улицу Куйбышева и обратно.

В протоколе допроса об этом ни одного слова. И что особенно странно — следователь его об этом тоже не спрашивает. И не только при первом допросе, но и впоследствии. Не спрашивает его, была ли задержана в движении машина, а если была, то на какое время.

Все это могло бы вызвать у защиты серьезные недоумения и подозрения. Но они остались бы только подозрениями, если бы не небрежность, недосмотр следователя. Тот самый недосмотр, который всегда помогает обнаружить ложь и фальсификацию.

Допрашивая Куклина 27 августа, следователь записал с его слов:

В этот же день (т.е. 25 августа) после сдачи смены я написал рапорт.

А на приобщенном к делу рапорте стоит написанная Куклиным дата — «3 сентября».

Значит, это другой, новый рапорт, который написан взамен первого. Значит, содержание первого рапорта следствие не устраивало.

И не устраивало настолько, что работник городской прокуратуры изъял его из дела, то есть совершил уголовное преступление. Конечно, следователю ничего не стоило договориться со свидетелем, чтобы тот датировал свой новый рапорт прежним числом, то есть 25 августа. Следователь, очевидно, просто не обратил на это внимание. Забыл, что в показаниях Куклина есть эта последняя — изобличающая — строчка:

В этот же день я написал рапорт.

Многие, с кем мне приходилось разговаривать, уже здесь в Америке, спрашивали меня:

— А зачем вам, адвокатам, надо было выискивать все эти противоречия, разрабатывать планы допроса свидетелей, если действительно исход всех этих политических процессов предreshен заранее? Если вы твердо знали, что никакие аргументы защиты на приговор суда не повлияют?

Этот же вопрос, но несколько в иной редакции, задавали мне в Советском Союзе. Там все сами понимали предreshенность этих дел. Там говорили просто:

— Ведь все равно известно, что их осудят, и осудят на тот срок, который определяют КГБ и партийные инстанции. Зачем тратить столько сил и нервов на заведомо обреченную защиту?

В те годы один из известных московских бардов написал песню «Юридический вальс». Он посвятил ее адвокатам, участвовавшим в политических процессах:

Судье заодно с прокурором
Плевать на детальный разбор.
Им лишь бы прикрыть разговором
Готовый уже приговор.

А дальше об адвокатах:

Скорей всего, надобно просто
Просить представительный суд
Дать меньше по сто девяностой,
Чем то, что, конечно, дадут.

Откуда берется охота,
Азарт, неподдельная страсть
Машинам доказывать что-то,
Властям корректировать власть?..

Так откуда же, действительно, бралась охота, и если не азарт (это слово мне не кажется правильным), то неподдельная страсть?

Наверное, разные адвокаты должны были по-разному ответить на этот вопрос. Для некоторых главной движущей силой было стремление разоблачить, сделать наглядным для всех тот трагический фарс, каким являлись все политические процессы, в которых нам приходилось участвовать. Но для меня разоблачение было следствием работы, результатом той тщательности, с которой готовилась к каждому делу, но не ее причиной. У меня никогда не возникала мысль, что обреченность дела может позволить работать хуже, чем я умею, и, следовательно, хуже, чем я обязана.

Лариса Богораз и Павел Литвинов изучали дело тоже очень внимательно. С каждым из них я подробно обсуждала показания свидетелей, разъясняла намеченную мною линию защиты, учила тому, как правильно ставить вопросы. Особенно детально я готовила к предстоящему суду Ларису, которая решила, что в суде откажется от адвоката и будет защищаться самостоятельно, чтобы получить право, помимо последнего слова, произнести и защитительную речь.

В Советском Союзе адвокат, участвующий в политическом процессе, поставлен перед необходимостью осудить политические взгляды своего подзащитного. Дать им «правильную», «партийную» оценку. Лишь очень ограниченный круг адвокатов, выступавших в таких делах, отказывался следовать этой традиции. Пойти на большее, то есть солидаризироваться с политическими воззрениями и оценками подзащитных, и остаться после этого в адвокатуре было невозможно. Вот почему мы должны были сознательно ограничивать себя чисто правовыми аспектами защиты.

Я знаю, что ни тогда, ни позднее никто из самых требовательных и бескомпромиссных диссидентов не осуждал нас за это. Но даже сейчас, когда вспоминаю тот свой разговор с Ларисой, вспоминаю и острое чувство стыда, когда услышала от нее:

— Я должна сама произнести защитительную речь. Ведь кто-то должен от имени всех подсудимых открыто выступить против оккупации Чехословакии. Я думаю, что я это сделаю лучше других.

Я знала, что Лариса справится с этой задачей. Она обладала прекрасной способностью четко формулировать мысли. Ход ее рассуждений всегда строго логичен. И все же я особенно тщательно и придирчиво старалась оценить каждое слово, которое Ларисе предстояло сказать в суде. Я настойчиво повторяла:

— Помни, тебе могут запретить говорить о твоих взглядах и убеждениях, но никто не может лишить тебя права рассказать о том, почему ты пришла на Красную площадь. По закону суд обя-

зан установить мотивы тех действий, в которых обвиняется подсудимый.

Мы договорились с Ларисой, что о ее намерении защищаться в суде самостоятельно никто, кроме самых близких, знать не должен. Ей важно было сохранить право на встречи со мной до суда.

Договорились и о том, что после суда я вновь стану ее официальным защитником и буду представлять ее интересы в Верховном суде РСФСР в кассационной инстанции.

Так шли эти недолгие дни подготовки к делу. Каждое утро я ехала в Лефортово с чувством, что меня ждут, что я нужна. Какой тяжелой оказалась для меня потеря этого чувства в нынешней уравновешенной и размеренной жизни в эмиграции!..

Следователь Галахов был достаточно снисходительным «надзирателем». Скучая от безделья, он часто отлучался из кабинета, чтобы, как он говорил, «потрепаться» с кем-нибудь из знакомых следователей. В эти свободные минуты наедине мы переставали говорить о деле. Я рассказывала Павлу и Ларисе об их друзьях, о близких и родных им людях. Говорили о стихах, о любимых книгах, о кино.

С Ларисой больше всего говорила о ее сыне Саньке и о Толе Марченко. Рассказала ей и о том поразительном разговоре, который был у меня с народным судьей, судившим Марченко. Когда я в первый раз сразу после вынесения приговора по делу Анатолия Марченко зашла в кабинет судьи, он весьма нелестно отозвался о Ларисе (она была свидетелем по делу), Павле и других друзьях Анатолия, которых он видел в суде.

Он считал, что все эти интеллигенты просто боялись подписывать «открытые чешские письма» своими именами. Что они воспользовались Анатолием — «простым русским рабочим парнем» (как он его назвал) как прикрытием. Именно они обрекли его на тюрьму, а сами остались в безопасности.

28 августа, уже после демонстрации и ареста Павла и Ларисы, я вновь пришла в тот суд, чтобы сдать кассационную жалобу по делу Анатолия.

Секретарь суда сказала, что народный судья просил меня обязательно зайти к нему. Я вошла в зал судебного заседания, когда там слушалось какое-то уголовное дело. За судейским столом сидели те же женщины — народные заседатели, которые участвовали в суде над Марченко. Одна из них увидела меня и, наклонившись к судье, что-то прошептала.

Неожиданно судья прервал свидетеля, объявив перерыв на пять минут, и, обращая ко мне, попросил зайти с ним в совещательную комнату. А там после небольшой паузы он произнес следующие слова:

— Нам всем, — и он кивнул на заседателей, и они тоже согласно кивнули головой, — очень хотелось увидеть вас, чтобы сказать, что мы были несправедливы. Мы неправильно думали и говорили о тех людях, если вам представится возможность увидеть их, скажите им об этом.

— Наверное, я их увижу и тогда обязательно передам ваши слова.

И хотя судья не назвал тогда ни одного имени, я считаю, что обещание выполнила, пересказав все это Павлу и Ларисе.

(Этот судья вскоре оставил свой пост. Как говорили, он сам отказался от выдвижения своей кандидатуры на новых выборах.)

Много позже Павел и Лариса в письмах, которые я получала от них из далекой ссылки, вспоминали эти наши долгие разговоры в Лефортове.

А ведь, честное слово, хорошее было времечко сентябрь–октябрь, да? ...А халва, увы, для меня теперь дорога больше как память, кажись, заработала в этапах какую-то хворобу...

Диночка, пишу эту короткую записку пока. Мне просто захотелось поговорить с вами — просто так, ни о чем. Как тогда в сентябре, —

писала Лариса.

Милая, дорогая моя адвокатка! (Это мой лефортовский сосед говорил: — Опять к тебе адвокатка пришла.) Большое спасибо за суд, за наши разговоры в Лефортове. Помните?

Так начиналось первое письмо, полученное мною от Павла Литвинова.

Помню. Грустное и смешное. Важное и незначительное. Помню до нелепых, никому, кроме меня, не нужных подробностей, плотно осевших в памяти.

20 сентября 1968 года адвокаты и обвиняемые полностью закончили ознакомление с материалами дела.

В этот же день я заявила ходатайство об отмене постановления следователя о выделении дела в отношении Файнберга и об исключении из обвинения Ларисы Богораз эпизода, связанного с подачей ею заявления об объявлении забастовки. В тот же день в удовлетворении ходатайства мне было отказано. Аналогичный отказ в ходатайстве, связанном с делом Файнберга, получили и остальные адвокаты. Нам

было ясно, что КГБ ни при каких условиях не согласится на то, чтобы Файнберг появился в открытом судебном заседании с выбитыми при разгоне демонстрации зубами.

«Утверждаю»

Заместитель прокурора
города Москвы

Секретно.
Экземпляр № 8

23 сентября 1968 г.

Отпечатано в 15 экземплярах

В. Колосков
Составлено 20 сентября 1968 г.

Заказ № 333/531
23 сентября 1968 г.

Документ, первые и последние строчки которого я привела и о секретности которого со всей категоричностью свидетельствует специальный гриф в правом верхнем углу страницы и указание на количество отпечатанных экземпляров, — это обвинительное заключение по делу № 41074/56-68с о демонстрации на Красной площади. Буква «с» в конце номера — это тоже индекс секретности. Одна эта буква, стоящая на обложке каждого из томов, определяет особый путь, которым дело, минуя общие канцелярии, попадает прямо в «Специальный отдел» Московского городского суда, регистрируется по особой картотеке «Специальной канцелярии». И дальше дело пойдет этим особым, «специальным» путем, вплоть до Верховного суда. «Специальная» канцелярия, «специальная» регистрация, «специальный» состав судебной коллегии, который будет рассматривать дело.

Все, кто занимался делом о демонстрации, знают, что в его материалах нет ничего, что может быть признано секретным. Здесь гриф «Секретно» — это «уши», все время тщательно скрываемые, но все же вылезавшие уши КГБ. Это его индекс, его «специальная» канцелярия, его «специальный» состав суда. Поэтому, когда советские власти во всеуслышание, для всего западного мира утверждали, что дело о демонстрации на Красной площади — это обычное уголовное дело, они лишь пытались скрыть значение, которое сами же этому делу придавали, вручив судьбу демонстрантов органу, охраняющему государственную безопасность Советского Союза.

Все те понятные советским юристам приметы участия КГБ в расследовании дела, о которых я уже писала (содержание арестованных в следственном изоляторе КГБ, необычно быстрое расследование дела), вновь нашли свое подтверждение.

Я уже не удивлялась молниеносности, с которой дело поступило в суд и было назначено к слушанию. Всего 9 рабочих дней оставалось

до даты, на которую было назначено рассмотрение дела. За эти 9 дней должен быть назначен судья, вручены копии обвинительных заключений всем обвиняемым (не менее чем за трое суток до суда), разосланы повестки всем свидетелям, часть из которых живет в отдаленных от Москвы районах страны. Адвокаты должны иметь время для дополнительного изучения дела и свиданий со своими подзащитными.

Но главное — это судья. Судья, который еще не видел дела, которому предстоит изучить три больших тома следственных материалов; решить вопрос, достаточно ли собрано доказательств для предания обвиняемых суду, подготовиться к допросу более тридцати свидетелей.

Я могу твердо сказать, что девятидневный срок — это больше, чем исключение. Это уникальный по своей краткости срок, требующий для его соблюдения уникальной слаженности во всех звеньях судебной системы...

Суд успел сделать все.

Уникальную заботу проявили в отношении защитников.

Судьям народных судов, Городского суда и даже Верховного суда РСФСР было предложено снять со слушания и перенести на другие числа все дела, в которых должны были участвовать в тот период времени адвокаты Каллистратова, Каминская, Монахов и Поздеев.

Все было подчинено одному — закончить рассмотрение дела в предельно сжатый, кем-то в очень высоких инстанциях установленный срок. (Мне тогда говорили, что это указание исходило от ЦК КПСС.)

Я рассталась с Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз 20 сентября. И вот прошла всего неделя, и я вновь еду к ним знакомой дорогой в Лефортовскую тюрьму.

— Что случилось, Дина Исааковна? Я вас не ждал так скоро, — мне кажется, именно так встретил меня Павел. И уже потом: — Простите, я даже не поздоровался.

В нашем кабинете полная тишина. Изредка обмениваемся какими-то невыразительными репликами. Все остальное время пишем. Павел прекрасно понимает, что наше свидание наедине прослушивается и записывается от начала до конца. Не сомневаюсь в этом и я.

В этот день я пришла в тюрьму очень рано. Специально спешила, чтобы не ждать в «адвокатской очереди», чтобы сразу получить кабинет. И действительно, в приемной, где мы, адвокаты, выписываем требования на свидания с подзащитными, я была одна.

И началось ожидание. Дежурный, у которого я время от времени спрашивала, когда же я получу кабинет, неизменно отвечал:

— Приходится подождать — все кабинеты заняты.

А потом мы шли с ним по коридору к освободившемуся наконец кабинету. Узкий коридор. С правой стороны окна, с левой — двери в кабинеты для свидания. Все двери раскрыты нараспашку. Все кабинеты пусты. Я была единственным посетителем в эти ранние часы. Мне выделили для работы последний кабинет. Самый неудобный — в нем не было даже звонка для вызова дежурного. Когда кончается свидание, надо выходить в коридор и кричать в старинный рожок:

— Дежурный! Дежурный!!!

И опять ждать и гадать — услышал он твой крик или нет. Я попросила разрешения занять любой другой кабинет — там и удобные столы, и специальные звонки. Мой сопровождающий ответил с полной категоричностью:

— Ничего не могу сделать, товарищ адвокат. Приказано предоставить вам именно этот кабинет.

Как я могла расценить и этот отказ, и долгое, на первый взгляд бессмысленное ожидание? У меня на это только один ответ.

Я пришла слишком рано. К моему приходу кабинет не успели оборудовать специальной прослушивающей аппаратурой.

Вообще-то это было идиллическое время. Мы работали в этих старых кабинетах-клетушках, в которых обычно происходят в присутствии конвоя свидания осужденных с родственниками. Поэтому там и не было постоянной звукозаписывающей аппаратуры. Позже нам стали предоставлять большие светлые кабинеты на втором этаже с хорошими письменными столами и непременно телевизором. Там даже переписываться с подзащитным стало опасно.

А почему опасно? Что криминального происходило во время свидания адвоката со своим подзащитным? Что незаконного приносили им или уносили от них?

Я приносила. Волнуясь, страшась разоблачения, но приносила курящим — сигареты, которые они курили во время свидания, а потом поштучно засовывали в специально принесенную пустую пачку от таких же сигарет, чтобы иметь возможность взять их с собой в камеру. Некурящим — шоколад, который тоже тайком, отламывая по кусочку, они съедали в моем присутствии, а обертку от которого я засовывала обратно в портфель.

Какие запрещенные темы обсуждали мы во время свидания наедине, что нам приходилось опасаться подслушивания?

Я рассказывала Павлу и Ларисе о всех передачах западного радио о предстоящем над ними суде.

А это запрещено.

Я рассказывала о судьбе их друзей и товарищей, о том, что приговор по делу Анатолия Марченко оставлен в силе, а сам Толя уже в тюрьме в городе Соликамске.

Это тоже запрещено.

Я пересказывала им, а иногда давала читать письма от родителей, жен, невест, друзей. Письма полные нежности, заботы о них, выражения гордости за них и восхищения их мужеством.

Если внимательно читать мое досье, то можно наткнуться на такие записи.

Том 2, лист дела 87. Показания свидетеля Веселова.

25 августа я пришел... «Милый мой бесценный друг! До сих пор не могу себе простить, что меня не было в Москве в тот трудный и великий ваш день. О вас мне много говорят и много пишут. Все отдадут вам великую честь».

И дальше многочисленные приветы и выражения надежды на скорую встречу «куда бы ни занесла вас судьба».

Просто дать прочитать такое письмо Павлу (это ему оно было адресовано) я не могла, это запрещено. Вот и вынуждена была, переламывая свою природную дисциплинированность и законопослушность, идти на эту примитивную, но безотказно меня выручавшую конспирацию. Я делала это потому, что была уверена тогда, равно как и сейчас, что правосудие не пострадает оттого, что обвиняемые будут знать, что они не забыты, что о них думают, что демонстрация не прошла бесследно.

Павел и Лариса, с точки зрения любого адвоката, «отличные» подзащитные. Умные, образованные, умеющие прекрасно формулировать свои мысли. Они ставили перед собой единственную задачу — рассказать правду о том, *почему* пришли на Красную площадь, какие мотивы руководили ими. Каждый из них независимо и самостоятельно определил и линию своего поведения в суде — не отвечать на вопросы о действиях других.

Мне не нужно было учить их, *что* говорить. Я должна была лишь корректировать форму их показаний в соответствии с процессуальными требованиями закона.

Это была совсем несложная задача. И все же...

Целые страницы, зачеркивая потом все написанное строчку за строчкой, посвящали мы разработке отдельных аспектов защиты. Тому, как надо отвечать на вопросы и как их ставить.

Это разрешенная для обсуждения тема. Но ведь мы вовсе не были заинтересованы в том, чтобы наша аргументация заранее становилась известной прокуратуре и КГБ, а значит, и тем специалистам, изблечать которых во лжи нам предстояло в суде.

Так поступала не только я. Этим же способом пользовались многие адвокаты. Помню, как Каллистратова после свидания с Вадимом Делонэ говорила мне:

— Диночка, хорошо, что я уже вполне пожилая женщина. А то что бы они (имелась в виду тюремная администрация. — *Д.К.*) должны были обо мне подумать! Я три часа провела на свидании с Вадимом, и за все это время, кроме «Здравствуй, Вадим» и «До свидания, Вадим», ничего не сказала.

Нужно сказать, что сам факт прослушивания не представлял для меня чего-нибудь нового или необычного. Прослушивание стало бытовым явлением, прочно вошло в жизнь многих семей. Я знала, что не только телефонные разговоры, но и вообще каждый шорох в моей квартире прослушивается круглосуточно. Знала и то, когда именно нашу квартиру к этому прослушиванию подключили.

Это случилось в конце октября 1967 года. Уже после суда над Владимиром Буковским и после того, как я заканчивала знакомиться с многотомным делом Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга и других, обвинявшихся в антисоветской агитации и пропаганде. Судебный процесс над ними был еще впереди.

Как-то вечером у меня дома собрались гости. Наш разговор был прерван появлением моего сына Дмитрия. Он вошел в комнату как-то очень растерянно улыбаясь.

— Папа, — сказал он, — ты мне очень нужен, выйди ко мне на несколько минут.

Муж вернулся очень скоро. Он был растерян не меньше сына.

— Я должен сказать вам, что весь разговор, каждое слово, которое вы произносите в этой комнате, отчетливо слышно в комнате сына. Стоит только снять телефонную трубку.

Мы жили в трехкомнатной квартире с двумя коридорами. Комната сына — первая от входной двери, наша — последняя. Нас разделяли два коридора и большая комната, в которой тогда жила моя мать. В моей комнате не было ни телефонного аппарата, ни проводки для телефона.

Первой моей реакцией было:

— Не может быть!

Но вот я уже стою в комнате сына и, сняв телефонную трубку, слушаю... Долгий телефонный гудок — и сквозь него...

Мне никогда до этого не приходилось с такой отчетливостью слышать человеческий голос и каждый звук — шум льющегося в бокал вина, легкий звон стекла... — все, как бы усиленное в громкости, доносится до меня из телефонной трубки.

Потом мои гости по очереди совершали этот путь от обеденного стола в комнату сына. Каждый хотел убедиться сам. Все единодушно считали, что прослушивающее устройство установлено не только в телефонном аппарате, но и непосредственно в моей комнате.

Если это действительно так, то я с очень большой степенью вероятности могу предположить, кто и когда это сделал.

Среди наших знакомых был человек, с которым в течение многих лет мы регулярно встречались на театральных премьерах, на просмотрах новых кинофильмов. Но он никогда не бывал в нашем доме, равно как и мы никогда не бывали у него.

За несколько дней до описываемого вечера он позвонил и сказал, что ему нужно срочно посоветоваться по какому-то юридическому вопросу. Я предложила ему прийти ко мне в консультацию, но он так настойчиво говорил, что хочет получить совет от нас обоих, что очень важно, чтобы в обсуждении принял участие и мой муж, что пришлось разрешить ему прийти к нам домой.

Когда он ушел, мы с мужем долго удивлялись — а зачем, собственно, он приходил? Настолько несерьезным оказался вопрос, ради которого он стремился встретиться с нами. За этим человеком в течение многих лет шла недобрая слава секретного осведомителя КГБ. Мы с мужем никогда не позволяли себе верить во многие порочащие человека слухи, лишённые реальных и бесспорных оснований. Но тогда он оказался единственным, кого я могла подозревать.

История с телефоном нас не напугала и даже не взволновала. Приняли ее как естественное развитие моей адвокатской деятельности и тогда же решили: для нас это не существует. В своем доме мы должны жить свободно, иначе жизнь станет просто невыносимой.

На следующий день после того, как мы узнали, что наша квартира прослушивается, раздался звонок в дверь. Передо мной стоял незнакомый мужчина в темном пальто и меховой шапке.

— Я с телефонной станции. Пришел проверить, как работает ваш телефон.

— Как это любезно, — сказала я. — Ведь мы мастера не вызывали.

— Это теперь у нас новая форма обслуживания — сами ходим проверяем свой участок. Имеются у вас жалобы на работу телефона?

Поверить в то, что это действительно обычный телефонный мастер и что советский сервис достиг такой небывалой высоты, я, естественно, не могла. Скрывать обнаруженный дефект в подслушивающем устройстве я не хотела. Выслушав мой рассказ о появившейся у нас счастливой возможности быть в курсе всего, что проис-

ходит в других комнатах моей квартиры, «телефонный мастер» быстро сказал:

— Это индукция. — И, увидев недоумение на моем лице, вновь уверенно повторил: — Это индукция.

Новый телефонный аппарат он предусмотрительно захватил с собой, чтобы заменить им наш старый. Прощаясь с мастером, я протянула ему рубль. Наш «мастер» от денег отказывался с негодованием. И все же рубль он взял. Очевидно, моя аргументация показалась ему убедительной. И что мог он возразить на мои слова:

— Если вы действительно мастер с телефонной станции, то и ведите себя соответственно. Они никогда от денег не отказываются.

После его ухода я решила позвонить в районное бюро ремонта и попытаться выяснить, кто же был этот человек. Я сказала, что хочу направить в их адрес благодарность мастеру за быстрый и качественный ремонт. Там долго проверяли заявки и наряды на ремонт, а потом ответили:

— Это какое-то недоразумение. Мы к вам мастера не посылали.

С тех пор в кругу моих друзей слово «индукция» полностью заменило длинное и неблагозвучное слово «прослушивание». Когда кто-нибудь говорил:

— У меня телефон с индукцией, — всем было понятно, о чем идет речь.

Хотя наше дело рассматривал по первой инстанции Московский городской суд, местом его слушания был избран народный суд Пролетарского района Москвы. Этот суд расположен в старинном здании, выходящем одной стороной на набережную реки Яузы, а всем своим фасадом — в небольшой переулок. Здесь всегда тихо — нет больших домов-новостроек, а переулок настолько узкий, что по нему нет сквозного движения транспорта. Процесс был назначен на 9 октября 1968 года в 9 часов утра — ровно на один час раньше установленного законом начала рабочего дня в народных судах и в Городском суде.

И место слушания, и это раннее необычное время — все для того, чтобы, по возможности, скрыть от «нежелательной» публики, где и когда будет слушаться дело. Чтобы все те, кого условно объединяют термином «либеральная интеллигенция», да еще иностранные корреспонденты не успели приехать до открытия судебного заседания.

Как только я показалась в переулке, меня плотно окружила толпа.

Знакомые и незнакомые, молодые и пожилые. Это те, кто, несмотря на старания властей, пришли сюда по доброй воле. Кто волнуется

ся за исход дела. Кому дороги подсудимые. Кто хотя бы самим фактом присутствия хочет выразить солидарность с ними. Все они останутся стоять на улице — их в зал суда не впустят. Практически здание народного суда было полностью заблокировано. Не пускали не только посторонних, не только эту нежелательную публику, но даже и работников самого народного суда. Весь народный суд Пролетарского района полностью прекратил работу на время слушания дела о демонстрации.

С трудом пытаюсь пробиться к входной двери сквозь него-дующее:

— Почему нас не пускают?

— Почему каких-то специально подобранных людей проводят через запасной ход?

— Мы требуем, чтобы нас пропустили!

— Вы должны заявить ходатайство!

Но вот уже кто-то крикнул:

— Пропустите адвоката!

Уже проверено мое адвокатское удостоверение, и я в здании.

На третьем этаже, где должно слушаться наше дело, — пусто. Закрыты двери в судебные залы, расположенные по одну сторону коридора. Напротив дверь канцелярии по уголовным делам. Из нее слышны голоса, и я захожу туда.

Я никогда не служила в армии, но в моем представлении примерно так должен выглядеть ее штаб перед ответственным наступлением. Председатель Московского городского суда Осетров, помощник прокурора Москвы Фунтов, какие-то неизвестные мне высокие чины из КГБ плотным кольцом окружили нашу судью Лубенцову. Несколько в стороне председатель Московской коллегии адвокатов Константин Апраксин.

Все руководство заинтересованных организаций: суда, прокуратуры, КГБ и адвокатуры — собралось здесь, чтобы осуществлять оперативное руководство работой «независимого» суда, прокурора и адвокатов. Мне в этом «штабе» делать нечего, и я возвращаюсь в коридор и наблюдаю, как Софью Васильевну Каллистратову так же, как и меня минуты назад, окружили взволнованные, что-то ей непрерывно говорящие люди. Вижу, как она согласно кивает им головой, как перед ней расступаются, уступают дорогу.

Валентину Федоровну Лубенцову, члена Московского городского суда, которой поручено рассматривать дело о демонстрации на Красной площади, я знала много лет, и знала довольно хорошо. Настолько хорошо, насколько вообще в Советском Союзе адвокат может

знать судьбу. Я встречалась с ней в суде и только по профессиональным делам. Лубенцова всегда была приветлива, в судебном заседании неизменно корректна. Не отличаясь ни выдающейся образованностью, ни выдающимся умом, она была опытным судьей, разумно строгим и разумно либеральным.

Я часто выступала в уголовных процессах под ее председательством. Были дела, в которых она соглашалась с моими доводами, бывали и такие, когда она их отвергала. Но и в этих последних у меня не было оснований считать выносимый ею приговор вопиюще несправедливым.

По всему строю своей психологии Лубенцова вполне советский человек, принимающий эту власть и в основном ею довольный. Она жена офицера — полковника Советской армии, причем полковника не строевого, а работающего в Москве в Министерстве обороны. Жили они в хорошей, благоустроенной квартире.

Думаю, что Лубенцова любила свою работу; во всяком случае, очень дорожила ею. Ее мировоззрение — это конформизм, причем конформизм искренний. Она верила в то, что ей говорила Партия, и, как бы ни менялись партийные установки, принимала каждую новую как единственно правильную.

В том, 1968-м, году процесс демократизации в Чехословакии был предметом оживленных и достаточно откровенных споров в любой аудитории. Единственный слой городского общества, с которым я никогда не имела общения и о мнении которого, естественно, судить не могу, — это партийный аппарат во всех его звеньях.

Многие из тех, с кем говорила я тогда, действительно поддерживали курс советского правительства. Они верили, что в Чехословакии идет процесс реставрации капитализма, что существует реальная угроза вторжения в Чехословакию западногерманских войск. Кроме того, часто приходилось слышать и такие аргументы:

— Мы за них кровь проливали, они нам обязаны спасением от фашизма, а теперь они нас же и предают.

Но хотя людей, веривших в это, было много, я вовсе не уверена, что их было большинство. Не менее часто приходилось сталкиваться с теми, для кого процесс либерализации в Чехословакии перестал быть событием внешней политики. Они воспринимали Пражскую весну как пример, вселяющий надежду на более свободную жизнь и внутри нашей страны.

Чехам в то время завидовали, ими восхищались.

Либеральная интеллигенция восприняла вторжение советских войск в Чехословакию как национальную трагедию нашей страны и как ее национальный позор.

Судья Лубенцова была из тех, кто верил советской пропаганде и оправдывал вторжение советских войск, считая эту акцию советского правительства разумной и даже необходимой. В ее глазах демонстрация на Красной площади была преступной, даже если формально она ни под какую статью уголовного кодекса не подпадала. Тут действовало то самое «социалистическое правосознание», руководствоваться которым закон обязывает судей (статья 16 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). А правосознание советских судей — «это прежде всего отражение в их сознании партийных и государственных идей» (Комментарии к статье 16 Кодекса).

Лубенцова считала справедливым, что участников демонстрации на Красной площади судят; считала, что они заслуживают наказания. Но в то же время это ее убеждение носило несколько общих, абстрактный характер и не отражалось на личном отношении к подсудимым.

Как-то за несколько дней до начала нашего дела я была в одном из народных судов Москвы. О женщине-судье, с которой мне надо было встретиться, адвокаты говорили:

— Она такая жалостливая! Оправдывать она не любит, но зато и суровых приговоров не выносит.

Так вот, эта «жалостливая» судья сказала мне:

— Если бы я была в то время на Красной площади, я собственными руками вырвала бы их бесстыжие глаза, и сделала бы это с удовольствием!

Ее лицо при этом выражало такую неподдельную ненависть и жестокость, что заподозрить ее в неискренности было нельзя. Я ничего ей не возразила. Смолчала и тогда, когда присутствовавший при этом разговоре юноша-секретарь судебного заседания сказал:

— Как вы можете так говорить! Ведь даже слушать вас и то стыдно...

Я смолчала потому, что чувствовала — стоит мне заговорить, и я не смогу сдержать себя, удержаться в нужных рамках корректности. Да у меня и не могло быть с ней общего языка, не было надежды на взаимопонимание.

Уже после суда, когда Лариса, Павел и Константин Бабицкий были осуждены на долгие годы ссылки, некоторые судьи выражали недовольство неоправданной, на их взгляд, «мягкостью» приговора:

— Их не в ссылку надо было, а в лагерь, да еще строгого режима, вместе с отпетыми уголовниками. А ссылка — это разве наказание для таких негодяев?!

Уверена, что Лубенцова подобных чувств не испытывала. Во всяком случае, никогда — ни в разговорах с ней до суда, ни в ее поведении

в судебном заседании, ни во время многих и достаточно откровенных с ней разговоров об этом деле уже после суда — я не почувствовала проявления пренебрежения или презрения к подсудимым, сожаления, что ей пришлось наказать их недостаточно сурово.

Насколько я знаю, дело о демонстрации на Красной площади было первым политическим процессом в судебной практике Лубенцовой. Поставленная в условия, при которых ничего не могла решать сама, когда ей заранее было указано и то, что нужно осудить всех подсудимых, и то, по каким статьям и к какому сроку наказания каждого из них, она приняла эти условия как естественные для такого необычного дела и ничем не унижающие ее судейского достоинства.

В своем неизменном скромном костюме она сидела за судейским столом не проявляя волнения, недовольства или повышенного раздражения. Лубенцова исполняла отведенную ей роль руководителя судебной постановки с профессиональным умением, но, как мне кажется, без всякого интереса. Судья, которую всегда интересовал вопрос «Почему?», здесь не только избегала его задавать, но и весьма неохотно выслушивала объяснения подсудимых, как только они переходили к мотивам или причинам своих действий. Она отказывала адвокатам и подсудимым в удовлетворении всех существенных ходатайств с короткой, но вполне категорической формулировкой:

— Суд не видит в этом необходимости.

И она была права. В этом действительно не было необходимости. Каким бы ни оказалось содержание документов, об истребовании которых просила защита, какие бы показания ни дал в суде свидетель, о допросе которого ходатайствовали обвиняемые, все подсудимые все равно были бы осуждены с той формулировкой обвинения, которая была одобрена и утверждена еще до суда.

Каждый советский адвокат может привести не менее вопиющие примеры, когда судья отбрасывает как несущественное все то, что говорит в пользу обвиняемого, даже не пытаясь проверить обоснованность обвинения в той или иной его части. Но ведь Лубенцова не принадлежала к числу таких судей. Для нее эта тенденциозная манера ведения судебного следствия, когда все было подчинено заранее принятому решению, была исключением.

После дела о демонстрации на Красной площади Лубенцовой часто поручали рассматривать политические дела, но я уже в них не участвовала. Знаю только из рассказов моих коллег, что она из процесса в процесс игнорировала не только все спорное, но и все то, что безусловно свидетельствовало в пользу обвиняемых. Сначала это не отражалось на ее поведении в обычных уголовных делах. Но приобретенная при рассмотрении политических дел привычка к нару-

шению закона оказалась мстительной. Все чаще и все более четко стали проявляться несвойственные ей раньше черты бездушного чиновника.

— Лубенцова уже не та, — говорили не только адвокаты, но и прокуроры и даже секретари судебных заседаний.

Прошло несколько лет, и стали забывать о времени, когда участвовать в деле под ее председательством было удачей. Когда можно было сказать подсудимому:

— Вам повезло, ваше дело будет рассматривать хороший судья.

Но вот ровно в 9 часов в переполненном до отказа зале раздаются:

- Подсудимая Богораз — доставлена.
- Подсудимый Литвинов — доставлен.
- Подсудимый Делонэ — доставлен.
- Подсудимый Бабицкий — доставлен.
- Подсудимый Дремлюга — доставлен.

Это судья Лубенцова называет каждого из подсудимых, а секретарь свидетельствует о том, что он доставлен в судебное заседание.

В первые минуты слушания дела я волнуюсь больше обычного. Сейчас я защитник Ларисы Богораз и Павла Литвинова. Пройдет несколько минут, и у меня останется один подзащитный — Лариса заявит суду, что будет защищаться сама. Первый раз в моей жизни подзащитный будет отказываться от моих услуг. И хотя я знаю, что Лариса заявит это ходатайство абсолютно корректно, все же не могу отделаться от неприятного чувства уязвленного самолюбия.

Остальные ходатайства общие у всех подсудимых и их адвокатов. Их несколько. Мы просили:

1. Включить в список лиц, подлежащих допросу в судебном заседании, дополнительно 6 свидетелей.

Советское право не знает понятий «свидетелей обвинения» и «свидетелей защиты». Закон обязывает следователей включать в список свидетелей для вызова в суд — как тех, кто дает показания против обвиняемых, так и тех, кто свидетельствует в их пользу.

Свидетели Леман, Великанова, Медведовская, Баева, Русаковская, Панова были допрошены на предварительном следствии. Все они дали показания в пользу подсудимых. Ни одного из них следователь в список не включил.

2. Направить дело на исследование для объединения его с делом Виктора Файнберга. Это повторение того ходатайства, которое мы заявляли при ознакомлении с делом.

3. Направить дело на следствие для установления лиц, производивших задержание обвиняемых, и расследования правомерности их действий.

Суд удовлетворил ходатайство Ларисы и предоставил ей право защищаться самостоятельно. Частично удовлетворил наше ходатайство о вызове свидетелей. Из шести человек, о допросе которых мы просили, вызвали трех — Лемана, Великанову и Медведовскую. Во всех остальных ходатайствах нам было отказано.

Оглашается обвинительное заключение.

Потом начнутся допросы подсудимых и свидетелей. Наверное, сейчас последний момент, когда могу представить подсудимых читателю, пользуясь тем, что считал необходимым сообщить о них следователь, и тем, что сообщили они сами о себе.

Владимир Дремлюга. Ему 28 лет. Из тех сведений, которые он сообщил о себе, знаю, что в 1958 году он был исключен из комсомола за «разрушение советской семьи, неуплату членских взносов». Кроме того, он был исключен из Ленинградского университета с формулировкой: «За поведение, недостойное советского студента». Подлинной причиной исключения была следующая история.

Дремлюга жил в коммунальной квартире. Его соседом был бывший сотрудник КГБ, к которому, судя по всему, Владимир особых симпатий не испытывал. Дремлюга договорился со своим товарищем, и тот передал через соседа письмо, на конверте которого было написано: «Капитану КГБ Владимиру Дремлюге». Эта, на мой взгляд, не самая удачная шутка была расценена как дискредитация органов государственной безопасности и повлекла за собой исключение из университета.

Официальная характеристика Дремлюги дополняется тем, что он был судим за совершение уголовного преступления — перепродажу автомобильных покрышек, и тем, что во время обыска у него был изъят вполне внушительный по количеству имен «донжуанский» список.

Это все из материалов дела. А в памяти лицо Владимира, полное живого интереса ко всему окружающему, и его шутки во время перерывов, и никакого уныния, никакой растерянности. И то, как уже на второй день процесса Владимир говорит мне, показывая на сидящих в зале двух действительно очень красивых девушек:

— Не правда ли, эта особенно мила?.. Неужели вы находите ту более красивой? И знаете — я влюблен. Не смейтесь, Дина Исааковна! Я действительно влюблен...

Константин Бабицкий. 39 лет. Он закончил два высших учебных заведения, он математик и филолог. Научный работник, опубли-

ковавший 12 работ. К моменту ареста еще три написанные им научные работы были приняты к печати. У Бабицкого жена и трое детей. Старшему 15 лет, младшему — 10.

Это тоже из материалов дела.

А в памяти выражение сосредоточенности и углубленности в себя. Интеллигентная и очень достойная манера, в которой он отвечает на вопросы и дает показания. И глубокая убежденность, звучащая в голосе, когда он, обращаясь к суду, говорит:

— Вы видите перед собой людей, взгляды которых в чем-то отличаются от общепринятых, но которые не меньше любого другого любят свою родину и свой народ и потому имеют право на уважение и терпимость.

Владимир Делонэ. 21 год. «Холост, образование среднее, без определенных занятий, судим».

После первого судебного процесса Вадим уехал из Москвы и учился в Новосибирском университете. Писал стихи. Дважды был награжден за свое творчество премиями.

Летом 1968 года решил вернуться в Москву. 12 августа он получил паспорт с временной московской пропиской. 25 августа он был арестован — в его распоряжении было 8 рабочих дней для трудоустройства. Он уже подыскал и место будущей работы, но оформить его там не успели. И следователь записал в его анкетных данных: «Без определенных занятий».

Я не видела Вадима с того самого дня — 1 сентября 1967 года, когда его освобождали из-под стражи в зале Московского городского суда. Тогда передо мной был мальчик, которого я жалела. Теперь — серьезный, спокойный человек, обретший уверенность в правоте своего поступка.

Изменился стиль его показаний. Слова, которые он употреблял, стали строже, исчезла изысканность и артистичность — появились сдержанность и уверенность. То, что он говорил, звучало не менее искренне, чем тогда, когда слушала его впервые. Он не утратил, а приобрел. И этим приобретением было чувство собственного достоинства.

Павлу Литвинову 28 лет. «Образование высшее, по профессии физик, без определенных занятий, на иждивении сын восьми лет».

Литвинов — фамилия в Советском Союзе широко известная. Максим Литвинов был одним из самых активных деятелей еще старой дореволюционной большевистской партии. Он был крупнейшим советским дипломатом, в течение долгих лет — народным комиссаром (министром) иностранных дел, представлял Советский Союз в Лиге Наций, был послом в США.

Павел — его внук.

Жизнь Павла была вполне благополучной. Окончил университет, работал ассистентом на кафедре физики. Любил своих учеников, и они любили его. Так было до тех пор, пока он не стал активным участником правозащитного движения. В результате — увольнение из института, где он преподавал, невозможность устроиться на работу. И все же его нельзя было назвать человеком «без определенных занятий». Он давал частные уроки физики, имел постоянный заработок, который обеспечил ему скромное, но все же независимое существование.

Весь последний год до ареста Павел жил под постоянным наблюдением агентов КГБ, которые следовали за ним буквально неотлучно. Они не отрывались от него ни на минуту. Дежурили около его дома, ждали его выхода, сопровождали его на улице, в троллейбусах, метро. Следовали за ним в специальной оперативной машине, если он ехал на такси. Это не с чужих слов рассказываю — сама видела, когда Павел приходил ко мне в юридическую консультацию.

Ларисе 39 лет. Она кандидат наук, ученый. Лариса — мой друг. Я знаю ее не в пример лучше, чем других обвиняемых. Я люблю ее за мягкость и доброту, за верность в дружбе, за готовность помочь каждому, кто в ее помощи нуждается. Как-то один очень недоброжелательно относящийся к ней человек сказал мне:

— Я согласна с вами, что она мужественная женщина, но она плохая мать и плохая дочь. Разве не должна была она подумать о сыне и о стариках-родителях?

Я уверена, что этот упрек жесток и очень несправедлив.

Очень много думаю о Санюшке и не только думаю, а все время вспоминаю, каким он был тогда, каким вот тогда. Знаешь, — всегда хорошим. Я его очень люблю. А сейчас — с особой нежностью и болью...

У меня к тебе большая непрофессиональная просьба. Милая, звони время от времени моим родителям, — просто чтобы утешить их, развлечь, дать возможность поговорить обо мне. Не могу отвлечься от мысли о том, как им сейчас трудно.

Так писала мне Лариса из своей далекой ссылки, где мучительно тяжелый быт и полное одиночество.

Сколько нежных слов о «Санюшке», о родителях пришлось мне услышать от Ларисы в часы наших с ней свиданий до и после суда! В них не только любовь к ним, но и постоянная забота, беспокойство и подлинная боль из-за причиненного им горя.

Тогда, в первые часы судебного заседания, слушая скупые сведения, которые каждый из подсудимых сообщал о себе, я все время думала: «Какие они разные, ни в чем не похожие друг на друга...»

А теперь — показания в суде (в том же порядке, который избрала, рассказывая о каждом из них).

Владимир Дремлюга:

Я решил принять участие в демонстрации уже давно, еще в начале августа. Решил, что, если в Чехословакию войдут войска, я буду протестовать...

Всю свою сознательную жизнь я хотел быть человеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Я знал, что мой голос прозвучит диссонансом на фоне общего молчания, имя которому «всенародная поддержка партии и правительства». Я рад, что нашлись люди, которые вместе со мной выразили протест. Если бы их не было, я вышел бы на площадь один...

Константин Бабицкий:

Полагая, что ввод советских войск в Чехословакию наносит прежде всего вред престижу Советского Союза, я считал нужным донести это свое убеждение до сведения правительства и граждан. Для этого в 12 часов 25 августа я явился на Красную площадь...

Я шел на Красную площадь с полным сознанием того, что я делаю, и с пониманием возможных последствий.

Вадим Делонэ:

21 августа я узнал о вводе советских войск в Чехословакию и был возмущен этой акцией правительства... Мне казалось, что если я не выражу своего протеста, то тем самым своим молчанием поддерживаю это действие... Я не стыдился и не стыжусь сейчас, стоя перед судом, своих действий, своего участия в протесте против ввода советских войск в Чехословакию.

Павел Литвинов:

21 августа советские войска перешли границы Чехословакии. Я считаю эти действия советского правительства грубым нарушением норм международного права... Мне очевиден ожидающий меня обвинительный приговор. Этот приговор я знал заранее — еще когда шел на Красную площадь. Тем не менее я вышел на площадь. Для меня не было вопроса — выйти или не выйти?

Лариса Богораз:

Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка... Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать:

—Я против, я не согласна.

Если бы я этого не сделала, я бы считала себя ответственной за действия прачивительства.

Мне кажется, более того — я почти уверена, что если бы написала эти выдержки из показаний единым потоком, то вряд ли кто-нибудь мог определить, какие слова из приведенных мною принадлежат исключенному из комсомола Дремлюге, а какие — серьезному ученому Константину Бабицкому. Что говорил начинающий жизнь студент Вадим Делонэ, а что — зрелый человек, кандидат наук Лариса Богораз. Общая нравственная основа их подвига как бы сравнивала их, определяв и общую позицию, и общий стиль поведения в суде.

Дело о демонстрации на Красной площади было третьим политическим процессом в моей практике. В первых двух КГБ удавалось противопоставить одних обвиняемых другим. В этом же деле, хотя и были объединены очень разные люди с разным жизненным опытом и разной степенью образованности, я не могу выделить никого, ни за кем не могу признать преимущества в мужестве, стойкости и нравственности занятой позиции.

Среди подсудимых не было главных и второстепенных, не было организаторов и вовлеченных. Не было и сомневавшихся или раскаявшихся. Каждый из них был готов разделить судьбу остальных. В этом несомненная особенность судебного процесса о демонстрации на Красной площади.

Первый день судебного процесса мы работали с 9 часов утра до 7 часов 30 минут вечера. Второй день не легче — начали судебное заседание в 10 часов утра, а закончили в 10 часов 45 минут вечера — почти 13 часов напряженной работы в переполненном, непроветриваемом зале. Каждые два-два с половиной часа перерыв на 10 минут. Для меня и Каллистратовой — вожденный перекур. Но и на это времени хватает далеко не всегда. Перерыв — время, когда суд разрешает беседовать с нашими подзащитными. Перерыв — время, когда их родственники окружают нас с бесчисленным количеством одинаковых вопросов.

— Как прошел допрос?

— Какое впечатление от свидетеля?

Но, если бы даже не это, передохнуть за эти 10 минут невозможно — просто негде. Небольшой коридор, плотно забитый людьми, грязно и шумно. Специальной комнаты для отдыха адвокатов в судах не бывает. Выйти на воздух тоже нельзя — такая толпа окружает здание.

В середине дня — обеденный перерыв. Состав суда, прокурор и все руководство уехали обедать в какую-то «закрытую» столовую. Их отвезли туда на черных «Волгах» — машинах КГБ. (На этих же машинах их вечером развозили по домам.)

Мы, адвокаты, во время обеденного перерыва остаемся в суде. Нам идти некуда. Поблизости — ни кафе, ни ресторана.

После такого дня вернулась домой усталая и голодная. А дома — телефонные звонки. Сколько их было в тот первый вечер после суда, сосчитать невозможно. Друзья:

— Диночка! Я знаю, что ты очень устала, но хоть несколько слов — как там?

Знакомые:

— Дина Исааковна, простите, что отрываю вас, знаю, что очень устали. Но хоть несколько слов — как там?

И знакомые моих друзей, и друзья моих подзащитных — каждый с одним вопросом:

— Как там? Как прошел первый день суда?

А потом, уже ночью, когда все спят, я сижу на кухне, пью черный кофе, курю и, конечно, раскладываю пасьянс.

А перед глазами опять суд и лица свидетелей, и даже слышу их голоса. Как будто кто-то взялся специально для меня повторить эти больше всего бьющие по нервам кадры, перемешав их порядок, нарушив последовательность.

— Свидетель, сообщите суду ваше место работы и занимаемую должность.

— Вопрос снимаю. Свидетель, можете не отвечать.

Это судья Лубенцова снимает вопрос, которым судьи во всех процессах сами начинают допросы свидетелей, но который именно этому свидетелю не был задан.

И уже по следующему свидетелю:

— Сообщите суду место вашей работы и занимаемую должность.

— Вопрос снят. Можете не отвечать.

Так поочередно допрашиваем свидетелей Долгова и Иванова — «сотрудников» воинской части 1164.

— Свидетель Долгов, видели ли вы 25 августа на Красной площади своих знакомых или сослуживцев?

— Нет.

— Есть ли знакомые среди вызванных в суд свидетелей?

— Нет.

— Знаете ли вы Иванова?

— Нет.

— Знакомы ли вы с Веселовым, Богатыревым и Васильевым?

— Нет.

Он стоит перед судом, чуть повернув к нам голову. Он знает, что всем нам — судье, прокурору и адвокатам — ясно, что он лжет, но он нисколько не волнуется, не боится разоблачения. Когда Долгов произносит свое очередное «нет», он смотрит на нас и улыбается какой-то даже обезоруживающей своей наглостью улыбкой. Как бы говорит нам: «Не верите? Ну и не верьте. А все равно сделать вы ничего не можете». И молчит судья Лубенцова, и не говорит ему: «Что вы, свидетель! Как можно поверить, что вы не знакомы ни с одним из ваших сослуживцев, которые 25 августа в 12 часов вместе с вами были у Лобного места?»

И прокурор тоже молчит. И мы должны подавлять в себе буквально захлестывающее нас чувство ненависти и отвращения и к этой лжи, и к тем, кто ее защищает.

— Свидетель Иванов, вы знакомы со свидетелем Долговым?

— Конечно, мы ведь вместе с ним работаем.

— Свидетель Долгов тоже знает вас?

— Ну как же! Я знаю его, и он знает меня.

— Свидетель Васильев вам тоже знаком?

— Да.

— А свидетель Богатырев?

— Да, и его я знаю.

— Видели ли вы этих ваших знакомых 25 августа на Красной площади?

— Нет, никого не видел.

И опять у меня перед глазами лицо свидетеля Долгова и его улыбка, как будто он говорит нам: «Но вы ведь и без Иванова знали, что я вру. Но и он не говорит правды — ведь не сказал же он, что видел меня на площади. И не скажет. И другие не скажут. Так что волноваться нечего».

Лубенцова — судья, который прекрасно умеет вести перекрестный допрос. Она любит острые ситуации в судебном следствии, когда целой серией вопросов заставляет свидетеля отказаться от лжи и сказать правду. А здесь...

Спокойно слушает она эти взаимоисключающие друг друга ответы и не обращается к Долгову со своим обычным: «Как согласовать ваши показания с показаниями свидетеля Иванова?» Или: «Кто же из вас, свидетель, сказал суду правду? Кому из вас мы должны верить?»

Для адвокатов и подсудимых важно было доказать, что свидетели Долгов и Иванов лгут, хотя бы в этой части, чтобы подорвать

доверие к остальным их показаниям. Важно было иметь право сказать суду, что это недобросовестные свидетели и на их показаниях нельзя строить обвинение. Но та борьба, которую мы вели, имела и другие цели.

Чтобы понять их, нужно прежде всего ответить на вопросы: для чего защита стремилась доказать, что Долгов, Веселов, Иванов и другие являются сотрудниками КГБ или Министерства внутренних дел (милиции), и почему, вопреки закону, прокуратура и суд с невероятным рвением пытались это скрыть?

В советском суде тот факт, что свидетель является сотрудником КГБ или милиции, никак не обесценивает значимость его показаний. Приговоры по множеству уголовных дел основываются целиком или в основном на показаниях оперативных работников милиции и уголовного розыска.

Что мешало свидетелям просто сказать суду:

— Да, мы сотрудники КГБ. В нашу обязанность входило наблюдение за порядком на Красной площади. Мы считали, что сидячая демонстрация нарушает порядок, и задержали демонстрантов.

Или еще более правдиво:

— Мы провели задержание по прямому указанию руководивших нами сотрудников КГБ.

И назвать их имена. Имена тех лиц, об установлении которых защита ходатайствовала еще при изучении дела, и вновь повторила это ходатайство в суде.

Но власти не хотели открыто признать, что считают мирную демонстрацию преступлением. Им выгодно было перенести ответственность за разгон демонстрации и избивание демонстрантов на простых советских граждан. Они ограждали себя от надоевших упреков Запада в том, что советское государство нарушает конституционные права своих граждан, и получали вместе с тем возможность использовать разгон демонстрации как наглядный пример «единодушного одобрения всем советским народом политики партии и правительства».

Власти требовали от суда осуждения демонстрантов. Но требовали сделать это таким образом, чтобы никто не вправе был сказать:

— Их осудили за демонстрацию.

Вся конструкция обвинения была подчинена этой задаче. Весь ход процесса преследовал эту цель. Противоречия в показаниях свидетелей Долгова и Иванова ослабляли эту конструкцию. Повторения подобного руководителя процесса допустить не могли. И выход из положения, вполне примитивный, но зато абсолютно радикальный, был найден незамедлительно.

По распоряжку работы, который был принят судом, допрос остальных свидетелей — сотрудников воинской части — был назначен на 10 октября.

Весь этот день, допрашивая разных свидетелей, мы помнили, что впереди допрос Веселова, Васильева, Богатырева. Готовились к нему, обсуждали тактику постановки вопросов. И вот все свидетели уже допрошены, остались только эти трое.

Единым движением мы, адвокаты, перевернули страницы наших досье, чтобы иметь перед глазами протоколы допросов этих свидетелей на предварительном следствии. Но в тот же момент услышали спокойный голос Лубенцовой:

— Суд ставит стороны в известность: свидетели Веселов, Богатырев и Васильев неожиданно выехали из Москвы в служебную командировку. Суд ставит на обсуждение вопрос о возможности закончить дело в их отсутствие.

Ни один руководитель учреждения не вправе воспрепятствовать свидетелю явиться в суд. Никто не взял бы на себя ответственность отправить сразу трех свидетелей в командировку, не получив на это специального разрешения. Несомненно, что реализацию такого «выхода из положения» взяли на себя те работники КГБ, которые осуществляли оперативное руководство всем ходом нашего процесса. Но несомненно также и то, что решение это принималось согласованно с руководством суда. В противном случае Лубенцова поступила бы так, как этого требовал закон: она потребовала бы вызвать свидетелей из командировки, признала бы невозможным закончить рассмотрение дела в их отсутствие.

Все подсудимые, защита в полном составе настойчиво ходатайствовали, чтобы явка этих свидетелей была обеспечена. Если бы слушалось обычное дело, Лубенцова такое ходатайство, несомненно, удовлетворила бы. Ведь неполнота судебного следствия — основание для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. В деле о демонстрации Лубенцова этого не боялась. Она знала, что Верховный суд РСФСР все равно утвердит обвинительный приговор, и в ходатайстве нам отказала.

Так же просто и молниеносно решились и другие спорные вопросы, возникавшие в ходе судебного следствия.

Показания работника милиции Стребкова, который 25 августа нес службу на патрульной машине на Красной площади, неопровержимо доказывали, что демонстрация не создала препятствий нормальной работе транспорта.

Цитирую показания Стребкова в суде по официальному протоколу судебного заседания (листы дела 56–57):

25 августа нес патрульную службу на Красной площади на автомашине «Волга». В 12 часов получил распоряжение срочно подъехать к Лобному месту. В этот день был допуск граждан в мавзолей, и проезд через площадь обычных машин был полностью закрыт.

Правительственные машины могут следовать через Красную площадь, но это в другом месте. Задержанные граждане и толпа, собравшаяся вокруг них, стояли в стороне. Если машины шли из Кремля, проезд для них был свободным. Толпа им не мешала.

Значение показаний Стребкова для защиты не только в том, что они опровергали сам факт нарушения работы транспорта. Такие показания на предварительном следствии давали многие свидетели. Но все они — обычные граждане. Суду было просто отвергнуть их показания, сославшись на то, что внимание этих свидетелей было обращено на демонстрантов, а не на проезжавшие машины. Кроме того, рапорт сотрудника ОРУДа Куклина безусловно имел преимущество при оценке судом доказательств по этому вопросу. Но свидетель Стребков — не простой свидетель. Он специалист, знающий по роду своей работы правила движения транспорта на Красной площади. Наиболее ценным в его показаниях было утверждение экспертного характера:

Нарушения работы транспорта не только не было, но и не могло быть.

Теперь нам надо было только ждать допроса Куклина, которого вызвали на следующий день — 10 октября, чтобы путем перекрестного допроса этих двух свидетелей (Куклина и Стребкова) полностью опровергнуть рапорт Куклина, то есть то единственное доказательство виновности подсудимых в нарушении работы транспорта, которое было в распоряжении суда.

Но ничего этого не произошло. Вновь «руководство» и суд нашли самый простой для них выход из этой опасной для обвинения ситуации.

Определением суда, несмотря на возражения подсудимых и защиты, Стребков был освобожден от дальнейшей явки в суд.

И вот на следующий день — 10 октября — допрашивается свидетель Куклин. Задают вопросы адвокаты и подсудимые (протокол судебного заседания, листы дела 72–74):

Вопрос: Когда вы написали и подали рапорт о событиях на Красной площади 25 августа?

Ответ: В тот же день 25 августа.

Вопрос: Уточните время его написания.

Ответ: Вечером, после того как сдал смену.

Вопрос: Чем объяснить, что рапорт датирован 3 сентября, а не 25 августа?

Ответ: Это второй рапорт.

Вопрос: Чем объяснить, что вы писали два рапорта об одних и тех же событиях?

Ответ: Первый рапорт был неполный.

Вопрос: Где находится ваш первый рапорт?

Ответ: Не знаю. Я его передавал своему начальству (начальнику четвертого отдела ОРУД). Потом мне сказали, что его передали следователю.

Вопрос: Вы писали второй рапорт по собственной инициативе или кто-нибудь предложил вам это сделать?

Ответ: Начальство мне сказал, что первый рапорт нужно дополнить.

Вопрос: Чем нужно было дополнить первый рапорт?

Ответ: Что главная помеха в нашем деле затор транспорта.

Вопрос: Когда вам было дано указание о необходимости дополнить рапорт?

Ответ: Я писал второй рапорт сразу после того, как мне начальник об этом сказал, значит, 3 сентября.

Далее в протоколе записано:

По ходатайству защиты суд удостоверяет, что допрос свидетеля Куклина на предварительном следствии (том 1, лист дела 69) датирован 27 сентября 1968 года.

Даже самый далекий от работы правосудия человек не может не понять, что показания Куклина в суде полностью дискредитировали содержавшееся в его втором рапорте, дописанное им по указанию руководства утверждение: «Эта группа мешала движению транспорта».

В этих условиях для того, чтобы исключить всякие сомнения и возможность судебной ошибки, защите и объективному суду было необходимо ознакомиться с подлинным документом — с тем рапортом, который Куклин писал по собственной инициативе, по собственному разумению и в самый день события.

По советскому закону вся первичная документация, относящаяся к событию преступления, обязательно приобщается к делу. Это гарантирует суду и сторонам возможность самостоятельно анализировать содержание этих документов. В нашем деле таким первичным документом был рапорт инспектора ОРУД Куклина от 25 августа. Поэтому вся защита и все подсудимые заявили ходатайство об его истребовании. Такое ходатайство подлежало безусловному удовлетворению.

И вновь суд выносит определение:

...в ходатайстве об истребовании рапорта инспектора ОРУДа Куклина от 25 августа отказать, так как суд не видит в этом необходимости.

Последовательно и целеустремленно охранял суд все то, что подкрепляло обвинение. У адвокатов оставалась только одна возможность, один метод защиты — критика собранного следователем обвинительного материала.

Самое важное для меня, когда анализирую показания уже допрошенных свидетелей, — это «забыть». Забыть внешность свидетеля, интонацию, с которой он дает показания. Забыть все то, что создает эмоциональное воздействие свидетельских показаний, вызывает симпатию или антипатию, чтобы не позволить себе слишком поспешно принять на веру показания благожелательного свидетеля либо также поспешно отвергнуть, как не заслуживающие доверия, показания «недругов».

Так и в этот раз. Стоило мне заставить себя отрешиться от неприязни к свидетелям обвинения — Долгову, Иванову, Давидовичу и другим, забыть откровенно издевательский тон, которым Долгов отвечал на наши вопросы: «Нет, никого из знакомых на Красной площади не видел. С Ивановым незнаком. Веселова не знаю»; стоило забыть внешность Давидовича — его пересеченное шрамом лицо гангстера, — как я видела, что нет ничего страшного в тех показаниях, которые давали эти столпы обвинения.

Изобличающую, обвинительную силу их показаниям придавали не факты, а оценки. «Поведение этих лиц было безобразным», «Они вели себя провокационно», «Я, как и все граждане, был возмущен их наглым поведением». Но суд не вправе пользоваться оценкой события, которую дает свидетель. Обязанность суда — самостоятельно оценивать доказательства, то есть сообщенные свидетелем факты. И я должна, как потом обязан это сделать и суд, освободить показания свидетелей от всего второстепенного, оставляя в них только то, что прямо относится к ответу на вопросы: нарушили ли подсудимые общественный порядок, имело ли место нарушение нормальной работы транспорта.

Показания в суде свидетеля Долгова (лист дела 59 оборот — 60):

Увидел всю эту группу. Они держали в руках плакаты. Собралась толпа. Люди, окружавшие их, возмущались, выкрикивали в их адрес оскорбления. Когда их задерживали, сопротивления с их стороны не видел. К Лобному месту подошли машины, в которые посадили задержанных.

Показания свидетеля Иванова в суде (лист дела 62–62 оборот):

Увидел на Красной площади толпу. Подбежал к Лобному месту. Вокруг них собралась толпа человек 30. Народ возмущался. Я помог посадить Дремлюгу в машину. Он сопротивлялся, это выразалось в том, что не хотел идти, упирался.

Показания свидетеля Давидовича в суде (листы дела 64 оборот — 65):

Они сидели у Лобного места и держали лозунги провокационного характера. В течение двух-трех минут они громко обращались к собравшимся с речами митингового характера. Один из сидящих сказал, что ему стыдно за наше правительство. Я помог посадить одного из них в машину — он сопротивлялся.

А вот показания еще одного свидетеля обвинения, на объективность которого, несомненно, будет ссылаться прокурор: он не сотрудник воинской части 1164, не работник милиции; он просто один из толпы. Один из тех, кто действительно был возмущен демонстрацией.

Показания свидетеля Федосеева в суде (листы дела 65–66):

Они сидели у Лобного места с провокационными плакатами. Подошли машины, и их туда посадили. У одного из задержанных лицо было в крови (Файнберг). Когда его сажали в машину, он крикнул: «Долой правительство тиранов!» Кроме того, один сказал, что ему стыдно за наше правительство. Больше ничего я не слышал. На все возмущение толпы сидящие ничего не говорили.

Так записаны в официальном протоколе судебного заседания показания самых агрессивных свидетелей обвинения в наихудшем для подсудимых виде. В том виде, в каком будут лежать они перед составом суда в часы вынесения приговора.

Многое из того, что эти же свидетели отвечали на вопросы адвокатов, в протоколе не записано. Это тоже не случайность. Председательствующий не только следит за тем, как секретарь записывает показания, но и проверяет весь протокол, указывает, что нужно добавить, что, наоборот, убрать. Иногда по указанию судьи секретарь переписывает целые страницы протокола, иногда вставляет в него или вычеркивает целые фразы.

Так из протокола судебного заседания по делу о демонстрации на Красной площади были выброшены все упоминания о работниках КГБ, которые принимали участие в задержании демонстрантов.

Я, как и все адвокаты, веду во время судебного заседания свой, неофициальный, протокол, в который записываю самое важное из показаний свидетелей. В моем протоколе записано:

Свидетель Стребков: В отделении милиции, куда я доставил гражданина Бабицкого, я видел гражданина, который принес плакат «Руки прочь от Чехословакии». Он оказался сотрудником КГБ. Так он сам отрекомендовался. Этого гражданина я видел 25 августа на Красной площади.

Свидетель Давидович: В задержании участвовали работники оперативной группы (КГБ). Все они были в штатском. Один из них предъявил свое удостоверение.

В официальном протоколе эти показания записаны не были. Но не только это. Официальный протокол по нашему делу искажал показания свидетелей.

Там, где свидетель уверенно говорил, что машины через Красную площадь не проходили, в протоколе записывалось:

Я не видел, чтобы машины проходили, но было много народа, и я мог не заметить.

Или:

Я не слышал, говорили ли они что-нибудь, но было шумно, и я мог не услышать.

Это вместо:

Подсудимые ничего не говорили.

Записи в протоколе, сделанные по этому методу, обесценили такие важные для защиты доказательства, как показания свидетеля Ястребовой и Лемана. Но, несмотря на это, отбрасывая в сторону все, что говорилось в суде в пользу подсудимых, я с убежденностью пришла к выводу: показания всех свидетелей обвинения даже в том виде, как они записаны в официальном протоколе, не изобличали подсудимых в совершении уголовного преступления.

Описанный мною метод подготовки к защите — метод «отстранения», «взгляда со стороны», — наверное, совсем не оригинален. Я таким методом пользовалась всегда, но это не научило меня быть равнодушной в суде. В каждом новом процессе я вновь с симпатией и доверием выслушивала благоприятные для моих подсудимых показания, вновь внутренне негодовала, слушая показания сви-

детелей обвинения, чтобы потом усилием воли на какое-то время забыть, кто «враг», а кто «друг», и выживать из их показаний по крупным фактам факты, факты и только факты.

Этот нелегкий для меня процесс разделения того, что воспринимается слитно, как нечто целое, дает очень недолговечный результат. И эмоциональное восприятие возвращается вновь и так и оседает в памяти на годы, а многое даже навсегда. Я не верю, что наступит время, когда забуду и то, что говорила тогда на нашем процессе Татьяна Великанова, и то, как звучал ее голос:

Они не реагировали даже на то, что их били. Сидели не поднимая головы. Не сопротивлялись, когда их били ногами. Как будто это не их, как будто они на другом свете.

Помню, как я опустила голову, чтобы никто не заметил моего волнения, когда слушала ее рассказ — рассказ женщины, на глазах которой избивают мужа и которая сумела себя сдержать и не вмешаться, не защитить. Ведь она обязана была выполнить взятую на себя роль свидетеля-очевидца, чтобы потом в суде, неизбежность которого она понимала, иметь возможность рассказать правду о демонстрации.

Помню и то, как постепенно затихал враждебный гул «публики», и наступила тишина, в которую падали полные достоинства слова, сказанные в ответ на вопрос прокурора:

Я не считала себя вправе его отговаривать. Он поступил так, как требовали его совесть и его убеждения (лист дела 79).

Эффект, произведенный ответом Татьяны, был для прокурора настолько неожиданным и непонятным, что он растерялся и замолчал. Только после того, как все адвокаты закончили допрашивать этого свидетеля, прокурор попросил у суда разрешения продолжить ее допрос.

Даже сейчас, когда заканчиваю воспоминания об этом необычном деле, мне почти нечего сказать моему читателю о прокуроре. Разве что он обладал резким неприятным голосом и странной фамилией Дрель. Когда, уже после вынесения приговора, мои товарищи по консультации просили меня рассказать о судебном процессе, рассказывала о подсудимых, о суде, об адвокатах, но никогда о прокуроре.

В ходе судебного разбирательства он не задал ни одного нового существенного вопроса, ограничиваясь повторением тех, которые раньше до него задавал следователь. Его обвинительная речь...

Но раньше нужно рассказать о том, в каких условиях начались судебные прения.

10 октября, в конце обеденного перерыва, когда публику еще не пустили в здание, я стояла одна в пустом коридоре. В это время из канцелярии вышел председатель Московского городского суда Николай Осетров и направился в совещательную комнату. Увидев меня, он остановился в нерешительности, а потом подошел.

— Хорошо, что судебное заседание еще не началось, — сказал мне Осетров. — Я хочу предупредить вас и прошу передать остальным адвокатам, что принято решение заслушать речь прокурора и речи адвокатов сегодня.

И, как бы предвидя мои возражения, добавил:

— Перенести прения сторон на завтра мы не можем.

— Еще не закончено судебное следствие, еще не допрошен ряд свидетелей, после которых у защиты возникнут дополнительные ходатайства. Кроме того, нам всем требуется время для подготовки к речам...

— Судебное следствие будет закончено сегодня. Суд объявит небольшой перерыв и даст вам разумную возможность подготовиться к речи. Я думаю, одного часа адвокатам будет вполне достаточно. Не возражайте, товарищ адвокат, — добавил Осетров, видя, что я собираюсь спорить с ним.

А потом, уже не смущаясь тем, что при мне идет в совещательную комнату, Осетров направился передавать судье это новое распоряжение о порядке слушания дела.

Следующим человеком, который сообщил мне эту новость, был председатель президиума Московской коллегии адвокатов Константин Александрович Апраксин. Он вышел из канцелярии почти сразу после того, как Осетров зашел в кабинет к Лубенцовой, и потому не знал, что сообщаемая им «новость» уже не является для меня новостью.

А я слушала его рассказ и думала: «Неужто оба они не понимают, что это непристойно? Неужто привычка к вмешательству партийной власти в дела правосудия так велика, что они даже не пытаются скрыть, что там, „наверху“, решают все вопросы, которые должен и вправе решать только суд?..»

От Апраксина я узнала, что речи адвокатов будут стенографироваться.

— Будьте осторожны, — сказал мне Константин Александрович, — обдумывайте каждое слово, каждую формулировку. На вас лежит ответственность перед всей коллегией.

А когда обдумывать? Ни я, ни мои коллеги, которым тут же я передала весь разговор, не сомневались, что решение это было не-

ожиданным не только для нас, но и для Лубенцовой, Осетрова и Апраксина. Апраксин этого не скрывал. Когда я упрекнула его, что не предупредила нас заранее, он откровенно сказал, что сам об этом узнал недавно и что возражать бессмысленно.

После этого разговора суд быстро отказал нам во всех ходатайствах, и судебное следствие объявили законченным.

Через два часа судебное заседание возобновилось. Прения сторон откроются речью прокурора. А пока мы, адвокаты, расселись по разным углам зала. Кто сидит за столом и пишет, кто примостился в углу на скамейке, разложив на подоконнике свое досье. Я просто хожу по коридору вперед и назад и опять вперед и назад. В общем-то защитительные речи, их основной стержень, у всех нас готовы давно. Да и накануне каждый из нас дома, как я — за кухонным столом, или лежа без сна в постели, вновь проверял свою аргументацию и обдумывал основные формулировки, чтобы во время речи не «понесло», чтобы суметь удержать себя в рамках допустимого, дозволенного политической цензурой.

Государственному обвинителю, поддерживающему обвинение в таком деле, как наше, было предельно просто произнести демагогическую пропагандистскую речь. Но дать правовой анализ, не отказываясь при этом от обвинения, была задача не просто трудная, но, на мой взгляд, невыполнимая. Наш прокурор перед собой этой задачи не ставил.

Обвиняя подсудимых именем государства в нарушении общественного порядка и клевете, прокурор говорил о «подрывной деятельности международного империализма, и в первую очередь о США». О том, что «...международный империализм развернул кампанию антисоветской пропаганды по поводу оказания Советским Союзом братской помощи Чехословакии», что «буржуазная пропаганда распространяет клевету против Советского Союза».

Значительная часть речи прокурора была посвящена тому, что Советская армия в годы Отечественной войны освободила Чехословакию от фашистских захватчиков и что плакаты «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» или «За вашу и нашу свободу» — это надругательство над памятью погибших в тех боях советских воинов. Наш прокурор настолько увлекся политической частью своей речи, что не заметил, как в тех действиях, которые следствие рассматривало как клеветнические и квалифицировало по статье 190-1 Уголовного кодекса, он усмотрел нарушение общественного порядка (статья 190-3 Уголовного кодекса), и, наоборот, ту часть обвинения, которую следствие признавало «действиями, нарушающими общественный порядок», прокурор просил признать клеветой и квалифицировать по статье 190-1.

Свою обязанность доказать обвинение прокурор реализовал в двух фразах:

Нет надобности доказывать, что эти плакаты носили явно клеветнический характер.

И:

Наша печать разъяснила всем гражданам прогрессивный характер действий советского правительства, и не понимать это невозможно.

Прокурор решительно возражал против термина «демонстрация» применительно к нашему делу. Он признал, что конституция гарантирует советским гражданам право на свободу демонстраций, но утверждал (и в этом он абсолютно прав), что партия и правительство признают демонстрацией только то, что организовано или санкционировано властью.

Весь этот набор демагогических фраз и политических лозунгов вполне привычен на митинге. В суде от прокурора, даже по политическим делам, ждут большего. Лубенцова была явно разочарована. С нескрываемой иронией слушала она «правовую» часть речи прокурора и, наверное, досадовала на то, что ей придется заново в приговоре решать вопросы квалификации, так безбожно перепутанные обвинителем.

Но вот наступают минуты, когда прокурор обращается к суду с предложением о наказании.

Все замерли, понимая, что именно сейчас решается судьба подсудимых, что в этом случае устами прокурора Дреля будет говорить государство, послушным рупором которого он является.

Уже перечислены все «нравственные пороки» подсудимых, которым советская власть дала «все» и которые вместо того, чтобы доверять советским газетам и советскому радио, «черпали порочную информацию из мутных зарубежных источников»; и дальше:

Учитывая, что Литвинов, Бабицкий и Богораз раньше к уголовной ответственности не привлекались... при избрании меры наказания прошу применить статью 43 Уголовного кодекса РСФСР...

Чуть повернув голову, я вижу широко раскрытые удивленные глаза Ларисы, слышу чей-то глубокий вздох в зале.

Мы тоже растерянно смотрим друг на друга, когда в какие-то доли секунды каждый думает: «Что это значит? Почему статья 43

Уголовного кодекса, которая дает суду право избрать наказание ниже, чем то, которое предусмотрено в статье? Какое наказание может быть ниже, чем минимальная санкция статьи 190 — штраф до 100 рублей?..»

Но уже слышим:

Литвинову Павлу Михайловичу — 5 лет, Богораз Ларисе Иосифовне — 4 года, Бабицкому Константину Иосифовичу — 3 года...
Дремлюге Владимиру Александровичу и Делонэ Вадиму Николаевичу, с учетом прежней судимости, по 3 года лишения свободы каждому.

У меня уже нет времени осознать это невероятное, ранее неизвестное советскому правосудию предложение, когда просьба о смягчении наказания сочетается с увеличением максимального срока, предусмотренного этой же статьей. Но даже в эти мгновения, когда слышу голос Лубенцовой:

— Слово для защиты подсудимого Литвинова предоставляется адвокату Каминской, — и пока я встаю и медленно отодвигаю подготовленные и никогда не нужные мне во время произнесения речи тезисы, не перестаю думать: «...Для Ларисы, Павла и Кости ссылка — это почти счастье...»

Перечитывая сейчас стенограммы защитительных речей, я еще раз убеждаюсь, что пересказать судебную речь невозможно. А жаль! Это были действительно хорошие судебные речи. Мои товарищи по защите нашли убедительные аргументы, опровергающие обвинение, и я думаю, что вправде сказать, что общими усилиями всей защиты была доказана правовая несостоятельность обвинения по этому делу.

Мне кажется, что в нашем процессе адвокатов, как и подсудимых, объединяло прекрасное чувство солидарности, готовности помочь друг другу и безусловное уважение к мотивам, которыми руководствовались наши подзащитные. Объединяло нас чувство ответственности, чувство профессионального долга, которое я, вслед за Константином Бабицким, не побоюсь назвать высоким.

Мне понравились речи всех моих коллег. И речь Софьи Васильевны Каллистратовой, и речи сравнительно молодых адвокатов Юрия Поздеева и Николая Монахова. Впрочем, речи Софьи Васильевны нравились мне всегда. Особенно ценила я безупречную «мужскую» логику ее аргументации и сдержанную страстность в манере изложения. Я любила ее хриплый «прокуренный» голос, так богатый оттенками.

В каждом, даже самом безнадежном деле она умела найти свое оригинальное и убедительное решение. Недаром про нее говорили: «Каллистратова — адвокат Божьей милостью».

Мне очень понравилась речь молодого, впервые выступавшего в таком ответственном деле адвоката Николая Монахова. Они удивительно подходили друг другу — адвокат Монахов и его подзащитный Владимир Дремлюга. И общая какая-то бесшабашность характера, и жизнелюбие, и манера шутить.

О своей речи рассказывать труднее всего. Хвалить себя — непристойно, ругать — неприятно. Наверное, в ней были и достоинства и недостатки. Значительная часть моей речи была посвящена правовому анализу обвинения. Я говорила первой, и уже это одно обязывало меня сделать это от имени всей защиты. Когда-то я этой — чисто правовой — частью, этой новой аргументацией даже немного гордилась. Сейчас это ушло в воспоминания.

Самым трудным для меня тогда, во время произнесения речи, было — удержаться. В этом деле, как ни в одном другом, я полностью разделяла взгляды подсудимых; так же, как они, считала вторжение в Чехословакию агрессией, оккупацией.

Когда я узнала о вторжении советских войск в Чехословакию, у меня тоже было чувство, что нельзя не крикнуть, не сказать: «Это позор!» Они сумели это сделать, я — нет. Выступая в суде по этому делу, произнося защитительную речь, я испытывала почти непреодолимую (но все же преодолимую) потребность как-то выразить и свое отношение. Эту потребность, вернее, силу ее воздействия на меня я не осознавала раньше. Готовясь к речи, я полностью исключала для себя возможность в любой, даже самой скрытой, самой замаскированной форме позволить себе ее проявить.

В своей речи я ответила прокурору так (цитирую по стенограмме):

Я полностью присоединяюсь к той части речи прокурора, в которой он говорил о великой заслуге советского народа и Советской армии. Тогда, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наши люди и наши воины с полным правом могли поднять лозунг «За вашу и нашу свободу» ... Я лично считаю, что лозунг «За вашу и нашу свободу» никогда, ни при каких обстоятельствах не может считаться клеветническим. Я всегда говорю «За вашу и за нашу свободу» потому, что считаю самым большим счастьем для человека — счастье жить в свободном государстве.

Я решила процитировать этот небольшой кусок моей речи, хотя понимаю, что он не может быть воспринят читателем так, как воспринимался моими слушателями.

То, что я недоговаривала словами, звучало в долгой паузе, которая оборвала фразу: «Тогда, в тяжелые годы Великой Отечествен-

ной войны, наши люди и наши воины с полным правом могли поднять лозунг „За вашу и нашу свободу“...», в паузе, неожиданной для меня самой. Я даже сейчас помню, как вдруг оборвался голос, такое внутреннее напряжение испытывала я в эти минуты.

Наверное, в этом секрет эмоционального воздействия, когда недоговоренное, несказанное стало понятно моим слушателям. А то, что это было именно так, — я знаю. Об этом мне сказали тогда мои товарищи по защите, говорили и подсудимые. Сказал мне об этом и представитель «публики».

Закончились речи защиты. Объявлен перерыв до утра.

Я стояла, облокотившись на барьер, отделяющий подсудимых от зала, и смотрела на выходящих. Этого человека я заметила еще издали. Он глядел на меня с такой ненавистью, которая была, наверное, не менее непреодолимой, чем чувства, только что испытанные мною. А потом, поравнявшись со мной, он остановился и отчетливо произнес:

— У, ты... падло.

Я помню крик Ларисы:

— Как вы смеете! Как вы можете так оскорблять адвоката!

Кто-то из подсудимых звал начальника конвоя, чтобы задержать этого человека. Кто-то требовал немедленно составить акт. Я же не испытывала ни огорчения, ни обиды. Было даже чувство удовлетворения, мне было ясно, что он меня понял.

Но были и другие. В этот же вечер или, вернее, почти ночью — судебное заседание закончилось в 11 часов вечера — ко мне подошли два человека. Это были корреспонденты московских газет, специально командированные на этот процесс. Они назвали мне свои имена — я помню их и сейчас, как дословно запомнила и то, что они тогда мне сказали, настолько странно это было слышать от советских журналистов:

— Это не первый политический процесс, на котором мы присутствуем. Были мы и на всех политических делах с вашим участием. Вы, наверное, осуждаете нас за то, как мы писали о тех делах. Вот поэтому нам и захотелось сказать, что об этом деле мы писать не будем. Статей за нашими подписями в газетах вы не увидите. Мы понимаем, какие это люди.

Через много лет, когда мы с мужем покидали Советский Союз, один из этих журналистов неожиданно напомнил о себе. Случилось так, что во время тяжелой болезни сердца он оказался в одной больницы палате с адвокатом, хорошо знавшим меня. Так ему стало известно, что я уже отчислена из адвокатуры и собираюсь уехать из страны.

Вернувшись из больницы, мой коллега сразу позвонил мне:

— Он так настойчиво просил передать тебе слова признательности и уважения, что я делаю это в первый же день после возвращения домой.

Третий день процесса — последние слова подсудимых, и суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора.

В зале судебного заседания остаются только подсудимые, конвой и мы — адвокаты. Теперь конвой относится к нам значительно либеральнее, чем в первые дни процесса, и мы получаем возможность почти беспрепятственно разговаривать с нашими подзащитными. Это уже не профессиональный разговор — все профессиональные темы на сегодня позади. Они вернутся потом, когда наступит время кассации. Но это еще будет.

А 11 октября мы сгрудились около деревянного барьера и смеемся вместе с ними, ставшими за эти три дня для нас такими близкими и нужными людьми. И я уже нежно улыбаюсь не только Ларисе и Павлу, но и Косте Бабицкому, которого до начала этого процесса никогда не видела и с которым продолжить наше знакомство мне так и не довелось. Почему-то особенно запомнилось, как мы оживленно обсуждали какой-то особый, мне неизвестный сорт пирожных и как Вадим Делонэ настойчиво советовал обязательно и, главное, незамедлительно их попробовать.

Но помню и то, как, не обращая внимания на ленивые замечания конвоя: «Товарищ адвокат, не разговаривайте с ним — это не ваш подзащитный», я говорила Вадиму, что он молодец и как замечательно он сказал свое «последнее слово». И даже каким особенно красивым, даже сияюще красивым было его лицо, когда он произносил:

— Я понимаю, что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы.

Последние слова всех подсудимых были прекрасны. В них больше, чем в цитированных мною раньше показаниях, отражалась индивидуальность каждого из них. Но ни тогда, ни сейчас я не знаю, кому отдать преимущество; не могу решить, кто из них сказал лучше, достойнее. Наверное, каждый слушатель мог выбрать из этих «последних слов» то, которое больше соответствовало его собственным взглядам, характеру и мировоззрению.

Для меня особенно близким были обращенные к суду слова Бабицкого:

— Я уважаю закон и верю в воспитательную роль судебного решения. Я призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую — оправдательный. Какие нра-

вы хотите воспитать вы: уважение и терпимость к другим взглядам или же ненависть и стремление подавить и унижить всякого человека, который мыслит иначе?

Во время этого же перерыва между мной и председателем президиума Коллегии адвокатов произошел разговор, который может служить забавной иллюстрацией того, какие неожиданные вопросы приходилось решать нашему «штабу».

Случилось так, что, когда Апраксин вошел в зал судебного заседания, кроме меня, никого из адвокатов там не было. Он отозвал меня в сторону и тихо, так, чтобы подсудимым не было слышно, сказал:

— Обошлось благополучно. Речами вашими там (и он поднял палец вверх) не очень довольны, но неприятностей не будет. Так что считайте, что пронесло.

(Кстати, не свидетельствует ли такая молниеносная реакция «верхов» на наши речи, что они не только стенографировались, но и транслировались прямо в здание ЦК КПСС через замаскированные микрофоны?..)

А потом, уже более громким голосом, Апраксин продолжал:

— Не уходите сразу после того, как объявят приговор. Вас всех развезут по домам на машинах — мы ведь понимаем, как вы устали.

— Почему именно сегодня, а не вчера, когда закончили работу ночью? — спросила я. — И на каких это машинах нас собираются вывозить?

— Машины для каждого из вас уже обеспечены, так что даже ждать не придется.

Но мною решение уже было принято.

— Я на их машине не поеду. — И в ответ на удивление Апраксина добавила: — Мы — защитники, мы от них отдельно, и выезжать нам отсюда на машинах КГБ было бы просто непристойно.

Мои товарищи, которые к этому моменту вернулись в зал и узнали о сделанном предложении, тоже отказались воспользоваться этой «любезностью» КГБ.

Не прошло и нескольких минут, как Апраксин вернулся.

— Пожалуй, вы правы, — сказал он. — Может быть, действительно не стоит вам ехать на этих машинах. Но в здании суда вы задержитесь обязательно. — И опять тихо: — Выходите из суда поодиночке и через задний ход, так, чтобы иностранные корреспонденты вас не увидели. И никаких интервью, помните — никаких интервью.

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... 11 октября 1968 года...

Как нелепо, что эти слова звучат для меня торжественно! Как нелепо, что я чего-то жду от этого суда, который ничего не решал и решать не мог! Но я волнуюсь и жду, как ждут и волнуются мои товарищи, чтобы через несколько минут пережить всю полноту горечи разочарования. Так, как будто и вправду был суд, как будто могли на что-то надеяться.

Уже слышу: Литвинов — 5 лет ссылки, Богораз — 4, Бабицкий — 3. Дремлюге и Делонэ — лишение свободы. Все, как было известно заранее.

Приговор, вынесенный Лубенцовой, отвечал полностью тем требованиям, которые партийные органы ставили перед судом. Слово «демонстрация» ни разу в нем не упоминалось. Все то, что свидетельствовало в пользу подсудимых, все доводы защиты безмотивно были отброшены судом. И хотя Лубенцова употребила все свое умение, чтобы устранить путаницу в юридической квалификации, которая была в обвинительном заключении и особенно в речи прокурора, приговор от этого не стал ни более убедительным, ни более обоснованным, чем первоначальные формулировки обвинения.

В этом неудавшемся стремлении придать приговору хотя бы внешнюю правовую пристойность просто сказался свойственный Лубенцовой профессионализм, как сказался он и в ее отношении к нам, адвокатам, к той линии защиты, которую мы проводили в процессе.

В силу своего «социалистического правосознания» она считала инакомыслие преступлением, но понимала, что защитник должен защищать, и потому смотрела на нашу работу как на закономерное выполнение профессионального долга. В ее отношении к адвокатам не было ни раздражения, ни враждебности. Более того, уже после вынесения приговора она пригласила адвокатов в совещательную комнату специально, чтобы поблагодарить нас «за квалифицированное участие в этом трудном деле».

И вот мы выходим через главный вход в переулок, и нас окружают те самые люди, которые все три дня стояли с утра до вечера на улице, так и не получив разрешения даже войти в здание суда. И иностранные корреспонденты, которые тоже эти три дня стояли на улице и тоже не получили разрешения войти в суд.

Нам преподносят большие букеты цветов, и кто-то торопливо извиняется, что они не такие большие и не такие прекрасные, и объясняет, что какие-то — гораздо лучшие — букеты у них украли.

Пожалуй, только мой первый политический процесс, когда я защищала Владимира Буковского, не сопровождался большим скоплением народа вокруг здания суда.

Но уже начиная со второго дела — с дела Галанскова и Гинзбурга приходиться к зданию суда стало традицией не только для друзей и близких знакомых подсудимых, но и для очень широкого круга сочувствующих. Цветы, которые приносили адвокатам, тоже стали традиционным знаком признательности. Но такого количества людей, которые пришли, чтобы стоять около здания в дни процесса над демонстрантами на Красной площади, я не видела ни до того, ни после.

О том, что происходило там на улице в часы, когда шла работа суда, я узнала потом из рассказов многих очевидцев. Помимо работников КГБ в штатском и разного рода оперативных работников, многих из которых уже знали в лицо, в этот раз было много рабочих с какого-то из ближайших заводов. Им отводилась роль «возмущенного народа». И для того, чтобы они с этой ролью могли справиться возможно успешнее, к их услугам были и бесплатное угощение, и бесплатная водка. Закуска и выпивка для них были приготовлены на специально для этого расставленных столах в соседнем дворе.

Цветы, которые на собранные деньги купили для адвокатов, украли тоже представители этого «народа». Они не остановились даже перед тем, чтобы на глазах у милиционеров взломать дверцы легковой автомашины, в которой эти цветы хранились в ожидании нашего появления. Как-то особенно четко осталось в памяти описание сцены, когда с ожесточенным удовлетворением они топтали ногами эти выброшенные на асфальт цветы, чтобы ни одного живого цветка не осталось.

Полученные нами цветы были куплены в последний момент на вторично собранные деньги. С этими букетами нас сфотографировали те самые иностранные корреспонденты, от встречи с которыми нас предостерегало руководство.

Позже, через несколько дней, Апраксин специально вызывал меня для того, чтобы выразить недовольство:

— Я же просил вас, чтобы не выходили через главный вход. Вы обязаны были посчитаться с этой просьбой. А теперь в буржуазных газетах появятся ваши фотографии с цветами, и опять будут неприятности.

— А ты считаешь, что было бы более прилично, если бы появилась фотография убегающих адвокатов? — спросила я. — Меня такой снимок со спины не устраивает.

Быстро прошло время до того дня, когда Верховный суд утвердил приговор, до дня последнего свидания в Лефортовской тюрьме.

А потом начались письма из далеких Усуглей, где жил в ссылке Павел; и из далекой Чуны, где жила Лариса. И та связь, которая возникла между нами, верно, уже не может оборваться.

Тех, кто тогда, 25 августа 1968 года, вышел на Красную площадь, судьба разбросала по всему свету. Совсем молодым умер в Париже Вадим Делонэ. Наталья Горбаневская живет во Франции, Виктор Файнберг — в Англии, Павел Литвинов и Владимир Дремлюга — в Америке. Лариса Богораз и Константин Бабицкий остались в Советском Союзе.

Встречая их потом, уже после ссылки и возвращения из лагеря, кого в Москве, кого в Париже, а кого в Нью-Йорке, я вновь думаю о том, какие они разные люди, как по-разному подходят ко многим явлениям в жизни. И вновь одни из них становятся мне ближе и дороже, другие — отдаляются. Мы можем о многом спорить и во многом не соглашаться, но даже в самые грустные минуты серьезных разногласий я говорю себе: «Помни, это тот человек, который вышел на площадь...»

Мое уважение к их подвигу не уменьшилось с годами и не стерлось в памяти.

29 марта 1979 года поздно вечером приехала моя давняя московская знакомая — представитель Московской Хельсинкской группы на Западе Людмила Алексеева. В тот день я ждала ее приезда в Вашингтон.

— Ты уже знаешь новость? Алик в Нью-Йорке! Ты слышишь меня? Алик в Нью-Йорке!

А через 20 минут я целую ее залитое слезами лицо и рассказываю ей, что двух советских шпионов обменяли на пять узников совести, отбывающих наказание в советских лагерях и тюрьмах.

В те часы, которые прошли после первого сообщения об обмене, когда телефон работал у меня с такой непрерывностью, что я не успевала положить трубку, как вновь раздавался звонок, Люда провела в одном из американских аэропортов в ожидании все время откладывающегося полета. Для нее Алик (Александр Гинзбург) — это товарищ по совместной борьбе за права человека в Советском Союзе.

Для меня...

Имя Алика Гинзбурга для меня связано с воспоминаниями о самом трудном, самом мучительном из тех политических дел, в которых мне приходилось участвовать. И, радуясь за Алика, за всех тех, кто в этот день обрел свободу, я все время вспоминала далекий 1967 год, кабинет Лефортовской тюрьмы и странную по невероятности позы фигуру: охваченные руками колени высоко подняты и прижаты к подбородку, а весь человек кажется как бы сложенным пополам. И удивительно добрые глаза. И попытка улыбкой скрыть страдание.

Таким в момент острого приступа язвенной болезни я впервые увидела своего подзащитного Юрия Галанскова — друга и «подельника» Александра Гинзбурга. Таким и запомнился он мне на долгие годы.

О Юрии Галанскове я услышала впервые в самом начале 60-х годов, когда группа молодых поэтов самочинно, без согласования с официальными организациями, стала читать стихи на площади около памятника Маяковскому. Об этих чтениях, как о чем-то совершенно необычном и уже по одному этому опасном для их участников, сразу заговорила «вся Москва». Юрий был одним из организаторов и непременным участником этих чтений.

Тогда нонконформизм еще не был заметным явлением в культурной и общественной жизни. Термины «художник-нонконформист», «поэт-нонконформист» стали употребляться значительно позже.

Но писатели, художники, композиторы, чья творческая манера расходилась с привычным для обывателя и насаждаемым государством единым творческим методом — «социалистическим реализмом», — были и тогда. В государствах с нормальными демократическими традициями творческий нонконформизм вовсе не обязательно должен привести художника к конфликту с государством, с его социальной системой. В Советском Союзе такой внутренний конфликт неизбежен. Однако, мне думается, часто художник (сознательно или подсознательно) ограничивает этот конфликт своей профессиональной творческой сферой.

Галанскова я бы назвала «человеком-нонконформистом». Его сферой была не только (а наверное, и не столько) поэзия, сколько вся жизнь.

Все, что случалось в мире, имело к нему самое непосредственное отношение. Всякая несправедливость воспринималась им как сигнал бедствия, требующий его немедленной помощи. У Юрия была природная, лишенная всякого насилия разума над чувством потребность поступать только в согласии с совестью. Сочетание такого характера с независимостью суждений и определило то, что Галансков рано осознал свою оппозиционность советскому режиму, атмосфере лжи и социальной несправедливости и стал активно против этого бороться.

Юрий родился в 1939 году. Его мать — уборщица, отец — токарь. С детства Юрий жил в бедности и не тяготился ею. Казалось, что даже самые небольшие, самые необходимые деньги или вещи были для него лишними, он всегда находил кого-то, кому эти деньги были нужнее, чем ему; вещи — необходимее. Слова «добрый», «бескорыстный» определяют характер Юрия Галанскова, только если их употреблять в самом крайнем, преувеличенном почти до невероятности смысле. Выражение «Он настолько добр, что готов отдать последнюю рубашку» относится к Юрию в прямом, а не метафорическом значении.

Я не знаю, был ли Галансков религиозным человеком, но его душевная чистота, мягкость и любовь к людям, особенно к детям, соответствуют тому нравственному облику, который я связываю с представлением об истинном христианине.

После осуждения Юрия я никогда его больше не видела. 4 ноября 1972 года, через 5 лет и 10 месяцев после ареста, он погиб в мордовских лагерях строгого режима. Все эти годы, когда мучительные боли почти не оставляли его, когда он медленно угасал от непосильной работы, язвенной болезни и хронического узаконенного голода, он писал из лагеря письма, полные любви и нежной заботы о других:

Здравствуйте все! Всех целую и обнимаю и жму руки — кого как. Милая мама и драгоценный мой папа Тимофей Сергеевич, две мои Аленки*, одна из которых Лена, я постоянно думаю обо всех вас и о своих друзьях и знакомых. Когда я ложусь спать, я говорю: «Спокойной ночи, мама, спокойной ночи, Леночка», и далее я говорю «спокойной ночи» всем, кого я уважаю и люблю. Так что многие даже не подозревают, что ежедневно несу их в сердце своем.

Мамочка, одет я тепло, не мерзну, желудок болит не очень. Чуть-чуть. Ты не волнуйся, береги свое здоровье. Пиши мне чаще. Я люблю твои письма.

Сейчас мне сделали укол атропина, и мне стало легче... Мама, дорогая, ты, пожалуйста, не волнуйся...

Сажу на работе, шью рукавицы. Часов в 10 случайно посмотрел в окно. Бог мой! Надел шапку, укутался в шарф, выбежал на улицу. Под золотым солнечным небом покрытые снегом розовые крыши. Вот оно! — обрадовался я. Присмотрелся и вижу — из труб валит фиолетовый дым, а северо-западная часть неба — сиреневая. А какие были закаты в первых числах января! Даже малиновые. В Сочельник вспоминал о родных и близких, о дорогих нам людях.

Мамочка, напеки пирогов (хорошо бы с яблоками) и отнеси Кате и Мите**. Только побольше, целую кастрюлю. Мамочка, купи им хороших конфет на елку, только обязательно хороших. И еще маленьких мандаринов. Мамочка, когда Катя с Митей будут приходиться к тебе, ты обязательно корми их. Ладно?

Здравствуйте, мама, папа и Леночка... Дня 3 или 4 я лежал в стационаре, а в первых числах сентября меня срочно увезли в больницу. Со здоровьем у меня здесь в больнице несколько лучше. Если так же будет в лагере, то жить

* Алена — жена Юрия Ольга Тимофеевна; Лена — его сестра.

** Маленькие дети друзей Юрия.

вроде бы можно... Вот только что узнал: меня выписывают завтра — 25 сентября... Однако пусть так. Если в лагере не очень будет болеть, то можно будет жить и там.

Мамочка, для маленького Юры* нужно обязательно сделать маленькую елочку. Он, конечно, ничего не понимает, но все равно ему будет хорошо. Он будет улыбаться и шевелить ручками...

И опять письмо из больницы:

Сейчас ночь. Темно. Почти не видно слов. Пишу при свете уличного фонаря (из окна), подложив книжку Леопольда Стаковского «Музыка для всех нас». Приятная книжка. Еще у меня с собой книжечка стихов Бодлера... Успел прихватить только эти две. А без книг скучно. Да и вообще скучно одному без ребят. Вот только Миша Садо навещает меня вечером. Заварил бы я ему кофе. Да нет у меня кофе. Я свою долю отдал Юрке Иванову, а то ему в Саранске без кофе трудновато будет.

Для себя Юрий просит только книги. Стихи, книги по психологии, биологии, генетике, демографии, логике и... побольше витаминов:

Как можно чаще покупай их мне. Они дешевые.

Когда читаешь все эти письма, кажется, что, наверное, и впрямь боли были терпимые, что «...жизнь идет своим чередом при всех обстоятельствах, как, собственно, она и должна идти».

Международный красный крест.
Комиссия по правам человека.

ОБРАЩЕНИЕ

19 января 1967 года я был арестован.

Нахожусь в заключении шестой год. Я болен язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Из пищи, которую я получаю в заключении, могу есть только незначительную часть, поэтому изо дня в день я недоедаю. И в то же время условиями строгого режима я фактически лишен какой-либо реальной возможности получать необходимые мне продукты от родных и близких. У меня мучительные вечные боли, поэтому я ежедневно недосыпаю.

* Сын сестры Юрия Лены; родился уже после того, как Юрий был осужден, и назван в его честь.

Я недоедаю и недосыпаю уже пять лет. При этом я работаю 8 часов в сутки. Каждый мой день — мученье, ежедневная борьба с болями и болезнью. Вот уже пять лет я веду борьбу за здоровье и жизнь...

Недели, а может, даже дни между этими трагическими словами и письмом о фиолетовом дыме, который валит из трубы, и розовом снеге, покрывающем крыши. И люди, читавшие это письмо тогда, в 1972 году, успокаивались — ведь оставалось до освобождения всего 2 года.

Юрий Галансков знал, что надеяться не на что. Он понимал, что его ждет. Он сказал об этом в последних строках своего обращения:

Оставшиеся 2 года меня будут убивать. И я не могу об этом молчать, ибо под угрозой не только мое здоровье, но и моя жизнь.

Юрий Галансков
Февраль 1972 года.

4 ноября Юрия убили. Люди, в чьих руках была жизнь Галанскова, не вправе сказать: «Он умер от болезни».

Заместитель председателя Московского городского суда Лев Миронов, осудивший Юрия по указанию свыше к семи годам лагерей строгого режима, знал, что такое наказание больной человек выдержать не может, знал, что он обрекает Юрия на смерть в лагере.

Администрация лагеря, которая требовала от Галанскова выполнения нормы принудительного труда, знала, что требует от него невыполнимого. Лагерные врачи, отказавшие ему в освобождении от работы, в назначении специального диетического питания и лекарствах, знали, что отказывают в жизненно необходимом.

В июне 1971 года родители Галанскова обратились в Президиум Верховного Совета РСФСР с ходатайством о помиловании Юрия. Они писали о резком ухудшении его здоровья, о том, что

когда приезжаем к нему в лагерь, мы видим, как он мучается, ничего не может даже есть, не может с нами разговаривать. Если его сейчас не освободят, то мы боимся — Юра эти 2 года до конца срока не доживет, умрет в лагере.

Президиум Верховного Совета РСФСР отказался рассматривать ходатайство Екатерины и Тимофея Галансковых.

Семеро политзаключенных, отбывавших наказание в одном с Галансковым лагере, направили за 8 месяцев до его гибели заявле-

ние на имя Генерального прокурора СССР Руденко. Они писали, что их товарищ политический заключенный Галансков не получает квалифицированной медицинской помощи, что во время обострения болезни его не освобождают от тяжелого физического труда.

Нередко по нескольку ночей подряд он не спит из-за страшных болей, по несколько дней ничего не ест, не имеет необходимых лекарств.

Они писали, что все это может привести к преждевременной смерти, что Галансков «медленно угасает на наших глазах».

Тогда в марте 1972 года, когда Генеральный прокурор получил это заявление, Юрия еще можно было спасти. Этого не сделали. Его убивали медленно, методично и совершенно сознательно. Они убили Галанскова, когда ему было всего 33 года.

По делу, о котором я сейчас начинаю рассказ, к уголовной ответственности были привлечены четыре человека: Александр Гинзбург, Алексей Добровольский, Вера Лашкова и мой подзащитный Юрий Галансков.

Всем им было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности (статья 70 Уголовного кодекса РСФСР). Но, в отличие от дел, о которых рассказывала в предыдущих главах, в этом деле каждому из подсудимых было предъявлено отдельное обвинение, иногда даже не связанное с деятельностью остальных.

Александр Гинзбургу — в том, что он составил и передал для опубликования на Западе сборник материалов о судебном процессе двух советских писателей Синявского и Даниэля, о котором я упоминала («Белая книга»).

Алексею Добровольскому — в хранении и распространении среди своих знакомых антисоветских брошюр и ряда самиздатовских работ.

Юрию Галанскову — в составлении неподцензурного литературного сборника «Феникс-66», в который он включил статьи антисоветского содержания.

Веру Лашкову обвиняли в том, что она печатала для Гинзбурга и Галанскова материалы, вошедшие в «Белую книгу» и в «Феникс-66».

Кроме того, и это было основным обвинением, Гинзбургу и Галанскову вменялась преступная связь с зарубежной организацией Народно-трудовой союз (НТС), открыто призывавшей к свержению советской власти и к установлению нового политического и экономического строя.

Галансков, как и другие мои подзащитные по политическим процессам, был убежденным противником насилия. Его оружием в борьбе за демократизацию советского общества всегда было только слово. Методом борьбы — открытое высказывание мыслей. Его противниками были несвобода и социальная несправедливость.

Ни одно из предъявленных ему обвинений не уличало его в совершении безнравственных, порочащих его честь поступках. Я пишу об этом с уверенностью, несмотря на то что Юрий был признан виновным не только в особо опасном государственном преступлении — антисоветской деятельности, но и в незаконной продаже иностранной валюты, то есть в преступлении чисто уголовном, как правило, связанном с корыстными мотивами.

Более того, я пишу это, несмотря на то что дело Галанскова было единственным политическим процессом, в котором я не просила суд о полном оправдании моего подзащитного. Когда в начале этой главы я писала, что дело Галанскова было самым мучительным из всех моих политических дел, я имела в виду не те профессиональные трудности, с которыми адвокату приходится сталкиваться часто. Но даже сейчас, через много лет, я помню отчаяние от противоречия между «он не совершал ничего дурного, вредного, безнравственного» и «он нарушил закон».

Как я завидовала тогда, изучая дело, и позже, уже в судебном процессе, моему другу и коллеге, адвокату Борису Андреевичу Золотухину, защищавшему Александра Гинзбурга. Вся линия поведения Гинзбурга на следствии и в суде, последовательность и логичность его показаний давали благодарный материал для спора по тем эпизодам, в которых Гинзбург отрицал свое участие.

Главное преимущество было в защите по центральному эпизоду в обвинении Гинзбурга — в составлении сборника документов по делу Синявского и Даниэля, несомненным автором которого он был. Но, кроме того, так же как я, защищая Буковского, имела право сказать суду: «Да, он это сделал, но это не преступление», — так и адвокат Гинзбурга по тем же основаниям имел возможность сказать в защитительной речи: «В этом суде мне выпала почетная привилегия защищать невиновного».

У меня — защитника Галанскова — такой привилегии не было. Я могла произнести слово «оправдать», и притом без существенного риска для себя по самому тяжелому эпизоду обвинения Галанскова — эпизоду «связи с НТС, получения от него средств тайнописи, размножения, а также распространения антисоветской литературы». Я могла утверждать, что это обвинение не доказано. Но я не могла, следуя за Галансковым, сказать: «Да, он продавал долла-

ры, но это не преступление, так как закон, запрещающий такую продажу, несправедлив».

Я могла говорить в суде, что сам факт составления литературно-публицистического неподцензурного сборника «Феникс», редактором которого был Галансков, не нарушает советский закон; могла частично спорить с обвинением в антисоветском содержании помещенных в нем статей. Но у меня не было права оспаривать антисоветский характер статьи писателя Синявского «Что такое социалистический реализм», а следовательно, спорить с тем, что, публикуя эту статью в своем сборнике, Галансков нарушает закон.

Я не могла занять такую позицию по чисто формальному, но обязательному для профессионального защитника соображению: ранее состоявшимся приговором Верховного суда РСФСР по делу Синявского эта статья была признана антисоветской. А приговор Верховного суда имеет обязательную силу для Городского суда.

Я искала выход из положения, готовясь к делу; думала об этом, проверяя правильность занятой мною позиции. И уже потом годами возвращалась к этой не оставлявшей меня проблеме. Даже сейчас, когда пишу эту книгу, я вновь испытываю те же сомнения, мучаюсь той же невозможностью найти решение, которое согласовывало бы мое мировоззрение профессионального юриста и продолжающую тревожить меня совесть.

Мнение моих коллег, с которыми я тогда бесконечно советовалась, проверяя себя, не давая себе права решать это только своим разумением, в главном, принципиальном — совпадали. Они тоже считали, что адвокат не может игнорировать закон, и потому я не вправе ставить вопрос о полном оправдании Галанскова.

Большинство из них считало, что я должна поставить перед Галансковым условие: он признает себя виновным по тем эпизодам, которые оспаривать невозможно, или откажется от моих услуг. Мои товарищи резонно говорили, что, когда обвиняемый не признает себя виновным, позиция защитника, который не просит о его оправдании, всегда будет восприниматься как предательство.

— Неужели ты не понимаешь, — говорили они, — что никто не будет считаться с теми границами допустимого, которые определяет сама профессия юриста, а не митингового оратора. В их глазах позиция защитника, который просит об оправдании обвиняемого, отрицающего свою вину, всегда будет восприниматься как предательство. Никто не вправе требовать от нас, чтобы мы добровольно шли на такое незаслуженное унижение. Ты должна объяснить Галанскову: раз он признает, что он совершил эти действия, то единственный логический вывод — это признание вины. Ты ничем не

поступишься против совести, если уговоришь его произнести эти слова, так же как произнесли их двое других обвиняемых — Добровольский и Лашкова.

Было бы неправдой сказать, что эта сторона конфликта, относящаяся к моей репутации, меня не волновала. Мне было бы намного легче и спокойней, если бы Галансков признал свою вину, то есть дал правильную правовую оценку тем действиям, совершение которых он не отрицал. Я соглашалась, что единственный логический вывод в случае конфликта между обвиняемым, отрицающим свою вину, и адвокатом, его вину не оспаривающим, — это отказ от услуг такого адвоката. Но ставить перед Галансковым условие: либо признайся, либо защищайся сам — я просто не могла. Юрий просил меня быть его защитником и с полным пониманием, без всяких возражений согласился с занятой мною линией защиты.

Что такое интересное дело?

Для слушателя или читателя интерес к делу, как правило, определяет его фабула. Для юриста — проблема, которую это дело ставит. Социальная или глубоко личная, но всегда психологическая и нравственная.

Политические процессы ставили перед адвокатами множество глобальных проблем — проблем социальных и нравственных, психологических и правовых. Спор о фактах, а значит, и анализ доказательств в этих делах, как правило, имел второстепенное значение. Это определялось самим характером деятельности наших подзащитных. Ее преднамеренной открытостью и легальностью. Так было, когда защищала участников демонстрации Владимира Буковского и Павла Литвинова. Да и остальные обвиняемые по этим делам, независимо от того, признавали они себя виновными или нет, не отрицали своего участия в демонстрации.

Дело Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой тоже ставило перед защитой общие для всех политических дел проблемы. Но, помимо этого, оно было сгустком ожесточенной борьбы между обвинением и защитой и по самим фактам.

Эта борьба осложнялась тем, что кто-то из обвиняемых совершил те действия, которые КГБ считал преступными. Главный спор заключался в том, кто — Галансков, как утверждал КГБ, или Добровольский, как об этом свидетельствовали все объективные доказательства?

Начиная писать книгу, я была уверена, что расскажу о деле Галанскова так, как оцениваю его сегодня. Когда профессиональная

страстность уже отошла. Время не только отделило события, но и принесло знание новых фактов, которое не могло не повлечь за собой и новые оценки. Но с каждой, с каждой написанной мною страницей я чувствовала, как все пережитое тогда вновь возвращается ко мне. Память не только воскрешает детали, казалось, давно уже забытые, но возвращает и прежнее отношение, прежний психологический и эмоциональный настрой. Отстраниться от этого оказывалось все труднее. И я решила сдаться. Писать так, как будто не прошли эти годы, без всякой корректировки, без учета изменений в моих оценках, которые произошли значительно позже. Так я вернулась в сентябрь 1967 года, когда вместе с Юрием изучала дело в Лефортовской тюрьме, когда Добровольский был для меня врагом № 1.

Мысль о жалости к сломленному и раздавленному жизнью человеку пришла позже. Тогда я испытывала к нему лишь брезгливое презрение, видела в нем лжеца и предателя. Ощущала его личным врагом, не отделяя от себя то зло, которое он принес Юрию.

В середине января 1967 года в приемную КГБ в разное время явились граждане Цветков и Голованов — работники одной из московских проектных организаций. По роду своей работы они занимались размножением на специальной множительной машине всей необходимой служебной документации. В беседе с сотрудником КГБ Голованов и Цветков (каждый в отдельности) рассказали, что по просьбе своего знакомого Радзиевского они согласились за небольшую оплату сделать так называемую левую работу (то есть частную работу в рабочее время на оборудовании, принадлежащем учреждению). Радзиевский принес им папку, в которой находились листы с машинописным текстом.

Однако, ознакомившись с содержанием материалов и поняв, что они антисоветские, каждый из них самостоятельно принял решение отнести эти материалы в КГБ. Вслед за этим был задержан и допрошен в КГБ Радзиевский. Он подтвердил показания Цветкова и Голованова и утверждал, что все это — его товарища Алексея Добровольского. Сам он эти материалы не читал и не знал, что, выполняя просьбу Добровольского, передает тексты антисоветского содержания.

В один и тот же день, 17 января, и даже в одни и те же часы бригады сотрудников КГБ провели обыски на квартирах Добровольского, Галанскова, Гинзбурга и Лашковой. У каждого из них были обнаружены и изъяты различные машинописные тексты писем, обращений к общественности. Кроме того, у Гинзбурга и Галанскова изъяли по одному экземпляру отпечатанного на машинке сборника «Феникс-66». В тот же день Лашкова была арестована. А Галансков и Добровольский — 19 января.

Почему КГБ провел обыски у людей, чьи имена не были названы ни Цветковым, ни Головановым?

В отношении Добровольского это можно объяснить тем, что под одним из сданных в КГБ документов стояла его подпись. Но главным, подлинным основанием для обысков было то, что КГБ давно следил за всеми этими людьми и искал лишь повод, чтобы начать расправу над ними. В КГБ знали, что Александр Гинзбург составил «Белую книгу». Гинзбург не только не делал из этого секрета, но один экземпляр этого сборника, подписанный его именем и с указанием своего адреса, сам направил в КГБ, подчеркивая этим легальный характер своей деятельности.

Известно было КГБ и о том, что Галансков составил литературно-публицистический неподцензурный сборник «Феникс» и что материалы для этого сборника, равно как и для «Белой книги», печатала их общая приятельница Вера Лашкова.

«Белая книга» — это сборник, лишенный авторского текста. В нем стенографическая запись самого судебного процесса над Синявским и Даниэлем, отклики на этот процесс в советской и зарубежной прессе, а также письма отдельных граждан или организаций в адрес советских руководителей, Союза писателей или судебно-прокурорские органы Советского Союза.

Цель составления этого сборника сформулирована в нескольких словах от автора, предварявших сборник:

И пусть не смолкнет и не ослабнет голос общественного мнения до тех пор, пока не вернутся к нам те, кто думал о судьбе своей страны больше, чем о собственной судьбе, — Андрей Синявский и Юлий Даниэль.

Судить человека только за одну эту фразу невозможно даже в условиях «гибкого» советского правосудия. Если бы Гинзбург собрал в своем сборнике только протесты, только письма, в которых выражалось несогласие с процессом, то можно было бы согласиться с утверждением КГБ о тенденциозности сборника (хотя и в таком случае в действиях Гинзбурга не было бы ничего преступного). Но Гинзбург с поразительной добросовестностью и разоблачительной объективностью представил все погромные статьи из советских газет, в которых клеймили Синявского и Даниэля, письма возмущенных и разгневанных писателей, ученых и «простых советских людей», которыми в те дни пестрела советская пресса. Составленный им сборник не давал материала для привлечения его к уголовной ответственности ни за антисоветскую пропаганду, ни за клевету на советский государственный и общественный строй.

Поэтому КГБ искал другие, дополнительные возможности для привлечения Гинзбурга к уголовной ответственности, любого предложения, который позволил бы обрушить на него репрессии. Таким предложением стал машинописный сборник «Феникс» (Москва, 1966), обнаруженный во время обыска на квартире Гинзбурга.

Следователь поставил перед собой задачу доказать, что Гинзбург участвовал в составлении этого значительно более уязвимого, с точки зрения советского закона, журнала.

23 января Гинзбург был арестован.

Первые допросы арестованных мало что добавили к материалам, которые уже были в распоряжении КГБ. Галансков сразу же признал, что он редактор и составитель сборника «Феникс», но на всех допросах неизменно утверждал, что Гинзбург никакого отношения к работе над сборником не имел, так же как и он сам ни в какой мере не участвовал в составлении «Белой книги». Рассказал Галансков и о том, что сборник «Феникс» он оставил на квартире у Гинзбурга, когда заходил к нему в последний раз перед обыском. Гинзбурга в это время дома не было, поэтому он и не мог знать, что «Феникс» находится у него на квартире.

Гинзбург тоже отрицал какую бы то ни было причастность к составленному Галансковым сборнику. Лашкова подтвердила, что печатала отдельно материалы для Галанскова и отдельно для Гинзбурга и никогда ни от кого из них не слышала, чтобы они совместно работали над этими сборниками.

Трудно сказать, как закончилось бы это дело, если бы все обвиняемые остались на этих позициях, если бы Добровольский, а частично и сам Галансков не дали бы следствию недостающий, необходимый для организации громкого процесса материал.

Не исключено, что следствие ограничилось бы обвинением в клевете на советский строй.

Но, повторяю, необходимый дополнительный материал следователи получили от самих обвиняемых. И главным, а поначалу и единственным источником этой информации был Алексей Добровольский.

В показаниях на предварительном следствии Добровольский много говорил о себе, о своем детстве, о том, как формировалось его мировоззрение и отношение к советскому режиму. Алексей очень рано лишился отца. Его воспитывала мать — инженер по профессии, сталинистка по убеждениям. Он рос в атмосфере преклонения перед Сталиным, восхищался всем, что было с ним связано.

Разоблачение Сталина для него, как для многих, было огромным жизненным потрясением. Но справиться с этим потрясением

ему оказалось труднее. Слишком сильной и искренней была его прежняя вера. За выступление в защиту Сталина и против кампании «разоблачение культа личности» Добровольский был исключен из комсомола. Таков был первый результат его несогласия с «генеральной линией партии».

Сам Добровольский на следствии, а потом в суде говорил, что он долго и мучительно пытался самостоятельно разобраться в интересовавших его политических вопросах.

Очевидно, — говорил он, — мне было это непосильно. Из разоблачения Сталина я сделал неправильные выводы и постепенно стал противником советской власти (том 4, лист дела 195).

Когда Добровольскому было 19 лет, он был арестован и осужден за антисоветскую деятельность.

Я не признал тогда себя виновным. Я считал, что меня осудили тогда неправильно. Годы, проведенные в лагере, не изменили моих оценок советской действительности, но к этому присоединилось и личное озлобление (том 4, лист дела 86).

Уже после освобождения из заключения Добровольского КГБ дважды арестовывал его за антисоветскую деятельность. В первый раз дело против него было прекращено (основания мне неизвестны). Второй же раз он был признан невменяемым и определением суда был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Рассказывая сейчас об этом человеке, о том впечатлении, которое он произвел на меня, я должна сказать, что многое в его поведении осталось для меня неясным. Он не был моим подзащитным, следовательно, я не имела с ним никаких личных контактов. Во время следствия у меня не было возможности задавать ему вопросы, не было права на беседу с ним. Я не могу принять показания Добровольского следователю, его рассказы о самом себе, запротоколированные следователем КГБ, за абсолютно достоверные. Я убеждена, что и эти показания, производившие на некоторых впечатление искренних, были подчинены желанию спастись. А оценки, которые Добровольский давал своим действиям, на мой взгляд, были продиктованы не раскаянием, а страхом.

Многие считали главным в формировании духовного склада, характера, мировоззрения Добровольского его психическую неполноценность. Считали, что резкое изменение его взглядов от фана-

тичного сталиниста до активного антисоветчика, а затем даже до монархиста — результат психопатологических изменений его личности. Этим же объясняли изменения в еще более глубокой сфере, формирующей мировоззрение, от обожествления Сталина к православию.

Добровольского много раз обследовали психиатры, и все констатировали определенные отклонения от нормы. У него диагностировали психопатию, а однажды — шизофрению. Даже при той осторожности, с которой я отношусь к заключениям советских судебных психиатров, я думаю, что у Добровольского действительно была большая психика. Думаю, что это, несомненно, имело влияние на развитие его характера и на его поведение. Болезнь огрубляла, усиливала свойственные ему от природы черты характера.

Его переоценка собственной личности переходила границы обычной и достаточно часто встречающейся нескромности. Недоверчивость перерастала в подозрительность, а расчетливость — в жадность. Возможно, что болезненная жажда самоутверждения толкала его к более активной деятельности, являлась дополнительным раздражающим импульсом.

Конечно, те, кто видел болезненные симптомы в изменении мировоззрения Добровольского, исходили при этом не из самого факта кардинальной перемены взглядов. Казались противоестественными именно его монархические убеждения. Я не знаю, был ли действительно Добровольский монархистом. О его монархических взглядах заговорили в связи с тем, что в его комнате висел портрет последнего российского императора, и потому, что так его называли некоторые свидетели. Если это так, если Добровольский действительно был к тому времени монархистом, то я должна признаться, что он был первым молодым монархистом, которого я видела.

Тогда у большинства тех, с кем я говорила о Добровольском, его монархизм вызывал однозначную реакцию.

— Он что — абсолютный псих? — спрашивали те, кто об этом слышал впервые.

Но мне кажется, что именно тем, чему учили Добровольского с самого детства, что действительно вошло в его плоть и кровь, можно объяснить и пришедшие на смену сталинизму монархические убеждения и погружение в религию.

Сталин был кумиром, почти божеством для Добровольского. В нем видел он воплощение мудрости и силы. Но, разочаровавшись в Сталине, Добровольский вовсе не превратился в противника абсолютной власти, и идея превращения России в абсолютную монархию не противоречила представлениям о государственном устройстве, за-

ложенным в него воспитанием и ставшим частью его мировоззрения. А принцип, к которому он привык с детства, принцип сосредоточения власти в руках одного человека, не стал ему чуждым.

Мне кажется, что Добровольский по своему духовному складу давно был религиозным человеком, но то, во что он верил, оказалось псевдорелигией. Разочаровавшись в ней, он не утратил потребности в вере, и его интерес к религиозно-философским вопросам определялся потребностью обрести веру во что-то подлинное и высокое. Следует ли при этом удивляться тому, что он стал религиозным человеком. Мне кажется, что в своих взглядах Добровольский был вполне логичен и последователен.

Новый арест — по нашему делу — оказался непосильным испытанием для Добровольского. Слишком много ему пришлось пережить раньше. Когда я впервые увидела его в сентябре 1967 года в Лефортовской тюрьме, это был совершенно раздавленный, деморализованный и одновременно фанатично устремленный человек. Все его существо было поглощено одной мыслью — спастись. Цена, которую нужно было платить за это спасение, уже не имела значения. Такой ценой было «раскаяние», то есть осуждение своих собственных взглядов. Но главная цена, главное, чем он оплачивал свое спасение, — это показания против Гинзбурга и Галанскова. Любые нужные следствию показания. В какой-то мере то, что он говорил, могло быть и правдой, но в значительной мере он выдумывал и лгал с каким-то даже страстным упоением. Страстность характерна для всех его показаний. Для тех, в которых признавал свою вину и каялся, и для тех, в которых вину свою отрицал.

Первой реакцией на арест было отрицание.

Радзиевский меня оговаривает. Он бессовестно лжет, я ничего ему не передавал (допрос 19 января, том 1, лист дела 8).

Радзиевский скрывает того, кто действительно давал ему эти материалы. Он бессовестно оклеветал меня. Галансков мне их не передавал, а я не передавал их Радзиевскому (допрос 20 января, том 1, лист дела 12).

Допросы следуют один за другим 19, 20, 21, 25 января. И все то же: «Он клеветает», «Он бессовестно лжет», «Он оговаривает невиновного».

В перерывах между допросами Добровольский пишет пространные заявления, в которых, помимо мольбы верить ему, предлагает различные способы проверки своей непричастности к передаче этих материалов.

Вам будет легко в этом убедиться, если вы возьмете отпечатки пальцев, которые, несомненно, остались на папке и вложенных в нее листах машинописного текста (том 1, лист дела 21).

Когда я читала протоколы допросов и собственноручно написанные Добровольским заявления, я уже знала, что именно Добровольский передал Радзиевскому материалы. Сам Добровольский к тому времени уже признал это. Я не осуждала его за эту ложь. Умом понимая, что всякая ложь безнравственна, ответственность за нее я возлагала на тех, кто карает тюрьмой за одну попытку размножить критическую статью.

Последний в этой начальной стадии следствия допрос Добровольского датирован 28 января. После этого наступает длительный перерыв, связанный с направлением Добровольского (а также Галанскова) на судебно-психиатрическую экспертизу в Институт судебной психиатрии имени профессора Сербского. Но связь между следователем и Добровольским не прерывалась.

Том 1, лист дела 27. Заявление Добровольского от 15 февраля 1967 года:

Размышляя над нашей вчерашней беседой, готов представить следствию недостающие экземпляры журнала «Феникс»... С этим нельзя затягивать, так как не исключена возможность, что они уйдут за границу... Если Вы согласитесь отпустить меня хоть на несколько дней, я смогу оказать эту помощь следствию.

С этого заявления начинается та линия поведения Добровольского, которую я не могла расценить иначе, как сотрудничество с КГБ. Во всех последующих заявлениях и допросах центр тяжести переносился на других. Добровольский уже не ограничивается тем, что говорит: «Не я». Он говорит: «Виновны другие».

Том 1, лист дела 32. Заявление Добровольского от 13 марта 1967 года:

Я пытался убедить Вас, что ничего, в том числе и открытого письма Шолохову, я Радзиевскому не передавал. Предлагал проверить отпечатки пальцев на письме. Предлагал и другие варианты. Вы отказались. Вы продолжаете держать меня в заключении на основании показаний одного человека — Радзиевского.

Его показания неверные. *Письмо к Шолохову и все остальные материалы ему передал Галансков.* Радзиевский показал на меня, так как знал, что я «шизофреник», и думал, что меня не тронут. Я абсолютно не виноват и к этим материалам никакого отношения не имел...

Том 1, лист дела 34. Заявление Добровольского от 22 марта 1967 года:

В своем покаянном заявлении от 13 марта я был с Вами недостаточно искренен. Я утаил, что материалы Галансков передал в моем присутствии. Я сам это видел. Это было в январе 1967 г. вечером, около памятника Лермонтову. Сейчас я даю правдивые показания.

Этим признаниям предшествовали несколько писем, которые Добровольский пытался нелегальным путем передать Галанскову и своим близким — жене и матери.

Юра! — писал Добровольский. — Умоляю тебя. Возьми все на себя. Мне сейчас нельзя садиться, ты же знаешь это.

Юра! Я не выдержу этого, возьми все на себя... Прошу, сделай это...

И так в каждой записке. Всюду — «прошу», но ни разу — «ты должен». Ни разу нет безусловных аргументов, которые способны убедить истинно виновного снять обвинение с невиновного. Нигде не сказано: «Виноват ты, а не я, значит, и отвечать тебе».

О собственной невиновности Добровольский пишет не Галанскову, а другим. В письме к жене и к матери он клянется, что он «невиновная жертва», и, как бы опасаясь, что ему не поверят, призывает в свидетели «самое святое», что у него есть, — Бога. Это письмо отличается возвышенностью стиля, высокопарностью выражений, доходящих почти до экстаза, до крика, до религиозной мольбы.

Неужели он клянется Богом только для того, чтобы возбудить жалость к себе в тех, кто его и без того жалел, и убедить во лжи не следователя, с которым можно хитрить и которого нужно опасаться, а родную мать и преданную ему жену?

Если бы Добровольский впоследствии сам не признал, что все материалы передавал он, это письмо, как будто не предназначенное для следователя, несомненно, служило бы серьезным психологическим аргументом в защите. Не исключено, что в момент, когда оно писалось, именно такую цель преследовал Добровольский. Об этом свидетельствует не только стиль письма, но и то, что у Добровольского не было практически шансов передать его по назначению. Институт имени Сербского — это не больница. Туда направляют на экспертизу только обвиняемых в совершении уголовных преступлений, которые содержатся под стражей. Ни жена, ни мать Добровольского его письмо не получили. Оно своевременно было перехвачено, передано следователю и приобщено к делу.

А вот цель, которую преследовал Добровольский, когда писал Галанскову, ясна. Здесь нет разных толкований, нет места сомнениям. Эти записки лаконичны, просьба сформулирована четко — «возьми все на себя». Юрий получил эти записки и впоследствии сам передал их следователю. Они также были приобщены к делу.

Нужно сказать, что, когда Добровольский писал эти последние записки, в которых «возьми вину на себя» заменено на «возьми все на себя», речь шла уже не только о передаче печатных материалов через Радзиевского. К этому времени на квартире у Добровольского произвели повторный обыск. Были найдены шапирограф, специальная копировальная бумага для тайнописи, литература издательства «Посев» и довольно крупная сумма денег, происхождение которых Добровольский должен был объяснить.

24 марта 1967 года. Первые показания Добровольского по результатам обыска (том 1, лист дела 37):

В июле или августе 1966 г. я получил бандероль из-за границы. В ней были шифрограф, листы с антисоветскими текстами и иностранная копировальная бумага для тайнописи. Позже, уже перед ноябрьскими праздниками, я получил вторую бандероль. Там были книги. В конце декабря получил третью бандероль — тоже с книгами издательства «Посев» и письмо от НТС.

Между второй и третьей посылкой Вера Лашкова по моей просьбе написала письмо в НТС, используя присланную мне копиру для тайнописи. В письме я подтвердил получение бандеролей...

И, наконец, те показания Добровольского, в которых он окончательно избрал линию защиты.

Допрос 28 марта 1967 года (том 1, лист дела 43):

Галансков был связан с НТС. Он сам прямо сказал мне об этом. В августе он принес мне шапирограф и листовки, которые просил меня размножить и разослать по определенным адресам у нас и за границей. Сначала я согласился, потом отказался. Так шапирограф и листовки оказались у меня. Галансков говорил, что у него постоянная связь с Западом. Давал для меня и моих знакомых книги антисоветского содержания, изданные НТС. Шифрованное письмо в НТС я давал Лашковой по поручению Галанскова, от него же получил копиру для тайнописи. В декабре 1966 г. я видел у Галанскова доллары — он сказал, что ему помогают из-за границы. В октябре 1966 г. Галансков встречался с иностранцем. Через этого иностранца он передал на Запад «Белую книгу».

Все остальные показания Добровольского (а их было очень много) не изменяют, а расширяют за счет дополнительных фактов, иногда мелких деталей то основное, что он сказал 28 марта:

«Все, что у меня найдено, — я получил от Галанскова», «Книги, которые я давал читать знакомым, я получал от Галанскова», «Письмо, которое печатала Вера Лашкова под мою диктовку, печаталось по поручению Галанскова», «Деньги, которые нашли в моей квартире, принадлежат Галанскову», «Иностранцы приезжали не ко мне, а к Галанскову».

От Добровольского следствие получает нужные ему показания не только против Галанскова, но и против Александра Гинзбурга, с которым Добровольский почти не был знаком.

«Я слышал, что связь с иностранцами Галанскову передал Александр Гинзбург», «Я слышал, что сборник „Феникс“ Галансков составлял вместе с Гинзбургом».

Добровольский не мог привести никаких фактов в подтверждение этих предположений, не мог сослаться ни на одного свидетеля. Но и этого «я слышал» оказалось достаточно, чтобы Гинзбургу предъявили дополнительное обвинение, а впоследствии и осудили его за соучастие в составлении сборника «Феникс».

Мне нет надобности цитировать показания Гинзбурга. На протяжении всего следствия он не сказал ни одного слова, которое хотя бы косвенно могло быть использовано против Галанскова. Не могли служить доказательством вины Юрия по обвинению в связи с НТС и показания Веры Лашковой.

Следствие допросило множество свидетелей — ни один не подтвердил показания Добровольского. И все же он не был единственным обвинителем Галанскова. Нашелся еще один человек, чьи показания, может быть, в еще большей степени, чем показания Добровольского, дали необходимые следствию материалы для обвинения. Этим человеком был сам Галансков.

Показания Галанскова со дня ареста 19 января и до 6 мая, то есть в течение четырех месяцев, можно изложить в нескольких словах:

Я автор письма Шолохову. Я составитель и редактор журнала «Феникс». Считаю, что действовал в рамках закона, и потому виновным себя не считаю.

На допросах 6, а затем 17 мая, который длился (с учетом перерыва на обед) 8 часов (с 12 часов 40 минут до 20 часов 30 минут), Галансков подтвердил все возводимые на него Добровольским обвинения. Встречи с приезжавшими в Москву представителями НТС, получение от них шапирографа, копирки, денег, литературы; пе-

реписку с НТС при помощи заранее обусловленного цифрового шифра, передачу через этих представителей «Белой книги» и «Феникса».

Все это с подробностями записано в просторном протоколе допроса от 17 мая (том 1, лист дела 65), который назван «Чистосердечные показания».

Но проходит всего несколько дней, и в эти «чистосердечные показания» Галансков начинает вносить коррективы.

31 мая (том 1, лист дела 105):

Кто передал «Белую книгу», я не знаю. Я в этом не участвовал.

8 июня (том 1, лист дела 111):

Шифрованное письмо для иностранки Нади я писал, но не отправлял, а сжег. В этом неотправленном письме я писал о взаимоотношениях между молодыми поэтами «смогистами».

12 июня (том 1, лист дела 118):

О передаче «Белой книги» ничего не знаю. Газету «Посев», шапирограф и книги НТС я Добровольскому не давал.

12 июня (том 1, лист дела 127):

Никаких книг НТС у меня не было. От НТС ни книг, ни посылок не получал. Показания Добровольского полностью отрицаю.

16 июня (том 1, лист дела 136):

Все показания о моих встречах с представителями НТС, о получении от них шапирографа, копирки, денег, литературы — вымышленные. Я хотел выручить Добровольского, который уже длительное время просит меня об этом.

19 июня (том 1, лист дела 154):

Все мои показания, начиная с 6 мая, — чистый вымысел. Я сознательно оговорил себя, поддавшись на просьбы, даже мольбы Добровольского.

Если бы на этом можно было поставить точку! Если бы защита имела возможность в суде утверждать, что признание Галанскова было кратковременным! Еще в ходе следствия он отказался от ложного признания и объяснил мотивы, которые его на эту ложь толкнули...

Но проходит месяц, и вновь допросы Галанскова следуют один за другим: 21 июля, 26 июля, 28 июля, 31 июля. И в каждом из протоколов:

«Я встречался с представителями НТС...», «Я получил от них шапирограф, литературу и деньги...», «Я передал все это Добровольскому...», «Я поручил Добровольскому написать зашифрованное письмо...».

12 августа Юрий пишет собственноручные показания (том 1, лист дела 246). В протоколе этого допроса специально оговорено: «Обвиняемый Галансков выразил желание записать показания собственноручно»:

В конце лета или в начале осени я последовательно встречался с четырьмя иностранцами. От них получил две папки с материалами НТС и книги. Все эти иностранцы называли себя представителями зарубежной организации — Комитета содействия СМОГУ.

В ноябре приезжал иностранец по имени Генрих — он назвался представителем какой-то организации юристов. От него я получил 260 долларов и 300 рублей советскими деньгами. С ним я отправил на Запад «Белую книгу».

В январе приехала иностранка по имени Надя. От нее получил копируку для тайнописи, условный цифровой шрифт и два адреса, по которым я смогу направлять письма для НТС. Через Надю я передал свой журнал «Феникс».

Если бы это было все. Если бы на этом можно было поставить точку...

Следствие по этому делу было закончено 21 сентября, а за 3 дня до этого Юрий вновь изменил свои показания.

Он теперь не отрицал встреч с иностранцами, но отрицал, что они были представителями НТС. Он не отрицал того, что писал зашифрованное письмо, но отрицал, что оно было адресовано в НТС. Он признавал, что в ноябре встречался с иностранцем по имени Генрих, но отрицал, что передавал ему «Белую книгу». Он признавал, что встречался с иностранкой по имени Надя, но отрицал, что передал ей журнал «Феникс». Он признавал свое участие в перепродаже долларов, но говорил, что получил их не от иностранца, а от Добровольского, которому согласился бескорыстно помочь. Закончил он свои показания так:

Признавая все то, что на меня наговорил Добровольский, я хотел выручить его, считая, что мне все равно отвечать за составление журнала «Феникс» и «Открытое письмо Шолохову».

Если учесть, что Юрий относился к предстоящему суду как к балагану и видел наиболее правильную для себя линию поведения в предстоящем процессе в откровенном издевательствах над судом, думаю, что мой читатель согласится с тем, что задача, стоявшая передо мной, была очень нелегкой.

Юрий был трудным подзащитным. Он соглашался со всеми моими доводами, внимательно выслушивал мои советы. Был как-то по-особому нежно благодарен за каждый знак внимания и сочувствия, которые я могла проявить. Но он был предельно изнурен физически и измучен нравственно. Слабость и неудовлетворенность собой он пытался скрыть бравадой, грубой насмешкой над следователем, иногда даже переходящей границы приличия. Он смеялся над ними, когда ему хотелось кричать от боли. Не хотел, чтобы чужие и враждебные ему люди видели, как ему трудно. Он шел на то, чтобы вызвать у них раздражение, так как не хотел вызвать у них чувство жалости.

К 12 октября 1967 года, за несколько дней до истечения максимально-го срока содержания обвиняемых под стражей до суда, мы закончили ознакомление со всеми девятнадцатью томами следственных материалов.

Мы расставались с Юрием до суда. Мне предстояла интенсивная подготовка к защите, осмысление огромного материала, который нужно было систематизировать и анализировать. Мои коллеги по процессу и я с нетерпением ждали времени, когда дело будет назначено к слушанию и у нас появится возможность без следователя и без наших подзащитных вновь, только для себя, перечитать особенно важные показания и совместно обсудить линию защиты. Но время шло, а о том, когда будет рассматриваться дело, нас никто не извещал. Наконец, в самых первых числах декабря адвокатам сообщили, что дело будет слушаться 11 декабря в 10 часов утра под председательством Льва Миронова — члена Московского городского суда.

Это было вдвойне нерадостное сообщение. Времени, которое оставалось до начала суда, было недостаточно для необходимой нам подготовки к делу. Перспектива участвовать в процессе под председательством Миронова была тоже не из приятных.

Я всегда очень осторожно относилась к тем оценкам, которые адвокаты дают судьям. Знаю, что зачастую хвалим мы судью только за то, что дело «хорошо» кончилось, и ругаем, когда оно закончилось «плохо». Но это далеко не самый надежный и, во всяком случае, не абсолютный критерий. И все же, когда узнала, что наше дело будет рассматривать именно Миронов, я была искренне огорчена. Уж очень

единодушно ругали его все мои товарищи, которые знали его еще народным судьей. Слишком часто применительно к нему звучало слово «садист».

За годы работы Миронова в Московском городском суде я часто видела его, но звучание его голоса услышала впервые, когда он произнес:

— Судебное заседание объявляю открытым.

За 10 лет, которые прошли после процесса над Галансковым, мы тоже встречались множество раз, но поздоровался он со мной только однажды.

Это было в обеденный перерыв. Толпы посетителей, прокуроров, адвокатов, судей, секретарей стремились вниз по лестнице с верхних этажей в подвал. Там расположена столовая Московского городского суда, где, простояв в очереди 35–40 минут, можно было, давась от спешки, так как время перерыва уже исчерпано, съесть горячий обед. В эти же часы по той же лестнице ежедневно спускались с третьего этажа руководители суда. Раньше — Николай Осетров и два его заместителя. Позже — Лев Алмазов и его заместители Миронов и Рязский. Они не спеша выходили на улицу к ожидавшей их у подъезда машине и уезжали обедать в какую-то специальную столовую для ответственных работников.

В тот день по лестнице спускались не трое, а четверо. Вместе с Алмазовым и его заместителями спускался Осетров, в то время и ныне заместитель министра юстиции. Они проходили мимо меня, о чем-то оживленно беседуя, что уже само по себе было нарушением обычного ритуала. Обычно Алмазов со своими заместителями всегда проходили молча.

Глядя на этих «высоких» чиновников, мы, адвокаты, часто вспоминали время, когда Алмазов был просто народным судьей, приветливым и благожелательным, выделявшимся среди многих интеллигентностью. Сколько раз, выступая в те далекие годы в процессах под его председательством, я видела в нем нормального живого человека и очень неплохого судью. Сколько раз разговаривала с ним в коридорах того народного суда. Потом Алмазов стал заместителем Осетрова. Постепенно с его лица пропала приветливая улыбка, потом обычное «здравствуйте» было заменено молчаливым кивком головы. К тому времени, когда Алмазов стал председателем Московского городского суда, заменив ушедшего на повышение Осетрова, исчез и этот кивок.

Но в тот день, повторяю, они шли вчетвером, о чем-то оживленно беседуя, и мне даже показалось, что в лице Алмазова проступили прежние человеческие черты.

Увидев меня, Осетров внезапно остановился. Остановились и его спутники.

— Здравствуйте, товарищ Каминская, — обратился ко мне Осетров.

— Здравствуйте, товарищ Каминская, — как эхо повторили Алмазов и Ряжский. Миронов промолчал.

— Ты разве не знаком с адвокатом Каминской? Она ведь выступала у тебя в процессе. Неужели забыл? — обратился к нему Осетров.

Вот тогда-то и произошло это событие: Миронов сказал мне «здравствуйте».

В этот день мои коллеги, наблюдавшие эту сцену, поздравили меня с официальным признанием. Никого не удивило, что со мной поздоровался заместитель министра Осетров, но Миронов...

Среди моих товарищей были такие, которые неоднократно выступали у Миронова. И все они говорили:

— Он не только не здоровается, но и не смотрит в нашу сторону. Ты теперь знаменитость.

Прошло день или два, и мы опять почти в том же составе стояли в холле. И опять мимо нас прошел Миронов, но на этот раз без Осетрова. Он шел, как всегда, медленно, как всегда с неподвижным каменным лицом, как всегда — не здороваясь. Все стало на свое место.

Отношение Миронова к адвокатам следовало бы назвать пренебрежительным. Его отношение к подсудимым было враждебно-издевательским. Я не думаю, что эта враждебность определялась спецификой нашего дела, его политическим характером. Миронову просто доставляла удовольствие сама возможность унижить человека, проявить свою власть над незащищенным, зависящим от него, будь то подсудимый или даже свидетель.

Но все это я узнала потом. Первое же мое знакомство со стилем работы Миронова произошло так. Утром, когда рабочий день в суде только начался, вдоль широкого коридора третьего этажа старого здания Московского городского суда шествовала следующая процессия. Впереди, указывая дорогу, шла секретарь спецканцелярии Валя Осина. За ней адвокат Швейский, неся на вытянутых вперед руках уложенные стопкой тома дела. Замыкала это шествие я. Так же, как и Швейский, я несла большую стопку томов в коричневых обложках. На каждом томе было написано: «Дело по обвинению Гинзбурга, Галанскова и других».

Внезапно я услышала громкий голос. Выглянув из-за стопки томов, я увидела высокого плотного мужчину, тяжело опиравшегося на палку. Он только что поднялся по крутой лестнице на третий этаж и еще не мог отдышаться.

— Почему вы позволяете себе надо мной издеваться? — громко и с явным раздражением спрашивал он, обращаясь к Вале. — Сколько раз я должен подниматься сюда и опять спускаться, чтобы получить простую справку. Я хочу знать, на когда назначено дело Гинзбурга. Почему вы не отвечаете мне?

— Я уже объяснила вам, что ничего о таком деле не знаю. Такого дела в нашей канцелярии нет, — отвечала ему Валентина, с отчаянием оглядываясь на нас и как бы проверяя, сможет ли ее собеседник прочесть крупную надпись на обложке верхнего тома: «Дело по обвинению Гинзбурга...»

— Владимир Яковлевич, — это незнакомец обращается к Швейскому, — может быть, вы объясните мне, что здесь происходит?

Но Швейский не успевает ответить, как Валентина вмешивается в разговор.

— Я могу дать вам совет, — говорит она, — обратитесь к товарищу Миронову. Если такое дело действительно поступило в Московский городской суд, Миронов, несомненно, знает о нем.

И уже нам:

— Пожалуйста, товарищи адвокаты, пойдёмте. Я покажу, где вы будете работать.

Всю нелепость ситуации, в которой мы оказались, я оценила, когда узнала, что встретившийся нам мужчина был клиентом Швейского по этому делу. Именно он, знаменитый генерал Петр Григоренко, обратился к Швейскому с просьбой защищать Добровольского*.

Надо сказать, что, направляя генерала Григоренко к Миронову, Валя прекрасно знала, что Миронов его не примет.

Конечно, судья не обязан сам принимать посетителей и отвечать на интересующие их вопросы. Но Миронов запретил секретарям давать такие справки.

Я пыталась тогда найти какое-нибудь разумное объяснение этому распоряжению. Но не могла. Уверена, что распоряжение

* Бывший генерал Петр Григоренко — одна из самых ярких фигур диссидентского движения. В 1961 году он — генерал, начальник кафедры Военной академии имени Фрунзе, кавалер множества боевых орденов, старый и убежденный коммунист — выступил на партийной конференции с критикой деятельности всесильного в ту пору Хрущева. Тогда Григоренко отделался строгим выговором по партийной линии и переводом с большим понижением по службе на Дальний Восток. Но он и там продолжал публично критиковать политику партии и правительства и в конце концов был изгнан из партии и из армии. А позже последовали арест и заключение в специальную психиатрическую больницу. Уже в эмиграции он подвергся в Соединенных Штатах обследованию двух известных американских психиатров и был признан абсолютно психически здоровым.

Миронова было просто формой издевательства над этими и без того измученными горем людьми.

Однако основное, что в те дни волновало адвокатов, был не дурной характер Миронова, а явная невозможность из-за недостатка времени серьезно подготовиться к предстоящей защите.

Изучая дело в КГБ, все мы старались как можно полнее зафиксировать в своем досье все существенное. Но, естественно, переписать 19 томов следственных материалов было невозможно. Дома, перечитывая свои записи, каждый из нас наметил вопросы, которые требовали уточнения, в которых надо было разобраться дополнительно. Так неизбежно бывает при изучении большого дела с разнообразным следственным материалом.

Решить эти проблемы за несколько дней, которые нам предоставили для подготовки, было тем более невозможно, что каждый из нас должен был хотя бы два дня посвятить беседе со своим подзащитным, хотя бы дважды встретиться с ним до суда и вновь после полуторамесячного перерыва готовить его к судебной процедуре. В порядке судебной подготовки к делу, от имени всей защиты мы заявили два самостоятельных ходатайства. Первое — отложить слушание дела на 5–6 дней; второе — в соответствии с процессуальным законом слушать дело в открытом заседании. (Так как Миронов, без всяких к тому оснований, руководствуясь только тем, что на обложке стоял уже знакомый моему читателю индекс «С», то есть «секретно», решил рассматривать его в закрытом судебном заседании.) Вот против этого незаконного решения, никак не вытекавшего из сущности предъявленного обвинения, мы решили возражать.

В тот вечер через секретаря нам сообщили, что дело будет слушаться в точно назначенный срок, и, следовательно, в первом ходатайстве нам было отказано. Второе же ходатайство будет рассмотрено позже.

Мы решили, что, как только откроется судебное заседание, вновь заявим это ходатайство, а пока, еще до встречи с нашими подзащитными, нам нужно было обсудить и выработать общую линию защиты по центральному и наиболее тяжелому обвинению, связанному с распространением и хранением литературы, изданной Народно-трудовым союзом (издательства «Посев» и «Грани»), а также в преступной связи с этой организацией.

НТС, с точки зрения советских властей, не просто антисоветская по своим идеям зарубежная организация, а организация, имеющая целью

...свержение существующего в СССР строя и реставрацию буржуазных порядков путем идейной и вооруженной борьбы с коммунистической властью.

(Цитирую по обвинительному заключению и по приговору Московского городского суда по делу Галанскова.)

Все, исходящее от НТС, — журналы, книги, брошюры — автоматически признавалось антисоветским. Распространение и даже хранение такой литературы было достаточным для привлечения к уголовной ответственности.

«НТС — на службе ЦРУ», «НТС — зарубежный филиал ЦРУ», «НТС — шпионская организация» — вот те обычные определения, которые сопровождали всякое упоминание об НТС в советской прессе.

Первый вопрос, который стоял перед адвокатами, был: действительно ли НТС является антисоветской организацией? Может ли защита оспаривать этот тезис обвинения?

Мое знакомство с политической литературой, издаваемой НТС, ограничивалось тогда брошюрами, изъятыми при обыске у Добровольского и приобщенными к делу. Такая же степень осведомленности была и у моих коллег. Но даже того немногого, что мы прочли, было достаточно, чтобы прийти к категорическому выводу: оспаривать этот тезис обвинения невозможно. И не потому, что это опасно или тактически вредно, а потому, что НТС действительно является антисоветской организацией. Ее цель — не демократизация и либерализация советского режима в рамках уже существующего государственного строя, а замена его принципиально новым политическим режимом. Авторы брошюры «Солидаризм — идея будущего» и других книг и статей, которые мы тогда читали, исходили при этом из того, что Советский Союз является тоталитарным государством. Авторы этих брошюр, книг и статей не только подвергали убедительной критике все основы советской государственности, но и призывали к борьбе со старым и за установление нового режима с использованием при этом самых разнообразных средств от идеологической борьбы до освободительной революции и насильственного свержения власти.

Мы все были согласны, что спорить с антисоветским характером литературы, призывающей к свержению существующего строя, защита не может. А раз существует закон, карающий за распространение такой литературы, то юрист обязан признать, что закон нарушен и его подзащитный виновен. Однако все мы были также единодушны в том, что соглашаться с обвинением можно, только анализируя содержание каждой брошюры в отдельности и категорически отвергая тезис обвинения: «Все, изданное НТС, является антисоветским».

Такова была общая принципиальная позиция защиты, которую мы потом последовательно проводили в судебном следствии и в защитительных речах. Никто из нас от этой позиции не отошел,

несмотря на то что Золотухин и я просили суд об оправдании наших подзащитных по всей группе эпизодов, связанных с НТС. Ария, защищавший Лашкову, просил переqualифицировать обвинение со статьи 70 Уголовного кодекса (антисоветская пропаганда) на статью 190-1 (клевета на советский государственный и общественный строй), а Швейский признавал обвинение доказанным.

В суде Галансков отрицал сам факт получения, чтения и распространения антисоветской литературы. Именно поэтому у меня было право и даже обязанность утверждать, что это конкретное обвинение является недоказанным. Лашкова и Добровольский признали, что читали и давали читать другим эти брошюры, и их защитники сделали все то, что, оставаясь в рамках закона, мог сделать адвокат.

Второй вопрос, по которому мы, адвокаты, несмотря на антагонистические противоречия между нашими подзащитными, хотели достичь единства, — это оценка криминальности литературно-публицистических произведений, которые были помещены в составленном Галансковым «Фениксе-66» и в «Белой книге», составленной Александром Гинзбургом. Это была очень трудная и очень ответственная часть подготовки к делу. Вновь и вновь перечитывали мы эти произведения, обсуждали совместно каждую сомнительную фразу. Тот спор, который вел с обвинением каждый из нас в суде, во многом был результатом общего, коллективного труда, тех единодушных выводов, к которым мы пришли после долгих споров, расхождений в оценках и новых, уже во время судебного процесса, размышлений.

С адвокатами Арией, Золотухиным и Швейским меня связывали долгие годы совместной работы и, уверена, взаимного уважения.

И, как ни странно, труднее всего писать именно о них, о тех, кого никогда не называла полным именем, к кому всегда обращалась с дружеским «ты», с которыми столько часов, дней и лет провела в одних и тех же судебных залах.

Каждый из них настоящий профессионал, адвокат высокой квалификации и несомненного таланта.

Семен Ария, Владимир Швейский и я — люди одного поколения. Борис Золотухин гораздо моложе. Когда слушалось дело, ему было не более 35–36 лет. В адвокатуру он пришел из прокуратуры Москвы. Пришел уже с именем прекрасного судебного оратора, с репутацией образованного юриста и принципиального, независимого человека.

Борис был блестящим адвокатом. Природа наградила его талантом, который сочетался с требовательностью к себе, постоянной неудовлетворенностью собой.

Дело Галанскова и Гинзбурга было первым политическим делом в практике Золотухина. Оно стало и последним его делом. О том, как Золотухин был исключен из Московской коллегии, как происходила эта отвратительная по своему цинизму и несправедливости расправа, я расскажу в следующей главе. Сейчас же мне хочется только добавить, что за все годы моей работы в адвокатуре у меня не было лучшего, более преданного и более любимого мною друга, чем он.

В начале декабря мы четверо с утра до вечера, не давая себе отдыха, готовились к процессу. Назначенный день открытия процесса приближался, а у нас возникали все новые и новые вопросы, порождавшие все новые и новые решения. Как вдруг на третий или четвертый день нашей работы Миронов через секретаря спецканцелярии сообщил: слушание дела откладывается. Наша просьба удовлетворена.

Как радовались мы тогда в первые минуты, когда, перебивая друг друга, задавали один и тот же вопрос:

— Когда будет слушаться дело? На сколько отложено?

— Не знаю, товарищи адвокаты. О новой дате слушания дела вас известят дополнительно. Работайте спокойно, времени у вас теперь совершенно достаточно.

Когда мы остались одни, когда первая минута радости прошла, так же одновременно прозвучало:

— Что это может значить? Почему Миронов решил отложить процесс? Почему отложил его на неопределенный срок?

Казалось бы — чему мы удивились? В чем сомневались? Сами просили отложить дело, а теперь, когда наша просьба удовлетворена, ищем в этом какой-то скрытый смысл, а может быть, и угрожающий признак.

Если бы Миронов отложил дело на 3–5 дней, мы бы тоже удивлялись — политические процессы обычно не откладывают, как бы настойчиво об этом ни просила защита. Но дело откладывалось на неопределенный и, очевидно, длительный срок. Следовательно, сделано это было не для адвокатов. Мы понимали, что за кулисами этого процесса что-то происходит. Что где-то вне суда принимаются, возможно, новые решения, для выполнения которых требуется время, и что наше ходатайство было использовано лишь как благовидный предлог.

И опять шли дни. Мы уже закончили подготовительную работу, уже каждый из нас по несколько раз беседовал со своим подзащитным, уже кончился декабрь и наступил новый — 1968-й — год.

4 января в консультацию пришла телефонограмма: дело Галанскова назначено на 8 января в 10 часов утра.

На третьем этаже Московского городского суда расположены несколько кабинетов судей и один зал судебного заседания. Это самый большой зал в суде. Он занимает почти весь этаж. В этом зале происходят совещания московских судей. Когда слушаются дела с большим числом обвиняемых (20–30 человек), они проводятся в этом зале.

Подсудимые тогда сидят не сбоку за барьером, а впереди — прямо перед судом. Сидят на длинных деревянных скамейках со спинками и подлокотниками. По два человека на скамейке, чтобы оставалось место, куда положить бумагу для записи, тетрадь с выписками из дела; чтобы каждый из них, устав, мог опереться на подлокотник.

Когда 8 января мы вошли в этот большой зал, где должно было начаться слушание нашего дела, мы его не узнали. Скамьи были вынесены. Половина зала была пуста. А перед судейским столом на значительном расстоянии друг от друга стояли четыре узких стула. За ними опять пустое пространство, и уже где-то ближе к концу зала в несколько рядов места для публики.

Вскоре эти места были заняты специально приглашенными. Несколько человек из Верховного суда РСФСР, из прокуратуры республики, журналисты, подобранные властями, сотрудники следственного управления КГБ. Увидела среди приглашенных и знакомого кинорежиссера, о чьих личных дружеских связях с высшими чинами КГБ он сам рассказывал. Даже убеждал, что Юрий Владимирович (Андропов) очень добрый человек: каждый раз, когда дает санкцию на арест диссидента, он расстраивается почти до слез.

Были и какие-то незнакомые мне люди из Московского комитета партии, представители московского партийного аппарата. Свободными остались всего несколько мест, очевидно специально зарезервированных, чтобы потом по ходатайству защиты разрешить присутствовать на суде самым близким родственникам подсудимых — родителям и женам. Ни одного из друзей в зал не впустили.

Ввели арестованных. Впервые увидела Веру Лашкову. Вера оказалась мне совсем девочкой. Очень худенькая, тоненькая. На тонкой шее маленькая головка. Волосы затянуты назад и схвачены резинкой. Она и Гинзбург заняли первые два стула, ближе к суду. Около каждого из них — солдат с автоматом.

Во втором ряду Галансков и Добровольский и тоже солдаты с автоматами.

В эти считанные минуты, оставшиеся до начала заседания, мы беседуем со своими подзащитными. Какие-то последние наставления. Помню, как вступила в спор с начальником конвоя, требуя, чтобы для подсудимых, хотя бы для больного Юрия, поставили вместо стула скамейку. Но вмешался сам Юрий:

— Мне не нужно от них ничего. Буду сидеть как все.

И так провел пять дней процесса, корчась от боли, сгибаясь или стараясь поднять колени как можно выше, но ни разу не пожаловавшись.

Странная это вещь — адвокатская психология. Я хорошо помню, как, когда знакомилась с делом еще в первой стадии — в Лефортовской тюрьме, с каждым днем уходили сомнения первых дней. Как все больше крепла уверенность — Добровольский лжет, он оговорил Юрия. Это было не только результатом знакомства с материалами дела. Не только потому, что объективные доказательства способствовали такой убежденности. Но и потому, что, вопреки моему желанию, сознание очень охотно воспринимало все то, что говорило в Юрину пользу. Добровольский действительно в те дни стал для меня врагом номер один.

Длительный перерыв до рассмотрения дела в суде был временем раздумий над конструкцией защиты и анализа собранных следствием документов. В вопросе о конструкции защиты мои сомнения относились лишь к некоторым деталям. К тому, как более убедительно, более аргументированно построить спор с обвинением. В том же, что я должна спорить с обвинением, сомнений никаких не возникло.

Я не только не могла — я обязана была вести этот спор даже в том случае, если бы вещественные доказательства были найдены не у Добровольского, а у Галанскова. Даже если бы Юрий не три, а десять раз менял свои показания. Это профессиональный долг. Сомнения, которые мучили меня в то время, относились к другому вопросу.

Ведь, защищая Юрия, я становилась в этой конкретной ситуации обвинителем другого человека, не менее Юрия перестрадавшего. Такая ситуация, конечно, не уникальна. В практике каждого адвоката в обычных уголовных делах она встречается довольно часто и требует от защитника большого профессионального умения и такта, чтобы не перейти грань. Не увлечься самим азартом борьбы, который может заслонить судьбы живых людей. И не только судьбу другого подсудимого, но и собственного подзащитного.

Ведь агрессивная защита всегда вызывает ответную агрессивную реакцию. И тогда обвинение и суд получают возможность черпать из защитительных речей новые доказательства и аргументы виновности уже не одного, а обоих подсудимых.

Готовясь к защите, я понимала, что спора с Добровольским избежать не смогу. Больше того, я не смогу просто сказать, что Добровольский оговорил Юрия; я должна буду сказать и то, во имя чего он на эту ложь пошел. А значит, сказать: он виноват, он спасает себя, перекладывая вину за реально совершенные им действия на Галанскова.

Такая позиция была оправдана профессиональным долгом — защищать всеми законными средствами, а значит, и профессионально этична.

И все же какое-то внутреннее сомнение оставалось.

Когда перечитывала нелогичные показания Юрия, все чаще стал возникать вопрос: а вдруг? А вдруг в показаниях Добровольского о Галанскове не все ложь?.. Были такие детали в его показаниях, которые находили пусть косвенное, но все же подтверждение в показаниях Лашковой, чье поведение на следствии было разумным (а потом в суде — безупречным). Я легко могла найти для всех этих деталей вполне правдоподобное объяснение. Они не изобличали Юрия, а лишь порождали сомнения. Но даже если признать, что Галансков совершил все, в чем его обвиняли, он все равно, на мой взгляд, не заслужил бы нравственного осуждения. Я не видела тогда и не вижу сейчас ничего безнравственного в том, чтобы получать, читать самому и давать читать другим литературу, изданную любым издательством и развивающую любые идеи. Не вижу ничего безнравственного и в том, чтобы писать зашифрованные письма, так как безнравственным может быть содержание письма (а в этом Галанскова не обвиняли), а не способ, которым оно написано. Государство само своим тотальным полицейским надзором, перлюстрацией частных писем толкает граждан на то, чтобы пользоваться такими методами.

Связь с НТС тоже не вызывала у меня осуждения, если эта связь не приводила человека к совершению безнравственных поступков.

Нравственный аспект защиты в политических процессах приобретает особое значение, и это, безусловно, сказывается на методе и тактике самой защиты. Эти методы с трудом поддаются классификации, но они, несомненно, существуют. Не случайно в деле о демонстрации на Красной площади никто из адвокатов не пользовался в своей защите такими обычными аргументами, как меньшая, по сравнению с другими подсудимыми, роль его подзащитного. Не выясняли вопросов о том, кто был инициатором демонстрации, кто писал лозунги. Адвокаты тогда восприняли высоконравственную линию поведения своих подзащитных.

Обычная для уголовных, но необычная для политических дел коллизия между подсудимыми — между Добровольским и Галансковым — не освобождала адвоката от повышенных нравственных требований к самому себе. Казавшийся мне раньше справедливым пафос разоблачения Добровольского постепенно перестал казаться таким справедливым. Упреки в его адрес переставали казаться заслуженными.

С этим чувством я и пришла в суд. Я хотела сохранить это ощущение отстраненности, которое давало возможность быть беспристрастной и объективной.

Но вот после обычной процедуры начала судебного заседания, после чтения обвинительного заключения начался допрос первого подсудимого — Алексея Добровольского. И с каждой минутой, с каждой произносимой им фразой, с каждым упоминанием имени Юрия возвращалось прежнее ощущение, прежняя эмоциональность восприятия.

— Галансков сказал, что встречается с иностранцами, получает от них литературу, средства тайнописи, деньги и шапирографы.

— Литература, которую привозили Галанскову, была издана НТС.

— Галансков передал на Запад «Белую книгу» через иностранца Генриха.

— От Генриха Галансков получал деньги в советской и иностранной валюте.

— Галансков говорил, что передал «Феникс» через иностранку Надю, — она сотрудница «Граней».

— Галансков дал мне шапирограф и антисоветские листовки для размножения.

— Галансков говорил, что он поддерживает связь с НТС путем переписки через особую копирку — тайнописью.

— От Галанскова я получил обнаруженные у меня при обыске 2 тысячи рублей.

— Деньги, которые передал Генрих Галанскову, предназначались как помощь в деятельности Галанскова.

— Галансков воспитывал меня в духе тех принципов, которые пропагандировал НТС (Протокол судебного заседания. Листы дела 173–176).

Таково содержание ответов Добровольского на вопросы прокурора Терехова. Нужно ли удивляться тому, что с первого же дня процесса Добровольский вновь стал для меня врагом номер один. Я уже не думала о том, что Добровольский измучен арестом и длительным сроком тюремного заключения, хотя ни на минуту не забывала об этом, когда речь шла о Галанскове. Исчезло свойственное мне сочувствие к человеку в беде.

Если бы Добровольский, не выдержав угрозы нового и очень длительного лишения свободы, избрал покаяние, как единственно возможный метод защиты, если бы он осудил свои собственные взгляды как антисоветские и потому преступные, я не считала бы его героем, но и не считала бы линию его поведения предательской. Но Добровольский защищался, губя и безжалостно предавая своих товарищей. Галанскова, которого считал другом, и Гинзбурга, с которым почти не был знаком, о взглядах и поступках которого почти ничего не знал. Если показания Добровольского в отношении Галанскова в какой-то мере можно объяснить тем, что их связывала общность дея-

тельности по некоторым из эпизодов обвинения, что, рассказывая о себе, ему трудно было умолчать о Юрии, то его показания в отношении Гинзбурга этим объяснить нельзя.

А между тем обвинение Гинзбурга в связи с НТС были целиком построены только на предположениях Добровольского.

— Я слышал, что у Гинзбурга была давно связь с заграницей.

— Мне говорили, что иностранцы приезжали к Гинзбургу.

— Я догадывался, что Гинзбург планировал передать «Белую книгу» на Запад.

Или такой эпизод из допросов Добровольского в суде:

Прокурор: Приезд Генриха ожидали, чтобы передать сборник («Белую книгу») за границу?

Добровольский: Да.

Прокурор: Они (Гинзбург и Галансков) передавали ее тайно?

Добровольский: Да.

Прокурор: Значит, это делалось тайно, так как в книге были антисоветские документы?

Добровольский: Да. Там были антисоветские документы.

Прокурор: И они опасались ответственности?

Добровольский: Да.

Прокурор: И таким образом раскрывалась их связь с НТС?

Добровольский: Да.

Здесь особенно интересен сам характер вопросов, то, как их ставил прокурор. Он формулировал не столько даже вопрос, сколько уже готовый на него ответ. Добровольскому не было нужды сообщать суду факты — ему было достаточно соглашаться с прокурором. Такие вопросы имеют специальное название — «наводящие». Задавать наводящие вопросы законом запрещено. Это было, несомненно, известно нашему обвинителю — старшему помощнику генерального прокурора СССР Терехову. Знал об этом запрещении и председательствующий Миронов, который ни разу не прервал прокурора, не сделал ему замечания.

Я думаю, что этот метод допроса был избран потому, что и Терехов и Миронов знали, что Добровольский абсолютно не осведомлен обо всем, что относится к обвинению против Гинзбурга; что он не сможет самостоятельно, без подсказки, дать необходимые показания. Но они правильно оценили его готовность оказывать обвинению любую помощь. Не сомневались они и в том, что он охотно скажет это «да» и подтвердит все, что нужно.

Если бы задача, которую я ставила перед собой, ограничивалась только тем, чтобы подорвать доверие к Добровольскому, показать суду, что он неоднократно менял свои показания, она была бы сравнительно легко выполнима, как выполнима была аналогичная задача, стоявшая перед адвокатом Золотухиным (с которой он блестяще справился). Ему достаточно было добиться от Добровольского показаний, что он не видел ни одной встречи Гинзбурга с представителями НТС, никогда не слышал от самого Гинзбурга о таких встречах. Установить, что Добровольский не может назвать имен иностранцев, с которыми Гинзбург якобы встречался, места этих встреч и времени, когда они происходили. И тогда несерьезность показаний Добровольского о Гинзбурге становилась наглядно очевидной.

У меня — защитника Галанскова — положение было иное.

Показания Добровольского о Юрии носили вполне конкретный характер. Он называл имена людей, с которыми Галансков встречался. Называл место и время этих встреч. Более того, Галансков сам не отрицал целый ряд фактов, которые стали известны следствию из показаний Добровольского, но давал им иное, отличное от Добровольского объяснение. Ставя себя на место судьи, я говорила себе:

— Показания Добровольского о Галанскове могут быть ложью, вызванной желанием отвести удар от себя. Сказать, что все, найденное у него, принадлежало не ему, а Галанскову; что не он, а Юрий был связан с НТС. Но эти показания могут быть и правдой. Они оба встречались с одними и теми же иностранцами. У них обоих видели доллары (но Галансков говорил, что эти доллары — Добровольского, а Добровольский — что Галанскова). Добровольский говорил, что Галансков передал через эмиссара НТС за границу свой журнал «Феникс-66» — Галансков отрицал это. Но материалы из «Феникса» были опубликованы в журнале НТС «Грани», так что показания Добровольского в определенной мере подтверждались.

Самый объективный судья в условиях полной независимости оказался бы перед сложным выбором между этими взаимоисключающими версиями двух подсудимых, одинаково заинтересованных в исходе дела. И я не уверена, что и в таких — идеальных для правосудия — условиях спор решился бы в пользу Галанскова.

Чего я добьюсь, если продемонстрирую суду, что Добровольский вначале скрывал свое участие в передаче через Радзиевского литературных материалов для размножения, а потом, признав это, утверждал, что выполнял поручение Галанскова? Мой внутренний оппонент резонно возражал:

— Такое поведение обвиняемого встречается часто. Оно свидетельствует лишь о том, что Добровольский пытался уйти от ответ-

ственности и скрыть свое участие в этом эпизоде. Но это вовсе не означает, что, признав свою вину, он дает ложные показания о роли Галанскова.

И опять тот же внутренний, но необходимый оппонент добавлял:

— Не забудь, что в этих последних показаниях Добровольского есть логика и здравый смысл. Ведь материалы, которые Добровольский передал для размножения, Галансков включил в «Феникс». Как редактор и составитель, он был заинтересован в максимально возможном распространении своего журнала. А зачем это нужно было Добровольскому?

Я понимала, что пока не найду разумного ответа на этот вопрос, пока не покажу суду, что у Добровольского был собственный, независимый от Галанскова интерес размножить эти материалы, его показаниям практически противопоставить нечего. У меня было очень мало шансов, что допрос Добровольского даст какие-то новые сведения. И все же ставлю ему ряд вопросов, пытаюсь нащупать то направление, которое впоследствии позволит утверждать: Добровольский был лично заинтересован во встречах с иностранцами и в размножении литературных материалов.

Я: Кто был первый иностранец, с которым вы встречались?

Добровольский: Французский журналист по имени Габриэль.

Я: Когда произошла эта встреча?

Добровольский: В августе 1966 года.

Я: О чем вы беседовали?

Добровольский: О литературе.

Я: Может быть, точнее о какой-нибудь литературной группе?

Добровольский: Да, это верно. Мы говорили о смогистах.

Я: Обращались ли вы к этому иностранцу с какими-либо просьбами?

Добровольский: Да, обращался. Но сейчас я не помню точно... Я его о чем-то просил...

И после молчания добавляет:

Я передал через него какую-то свою статью; хотел, чтобы ее напечатали.

Я: Приходилось ли вам говорить об этой статье с каким-нибудь другим иностранцем?

Добровольский: Да. С Генрихом. Он мне сказал, что она опубликована.

Я: Что еще он говорил вам об этой статье? Может быть, высказывал свое мнение о ней?

Добровольский: Да. Он поощрил меня морально.

Я: Это все, что он сказал вам о статье?

Добровольский: Нет. Он сказал, что я получу гонорар за статью.

Я: Имел ли Галансков какое-либо отношение к этой вашей статье и передал ли ее за границу?

Добровольский: Нет. С Габриэлем я встречался один.

Я: Были ли у вас другие случаи...

На этом мой допрос был прерван резким замечанием судьи:

— Ближе к делу, товарищ адвокат.

Я пытаюсь продолжать допрос. Ставлю новый вопрос.

Я: Разговор с Генрихом о вашей статье был при первой вашей встрече или позже?

Добровольский: О статье говорил с Генрихом уже при второй с ним встрече.

Я: Кто еще присутствовал при этой встрече?

Добровольский: Никто, мы были вдвоем.

И опять судья:

— Товарищ адвокат, я запрещаю вам ставить такие вопросы. Добровольскому не предъявлено обвинение в передаче материалов за границу. Не возражайте, товарищ адвокат, я и впредь буду снимать такие вопросы.

Действительно, такое обвинение Добровольскому не предъявлено, но по закону судья вправе снимать только вопросы, не имеющие отношения к делу.

Встреча с иностранцем по имени Генрих была самостоятельным эпизодом в обвинении Галанскова и Добровольского, и у меня было бесспорное право выяснять все обстоятельства, сопутствовавшие встрече. Оставалось только возражать против действий председательствующего, а затем подчиниться его распоряжению.

Судья Миронов снял мои вопросы потому, что почувствовал их направленность, почувствовал, что они угрожают стройной конструкции обвинения, по которой Добровольский выступал лишь как помощник, втянутый Галансковым в преступление. Всякое упоминание о том, что Добровольский был заинтересован во встречах с иностранцами, всякое упоминание о самостоятельных денежных взаимоотношениях Добровольского с Генрихом, который считался представителем НТС, подрывали убедительность этой конструкции.

Для того чтобы было ясно, что Миронов снял мой вопрос не потому, что он был поставлен неправильно, приведу еще один небольшой отрывок из судебного допроса.

Допрашивался свидетель Епифанов.

Прокурор: Что вы знаете о встречах Галанскова со шведом?

Галансков: Я протестую против этого вопроса.

Судья: Подсудимый Галансков, я не разрешаю вам вмешиваться в допрос.

Я: Товарищ председательствующий, я прошу снять вопрос прокурора. О встрече Галанскова со шведом нет ни слова в обвинительном заключении, этот вопрос выходит за рамки судебного разбирательства.

Золотухин: Товарищ председательствующий, вы отклонили много наших вопросов и ни разу не сняли вопросы прокурора, явно выходящие за рамки данного судебного разбирательства.

Миронов: Товарищ прокурор, задавайте вопрос дальше.

Прокурор: Свидетель, ответьте на мой вопрос.

Свидетель: О встречах Галанскова со шведом ничего не знаю.

Миронов был не просто необъективен. Он лишал адвокатов возможности реально осуществлять защиту. Снимал важные вопросы, отказывал в существенных ходатайствах.

Одним из пунктов обвинения Галанскова было получение им денег из-за границы. Поскольку при обыске у Галанскова ни денег, ни ценностей обнаружено не было, обвинение основывалось на показаниях Добровольского, утверждавшего, что все полученные Галансковым деньги тот передал на хранение ему. Однако еще в период расследования дела жена Добровольского трижды обращалась в КГБ с требованием вернуть изъятые у них при обыске деньги. Она писала, что они являются частично их трудовыми сбережениями, частично одолжены мужем у его знакомых из религиозных кругов.

Это противоречило показаниям Добровольского и нуждалось в проверке. На второй день процесса мне было передано письмо от генерала Григоренко, в котором он сообщал, что ему известно происхождение обнаруженных у Добровольского денег и он готов дать суду показания. Я заявила ходатайство о вызове его в качестве свидетеля. Суд отказался допросить генерала Григоренко, сославшись на то, что он состоит на учете в нервно-психиатрическом диспансере.

Проходит несколько часов. Обвинитель допрашивает свидетельницу Басилову, жену поэта Губанова. Губанов давал во время следствия показания, что Гинзбург иногда приводил к ним иностранцев. Гинзбург отрицал это. Прокурор хотел использовать показания Губанова как доказательство того, что Гинзбург поддерживал связи с иностранцами.

Прокурор: В показаниях вашего мужа Губанова говорится...

Басилова: Я хочу сделать заявление.

Судья: Не разрешаю.

Басилова: А я все-таки сделаю. Я хочу знать, какое право имеет КГБ доводить душевнобольного человека до состояния невменяемости всяческими преследованиями и в таком состоянии допрашивать? Более того, — использовать показания психически больного человека на суде?..

Судья: Это клевета на КГБ. Вы будете отвечать за клевету?

Басилова: Это не клевета. Состояние моего мужа определил врач.

Судья: Товарищ комендант, уведите свидетельницу.

Золотухин: У меня есть вопросы к свидетельнице.

Судья: Задавайте.

Золотухин: Ваш муж состоит на учете в нервно-психиатрическом диспансере?

Басилова: Да.

Золотухин: Как давно?

Басилова: Шесть лет.

Золотухин: С каким диагнозом?

Басилова: Шизофрения.

После допроса свидетеля адвокат Золотухин обратил внимание суда на медицинские документы, имеющиеся в деле, из которых видно, что свидетель Губанов в течение многих лет страдает тяжелым психическим заболеванием.

Золотухин: Ходатайство адвоката Каминской было отклонено именно потому, что Григоренко, судя по справке из нервно-психоневрологического диспансера, является больным человеком. Почему же показаниям Губанова, человека явно больного, неоднократно стационарировавшегося в больницах с диагнозом «шизофрения», придается настолько большое значение, что они признаны единственным и достаточным доказательством для одного из эпизодов обвинения Гинзбурга?

Золотухин просил суд исключить показания Губанова из числа доказательств.

Суд, не перебивая, выслушал аргументацию моего коллеги, а в определении записал, что

...не видит достаточных оснований для исключения показаний свидетеля Губанова из числа доказательств по делу.

Суд не допросил Губанова. Его психическое состояние было таково, что исключало всякую возможность допроса. Но в приговоре суд на его показания все же сослался как на доказательство вины Гинзбурга.

Судебное заседание почти по каждому делу приносит неожиданности, которые предугадать совершенно невозможно. Иногда они раздражаются как взрыв и требуют от адвоката немедленной и точной реакции.

10 января 1968 года. Третий день процесса. 10 часов утра. Судебное заседание объявляется открытым. Государственный обвинитель прокурор Терехов заявляет ходатайство:

— Прошу вызвать в суд и допросить в качестве свидетеля гражданина Брокс-Соколова, который может дать ценные показания по настоящему делу.

Кто такой Брокс-Соколов? Его имя ни разу не упоминалось в материалах предварительного следствия. Не называл его и никто из допрошенных в суде обвиняемых.

Прокурор разъясняет:

— Брокс-Соколов — гражданин Венесуэлы. Приехал в Советский Союз в качестве туриста. Арестован органами КГБ в декабре 1967 года. Следствие по его делу еще не закончено. Однако уже сейчас есть показания, содержание которых имеет отношение к настоящему делу.

Для того чтобы нам, адвокатам, высказать свое мнение о таком ходатайстве, нам нужно прежде всего ознакомиться с показаниями, которые Брокс-Соколов дал на следствии по своему делу. Только тогда мы сможем судить об обоснованности ходатайства прокурора.

Об этом мы и просим суд. Отказ в такой просьбе грубо нарушает права защиты, ставит ее уже не только фактически, но и формально в неравное положение с обвинением.

И опять встает прокурор Терехов:

— Я должен заявить суду, что дело Брокс-Соколова имеет особую государственную важность и потому материалы этого дела не могут быть оглашены.

Но если показания Брокс-Соколова настолько секретны, что их нельзя предъявить адвокатам, каждый из которых имеет доступ к секретным документам, участвующим в делах, связанных с охраной государственной тайны, то как тогда допрашивать этого свидетеля в суде, в открытом судебном заседании? Значит, очевидно, не все показания этого свидетеля столь секретны.

(Кстати, Брокс-Соколова судили в том же Московском городском суде через полгода. Судили его в открытом судебном заседании, в присутствии публики и прессы. Об этом деле писали в советских газетах. Никаких государственных тайн в его деле не было, и суд, признав его виновным в антисоветской пропаганде, «учитывая его чистосердечное раскаяние», освободил его из-под стражи тут же в зале суда после оглашения приговора.)

Заявляем новое ходатайство об ознакомлении только с теми материалами из показаний Брокса, по которым он будет допрошен в суде. Уж в этом-то суд нам не может отказать.

Мионов слушает, откинувшись на высокую спинку судейского кресла. Он слушает наши возражения, а потом еле заметным кивком — направо к заседателю и налево к заседателю — и также не меняя позы, только на лице усилилась гримаса брезгливости, которая не сходит с его лица в течение всего процесса, диктует секретарю:

— Ходатайство прокурора удовлетворить. Вызвать в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля гражданина Брокс-Соколова. В ходатайстве адвокатов об ознакомлении с материалами следственного дела — отказать.

Весь этот день во время допросов свидетелей, когда внимание напряжено до предела, меня не оставляла мысль об этом неизвестном гражданине из Венесуэлы, показания которого нам предстоит выслушать.

В перерывах каждый из нас в беседе с подзащитными пытался выяснить, кто такой этот неожиданно объявившийся Брокс-Соколов. Какое отношение он, впервые появившийся в Советском Союзе через год после ареста наших подзащитных, может иметь к их делу. Но и они имя Брокс-Соколова слышали впервые.

7 часов вечера. Прозвенел громкий пронзительный звонок, возвещавший окончание рабочего дня. Шум шагов уходящих людей. Потом тишина. Суд кончил свою работу. А мы все еще допрашивали непрерывно сменяющих один другого свидетелей.

Почти все свидетели, вызванные обвинением, — это знакомые подсудимых. Они сочувствуют подсудимым. Мионов благожелательно слушал показания Цветкова и Голованова, сообщивших в КГБ о том, что Радзиевский принес им для размножения рукописи. Но трудно передать, что происходило в зале, когда допрашивали друзей и родственников подсудимых. Смех, грубые оскорбительные выкрики из зала почти не умолкали.

Смеялись, когда свидетели говорили, что Галансков — добрый и бескорыстный человек, или называли Гинзбурга талантливым литератором. Смеялись и тогда, когда свидетели говорили о себе. Под сплошной смех прошли показания Башиловой, хотя, право же, ничего смешного в ее показаниях усмотреть было невозможно. Если, конечно, не считать поводом для смеха рассказ о тяжелой психической болезни ее мужа — поэта Губанова, не считать смешным, что человек на вопрос о профессии отвечает: «Я поэт». Или: «Я религиозный писатель».

Мионов не останавливал этих шумящих до бесчинства людей. Наоборот, видно было, что такая реакция зала, этой приглашенной

публики ему явно по душе. Сам он не смеялся над каждым, кто свидетельствовал в пользу подсудимых. Он использовал свою власть председательствующего, чтобы издеваться над ними.

По закону допрошенные свидетели остаются в зале и не могут удаляться до окончания судебного следствия. Однако Миронов никому из знакомых подсудимых этого не разрешал. Короткая фраза:

— Свидетель, вы свободны.

И судебный распорядитель, специально прикомандированный КГБ для наблюдения за порядком в нашем процессе, уже предусмотрительно открывает дверь в коридор, чтобы свидетель не мог задержаться в зале ни одной лишней минуты.

Закончился допрос свидетеля Виноградова. И уже звучит знакомое:

— Свидетель, вы свободны.

Но Виноградов просит разрешения остаться в зале.

— Вы должны мне это разрешить. Я обязан по закону, по статье 283 оставаться здесь!

— Вот по этой самой 283-й статье немедленно оставьте зал. Товарищ комендант, проводите свидетеля.

Это реплика Миронова, которая особенно нравится сидящей в зале партийной элите.

Допрос свидетеля — это очень трудная часть работы адвоката. Нужно слушать, нужно успеть записать, нужно быстро уловить настроение свидетеля, чтобы понять, о чем полезно его спросить. А в этот день еще неотвязная мысль: «Кто такой Брокс-Соколов? Когда же начнется этот неожиданный допрос?»

И опять свидетели один за другим сменяют друг друга, так что нет времени даже на то, чтобы почувствовать, насколько устала за эти 10 часов почти непрерывной работы.

Перед судьейским столом — молодая женщина. Черные волосы, черные глаза, одета тоже в черное — на плечи наброшен большой черный в ярких красных розах платок. Это Аида Топешкина — давняя знакомая Галанскова, приятельница его жены.

И опять в зале смех. Как смешно им слышать, что Галансков был беден — «гол как сокол». Смешно и то, что безотказно помогал свидетельнице в трудные минуты ее жизни; смешно, что он любит детей.

Это разные люди. За пять дней процесса я видела, что появлялись новые лица, исчезали те, кого видела накануне. Но и эти новые были такими же нагло-веселыми.

Как-то во время очередного перерыва мы, адвокаты, стояли в холле около судебного зала. Огромное, почти во всю стену окно на Каланчевскую улицу. Перед зданием суда толпа. Воротники пальто

подняты, женщины замотаны в теплые платки. Эти люди стоят уже много часов на лютом морозе — около 30 градусов по Цельсию.

Мы видим, как один постукивает ногой об ногу, другой хлопает себя руками, пытаясь хоть немного согреться. Женщина натягивает на лоб платок так, что он почти закрывает глаза... И в это время за нашей спиной голос:

— Вот бы сейчас сюда пулемет, и всех их прямой наводкой...

И опять смех. Это та же публика из зала. Они не только веселые. Они фашисты.

Я часто вспоминаю эту сцену. Людей, которые стояли на морозе и не расходились. Разве это не демонстрация? Пусть без лозунгов и плакатов, без оркестров и флагов, но демонстрация подлинной солидарности.

Ах, как узок круг этих революционеров.

То-то так легко окружить их во дворе... —

писал в песне, посвященной этому процессу, один из известных московских бардов.

Нам казалось тогда, что это — толпа; но, может быть, их было не так уж много. Считанные люди, чьи имена и под письмами протеста, и под обращениями к мировой общественности. Они приходят на эти молчаливые демонстрации от процесса к процессу до тех пор, пока их самих не привозят в суд. Не в качестве зрителей, а уже как подсудимых. Сколько их уже прошло этот путь от участия в демонстрации солидарности до скамьи подсудимых?..

Каждый раз, когда слушались политические дела, я видела и тех, кто окружал эту толпу, — многочисленных «людей в штатском». Они следили за демонстрантами, фотографировали их, устраивали им провокации. Все — в надежде запугать, задушить эту традицию. Казалось, «так нетрудно окружить их во дворе». Но год от года толпа не делалась меньше, и традиция не прерывалась.

10 января 1968 года, когда глядели из окна третьего этажа на стоявших внизу, мы ясно различали, кто — кто. И хотя и те и другие одинаково замерзли, одинаково втягивали головы в воротники и подпрыгивали на месте, спутать их даже на расстоянии невозможно.

Но вот перерыв кончается, нам пора в зал судебного заседания.

Когда Топешкина ответила на последний из заданных ей вопросов, она хотела то ли чем-то дополнить свои показания, то ли сделать какое-то заявление.

— Нас не интересуют ваши заявления. Можете идти, — резюмирует Миронов.

А из зала уже несетя:

— Иди, иди — детей надо воспитывать! Совсем совесть потеряла.

Миронов грубостью мстил свидетелям за непокорность. За то, что они не боялись, за то, что держали себя независимо. Если бы эти свидетели хоть слово сказали в осуждение обвиняемых, Миронов относился бы к ним по-другому.

Допрашивается свидетельница Людмила Кац. С ней я знакома еще по процессу Владимира Буковского. Это ее адвокат Альский в своей речи просил «оттащить от религии».

Людмила подтвердила, что Добровольский давал ей читать книги, изданные НТС.

Судья: Добровольский давал вам литературу явно антисоветского содержания. Как же вы, советский человек, могли с ним после этого иметь дело?

Свидетельница Кац: Тогда я не знала, что он окажется таким подонком.

Конечно, Миронов предпочел бы, чтобы свидетельница «осудила» не Добровольского, а Галанскова или Гинзбурга. Но он благодарен ей и за это. Он улыбается и разрешает Кац — единственной из всех допрошенных судом свидетелей — остаться в зале. Но проходит лишь несколько минут, и Миронов понимает, что он ошибся, что он неправильно расценил ее показания. До него доходит, что, назвав Добровольского подонком, свидетельница осудила его не за то, что он давал ей книги или рассказывал об НТС. Она осудила Добровольского за предательство.

В судебном заседании объявляется перерыв, после которого Кац в зал уже не пускают. Об этом Миронов распорядился лично.

И новый свидетель уже стоит перед судом... И опять Миронов не останавливает непристойные выкрики, не делает замечаний, не призывает сидящих в зале соблюдать обязательную в суде тишину и корректность. Он ведет себя так не потому, что от него этого требуют, что такова директива свыше, и не потому, что он не умеет управлять процессом. Просто ему нравится наблюдать, когда глумятся над подсудимыми, издеваются над их друзьями.

А потом наступила тишина. Замолкли самые шумные, казалось, что в зале никто не дышит. И только голос Миронова:

— Свидетель, назовите вашу фамилию, возраст и национальность.

И в ответ:

— Брокс-Соколов, Николай Борисович. 21 год. Гражданин Венесуэлы. Место рождения — ФРГ. Место жительства — Франция.

С предельным вниманием слушаем мы показания Брокса. Ждем, когда прозвучит то главное, то несомненно изобличающее наших подзащитных, ради чего привезли этого свидетеля из тюрьмы.

— Я студент. Учусь во Франции в Гренобле. Русским языком владею хорошо и могу давать показания без переводчика. В Советский Союз приехал как турист. В ноябре 1967 года я встретился в кафе с одной девушкой. Она рассказала мне о молодых русских писателях, которых арестовал КГБ. Спросила, соглашусь ли я оказать этим писателям некоторую помощь во время моей поездки в СССР, опустив в Москве в почтовый ящик письма в их поддержку. Ее имя Тамара Волкова. Она назвала имена писателей, о помощи которым она просила, — Галансков, Гинзбург и Добровольский. Во время встречи с Тамарой в кафе я был убежден, что речь идет о помощи действительно писателям, и потому согласился оказать возможную помощь людям, пострадавшим за свое творчество. От Тамары я узнал, что она — представитель организации НТС. В самых первых числах декабря 1967 года я опять встретился с Тамарой. С ней был еще какой-то человек, как я понял — тоже представитель НТС. К этому времени уже была известна дата моего отъезда в Советский Союз, и мы договорились о том...

— Товарищи адвокаты, перестаньте разговаривать. Вы мешаете работать.

Это судья Миронов прервал показания свидетеля, чтобы сделать нам замечание. Миронов был прав. Мы действительно разговаривали.

— Ты помнишь, какого числа мы просили отложить дело? — спрашивал меня один из коллег.

— Теперь понятно, почему удовлетворили наше ходатайство, — говорил другой.

— Они его ждали, — шептала я в ответ.

Правы ли были мы в своих предположениях? Точный ответ на этот вопрос может дать только КГБ. Но основания для такого предположения у нас были. И основания достаточно серьезные.

Ведь еще тогда, когда после категорического отказа отложить дело, наше ходатайство было неожиданно удовлетворено и нам предоставили значительно больше времени, чем мы просили, мы не сомневались, что подлинная причина отложения дела осталась для нас неизвестной.

Можно, конечно, считать, что совпадение во времени между отложением нашего дела и определившейся датой приезда в Москву

Брокса явилось случайным. Но ведь наше дело не назначалось к слушанию до самого ареста и допроса Брокса. Очевидно, что в КГБ его приезд ожидали, что у них уже имелась информация о том, что едет человек со специальным заданием.

Перед поездкой в Советский Союз, за день до вылета из Франции, представитель НТС передал Броксу пояс, в котором были зашиты пять писем, фотографии наших подзащитных, копия для тайнописи, шапирограф, а также три тысячи рублей в советской валюте.

Брокс был арестован на третий день его пребывания в Москве. За эти дни он не выполнил и даже еще не пытался выполнить ни одного из данных ему поручений. Все то, что было ему передано, он продолжал носить на себе, не вскрывая пояса. Его поведение в течение этих трех дней не отличалось ничем от поведения обычного туриста и не могло возбудить подозрений. Он не устанавливал «нелегальных» контактов, не встречался с людьми, за которыми установлено наблюдение.

Его арест был произведен на улице, в парке, при обстоятельствах никак Брокса не компрометировавших.

Решившись в таких условиях на арест иностранного гражданина, КГБ, несомненно, располагал информацией о характере задания, которое собирался выполнить Брокс. Не удивлюсь, если в КГБ было заранее известно и содержимое его пояса.

Как только Брокс был арестован, как только был обнаружен и вскрыт потайной пояс, как только на стол следователя легли фотографии наших подзащитных, а рядом с ними копия и шапирограф, — точно такие, какие были изъяты при обыске у Добровольского, наше дело было вновь назначено к слушанию.

Если наше предположение, более того — уверенность, что дело было отложено в ожидании этого потенциального свидетеля, было правильным, то нужно сказать, что в плане изобличения подсудимых КГБ этим не многого добился.

Был психологический эффект. Было эмоциональное напряжение, когда мы ждали каких-то сверхъестественных разоблачений. Но разоблачений не последовало. Осуждая себя за то, что согласился выполнить поручение НТС, еще более осуждая НТС, который его «втянул и обманул доверие», Брокс в то же время не сказал суду ничего, что смогло бы послужить доказательством вины Галанскова и других подсудимых. В конвертах, которые он должен был отправить по московской почте, оказались только короткие биографии наших подзащитных с призывом бороться за их освобождение. Деньги, копия для тайнописи и шапирограф должны были быть переданы человеку, никак с подсудимыми не связанному, и служить

вещественным доказательством вины Гинзбурга и Галанскова тоже не могли.

Вся информация, которую мог Брокс сообщить суду о деятельности Галанскова, Гинзбурга и Добровольского, была почерпнута им из лекции о нелегальной советской литературе. Каждому, кто сам слышал показания Брокса, было ясно, что строить обвинение на показаниях такого свидетеля нельзя.

Но для достижения той цели, которая для КГБ и пропагандистского аппарата была важна не менее, чем доказательство вины подсудимых — для компрометации НТС, его руководителей и, естественно, нравственной компрометации Гинзбурга, Галанскова и Добровольского, — показания Брокса были использованы очень широко. Не было ни одной газетной статьи, посвященной нашему процессу, где не цитировались бы его оценки «господ из НТС», его оценки подсудимых:

Я думал, это — писатели. Во Франции о них говорили и писали как о писателях. Я же вижу не писателей. Здесь судят уголовников за связи с НТС.

11 января судебное следствие подходило к концу. Допрошены все свидетели, проверены все доказательства. Приближалась заключительная стадия процесса — прения сторон. Как вдруг прокурор просит слова для заявления нового ходатайства. В руках у него плотный лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом.

Прокурор просит приобщить к материалам дела «документ исключительной важности».

— Из этого документа видно, — говорит прокурор, — что НТС является филиалом американской разведки, состоит на ее бюджете и полностью им финансируется.

Кто-то из нас, не ожидая разрешения Миронова, не без иронии спрашивает прокурора:

— Это что же, ЦРУ вам выдало такую справку?

— Нет, товарищ адвокат, — серьезно отвечает прокурор. — Справка не от ЦРУ, а от КГБ. Я настойчиво прошу приобщить ее к делу.

И вот в наших руках этот уникальный документ. Сверху крупными буквами: «Управление Комитета Государственной Безопасности СССР». Внизу — большая гербовая печать КГБ и подпись: заместитель отдела Управления КГБ при Совете Министров СССР Оловянныхиков.

Несмотря на возражения защиты, эта справка приобщается к делу.

Вот ее полный текст (том 20, лист дела 155):

СПРАВКА

КГБ при Совете Министров СССР располагает проверенными данными о том, что НТС после поражения гитлеровской Германии полностью перешел на содержание английской, а затем американской разведки.

Американская разведка ежегодно передает НТС 200 тысяч долларов в основном на покрытие расходов, связанных с содержанием платных сотрудников этой организации, а также на проведение антисоветской работы.

Кроме того, ЦРУ выделяет НТС деньги на проведение отдельных антисоветских акций, в том числе и на проведение идеологической диверсии против СССР, подготовку и направление в нашу страну эмиссаров и связников НТС.

10 января 1968 г.

Зам. Нач. Отдела

Управления КГБ при СМ СССР.

Оставалось заслушать только заключение эксперта-психиатра Лунца, и судебное следствие будет закрыто.

Добровольский состоял на учете в психиатрическом диспансере с 1955 года, неоднократно помещался в психиатрические лечебницы. В 1966 году находился на излечении в психиатрической больнице № 3 с диагнозом «шизофрения».

Галанскова тоже неоднократно помещали в психиатрические больницы. В течение длительного времени находился на излечении в Московской психиатрической больнице имени профессора Соколова. В деле, помимо общих врачебных заключений, имелось специальное «Консультативное экспертное заключение», установившее тот же диагноз, что и у Добровольского, — шизофрению.

В этот раз экспертная комиссия, возглавляемая Даниилом Лунцем, признала их обоих вменяемыми. Вот уж воистину «управляемая наука» эта советская психиатрия!..

Мои познания в психиатрии ограничены тем, что необходимо знать адвокату. Я изучала судебную психиатрию еще в студенческие годы, потом следила за специальной литературой в этой области. Но я много общалась с Галансковым, внимательно наблюдала за ним и, естественно, имею свое суждение о его психике.

На мой взгляд, в его характере и мыслях были не столько отклонения от нормы в медицинском понимании этого термина, сколько отклонения от стандарта мышления. Юрий был абсолютно контактен и прекрасно ориентирован, его поступки были вполне логичны. Он был своеобразным человеком. Иногда мы даже вместе смеялись

над его чудачествами, всегда милыми и симпатичными. Однако ни разу у меня не возникло сомнений в его психической полноценности.

Судебное следствие закончилось. В тот же день, 11 января, начались прения сторон.

Что же дало мне для защиты Юрия это четырехдневное исследование в суде всех материалов дела? Что нового внесли в мой план защиты показания подсудимых и свидетелей?

Должна с грустью констатировать: моя позиция по-прежнему оставалась очень тяжелой. По-прежнему перед судом стояли два человека — Добровольский и Галансков, — дающие об одних и тех же событиях противоречивые, взаимоисключающие показания. Оба они меняли показания на следствии. Как и всякие подсудимые, оба заинтересованы в том, как решится их судьба. Но их положение неравное. Все доверие суда отдано одному из них — Добровольскому.

Александр Гинзбург дал в суде великолепные показания по всем эпизодам предъявленного ему обвинения. Его объяснения были четки, конкретны и очень убедительны. Но для защиты Галанскова они имели значение только по одному эпизоду — по обвинению в совместной работе над «Белой книгой».

Как и на предварительном следствии, Гинзбург утверждал, что сборник составил он один, без всякой помощи Галанскова.

Показания Галанскова в суде были очень пространны. Он признавал, что является редактором и составителем журнала «Феникс-66», но не считает это криминалом. Всякую связь с НТС Галансков отрицал категорически. Отрицал передачу за границу журнала «Феникс-66» и «Белой книги», получение от приезжавших иностранцев литературы, денег, копирки для тайнописи, шапирограф. Свои показания на предварительном следствии с признанием всех этих фактов Юрий объяснял так:

Приняв все на себя, я хотел выручить остальных, в том числе и Добровольского. Но потом, узнав содержание показаний Добровольского обо мне, я был возмущен его ложью и отказался от своих первых показаний.

Второй раз я согласился со всем, в чем обвинял меня Добровольский, под давлением следователя (протокол судебного заседания, лист дела 253).

В суде Юрий подробно рассказывал о характере этого давления. Следователь говорил, что если Галансков не вернется к своим прежним показаниям, то хуже будет не только ему, но и всем остальным; что всех, в том числе и Веру Лашкову, приговорят к работам на урановых рудниках. Однако в протоколе судебного заседания эта часть показаний Юрия не записана.

Допрос многочисленных свидетелей в суде дал мне материал для того, чтобы говорить, что Юрий — человек бескорыстный и благородный. Но даже одна из самых благожелательных свидетельниц, рассказывая о том, как по поручению Юрия она занималась продажей долларов (за что поплатилась долгими годами лишения свободы), показала в суде, что Юрий не мог не знать, что доллары будут продаваться на черном рынке через валютчиков.

— Я уверена, — говорила она, — что Галансков потратил бы эти деньги на какое-то очень чистое «святое» дело, а не на себя. Но как каждый человек в нашей стране он не мог не знать, что продажа иностранной валюты — это преступление.

Труднее всего мне было дать объяснения по тем доказательствам, которые исходили не от Добровольского, а от Веры Лашковой. Еще на предварительном следствии Вера подтвердила некоторые факты из рассказанных Добровольским. Она подтвердила, что в ее присутствии Галансков передавал Добровольскому книги, изданные НТС. Она подтвердила, что под диктовку Галанскова печатала письмо, написанное с применением цифрового шифра. Она говорила, что видела у Галанскова доллары.

В суде она уточнила эти показания. Сказала, что видела факт передачи книг, но каких именно книг — она не знает. О том, что это литература, изданная НТС, она лишь предполагает, так как в этот же день Добровольский дал ей для чтения брошюры, изданные НТС. В суде Лашкова показала, что видела однажды у Галанскова 1 доллар, что в значительно большем количестве она видела их у Добровольского.

Подтвердила в суде Лашкова и то, что под диктовку Добровольского и Галанскова печатала письма, пользуясь конспиративными методами — Юрий специально принес ей для этого тонкие резиновые перчатки. Но содержание письма, равно как и содержание другого, написанного с применением шифра, она не помнит. Во всяком случае, говорила Лашкова, оба этих письма были бытового характера, и ей неизвестно, носил ли этот текст какой-то условный смысл.

Еще на следствии Юрий сказал мне, что Вера говорит правду. Он объяснил мне тогда, что одно из этих писем было адресовано в комитет СМОГа и содержало лишь информацию о советских поэтах-смогистах, второе — его товарищу смогисту Батшеву, отбывавшему в то время ссылку в Сибири. Юрий объяснил, что он не мог писать их открытым текстом, так как знал, что все его письма перлюстрируются. Я приняла эти его объяснения, так как понимала, что писать в открытую, называть имена людей, причисляющих себя к этому чисто литературному, но неподцензурному объединению, значило ставить этих людей под удар.

Я понимала также и то, что в сопоставлении с показаниями Добровольского объяснения Юрия для суда будут выглядеть не очень убедительно, но других объяснений у нас не было.

Пожалуй, самым существенным для защиты Галанскова был рассказ Лашковой о намерении Добровольского издавать собственный журнал наподобие «Феникса». И хотя Вера оговорилась, что эти планы по рассказам Добровольского были лишены конкретности, однако он уже занимался сбором материала для будущего журнала. (Это обстоятельство позже нашло подтверждение в показаниях некоторых свидетелей.)

К Вере Лашковой ни у Юрия, ни у меня никаких претензий по поводу ее показаний не было. Она ни в чем не предала Юрия — между ними существовала договоренность, что, если Веру арестуют, она будет говорить правду. Оба они понимали, что иная линия поведения была бы Вере несвойственна.

Лашкова, которую я впервые увидела в суде, в достаточно тяжелой и сложной для нее ситуации человека, обвинявшегося в совершении тяжелого преступления, произвела на меня впечатление очень достойного, более того — благородного человека. Достойный тон ее показаний, отсутствие всякой угодливости по отношению к суду или к прокурору, твердость в занятой ею позиции вызывали симпатию и уважение к ней.

Особенно, даже отчетливо зрительно запомнился мне момент, когда адвокат Семен Ария заканчивал допрос Веры в суде.

— Вера, — спросил он, — вы уже год находитесь под стражей. У вас было время все обдумать и заново оценить свои действия. Вы сожалеете сейчас, что занимались подобной деятельностью?

Вера стояла перед судейским столом, чуть повернув голову к нам, и по мере того, как говорил Ария, ее лицо каменело. А потом раздался чуть различимый шепот (это она обращалась к адвокату):

— Не задавайте мне этого вопроса.

Я видела, как залилось краской, стало пунцовым лицо Семена. Красной стала даже его лысая голова. Это была страшная для защитника минута. Самому задать вопрос, отвечать на который его подзащитный не хочет, вопрос, который очевидно вреден.

Но уже пристально смотрит на Веру Миронов, заинтересованно повернулась к ней народная заседательница, до этого безучастно взиравшая на происходящее. Умолкли голоса в зале — отступить некуда. И вновь голос Арии, с каким-то отчаянием призывавший Лашкову:

— Ну почему же, Вера, мы ведь говорили с вами об этом. Сейчас решается ваша судьба. Вы должны понимать. Ответьте на мой вопрос. Сожалеете ли вы сейчас о вашей прошлой деятельности?

Когда вечером я рассказывала об этом дома, я сказала:

— Вера стояла такая тоненькая и прямая, как свечка...

Такой она и запомнилась мне — тонкой свечкой с большими глазами на маленьком лице. Запомнилось и то, как, подняв голову и спокойно глядя перед собой, она ответила:

— Нет. Не сожалею.

В этот вечер после судебного заседания мы, адвокаты, долго не могли успокоиться. Еще до начала процесса следователь в разговоре с одним из моих коллег сказал:

— В этом деле Галансков получит самый большой срок — семь лет, Гинзбургу дадут поменьше — лет пять, Добровольскому не больше двух, ну а с Лашковой и одного года хватит.

И хотя это преподносилось как собственное мнение этого следователя, опыт приучил нас к тому, что «мнение» следователя КГБ совпадает с «мнением» суда.

Веру в суде допрашивали 8 января 1968 года. Арестована она была 17 января 1967 года. До окончания названного следователем срока оставалось всего несколько дней. Неужели этот ответ обернется для нее дополнительным наказанием?..

Ведь как будто каждый из нас знал, что судьба подсудимых решается не в суде. Что еще до процесса все обсудили в КГБ, а затем окончательно в высоких партийных инстанциях определили «кому — сколько». А вот случилось такое в суде, и мы искренне волнуемся. Когда на следующее утро я пришла в суд, Семен Ария уже разговаривал с Верой. Я видела, как он убеждал ее, как сначала она отрицательно качала головой, потом долго его слушала.

— Мы договорились, что я ей больше задавать этот вопрос не буду, — сказал мне Семен. — Но, если спросит суд или прокурор, она ответит в более сдержанной формулировке.

И действительно, только открылось судебное заседание, как народная заседательница немедленно обратилась к Вере:

— Я хочу, чтобы вы снова ответили на вопрос вашего адвоката. Сожалеете вы о сделанном или нет? Вы должны понимать, что от вашего ответа многое зависит.

Вера отвечала так:

— Я не сожалею, что помогала отдельным обвиняемым. Но, если мои действия, возможно, принесли вред моему народу, я об этом сожалею.

Вряд ли такой ответ мог быть расценен судом как раскаяние. Я не сомневаюсь в том, что, если было бы во власти Миронова, Лашкова, несомненно, поплатилась бы за это.

Но в данном случае, к счастью, принятое решение изменять было поздно, и Вера через четыре дня после вынесения приговора вышла на свободу.

11 января прокурор Терехов произнес обвинительную речь, большая часть которой была посвящена НТС, антисоветской сущности этой «шпионской» организации, ее стремлениям ослабить наше государство.

— Связь с этой организацией, — говорил прокурор, — является тяжким преступлением против нашего народа.

Полностью отвергая показания Галанскова, в которых тот отрицал свою вину, Терехов строил обвинения против него на показаниях Добровольского, которому верил безоговорочно.

— Добровольский был втянут в преступление Галансковым.

— Добровольский активной роли не играл.

— Добровольский раскаялся и доказал подлинность своего раскаяния правильным поведением на следствии и в суде.

Вот те словосочетания, в которых упоминалось в речи прокурора имя Алексея Добровольского. А о Галанскове?

— Через Галанскова осуществлялась непосредственная систематическая связь с НТС.

— Галансков не только сам занимался антисоветской деятельностью, но и втянул в нее Добровольского и Лашкову.

— Галансков пытался обмануть суд и уйти от ответственности и заслуженного наказания, не раскаялся.

«Мнение» прокурора о наказании, которое заслуживает каждый из подсудимых, полностью совпало с «предположениями» следователя КГБ: Галанскову — 7 лет лишения свободы, Гинзбургу — 5, Добровольскому — 2, Лашковой — 1 год.

И сразу аплодисменты, крики:

— Мало! Им надо больше дать!

После перерыва на обед начались речи защиты.

В этот день уже с утра в зале народу было больше обычного, больше знакомых лиц среди публики. Все руководство Московского городского суда во главе с Осетровым, несколько человек в прокурорских мундирах, знакомые нам члены Верховного суда, наше адвокатское руководство. Пустили в зал московских судей и даже адвокатов. Все это усиливало атмосферу напряженности и приподнятости, которая знакома каждому, кому приходилось выступать в суде.

Это ощущение особой собранности я начинала чувствовать еще дома, когда собиралась в суд. Оно покидало меня только после произнесения речи. Может, потому, от этой углубленности в себя, я в первые минуты не заметила нечего нового, появившееся в нашем зале. Что-то изменилось, что-то непривычно мешало. Но что — я определить не могла. Только во время судебного заседания, когда заметила напряженный взгляд моего коллеги, неотрывно обращенный в одну точку на противоположной от нас стене, я заметила это новое.

Высоко, рядом с висящими светильниками, были прикреплены какие-то непонятные предметы, старательно задрапированные черной кисеей. Такой, какой обычно драпируют светильники и зеркала в комнате, где лежит покойник.

Объяснение этому странному убранству судебного зала стало нам известно во время перерыва. Зал ночью радиофицировали. Судебный процесс в его заключительной стадии прений сторон прямо транслировался в ЦК КПСС. Наша работа контролировалась не только юридическим начальством, но и на очень высоком партийном уровне.

Первым защитительную речь произнес Владимир Швейский в защиту Добровольского. Таков традиционный порядок — первое слово «оговорщику».

Защищать Добровольского сравнительно несложно. Само следствие ограничило обвинение против него только тем, что признавал Добровольский. Поэтому никакого спора по фактам у защиты быть не могло. Не могло быть спора и с антисоветским характером тех брошюр, изданных НТС, распространение которых Добровольский тоже признавал. Не было спора и по квалификации. Добровольский признал в суде, что его деятельность, как и деятельность Галанскова и Гинзбурга, «носила преступный антисоветский характер» и «совершалась с антисоветским умыслом».

Все это и определило позицию, занятую адвокатом Швейским. Его речь в основном была посвящена психологическому анализу причин, которые привели Добровольского к преступлению. Спор с обвинением ограничился тем, что Швейский отрицал криминальный характер одного из вмененных Добровольскому документов — «Описания событий в Почаевской Лавре». В этом документе, написанном и подписанном монахами Почаевской Лавры, описаны реальные факты произвола и физической расправы над ними со стороны местных властей. К моменту рассмотрения нашего дела в суде достоверность изложенных в письме фактов уже была признана властями. Этот спор, продолженный потом адвокатом Ария и мною, был единственным успехом защиты. Суд с нами согласился. Но на судьбе подсудимых это никак не отразилось.

Речь адвоката Швейского была для меня интересной и значительной не столько потому, что и как он говорил, сколько потому, чего он не сказал. Я хорошо знала Владимира. Знала, что человек он очень честолюбивый и очень ревностно относившийся к своей адвокатской репутации. Слава для него не «ветхая заплата», а награда за труд, и к славе он стремился. У Швейского и в этом деле была возможность произнести яркую, полную темперамента речь. Зная характер и полемический темперамент Швейского, я могу уверенно сказать, что он сознательно пересилил себя, отказавшись от агрессивной, наиболее эффектной линии защиты, направленной против Галанскова. Он не уличал Галанскова в противоречиях, не возлагал на него ответственность за судьбу Добровольского. Он защищал Добровольского так, как будто Добровольский был в этом деле один. Швейский знал, что суд не может выйти за пределы предъявленного Добровольскому обвинения, не может признать его виновным в непосредственных, минуя Галанскова, связях с НТС, и потому, отказавшись от борьбы с Галансковым, он не предавал интересов Добровольского.

Думаю, что мало кто из адвокатов пошел бы на такое самоограничение.

Единственная моя претензия к Швейскому относилась к правовой оценке, которую он дал «Открытому письму Шолохову». Имя Шолохова уже давно связано с самыми мракобесными и черносотенными направлениями в жизни нашей страны.

На XXIII съезде КПСС Шолохов произнес речь, посвященную незадолго до этого закончившемуся судебному процессу над писателями Синявским и Даниэлем. Шолохов был явно недоволен результатами этого процесса. 5 и 7 лет лагерей строгого режима он считал слишком мягкой карой. Шолохов сокрушался, что прошло время, когда, как он говорил,

...судили, не опираясь на статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием

и когда Синявского и Даниэля, опубликовавших свои художественные произведения за границей, могла ожидать любая кара, вплоть до расстрела.

«Открытое письмо» Галанскова было ответом на эту речь Шолохова.

Швейский назвал это письмо антисоветским. Я же с такой квалификацией не была согласна.

Речь адвоката Арии в защиту Веры Лашковой больше всего запомнилась четкостью ее построения, логичностью доводов и блестя-

щим правовым анализом. Не знаю, насколько эта речь была оценена людьми, присутствовавшими в зале, и теми, кому потом удалось читать ее запись. В речи Арии не было ничего «на публику», полностью отсутствовали внешние ораторские приемы. Она могла показаться излишне бесстрастной. Но юристы, присутствовавшие тогда в зале, оценили эту речь заслуженно высоко.

Семен Ария, как Швейский, не спорил с тем, что в действиях Веры есть состав преступления. Ни он, ни Швейский, ни я не могли не признать этого, так как закон действительно был нарушен. Но Ария предельно точно и очень смело определил границы понятия «антисоветская деятельность» и решительно возражал против расширительного толкования этого закона. Правовой анализ приобрел в его речи черты политического. Он шел в своей речи как бы по натянутой проволоке — чуть качнется, и баланс будет нарушен, граница дозволенного в советском суде будет перейдена.

Но он ни разу не покачнулся. Четкость и продуманность формулировок позволили ему сказать все необходимое.

Очень убедительны были объяснения Ария по эпизоду обвинения Лашковой в перепечатке документов для сборника «Белая книга». Вера печатала много материалов для «Белой книги», но только один из них — «Письмо старому другу» — считался антисоветским.

Когда я, спустя несколько лет, перечитывала этот документ, когда за моей спиной уже было участие в нескольких политических процессах, когда грани дозволенного в моем сознании значительно расширились, я уверенно считала, что с такой оценкой защита должна была спорить. Тогда, слушая рассуждения моих коллег (к моей защите этот документ отношения не имел), я соглашалась с ними — спорить нельзя. А если не спорить — значит, признавать вину в антисоветской деятельности.

Я не знаю кому — Золотухину, защищавшему составителя «Белой книги», или Арии, защищавшему машинистку, этот сборник печатавшую, — пришла в голову мысль, позволявшая избежать опасности спора по содержанию этого документа и в то же время дававшая адвокату право просить об оправдании. Оба они — и Ария и Золотухин — эту мысль последовательно использовали в защитительных речах.

— Возможно, — говорил Ария, — «Письмо старому другу» содержит признаки криминальности. Но защите незачем входить в содержание этого документа. Лашкова печатала сборник для вручения узкому кругу ответственных должностных лиц, а не для распространения. Собрание и перепечатка любых материалов для такой цели не может быть признана преступной.

По всем остальным эпизодам, где вина Лашковой была доказана, он строил свою защиту на том, что, отрицая антисоветский умысел, просил квалифицировать ее действия не как антисоветскую пропаганду, а как клевету на советский государственный и общественный строй.

Речью Арии в 8 часов 30 минут вечера закончилось многочасовое судебное заседание. Моя речь и речь Золотухина были перенесены на 12 января в 8 часов 30 минут утра.

И опять бессонная ночь, когда даже не столько проверяла свою аргументацию (все уже было готово, систематизировано, продумано), сколько просто не могла уснуть, оторваться от мысли: Юрию — 7 лет. Разве может больной человек выжить, выдержать эти годы в условиях лагеря! Чувство ответственности за судьбу подзащитного, как и чувство сострадания к нему, знакомо каждому адвокату. Именно по этому признаку, я думаю, проходит водораздел между подлинной адвокатурой и ремесленниками в адвокатуре. Но когда чувство ответственности сочетается с ощущением полного бессилия, когда сострадание к человеку, которого ждет наказание, сочетается с пониманием того, что это наказание равно смертному приговору...

И вот я хожу по нашей маленькой кухне, чтобы не мешать сну моей семьи, и спрашиваю себя вновь: что я упустила? Что не додела-ла? Почему против Юрия все время ощущаемое мною личное раздражение у в общем-то спокойного прокурора Терехова? Почему, когда Юрий давал показания, еще больше усиливалось выражение безразличности на лице у Миронова?

Ведь научить подзащитного вести себя в суде так, чтобы произвести хорошее впечатление или, во всяком случае, не раздражать суд, — это тоже часть работы адвоката.

Я упрекала себя зря. Если бы даже Юрий не раздражал суд, если бы сумел подавить в себе полностью желание бравадой и насмешкой скрыть свою ослабленность и недовольство самим собой, если бы на вопрос, для чего он применял меры конспирации и шрифты, он не отвечал бы: «Я готовил себя к тому, чтобы прийти на смену Андропову и возглавить КГБ» (а подобные ответы повторялись неоднократно), — он все равно получил бы этот семилетний срок. Помочь ему могло только «раскаяние», а этому я его действительно не учила.

Моя речь в защиту Юрия была строго разделена на две части. Одна часть — группа эпизодов обвинения в связях с НТС. Эта довольно длительная по времени часть была посвящена анализу показаний Добровольского — основного источника, из которого обвинение чер-

пало доказательства вины Галанскова. Это была наиболее эмоциональная часть моей речи, и мне кажется, что я сумела доказать, что обосновывать обвинительный приговор на показаниях Добровольского нельзя.

В меру своих возможностей я дала и психологический анализ того, что привело Галанскова к самооговору, к ложному признанию того, чего он в действительности не совершал. Моя аргументация по этому — наиболее тяжелому — политическому обвинению не ставила меня в опасное положение. Это была обычная защита, обычный спор по фактам, и я спокойно, безо всяких опасений для себя могла просить суд об оправдании по всем этим эпизодам.

Тогда, в момент произнесения речи, да и во время всего процесса, я не сомневалась в том, что Галансков действительно не был связан с НТС. Теперь я знаю, что это не так. Уже после Юриной смерти НТС объявил, что он был членом их организации.

Но и теперь, зная это, я ни в чем не изменила своего отношения к Галанскову. Для меня по-прежнему основным критерием для оценки остается не то, был ли он связан с НТС или не был, а то, привела ли эта его связь к поступкам бесчестным и жестоким. Даже самый строгий нравственный судья не мог бы упрекнуть Юрия в безнравственности тех поступков, за которые он был осужден. Вера в его бескорыстие и доброту осталась у меня непоколебленной.

Не нужно забывать, что в те годы НТС был единственной зарубежной организацией, систематически оказывавшей помощь оппозиционным движениям в Советском Союзе. Благодаря ее деятельности многие люди в моей стране получили возможность читать литературу, издаваемую за рубежом. С ее помощью уходили за границу и публиковались многие самиздатовские произведения.

Борьба, которую я вела тогда в суде против Добровольского, была профессионально обязательна. Но мое личное отношение к его роли в этом деле теперь изменилось.

Добровольский действительно оказался в трагическом положении человека, у которого было найдено все, что свидетельствовало о связях с НТС. Нужно было обладать большой стойкостью и мужеством, чтобы решиться нести ответ одному, не выдать следствию тех, с кем был связан общей деятельностью. На это у Добровольского не хватило ни стойкости, ни мужества. Не мне, человеку, никогда не терявшему свободы, судить его, в жизни которого уже были лагерь, тюрьма, психиатрические больницы.

Добровольский — больной, сломленный человек, заслуживающий жалости, а не осуждения.

Это не мои слова. Их передал из лагеря и специально просил сделать достоянием гласности тот, кому правда была известна с самого начала. Эти слова принадлежат Юрию Галанскову.

Значительно сложнее была задача анализа тех пяти статей, которые среди других материалов были помещены Галансковым в «Фениксе-66» и которые следствие признало антисоветскими.

В своей речи я подробно анализировала каждую из них и приводила аргументы в подтверждение того, что три из этих пяти (в том числе и «Описание событий в Почаевской Лавре») вообще не являются криминальными. Оставались два документа: статья Синявского «Что такое социалистический реализм» и «Открытое письмо Шолохову». Статья Синявского мне очень нравилась. Я готова была ее защищать, и, мне кажется, несмотря на ряд очень острых политических формулировок, ее можно было защищать. Но делать это нужно было раньше. Не в этом суде, а когда судили самого Синявского. Обдумывая свою речь, я хотела найти такую формулировку, которая избавила бы меня от необходимости соглашаться с правильностью оценки, которую этой статье уже дал Верховный суд. Подчеркнуть, что только формальные требования закона препятствуют мне спорить против этой оценки.

Эту мысль я выразила в двух фразах:

Вступивший в законную силу приговор Верховного суда РСФСР по делу писателей Синявского и Даниэля является обязательным для Московского городского суда. Именно это соображение освобождает меня от обязанности анализировать здесь эту статью.

Оставалось дать объяснение по последнему пункту обвинения. Сказать суду, согласна ли я с тем, что «Открытое письмо Шолохову» является антисоветским документом, а его автор Ю. Галансков писал и распространял его с антисоветским умыслом.

Может быть, нигде до этого дела, во всяком случае никогда позже, меня так не мучили сомнения в правильности избранного мною пути защиты. Сколько раз тогда, потом и даже сейчас, когда пишу эту главу, я перечитываю это письмо. В нем Юрий называет советскую власть

«...военно-полицейской машиной, которая по сей день занимается удушением свободы в России». Или утверждает, что «власть низвела советский народ до скотского состояния», что «...советский человек не удался в той же мере, в какой не удалась и сама советская власть».

Я не могла утверждать, что сказанное или написанное Юрием относилось не к советской власти, а к конкретному решению правительства, как говорила в речи, защищая Павла Литвинова. Не могла сказать, что здесь речь идет о критике отдельных, пусть очень высоких по своему положению, лиц. Защищая Юрия против этого обвинения, я избрала компромиссный путь.

Моя позиция определялась не страхом за себя и не тем, что мои коллеги по процессу Швейский и Ария уже признали в своих речах «Открытое письмо» антисоветским или криминальным. Решение я принимала сама. На меня никто не оказывал давления или влияния. Моя позиция определялась только тем, что отдельные формулировки этого письма, с точки зрения советского закона, являлись криминальными.

Вот почему я сказала суду, что, если бы Галансков в этом письме ограничился самой резкой критикой в адрес Шолохова, я ставила бы вопрос об исключении этого эпизода из обвинения. Говорила о том, что пафос этого письма направлен против выступления лауреата Нобелевской премии писателя Шолохова на XXIII съезде КПСС, которое Галансков считал антигуманным, а не против советской власти. Говорила о том, что в такой оценке речи Шолохова он не одинок. Что лишь несколько общих формулировок, а вовсе не весь смысл этого письма лишают меня возможности спорить с обвинением в его криминальности. Я просила суд признать, что Галансков не имел при этом умысла на ослабление советской власти, и потому квалифицировать его действия не как антисоветскую пропаганду, а как клевету на советский строй.

И так же, как я рассказываю о том, что в моей речи вызывает и теперь у меня сомнения, скажу о том, что отношу к ее достоинствам.

Мне кажется, что мое преимущество перед коллегами, защищавшими Синявского и Даниэля, заключалось в том, что я не уклонилась от анализа литературных произведений, включенных в журнал «Феникс». Говорила о недопустимости отождествлять автора с высказываниями литературных героев, говорила о недопустимости распространять действия уголовного закона на художественное творчество.

И второе. Мне также кажется, что искреннее чувство сострадания к Юрию помогло мне найти слова, когда говорила о том, что только благородные мотивы руководили им.

Мне понятно, что слова из моей речи о том, что Юрий «не искал для себя ни богатства, ни карьеры, на славы», были потом выбраны для заглавия книги об этом несколько странном, но очень добром и хорошем человеке.

О речи Бориса Золотухина скажу лишь несколько слов.

Как-то так случилось, что мы — друзья — ни разу до этого не участвовали в одном процессе. Для меня речь Бориса была открытием нового таланта. В ней все было продумано и все убедительно. Это одна из очень немногих судебных речей, которая почти ничего не теряет при ее чтении. А может быть, мне помогает то, что, когда ее читаю, у меня в ушах звучит голос Бориса, его знакомая интонация. Его речь отличалась особым благородством высказанных им мыслей и смелостью обобщений.

Я очень внимательно следила за реакцией суда на речь Золотухина и твердо помню то, как с явным неодобрением слушал Миронов ту часть этой речи, которая была посвящена откликам Запада на процесс Синявского и Даниэля. А когда среди деятелей, отрицательно отзывавшихся о процессе, были названы имена французского писателя члена ЦК Французской коммунистической партии Луи Арагона и секретаря ЦК Английской коммунистической партии Джона Голлана, Миронов даже изменился в лице. Золотухин задел одну из самых чувствительных для советской власти и коммунистической партии струну — впервые эти преданные друзья открыто высказывали свое осуждение действий советского правительства.

Это же выражение недовольства сохранялось и тогда, когда в замолкшем судебном зале мы, затаив дыхание, слушали:

Гинзбург считал приговор по делу Синявского и Даниэля неверным. Я хочу поставить перед вами один общий вопрос: как должен поступить гражданин, который так считает? Он может отнестись к этому с полным безразличием, или это может вызвать у него общественную реакцию. Гражданин может безразлично смотреть на то, как под конвоем ведут невинного человека, и может вступить за этого человека. Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее. Но я думаю, что поведение равнодушного более гражданственно.

Гинзбург сделал все, чтобы помочь Синявскому и Даниэлю.

Золотухин, как и Ария, не анализировал отдельные произведения, включенные в «Белую книгу». Он просил об оправдании Гинзбурга, так как полагал, что составление сборника, предназначавшегося для высокого советского руководства, независимо от характера включенных в него документов, не может считаться антисоветской пропагандой или антисоветской деятельностью.

По закону после речей защиты председательствующий представляет прокурору право реплики. Прокурор может возражать против аргументации адвокатов, против искажений материалов дела, против политических ошибок, если таковые были защитой допущены.

Прокурор от права на реплику отказался.

Это, а также и то, что Миронов не сделал никому из адвокатов замечаний, никого не прерывал во время речи, было первым, но серьезным сигналом, что никакие неприятности нас, адвокатов, ждать не должны.

Во время десятиминутного перерыва, объявленного судом сразу после речи Бориса, к нашему столу подошел прокурор.

— Поздравляю вас, товарищи адвокаты, — сказал он. — Это была интересная и не казенная защита. Вы действительно сделали все возможное для своих подзащитных.

А через несколько минут уже от председателя нашего президиума Апраксина мы услышали:

— Молодцы. Все прошло нормально. Неприятностей не будет.

И я успокоилась. Чувство беспокойства, которое возникло, когда слушала речь Семена Арии и Бориса Золотухина, прошло.

Я помню, что всеми нами владело тогда почти праздничное чувство. Мы поздравляли друг друга, с радостью выслушивали слова благодарности от наших подзащитных и их родственников. Ничто не предвещало того, что пройдет несколько месяцев и для одного из нас участие в этом процессе кончится настоящей жизненной катастрофой.

Короткие последние слова.

Вера Лашкова, Юрий и Александр Гинзбург не просили суд о снисхождении, не калялись.

Просьба, с которой Юрий обратился к суду, была сформулирована так:

— Я призываю суд к сдержанности в своих решениях, касающихся Добровольского, меня и Лашковой. Что касается Гинзбурга, то его невиновность настолько очевидна, что решение суда по этому поводу не может вызвать сомнений.

Александр Гинзбург, заканчивая последнее слово, сказал, что знает, что его осудят, потому что:

ни один человек, обвиненный по статье 70, еще не был оправдан. Вы можете посадить меня в тюрьму, отправить в лагерь, но я знаю, что никто из честных людей меня не осудит.

«Лучшие» представители «советской и партийной общественности» хохотали, слушая слова:

— Я не признаю себя виновным, я был убежден в своей правоте.

Заключительные слова Гинзбурга «Прошу суд дать мне срок не меньший, чем Юрию Галанскову» потонули в шуме, в выкриках: «Мало! Мало! Надо дать больше!»

Суд удалился в совещательную комнату. Увели подсудимых, и в пустом зале остались только мы. О чем бы ни говорили тогда, мысль каждого из нас возвращалась к ожидаемому нами приговору.

— Неужели они осудят Алика?

— Они не могут признать Гинзбурга виновным, это будет чудовищно!

Такими репликами мы перебивали рассуждения на совсем посторонние, вовсе не относящиеся к делу темы.

Все мы понимали, что надеяться на справедливость в политическом процессе более чем наивно. Но полная недоказанность вины Александра Гинзбурга была настолько очевидна, что даже мы, советские адвокаты, привыкшие и приученные к произволу в правосудии по политическим делам, не могли принять мысль о возможности его осуждения.

Думая о том, что ожидало Юрия, я понимала, что, если ему дадут меньше 7 лет, это будет чудом. И все же ждала этого чуда. Надеюсь — хотя бы 5.

Когда мои товарищи твердили:

— Тебе надеяться не на что. Юрий получит семь лет, — я согласно кивала головой, а в душе сердилась на них за эти слова и продолжала ждать чуда.

Но чуда не произошло.

7 лет лишения свободы Галанскову, 5 — Гинзбургу, 2 — Добровольскому, 1 год — Лашковой. А из зала крики:

— Мало! Мало!

Хоть бы в чем-нибудь, хоть бы на полгода отошел Миронов от «предсказаний» следователя КГБ. Хоть не так бы явно свидетельствовал приговор, что пять дней судебного процесса были пустой и жестокой комедией.

И опять мы, четверо адвокатов, стоим в пустом холле Московского городского суда и не можем заставить себя переступить порог, выйти на улицу. Короткое ощущение праздника, радости за добросовестно сделанную работу ушло так, как будто его и не было.

Какими глазами сейчас будут смотреть на нас родные, близкие друзья и знакомые наших подзащитных? Что можем сказать мы им?

Подавленность и стыд — вот все, что чувствовала я тогда.

Никогда не забуду эти минуты, когда, выйдя на улицу, увидели продрогших на страшном морозе людей. Они не уходили, ждали нас, чтобы преподнести букеты красных гвоздик.

Я возвращалась домой вместе с Борисом. Мы ехали молча, а потом он отдал мне свой букет.

— Это тебе, — сказал он. И, перебивая меня, повторил: Ты должна их взять. Пусть этот букет будет первым подарком — ведь завтра твой день рождения.

И мы опять молчали, подавленные несправедливостью, болью за людей, которых защищали, и ужасным чувством бессилия.

Все то, о чем я собираюсь рассказать сейчас, относится к событиям, наступившим уже после судебного процесса над Гинзбургом и Галансковым. Я назвала главу «Продолжение», так как события эти явились последствием того процесса. Но эта глава является и продолжением многих мыслей, уже высказанных в этой книге, продолжением рассказа о человеке, сумевшем преодолеть страх, и о людях, которые срослись с этим чувством навсегда. Эта глава может быть в значительной степени названа продолжением главы «Почему я решила стать адвокатом», потому что рассказ в ней пойдет о событиях, происходивших внутри Московской коллегии адвокатов.

Эта глава — рассказ о том, как и за что был исключен из коллегии адвокатов Борис Золотухин.

Итак, 12 января 1968 года Московский городской суд вынес приговор, по которому все обвиняемые были признаны виновными. Трое из нас, адвокатов, участвовавших в процессе, должны были подать кассационные жалобы. Золотухин — потому, что просил об оправдании Гинзбурга; Ария и я — потому, что просили переквалифицировать действия наших подзащитных со статьи 70 Уголовного кодекса (антисоветская пропаганда) на статью 190-1 (клевета на советский государственный и общественный строй).

Для Семена Арии это был просто спор о чистоте квалификации, ничего не меняющий в наказании Лашковой, — она через четыре дня после вынесения приговора уже вышла на свободу.

Для Бориса и для меня кассационная инстанция — это новая битва за наших подзащитных. За свободу для Гинзбурга, за сокращение срока наказания для Галанскова.

Мы оба были подавлены суровостью и несправедливостью приговора. Часто и подолгу говорили об этом деле. Но я не помню, чтобы хоть раз в эти первые дни и даже недели после окончания суда кто-нибудь из нас высказывал опасения или предположения, что дело может иметь неприятные последствия для адвокатов, хотя некоторые основания для этого были.

Правда, непосредственно после речей защиты председатель коллегии адвокатов Апраксин сказал, что все обошлось благополучно, что неприятностей не будет. Но очень скоро по коллегии поползли слухи о том, что «наверху» выражали недовольство тем, что Борис в своей речи говорил об отрицательной оценке процесса Синявского и Даниэля общественным мнением на Западе. Особое недовольство вызвали, как передавали, его ссылки на отрицательную реакцию западных коммунистических партий. Но мне (думаю, что и другим) казалось, что последствием этого недовольства может быть лишь то, что Московский комитет партии не будет рекомендовать и поддерживать кандидатуру Золотухина в президиум коллегии, выборы которого должны были состояться вскоре.

Среди адвокатов шли разговоры о том, что Золотухина выбирать все равно будем. При тайном голосовании не так уж трудно пойти против рекомендаций Московского комитета, а вот на пост председателя коллегии его уже не утвердят (до нашего процесса Золотухин пользовался поддержкой партийных органов и был наиболее вероятным кандидатом на этот пост, если не на ближайших выборах, то на последующих).

А потом все эти разговоры прекратились. Ведь суд, который обязан реагировать на всякие политически неправильные высказывания, выслушал речь Золотухина молча. В его адрес не было вынесено частное определение, то есть обязательный документ, с которого начинается всякое дисциплинарное дело против адвоката, связанное с неправильным осуществлением защиты. И я думала: «Уж если такой судья, как Миронов, такой ненавистник адвокатов не нашел к чему „прицелиться“, то и беспокоиться совершенно нечего».

Так прошли январь и февраль. Наступил март. Мы уже кончили знакомиться с протоколом судебного заседания, уже подали развернутые кассационные жалобы. Оставалось только дожидаться дня, когда дело будет рассматриваться в Верховном суде РСФСР.

Как вдруг... Я не помню, какого числа это было. События развивались с такой быстротой, что даже последовательность их иногда восстановить трудно.

Началось все со статьи во французском журнале «Нувель обсерватор». В ней говорилось, что в Советском Союзе произошли большие

перемены. Что нельзя не приветствовать процесс либерализации и демократизации советского общества. И в качестве иллюстрации, подтверждающей эту либерализацию, автор привел отрывок из речи Золотухина. Тот самый отрывок, который я цитировала в предыдущей главе:

Гинзбург считал приговор (по делу Синявского и Даниэля. — Д.К.) неверным... Как должен поступить гражданин, который так считает? Он может отнестись к этому с полным безразличием, или это может вызвать у него общественную реакцию. Гражданин может безразлично смотреть, как под конвоем уводят невинного человека, и может вступить за этого человека. Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее. Но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно.

Автор статьи, приводя эту цитату, утверждал, что уже одно то, что в советском суде адвокат может ставить вопрос об оправдании человека, обвиняемого в совершении политического преступления, как и то, что защиту осуществляют не назначенные, а избранные самими подсудимыми адвокаты, несомненное и бесспорное свидетельство демократизации советского строя. Мог ли автор этих благожелательных строк предположить, что его статья станет причиной, во всяком случае, толчком к жестокой расправе?.. Уверена, что он этого не предполагал. Как не могли этого предполагать мы и те немногие из наших друзей, которые имели возможность прочесть эту статью.

Но лишь дни отделяли время, когда мы ее читали, от дня, когда узнали, что против Бориса возбуждено «персональное» партийное дело.

21 марта 1968 года решением бюро райкома Золотухин был исключен из партии. Одновременно бюро рекомендовало президиуму коллегии освободить его от должности заведующего юридической консультацией Дзержинского района.

Незаконность преследования адвоката за выполнение им своего профессионального долга, мне кажется, не нуждается в аргументации. Не было такого адвоката в Москве, который не понимал бы этого, не возмущался бы несправедливостью репрессий против Золотухина. Но многие адвокаты-коммунисты говорили тогда, что жестокость принятого райкомом решения объяснялась неправильным поведением самого Бориса.

— Ему предлагали покаяться, — говорили они, — и он должен был согласиться, не он первый, не он последний.

Кроме того, от Бориса потребовали, чтобы он публично, через газету опровергнул статью во французском журнале; написал бы, что его речь была искажена буржуазной прессой. Тогда его не исключили бы из партии.

Я знаю, что такие советы Золотухину давали очень благожелательно к нему настроенные люди. После исключения Бориса из партии они долю вины за случившееся возлагали и на меня. Считали, что непреклонная позиция Бориса в какой-то мере объяснялась моим влиянием. Но я на себя эту почетную вину принять не могу. Категорический отказ признать ошибочность избранной им позиции защиты, в правильности которой он не сомневался, определялся не посторонним влиянием, а присущим Борису чувством собственного достоинства. Он не мог согласиться на предлагаемый ему компромисс, потому что он человек благородный и мужественный.

Бывают люди благородные в своих помыслах, ломающие себя по слабости характера. Борис достаточно сильный человек, чтобы быть благородным в своих поступках.

Он пришел в Московскую адвокатуру с прокурорской, то есть со значительно более престижной работы. Борис происходит из семьи, чей общественный статус, несомненно, содействовал успешной карьере. Его родители — оба коммуниста. Отец занимал очень высокое положение в советской иерархии (он был в ранге министра) и пользовался всеми благами, которые предоставляет государство правительственной элите. Кремлевские закрытые магазины, правительственные дома отдыха и санатории — все это было знакомо Борису не по рассказам знакомых. Это было его жизнью, его бытом. Он жил и воспитывался в атмосфере абсолютной преданности власти, которая его отцу дала все; сделала его, деревенского пастуха, министром.

Отец, несомненно, способствовал бы успешной карьере сына. Но карьера не получилась. Она и не могла получиться. В этом не было ничего случайного. В советских условиях люди с независимым характером, люди принципиальные и благородные служебной карьеры не делают, как бы они ни относились к советскому режиму. Именно эти качества: независимость и принципиальность — и предопределили вынужденный для Бориса уход с прокурорской работы. Золотухин был пледирующим прокурором. Он от имени государства поддерживал обвинение в крупных хозяйственных делах. В ходе слушания одного из таких дел Борис пришел к выводу, что вина некоторых подсудимых не доказана.

Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к заключению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения (статья 248 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР).

Именно так, в соответствии с законом, и решил поступить Золотухин. Руководство прокуратуры Москвы требовало, чтобы он настаивал в суде на виновности этих лиц и на их осуждении. Слишком скандальным было само дело, и слишком долго находились подсудимые под стражей до суда. Золотухин был поставлен перед выбором — либо согласиться с требованием руководства и просить суд об осуждении тех, чью вину он считал недоказанной, либо уйти из прокуратуры. Он выбрал последнее.

Золотухин произнес речь, в которой подробно аргументировал свою просьбу об оправдании подсудимых, а затем ушел из прокуратуры. Так он стал адвокатом, а затем, через несколько лет, и заведующим одной из центральных юридических консультаций в Москве, членом президиума Московской коллегии адвокатов.

Исключение Золотухина из партии взволновало всю коллегию. Все понимали, что решается важный и общий для всей коллегии вопрос — может ли адвокат в политическом процессе при недоказанности вины подзащитного просить о его оправдании, или он должен лишь ограничиться просьбой о снисхождении и тем самым предать своего подзащитного.

Золотухина в коллегии очень любили и уважали. Однако, я думаю, не только это чувство, но и понимание опасности для адвокатуры определило то, что на первых этапах расправы над ним коллегия открыто его поддерживала. При рассмотрении персонального дела Золотухина в Дзержинском райкоме партии и затем при рассмотрении апелляции в Московском комитете партии представитель партийной организации юридической консультации, заведующим которой был Борис, пытался доказать несостоятельность возводимых на него обвинений и дал ему блестящую характеристику.

Думали о том, как помочь ему, и мы, адвокаты, участвовавшие вместе с ним в деле Гинзбурга. Мы решили написать письмо в Московский комитет партии на имя его первого секретаря Гришина. От Бориса это свое решение мы договорились скрыть. После долгих обсуждений был составлен текст, который удовлетворил всех нас.

Мы писали о том, что каждый из нас имеет за плечами более чем двадцатилетний опыт судебной работы, в том числе и по делам об особо опасных государственных преступлениях. Этот опыт в сочетании с нашим участием в процессе позволяет нам иметь твердое суждение о работе Золотухина по делу Гинзбурга. Мы писали:

Позиция, определявшаяся для себя каждым из защитников самостоятельно, обсуждалась затем во избежание ошибки нами совместно. Позиция, выбранная адвокатом Золотухиным, была признана всеми нами единственно воз-

можной для защиты Гинзбурга. Любой из нас, а равно и любой добросовестный адвокат обязан был при указанных обстоятельствах занимать такую позицию. Отход от нее, признание вины Гинзбурга, практически означал бы оставление его без защиты в суде, нарушение его права, закрепленного ст. 111 Конституции СССР.

Нам известно, как была использована защитительная речь товарища Золотухина буржуазной прессой. Но если его речь не была искажена, то изложение позиции товарища Золотухина может принести лишь пользу престижу нашей страны и советского правосудия, так как свидетельствовала о предоставлении подсудимому квалифицированной, полноценной защиты в процессе.

Все мы трое подписали это письмо, оставалось только отправить его адресату. Я не помню сейчас, кто (Ария или Швейский) показал письмо Золотухину. Несомненно, при этом им руководили самые добрые намерения — согласовать текст письма, узнать, не надо ли что добавить. Но делать этого было нельзя. Зная Бориса, я заранее могла сказать, что он воспротивится тому, чтобы кто-нибудь поставил себя под удар. Так это и случилось.

Борис позвонил мне последней. Тогда, когда уже уговорил и Швейского, и Арию отказаться от этой идеи. Уговорил он и меня, ссылаясь на то, что смешно мне, беспартийной, от своего имени посылать такое письмо в партийную организацию. Я виню себя за то, что поддавалась на его уговоры. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, — это то, что не понимала тогда всей опасности происшедшего. Для меня исключение Бориса из коммунистической партии было вопиющей несправедливостью, но не катастрофой. Я, хоть и не говорила этого Борису, но про себя думала: «Без этой партии можно прекрасно обойтись. Как можно обойтись и без того, чтобы быть заведующим консультацией и членом президиума коллегии. Важно, что он остается в адвокатуре». А в том, что он останется в адвокатуре, я не сомневалась.

И даже когда Борис сказал, что, если его исключат из адвокатуры, дело Гинзбурга в Верховном суде придется вести мне, я не отнеслась к его словам серьезно. Выругала за то, что у него могла зародиться такая мысль. Мне казалось, что отсутствие частного определения суда является абсолютной гарантией того, что президиум не возбудит против него дисциплинарное преследование.

Прошло всего несколько дней, может быть, неделя, и уже не от Золотухина, а от одного из членов президиума коллегии я услышала, что партийными санкциями не ограничатся, что Московский комитет партии требует исключения Золотухина из коллегии адвокатов. Вот только тогда я поняла, что надвигается настоящая катастрофа.

Борис был очень счастлив в адвокатуре. Он много раз говорил мне об этом. Он очень любил нашу профессию и был глубоко ей предан. Вот почему, понимая, что ему не грозят голод и нищета, что какую-то работу он себе со временем найдет, я считала исключение его из коллегии, лишение его возможности заниматься тем, к чему у него было настоящее призвание, катастрофой.

16 апреля состоялось кассационное рассмотрение наших жалоб на приговор суда. Я сама предложила Борису, что возьму на себя защиту Гинзбурга. Я знала, что это не вызовет возражений ни у самого Александра, ни у его родных. Борис отказался от этого. Он считал себя обязанным, видел в этом свой нравственный долг — довести дело до конца, хотя понимал, что повторение официально осужденных тезисов защиты грозит ему дополнительными неприятностями.

Его объяснения в Верховном суде были безупречны по четкости и убедительности аргументации. Неправосудность, бездоказательность приговора Московского городского суда была очевидна.

Состав судебной коллегии Верховного суда, который рассматривал наши жалобы, был мне хорошо известен. Двое из троих — бывшие судьи Московского городского суда, у которых выступала множество раз. Но тогда, в обычных уголовных делах, они могли решать дело; теперь — члены спецколлегии Верховного суда — они не решают. Они выполняют.

Приговор Московского городского суда был оставлен в силе.

В самых первых числах мая я узнала, что вопрос об исключении Бориса из адвокатуры будет поставлен на заседании президиума коллегии. По «Положению об адвокатуре» вопросы приема и исключения из адвокатуры — прерогатива выборного органа, который управляет коллегией, — ее президиума. Московский комитет коммунистической партии решил не нарушать закон и поручил расправиться с Золотухиным самим адвокатам.

Мне достоверно известно, что представитель Московского комитета партии предварительно, до заседания президиума, собрал всю его партийную группу и предупредил, что каждого, кто не подчинится директиве Московского комитета, каждого, кто осмелится проголосовать против исключения Бориса, ждет безусловное исключение из партии. И все же я была уверена, что, если бы все члены президиума проявили тогда стойкость и принципиальность, эта кара не последовала бы. Слишком большим скандалом обернулось бы такое массовое исключение.

Поэтому первое, что я решила сделать, — это убедить членов президиума в том, что если все они решительно откажутся подчиниться этому требованию и не будут голосовать за исключение

Бориса, то Московскому комитету придется с этим смириться. Я была абсолютно убеждена, что на положении коллегии это не отразится. Максимум того, чем рисковали беспартийные члены президиума, — это тем, что их больше не будут рекомендовать в президиум при выборах. Положение коммунистов было значительно сложнее.

Лучше всего, кажется, даже дословно запомнилась мне первая попытка. Это было в Бутырской тюрьме, куда я пришла на свидание с кем-то из подзащитных. Я поднялась по крутой лестнице и шла по длинному коридору.

Навстречу мне по этому коридору шла адвокат Соколова.

Имя Любови Владимировны Соколовой в то время было известно каждому адвокату. Она была одним из самых квалифицированных и опытных адвокатов того времени с безупречной репутацией и заслуженным авторитетом порядочного человека. Она первая заговорила о том, о чем собиралась говорить я.

— Дина, — сказала она, — это такой ужас, такой позор. Я лишилась сна. Каждую минуту думаю о Борисе. Я не могу в этом участвовать, я не приду на заседание президиума. Скажу, что больна, что у меня сердечный приступ.

— Почему? — спросила я. — Вы обязательно должны прийти. С вами считаются. Если вы будете голосовать против исключения Бориса, к вам присоединятся другие.

Она стояла рядом со мной, высокая, худощавая, с чуть тронутыми седой волосами, с лицом, словно сошедшим со старинной византийской иконы. Лицо аскетическое, с удлинненными прекрасными глазами. Сильное лицо подвижницы.

— Вы сошли с ума, — ответила она. — Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?

Любовь Владимировна, может быть, единственная из того состава президиума, которой абсолютно нечего было бояться. Ей, беспартийной, с исключительным положением в коллегии, не грозили никакие репрессии. Ее страх был безотчетен. Она сама говорила мне это.

— Не уговаривайте меня, Дина. Я все понимаю. Я старая женщина, у меня обеспеченная пенсия. Это вы хотите мне сказать? Если бы я знала, чего боюсь! Я не могу объяснить этого. Просто это выше моих сил. Но участвовать в этом позоре я не буду. Уж это-то я сделаю. Я себя не опозорю.

А вот второй разговор. Тоже с женщиной и тоже беспартийной. Адвокат Благоволитина — моя приятельница и друг Золотухина. Человек решительный и жизнерадостный, неутомимый и великолепный

рассказчик. Сколько вечеров провели мы вместе! Всегда считали ее «своим» человеком.

— Я за себя не боюсь, — говорила мне она. — Мне нечего бояться. Что они могут со мной сделать? Ну, предположим, выгонят из коллегии. Мне все равно скоро на пенсию. А деньги... Так не тебе мне объяснять, что денег мне до конца жизни хватит... Но — Сережа... Ты должна меня понять, у меня сын, который только начинает свою карьеру. Я не вправе ему мешать. Так что на заседание президиума я не приду, а большего сделать — не в моих силах.

И так один за другим — мужчины и женщины, партийные и беспартийные. Только один раз во время этих бесед я почувствовала недоброжелательное отношение к Борису, полускрытое осуждение за то, что он своей непреклонностью ставит всех в опасное положение.

И опять беспартийный Иван Иванович Паркинсон. И тоже старый адвокат, и тоже с отличной репутацией, с ореолом человека, сидевшего в сталинских лагерях и сумевшего безупречным поведением заслужить там уважение солагерников.

Мне казалось, что Паркинсон завидовал Золотухину, его молодости, таланту, тому, как быстро он завоевал признание, уважение и любовь в адвокатуре. Только позднее узнала, что была и другая, более серьезная, но не менее постыдная причина.

Все же остальные действительно страдали, понимали, что им предстоит участвовать в безнравственной расправе. И все видели один выход — уклониться. Мы же — Ария, Швейский и я — вновь собрались вместе, чтобы написать письмо. На этот раз уже на имя председателя президиума коллегии. Решаем — каждый будет писать отдельно. Не помню, кто из них — Ария или Швейский — считал, что групповое письмо — или, как их называют, «коллективка», это форма протеста, осуждаемая партийными органами. А вот к индивидуальным письмам, как выражению собственного мнения, относятся более снисходительно.

Так и решили.

После неудачи, которая постигла письмо, написанное Арией, Швейским и мною, я решила действовать, не посвящая Бориса в то, что собираюсь предпринять.

31 мая я направила в президиум письмо, адресованное Апраксину. Копию этого письма послала всем членам президиума. В нем в более сжатом виде повторились доводы нашего первого письма. Дополнила его лишь тем, что еще до прения сторон Золотухин в моем присутствии информировал председателя президиума Апраксина и его заместителя Сляковского о своей позиции по этому делу и что оба

они были согласны с линией защиты, избранной Золотухиным. Обращаясь ко всем членам президиума, я писала:

Исключение адвоката за выполнение им своего профессионального долга является беспрецедентным и налагает личную ответственность на каждого члена президиума, поддержавшего такое решение.

В заключение я просила предоставить мне возможность выступить на заседании президиума с подробными объяснениями.

Прошло не более двух-трех дней, как утром нам позвонил Константин Апраксин. К телефону подошел муж, и ему довелось выслушать все упреки и даже угрозы в мой адрес. Апраксин призывал мужа (они вместе учились в Московском юридическом институте) воздействовать на меня и убедить «пока еще не поздно, пока можно еще меня спасти» забрать письмо. Он сообщил, что я осталась в одиночестве, так как Ария и Швейский уже забрали свои письма. Естественно, что муж отказался от выполнения подобной миссии.

А вечером к нам приехал Швейский и рассказал, что накануне его вызвали в райком партии и предложили либо немедленно забрать из президиума письмо, либо сдать в райком свой партийный билет. Когда он рассказывал об этом, мы видели, что ему мучительно стыдно предавать товарища, но упрекать Швейского я не могла. Мы были не в равном положении. Когда он ушел, я в который раз подумала: «Господи, какое счастье, что я не в партии».

К этому времени об истории с письмами узнал и Борис. Он не уговаривал меня взять письмо обратно. Он только сказал:

— Ты ведь понимаешь, что ничем мне помочь не можешь. Все уже решено.

Ни я, ни Борис тогда не знали, что я не была одинока, что очень резкое письмо протеста направила в президиум и Софья Васильевна Каллистратова.

Первое заседание президиума, на котором стоял вопрос об исключении Золотухина, было сорвано. Подавляющее большинство членов президиума не явились по «болезни».

И вновь собирают партийную группу. Вновь представитель Московского комитета предупреждает членов партии, что каждому из них грозит исключение из партии, если он уклонится от голосования и не подчинится прямой директиве — исключить Золотухина.

Вторично заседание президиума было назначено на 13 июня.

13 июня я пришла к зданию президиума заранее, чтобы еще раз поговорить с каждым из членов президиума. Я помню, как подходили

они с опущенной головой, как, разговаривая со мной, никто из них не смотрел мне в глаза. Единственное обещание, которое дали мне все, с кем удалось поговорить, — это поддержать мою просьбу и предоставить мне слово.

Заседания президиума всегда происходят открыто. Каждый адвокат имеет право на них присутствовать, каждый имеет право выступить в прениях. В тот день за длинным Т-образным столом, покрытым зеленым сукном, сидел президиум в полном составе. Не было только Любви Владимировны Соколовой. Апраксин сообщил, что она больна, что у нее тяжелый сердечный приступ. В зале, на местах публики, всего несколько человек. Заседание президиума было специально назначено в дневное время, когда все адвокаты заняты в судах. Помню только двух-трех адвокатов — друзей Бориса и несколько человек из той консультации, которой он заведовал.

За столом президиума незнакомые мне люди — представители Московского комитета коммунистической партии.

Апраксин объявил заседание президиума открытым и сразу обратился к сидящим в зале:

— Товарищи, прошу всех покинуть зал. Наше заседание будет закрытым.

Кто-то встал, чтобы выйти в коридор, но я прошу Апраксина объяснить, чем вызвана столь необычная форма обсуждения дисциплинарного дела Золотухина.

Наверное, Апраксин рассчитывал на то, что все подчинится его требованию, что никому не придет в голову с ним спорить. Во всяком случае, к ответу он абсолютно не был готов и сказал первое, что пришло на ум:

— Мы обсуждаем позицию защиты по делу, которое слушалось при закрытых дверях.

Думаю, что более неудачно ответить было трудно.

— Вы ошибаетесь, — сказала я. — Дело слушалось при открытых дверях и, как писали об этом наши газеты, в обстановке полной гласности. Кроме того, я участница этого процесса. Если бы в этом деле даже и были секреты, то от меня их скрывать нечего. В отличие от всех членов президиума я с этим делом знакомилась...

Но Апраксин перебивает.

— Я прошу вас немедленно удалиться, — уже кричит он. — Может быть, милицию для вас вызвать?

И я делаю последнюю попытку. Я обращаюсь к членам президиума, я называю их по именам и прошу только об одном: дать мне — участнице процесса — рассказать о речи Золотухина, которую они не слышали.

Ни один из них — из тех, кто несколько минут назад обещал поддержку, — не произнес ни слова, ни один не поднял головы, не посмотрел на меня. И только Борис Золотухин, повернувшись, сказал:

— Пожалуйста, уйди. Ты же видишь, что здесь происходит.

И я ушла. Я не знаю, сколько прошло времени, пока мы стояли в коридоре около дверей в этот зал. Я даже не помню, разговаривали ли мы о чем-нибудь. Наверное, заседание длилось довольно долго. Было предложено выступить каждому. Никому не было дано права уклониться.

Потом эти же самые люди наперебой рассказывали мне о том, что происходило за закрытыми дверями. Каждый хотел сказать, что он выступал более сдержанно, чем другие. Я знаю, что был один член президиума, который возражал против исключения Бориса. Владимир Петров мотивировал это тем, что, поскольку Золотухину предъявлены политические обвинения, решение вопроса о его пребывании в коллегии сейчас преждевременно. Еще не исчерпаны все возможности пересмотра его дела в вышестоящих партийных инстанциях. Когда на голосовании было поставлено предложение об исключении Золотухина, Петров воздержался. Он остался членом партии, и никаких неприятностей у него не было.

Все, кто рассказывал о выступлениях, единогласно называли имя того, кто наиболее решительно и гневно осуждал Бориса, чьи обвинения шли дальше, чем обвинительная формулировка решения бюро Дзержинского райкома партии. Этим человеком был беспартийный адвокат Иван Иванович Паркинсон. Именно тогда я узнала, что он представлен к почетному званию «Заслуженный юрист республики» и что на следующий день должен был быть опубликован указ Президиума Верховного Совета об этом. Возможно, Паркинсон боялся, что, если он не поддержит предложение МК, его лишат этого официального почета, и предпочел навсегда потерять доброе имя и репутацию порядочного человека.

Я до сих пор не могу до конца понять, почему с Борисом расправились так последовательно и неумолимо. Объяснять это тем, что он ставил в суде вопрос об оправдании Гинзбурга, как это объясняли многие на Западе, я не могу. Я знаю, что до него и после него адвокаты занимали такую же позицию в сложных политических делах, и это не влекло за собой осложнений для них. Думаю, что определенную роль сыграло то, что резонанс этого дела был несравненно более значительным, чем по предыдущим делам, по которым адвокаты ставили вопрос об оправдании своих подзащитных, — по делам Хаустова и Буковского.

Причем если до судебного процесса общественность была озабочена судьбой всех подсудимых, то после процесса главное внимание уделялось именно судьбе Александра Гинзбурга. Получилось это потому, что о судьбе Веры Лашковой заботиться уже не было надобности — она уже была на свободе. О Добровольском заботиться не хотели, так как знали о его предательской роли. Значительно меньше, чем до судебного процесса, стало людей, подписавших письма в защиту Юрия Галанскова. Возникли сомнения по поводу того, не был ли он действительно связан с НТС. А выступать открыто за человека, который связан с такой организацией, некоторые не только боялись, но и не хотели.

В письмах протестов, которые писались тогда в защиту Гинзбурга, обычно ссылались на речь адвоката Золотухина, «бесспорно доказавшего его полную невиновность». Имя Бориса Золотухина ассоциировалось у партийных и советских чиновников с этой волной возмущения. Статья в «Нувель обсерватер» оказалась последним и решающим толчком.

Я думаю, что настойчивое желание получить «отречение» Золотухина, причем отречение публичное, через печать, объяснялось необходимостью отвечать общественному мнению Запада. И ответить не словами советского журналиста, а ответить словами человека, нравственный авторитет которого был очень высок.

И вторая очень важная причина. В своей защитительной речи Золотухин завуалированно, но произнес слова личного одобрения тому, что сделал Гинзбург:

Я не знаю, какое поведение покажется суду предпочтительнее. Но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно.

Золотухину ставили в вину, что он не только не отмежевался, не только не осудил «преступные действия» Гинзбурга, но и в определенной мере солидаризировался с ним.

13 июня решением президиума Московской городской коллегии адвокатов Борис Золотухин был исключен из коллегии.

А что сделали мы, когда бледный, но абсолютно спокойный Борис первым вышел в коридор и сказал:

— Я уже больше не адвокат...

Мы пошли к нему домой, чтобы выпить за его здоровье.

Ведь этот день — 13 июня — день его рождения.

В НОЧЬ на 16 ноября 1977 года мне приснился странный сон. Мне снилось, что я проснулась, но еще лежу в постели. Перед моими глазами застекленная двустворчатая дверь, которая ведет в другую комнату. Там, на диване, положив руки на небольшой овальный стол, сидит совершенно незнакомый мне мужчина. На нем темное пальто, на голове меховая шапка.

«Наверное, это мне снится», — подумала я и закрыла глаза.

А когда я их открыла вновь, передо мной была та же застекленная дверь, за ней овальный стол и диван. На диване сидели двое. Оба в темных пальто и меховых шапках. Они сидели молча и внимательно смотрели на меня.

«Значит, не снится, — подумала я. — Надо спросить, кто они». И уже слышу свой голос:

— Раз вы пришли ко мне в дом, то скажите хотя бы, кто вы?

И ответ:

— Мы пришли по государственному делу.

Я проснулась. Было раннее утро. Я лежала в комнате, где прямо перед моей кроватью была большая застекленная двустворчатая дверь, отделявшая спальню от гостиной. Я встала и раздвинула занавеску, которой всегда на ночь затягивала стекло, и посмотрела в гостиную. Там было темно и пусто. Небольшой овальный стол, который всегда стоял перед диваном, был отодвинут к стене. На его месте — длинный стол с неубранной еще со вчерашнего дня посудой.

Эту ночь мы провели на даче, которую вместе с нашими друзьями Юлием Даниэлем и его женой Ириной снимали на весь сезон с осени и до весны. Накануне — 15 ноября — был день рождения Юлия, и мы приехали на дачу, чтобы его поздравить.

Еще за завтраком я рассказала мужу этот странный сон, который не уходил из памяти, а потом преследовал меня всю дорогу до Москвы, не теряя четкости и полного ощущения реальности, обычно исчезающей после пробуждения.

В Москве мы с мужем расстались. Я поехала домой, он — на работу. Необычно четко запомнилась каждая мелочь короткого пути от троллейбусной остановки до дома. Помню, как шла по своей улице не как всегда, а по противоположной от дома — левой — стороне и удивлялась, что изменила годами выработанной привычке переходить дорогу всегда в одном и том же месте. Помню, что внимательно смотрела на окна своей квартиры, как будто надеялась там что-то увидеть. Окна были темными, такими, какими им положено быть в пустой квартире. В подъезде было пусто и тихо. Я поднялась на лифте на пятый этаж, открыла дверь, чтобы выйти на лестничную площадку, и сразу:

— Здравствуйте, Дина Исааковна. А мы вас уже давно ждем.

Перед дверью стояли двое мужчин. Один помоложе, другой — средних лет. Оба в темных пальто и в меховых шапках.

Мне не нужно было спрашивать, кто они и зачем пришли. Я думала только о том, что там, в квартире, куда я должна буду войти вместе с ними, на письменном столе мужа и рядом на радиоприемнике лежит аккуратно сложенная, отпечатанная и отредактированная рукопись книги, над которой он работал более года и которую у нас должны были на следующий день забрать, чтобы отправить в Америку для публикации под псевдонимом*.

А тем временем я уже окружена плотным кольцом сразу спустившихся сверху мужчин. Уже держу в руках небольшой лист бумаги с хорошо знакомым мне словом «Ордер». Это ордер на обыск для изъятия литературы клеветнического и антисоветского содержания.

Ордер датирован 15 ноября и утвержден заместителем прокурора Москвы Юрием Стасенковым.

— Юрочка подписал, — механически произнесла я, назвав Стасенкова тем именем, каким по праву старшей называла его много лет назад. Тогда он только окончил юридический факультет и пришел работать в прокуратуру того же Ленинградского района, в юридической консультации которого я работала.

Мы долго стояли на лестничной площадке, так как я отказалась впустить их в квартиру, пока не придет мой муж. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Но, главное, мне нужно было уви-

* Эта книга — «СССР — страна коррупции» — была опубликована в 1982 году на Западе в нескольких странах.

деть мужа. Узнать, что с ним, что он будет говорить следователям о своей рукописи, антисоветское содержание которой (с точки зрения советского закона) для меня было очевидным.

А потом привезли мужа. Он вышел из лифта в сопровождении двоих мужчин. Лицо одного из них было мне знакомо.

— Что вы, Дина Исааковна, — сказал он в ответ на мои слова, что встречались с ним раньше. — Я вас вижу впервые.

Но я точно знала, что это неправда. Как-то, гуляя на даче с женой Юлия Ириной, мы встретили его и я сказала:

— По-моему, это наблюдение.

А она ответила:

— Господи, до чего мы все пугливые. Гуляет себе человек, дышит свежим воздухом, а мы сразу же — наблюдение. Это я не только тебе говорю. Я и себя уговариваю. Мне этот человек тоже не нравится.

Муж был спокоен, только бледнее обычного. Когда вошли в квартиру, он успел шепнуть мне одно слово:

— Прости.

«Прости» потому, что, когда уезжали на дачу, я просила его спрятать рукопись, не оставлять ее так, на самом видном месте. Он не сделал этого. Считал, что никто без нас в квартиру не придет, что остался всего один день до отправки рукописи и что беспокоиться нечего.

Обыск длился 6 или 7 часов. Уже сняты и сложены на пол книги «клеветнического и антисоветского» содержания: Солженицына «Архипелаг ГУЛАг», Пастернака «Доктор Живаго», Синявского «В тени Го голя», много художественной литературы и стихов, отобранных только по одному признаку — изданы за границей (Набоков, Ахматова, Мандельштам)... Всего сейчас не помню.

На столе груды взятых из альбомов фотографий. Оставили только наши и детские фотографии сына, фотографии наших покойных родителей.

Все остальное, вместе с подаренным мне на день рождения фотоаппаратом, забрали. Отдельно, уже связанная и опечатанная сургучной печатью, лежит рукопись книги мужа.

Вечером, когда обыск кончился, мне и мужу предложили одеться и следовать за ними.

— Это арест? — спросил муж. — Я должен знать, как одеться.

— Можете одеваться как всегда, — уклончиво ответил следователь.

Мы вышли на улицу. Впереди муж с сопровождающим, сзади, с небольшим интервалом — я. Также, конечно, с сопровождающим.

У подъезда несколько машин. Когда мужа сажали в первую из них, он успел мне крикнуть:

— Меня везут на дачу.

И вот я, плотно зажатая между двумя следователями, сижу на заднем сиденье машины. Мы едем.

Какое облегчение, когда я увидела, что наша машина свернула на знакомое шоссе, — значит, едем на дачу. Значит, опять какое-то время мы еще вместе.

Когда приехали, первая мысль — о Даниэлях: успели ли они уехать домой? Невозможно было даже подумать, что ему, уже отсидевшему 5 лет в лагерях строгого режима, пришлось бы вновь испытывать обыски, допросы. Но на даче никого нет. Значит, уехали... И сразу невероятное чувство облегчения. Только ночью узнали, что Юлия и Ирину задержали днем по дороге с дачи в Москву и весь день до позднего вечера продержали в прокуратуре Москвы в тщетной надежде получить показания против нас. А потом, так ничего и не добившись, отпустили.

Обыск на даче прошел очень быстро. Взяли только одну книгу русского философа Бердяева — тоже только потому, что издана за границей. Из того, что происходило на даче, запомнился лишь один эпизод.

Мы с мужем довольно безучастно наблюдали за процедурой обыска, зная, что на даче ничего нет. Вдруг лицо следователя буквально на глазах преобразилось. Исчезло выражение скуки, в глазах появился блеск.

— Что это такое? — спросил он нас, протягивая небольшой бумажный блокнот, на первом листе которого печатными буквами было написано:

Зайцы, лисицы, волки... Тайник на участке... Надо лить горячее молоко.

— Что это такое? — уже почти кричал следователь. — Почему вы смеетесь? Это что у вас — нервный смех, что ли? Что здесь смешного? Где тайник?

Но мы ничего не могли ему сказать. Не знали ни о зайцах, ни о волках, ни о тайниках. Блокнот изъяли для выяснения. Оказалось, что, когда хозяйка нашей дачи была маленькой девочкой, она со своими товарищами играла в какую-то ими самими выдуманную детективную игру. Запись в блокноте сохранилась с тех пор. Только получив от нее объяснения, следователь перестал допытываться у меня, где тайник и почему нужно лить горячее молоко...

История с блокнотом была единственным развлечением в эти тяжелые часы, когда ни на одну минуту не оставляла мысль: «Что будет с мужем?»

За себя я не боялась. Я понимала, что пришли они к нам за рукописью, что все остальное — это лишь дополнение к будущему обвинению мужа.

И вновь путь в машине, уже обратно в Москву, когда не знала, куда везут, и, главное, не знала, куда уехала машина, в которую посадили мужа.

Меня привезли в прокуратуру Москвы. Знакомый вход в приемную. Привычная фигура милиционера, дежурящего у входа. Годами я входила в эту дверь, небрежно, на ходу кивая головой в знак приветствия очередному милиционеру, и, почти не замечая его, проходила в нужный кабинет. Сейчас все, что вижу, отпечатывается в памяти. Пустая приемная без единого посетителя — в прокуратуре давно уже кончился рабочий день. Удивленно-узнающий взгляд милиционера. Потом большой, с двумя письменными столами, кабинет, куда меня заводит следователь. И тишина. Тишина, нарушаемая лишь еле слышным из-за стены прекрасным покашливанием. Какое счастье, что я слышу этот кашель — характерный кашель мужа, который не спутаю ни с одним другим. Значит, он здесь. И я могу уже совершенно спокойно повторять следователю:

— Вы совершенно напрасно задаете мне эти вопросы. Я все равно отвечать не буду. Вообще сегодня ни на какие вопросы отвечать не собираюсь. Сейчас уже 10 часов вечера. Вы пришли к нам с обыском около 10 часов утра. Я голодна и устала.

А потом наступило самое трудное, когда на какое-то время я потеряла самообладание.

Я была в кабинете одна. Следователь, который допрашивал меня, ушел согласовывать со старшим по чину, как поступить со мной, поскольку я не желала отвечать ни на один из заданных мне вопросов. Я сидела и прислушивалась к тишине, ловя каждый шорох, пытаясь хоть как-то услышать голос мужа. Но голоса я не слышала. Перестала слышать и успокаивающее меня покашливание. А потом четко, гулко раздался шум шагов многих людей, громкое хлопанье дверями и опять полная тишина.

— Увели мужа!

Я кинулась к двери, чтобы выскочить в коридор — может, успею увидеть его, хоть что-то сказать ему на прощание. Дверь кабинета была закрыта. Я стучала в дверь и требовала у подошедшего милиционера немедленно выпустить меня, хотя понимала тщетность этих просьб. Не знаю, сколько прошло времени, наверное, считанные минуты. Наконец дверь открылась.

— Где мой муж? Вы обязаны мне сказать, где мой муж? — повторяла я.

Мы со следователем стояли на пороге кабинета, дверь которого еще оставалась открытой. В холле никого не было — даже милиционер куда-то ушел. Внезапно следователь повернулся, не говоря ни слова отошел от меня и быстро открыл дверь соседнего кабинета. Муж сидел перед дверью.

— Все хорошо, — взглядом сказала я ему.

— Все хорошо, — также молча ответил он мне.

И дверь кабинета захлопнулась. А потом этот следователь сказал мне фразу, за которую я ему и сейчас благодарна:

— Не волнуйтесь, никто не собирается вас разлучать.

Через несколько минут мы с мужем уже ехали домой. Когда вошли в квартиру, первое, что всплыло в памяти, был мой сон, о котором совсем забыла за всеми событиями. А тут он нахлынул реалиями, четкостью виденных мною лиц и ставшими вещими словами:

— Мы пришли к вам по государственному делу.

Весь год, который отделял обыск от дня, когда мы вынуждены были уехать из Советского Союза, мы жили какой-то странной двойной жизнью. Одна, внешняя, — я, как всегда, ходила на работу, принимала клиентов, выступала в судах; вторая — вызовы к следователю на допросы, у мужа чаще, у меня реже. Поймет ли тот, кто не пережил этого сам, что чувствовала я, когда утром, перед очередным допросом мужа, раскладывала по карманам его пиджака запасной носовой платок, мыло, зубную щетку? Что чувствовала, когда проходил час, два, потом три, а я все ждала обещанного телефонного звонка:

— Не волнуйся, я еду домой.

Мои друзья старались, чтобы в такие дни я не оставалась одна. Бог знает, как устраивали свои дела мои работающие подруги, но всегда в такой день кто-нибудь приезжал ко мне и мы вместе, почти не разговаривая, проводили долгие часы. Каждый раз кто-нибудь из друзей вслед за мужем ехал к зданию прокуратуры и ждал в близлежащем подъезде, когда он выйдет один или когда его увезут.

Однажды случилось так, что мужа вызвали на допрос не в здание прокуратуры Москвы, а в помещение районной прокуратуры, которая расположена вблизи, но на другой улице. Вслед за мужем приехала наша приятельница, преданность которой я сумела оценить в эти тяжелые для нас месяцы. Она ждала мужа на первом этаже здания, где проходил допрос. Внезапно она услышала громкий голос мужа:

— Вы что, поведете меня в городскую прокуратуру?

А затем увидела и его самого в сопровождении следователя.

Когда она выбежала вслед за ними, их уже не было видно. Она рассказывала потом, как бежала всю дорогу потому, что вначале сби-

лась с правильного пути; как, подбегая к городской прокуратуре, увидела уже отъезжавшую машину «черный ворон». Тогда она позвонила мне.

— Дина... — сказала она и замолкла.

— Как это было? — спросила я.

— Я видела, как его повел следователь. Потом потеряла их из виду. А потом от прокуратуры отъехала машина. Понимаешь, специальная машина.

— Понимаю, — ответила я.

Раз за разом набирала я телефон следователя — все время было занято. А потом раздался телефонный звонок. Муж звонил уже из метро.

Вся история с его «арестом» была чистой инсценировкой, сознательно разыгранным жестоким спектаклем.

Преданность и трогательное внимание друзей не были для нас неожиданностью. Мы знали их достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в них. Что было действительно приятной неожиданностью, так это реакция людей более далеких, кого называли просто «знакомыми». Мы никогда не ожидали, что найдем и в этом кругу такую безотказную готовность помочь во всем. Мне ни разу ни у кого не пришлось просить помощи — предлагали сами. Я понимала, что это не только проявление доброго отношения к нам, но и бесспорное свидетельство изменения общественного климата в стране. Были, конечно, и такие, кто боялся встречаться с нами, опасаясь, что это может повредить им или их близким. Но таких было немного. И знаю, что и эти немногие стыдились того, что отделились от нас, и страдали из-за этого.

Весь год мы жили с мужем так, как решили в первый же день после обыска, то есть ни в чем не меняя сложившийся распорядок и стиль нашей жизни. Так же уезжали по пятницам на дачу, по-прежнему ходили в концерты, на выставки и, конечно, много работали. Но когда оставались одни и не в московской квартире, а в лесу или на улицах, разговор неминуемо возвращался к тому дню, 16 ноября. Как это могло случиться? Почему они пришли к нам?

О книге мужа мы никогда не говорили дома, в московской квартире. Все обсуждения происходили на улицах или на даче, где мы чувствовали себя в безопасности от подслушивания. Даже когда узнали, что на даче тоже установлено подслушивающее устройство, а потом и наружное наблюдение за нами, все равно оставался этот же вопрос:

— Почему?

Мы искали причину такого пристального и дорогостоящего внимания к себе, к людям, которые до тех пор, пока муж не начал работать над своей книгой, жили вполне открытой легальной жизнью.

Перебирали в памяти все, случавшееся за последние годы, чтобы определить — когда же это началось?

От совсем недавних событий память уводила нас все дальше и дальше.

Пожалуй, первое открытое, даже официальное предупреждение, свидетельствовавшее, что власти расценивают мою профессиональную деятельность как политически вредную, было связано с защитой Ильи Габая и Мустафы Джемилева. Судебный процесс над ними происходил в Ташкенте в 1970 году. Еще задолго до начала процесса, когда в сентябре–октябре 1969 года знакомилась с двадцатью томами следственных материалов, я поняла, что мне предстоит самая сложная для политических процессов линия защиты, когда нет спора по доказанности фактов, а правовой спор перерастает в политический.

Джемилев и Габай обвинялись в изготовлении и распространении целого ряда «клеветнических» документов: информации, открытых писем и обращений. Оба они не отрицали, что являются соавторами почти всех этих документов, но утверждали, что приведенные в них факты соответствуют действительности, а потому виновными себя не признавали.

У меня нет возможности в пределах одной этой главы даже кратко передать содержание тех тридцати пяти документов, которые следствие считало криминальными. Думаю, достаточно сказать, что, проанализировав каждый из них, я пришла к выводу, что эти документы резко критические, но в них не содержится «ложных измышлений, порочащих советский строй».

8 октября 1969 года я подала следователю по особо важным делам при прокуратуре Узбекской Республики Березовскому (он возглавлял следствие по этому делу) ходатайство о прекращении дела «за отсутствием в действиях Мустафы Джемилева и Ильи Габая состава преступления». В ходатайстве мне было отказано.

12 января 1970 года дело начало слушаться в Ташкентском городском суде.

А сейчас придется сделать небольшое отступление для исторической справки, без которой невозможно понять, за что судили и за что осудили Джемилева и Габая.

Во время Второй мировой войны Крымский полуостров был оккупирован немецкими войсками. К этому времени большая часть взрослого мужского населения крымских татар сражалась в рядах советской армии, в Крыму оставались преимущественно женщины, дети, старики и инвалиды. Советские войска освободили Крым лишь

в апреле 1944 года. В мае того же года Государственный комитет обороны СССР издал секретное постановление, в котором весь крымско-татарский народ огульно был обвинен в сотрудничестве с оккупантами. В наказание за это было предписано поголовное его выселение с исконных земель.

В ночь на 18 мая 1944 года поселения крымских татар были окружены частями советской армии. В течение одной ночи все татарское население Крыма было посажено в товарные эшелоны и вывезено в специальные места поселения, из которых им запрещено было отлучаться под страхом уголовной ответственности. О тех условиях, в которых проходила депортация, и о тех условиях, в которых вынуждены были жить «спецпоселенцы», свидетельствует страшная цифра. За первые полтора года изгнания только в одном Узбекистане (главном месте «спецпоселений» крымских татар) от голода и болезней погибло 46,2% из общего количества депортированных*.

В Крыму были закрыты татарские школы, театры, газеты, библиотеки, уничтожены книги, изданные на татарском языке.

После смерти Сталина XX съезд КПСС признал незаконность этой акции, жестокость и несправедливость которой была очевидна.

В 1956 году указом Президиума Верховного Совета СССР с крымских татар был снят гласный милицейский надзор, но этим же указом им было запрещено возвращение в Крым.

С этого времени началось то, что не побоюсь назвать всенародным (для крымских татар) движением за возвращение на родину. В первые годы это движение было обособлено от общего правозащитного движения в Советском Союзе. Методом борьбы крымских татар были массовые петиции, направленные руководителям советского государства и коммунистической партии. Каждая такая петиция начиналась с заверения в преданности советской власти и коммунистической партии, ленинским принципам национальной политики.

Судебные процессы, которые начались в 60-е годы над наиболее активными участниками этой борьбы, были единственной реакцией советских властей на справедливые требования этого трудолюбивого и многострадального народа. Постепенно логика мирной борьбы привела крымских татар к осознанию необходимости контактов с участниками общего демократического движения за права человека. Так они обрели среди других народов Советского Союза сначала сочувствующих, а затем и активных помощников и преданных друзей. Имя первого такого помощника и преданного друга — писа-

* Ташкентский процесс: Сборник документов. Амстердам, 1976.

теля Алексея Костерина, верю, будет передаваться среди крымских татар от поколения к поколению. После смерти Костерина в 1968 году завещанную ему эстафету принял генерал Петр Григорьевич Григоренко, включившийся в защиту крымских татар еще при жизни Костерина.

В мае 1969 года Петр Григоренко по доверенности крымских татар (ее подписали около двух тысяч человек) должен был выступить общественным защитником на процессе над десятью активистами крымско-татарского движения. Однако за 20 дней до начала процесса его провокационно вызвали в Ташкент и арестовали. Вскоре по одному с ним делу были арестованы Илья Габай и Мустафа Джемилев. Всех их привлекли к уголовной ответственности по обвинению в изготовлении и распространении документов, в которых содержалась информация о положении крымских татар и о той борьбе, которая велась за их возвращение в Крым.

Перед окончанием следствия, по постановлению следователя Березовского, Григоренко был подвергнут судебно-психиатрической экспертизе. Комиссия, в состав которой были включены самые авторитетные психиатры Узбекистана, пришла к единодушному заключению, что он абсолютно здоров. Такое заключение шло вразрез с планами КГБ, который не мог решиться на открытый суд над старым заслуженным генералом.

Была назначена новая экспертиза, порученная уже Институту имени Сербского. Исполняя волю КГБ, эта экспертиза признала Григоренко душевнобольным. Дело в отношении его было выделено, а сам Григоренко на долгие годы был помещен в специальную психиатрическую больницу.

Дело Габая и Джемилева было в моей практике не первым делом защиты крымских татар. Каждый раз, приезжая в Ташкент, я встречалась с родственниками моих подзащитных, активистами движения и просто сочувствующими. Хотя надо сказать, что слово «сочувствующие» я употребила неправильно. Сочувствующие — это лишь менее активные участники. Старые и молодые, мужчины и женщины, и даже дети — все жили мыслью о возвращении на родину. Эти люди своим трудолюбием добились в Узбекистане благосостояния. Они готовы были бросить все. Отдать безвозмездно дома, фруктовые сады и виноградники, только чтобы получить право вернуться на свою родину.

Они старались дать своим детям разностороннее образование, чтобы там, в Крыму, после возвращения были татары-врачи, татары-учителя, татары-инженеры. Помню, как-то я говорила с мальчиком. Ему было не больше десяти лет. Он родился в Узбекистане, учился

в русской школе. Но родным языком для него оставался татарский, родной историей — история крымско-татарского народа. Когда я спросила его, кем он хочет быть, когда станет взрослым, он ответил:

— Наверное, я буду учителем в татарской школе. Ведь когда я вырасту, мы уже будем жить дома.

Крым и дом были для всех них синонимами.

Один из моих приездов в Ташкент совпал с большим торжеством. В эти дни вернулись трое ранее осужденных активистов крымско-татарского движения. Я была приглашена на праздник в их честь. Мы сидели в саду за длинными столами, и я слушала удивительный рассказ. В день освобождения к воротам лагеря, из которого должны были выйти эти трое, подъехал автобус с встречающими. Вся дорога от ворот до автобуса была усыпана цветами. Когда открыли ворота и освобожденные вышли, их встретили музыкой — национальной музыкой национального самодеятельного оркестра. А потом, уже в пути до самого Ташкента каждое татарское село встречало их цветами и накрытыми прямо у дороги столами. В каждом селе встреча превращалась в стихийный митинг солидарности и верности движению.

На следующий день я была на семейном празднике в доме у одного из вернувшихся. Нас было всего несколько человек, я — единственный гость. Я хорошо помню тост, который произнесла хозяйка дома. Тост, произнесенный женой в честь освободившегося мужа, отца двух ее маленьких детей.

— В нашей семье, — сказала она, — уже был такой же счастливый день. Тогда мы тоже собрались, чтобы отпраздновать возвращение на свободу, но не мужа, а моего брата. «Мустафа, — сказал тогда старейший из сидевших за столом, — мы счастливы, что сегодня ты уже с нами. Но скажи, что собираешься ты делать завтра?» И Мустафа ответил: «С завтрашнего дня я возобновлю борьбу за свой народ». Я пью этот бокал, — продолжала хозяйка дома, — за то, чтобы мой муж оказался достойным моего брата.

Братом этой женщины, о котором говорилось в тосте, был тот самый Мустафа Джемилев, которого я должна была защищать в Ташкентском городском суде. Мустафа родился в Крыму во время Второй мировой войны в 1943 году. Его отец был мобилизован в советскую армию, мать оставалась с четырьмя маленькими детьми. 18 мая 1944 года, когда Мустафе не было и восьми месяцев, вся семья была изгнана из Крыма. Его детство — это насильственная депортация, тяжелый режим спецпоселений, голод и унижения. Рассказы о Крыме, о прежней жизни на родине, наверное, заменили ему детские сказки. Вся его жизнь и все его помыслы были связаны с мечтой о возвращении в Крым. Он вырос бойцом, фанатично преданным этой мечте.

Когда я осенью 1969 года встретила с Мустафой в тюрьме узбекского КГБ, он был уже совершенно сложившимся человеком с характером волевым и целеустремленным. Жизнь не воспитывала, а выковывала его. Уже тогда из своих бесед с Джемилевым я вынесла убеждение, что нет силы, способной свернуть этого человека с избранного им пути, по которому он пошел с ранней юности, не зная ни сомнений, ни колебаний. Дальнейшая судьба Мустафы подтвердила правильность этого первого впечатления.

Начиная с 1966 года его судили пять раз. Джемилев был тем человеком, который сумел выдержать десятимесячную голодовку протеста против незаконных репрессий. Каждый раз, освободившись из лагеря, он действительно не давал себе передышки. Мустафа — человек нестигаемый. Я не люблю этого слова, всегда ассоциирующегося с привычным для советской пропаганды клише «нестигаемый большевик». Но другого слова для определения характера Джемилева я найти не могу. Он жил и живет, как бы выполняя данную им клятву (а может быть, он действительно такую клятву дал) посвятить себя без остатка борьбе за свой народ.

Вторым моим подзащитным в этом процессе был Илья Габай, или, как все его называли, Ильюша. Он гуманист, интеллигент, просветитель. Габай жил в Москве и преподавал в школе русский язык и русскую литературу. Учить детей было его призванием, его миссией. Когда в те годы и потом мне приходилось разговаривать об Ильюше с людьми, которые его знали, на лицах моих собеседников неизменно появлялись улыбки. Они радовались, что могут говорить о нем, рассказывать о его доброте, мягкости, таланте и образованности.

В характере Габая не было ничего не только жестокого, но и жесткого. Он удивительно умел понимать людей, а понимая — прощать. Строг он был только к себе.

Еще до начала суда я получила из разных городов Советского Союза много писем от бывших учеников и просто знакомых Ильюши. В них почти полностью отсутствовала гражданская тема, так характерная для всех писем в защиту подсудимых по политическим процессам. Это были письма людей, благодарных за добро, за помощь, нравственную поддержку.

Пишет человек, очень виноватый перед Габаем. Он нанес Илье несправедливую обиду, за которую многие друзья от него отвернулись. Пишет о времени, когда самоубийство казалось ему единственным выходом.

Именно Илья стал человеком, который своей душевной ясностью и высотой, неприятием всякой жестокости заставил меня вернуться к нормальной

жизни, когда я не испытываю больше стыда за каждую минуту моего существования.

Или письмо человека, в семье которого был тяжелый разлад:

Илья сделал все, чтобы не дать почувствовать моему сыну горечи происшедшего. И сейчас для этого восьмилетнего малыша Илья самый лучший человек, о котором он тоскует, которого постоянно помнит, вопреки обычной детской забывчивости. Дети влюбляются в него с первого взгляда и делают его друзьями навсегда.

И в каждом письме рассказ о помощи, о добре в поступке. Сама возможность судить о них была сужена, а оценка во многом определялась тем благородством и мужеством, с которыми они в равной мере вели себя на следствии и в суде. Несомненно, друзья Ильюши и Мустафы знают другие, неизвестные мне достоинства, да и недостатки, свойственные им, как и всем людям. Но эти же исключительные условия способствовали тому, что ярче, более четко проявлялись основные, определяющие черты их характеров. У Мустафы — качества бойца, последовательного и решительного. Ильюша же был совсем другим. Он был создан для того, чтобы писать стихи (он был талантливый поэт), учить и воспитывать детей, читать книги.

Я люблю Ильюшу, как родного сына, — писала мне пожилая женщина, — и не представляю себе, что человек, его знающий, может не полюбить его.

Я тоже не представляю себе этого. Даже следователь по особо важным делам Березовский, прожженный циник и карьерист, как-то, когда Габая не было в кабинете, сказал:

— Хороший он человек, ваш Габай. Мне его жалко. Я понимаю Джемилаева. Он татарин и борется за свой народ. А что надо Габаю? Зачем он, еврей, полез в это чужое для него дело?!

Я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью.

(Илья Габай)

Готовясь к защите Габая, я прочла его стихи. Они подкупали искренним и глубоким чувством. Эти стихи помогли мне понять духовный мир Ильи, разобраться в подлинных мотивах его поступков. Вот почему я не задавала себе, подобно следователю Березовскому, вопроса — зачем он, еврей, российский интеллигент, «полез в это

чужое для него дело». Я поняла, что боль и страдания крымско-татарского народа действительно жили в нем «щемящей сердце болью».

После того Ташкентского процесса я видела Ильюшу только один раз. Это было в 1972 году. Он пришел ко мне сразу после возвращения из лагеря и потому одетый во все новое, еще не обмявшееся на нем. Илья рассказывал о жизни в лагере, о людях, с которыми там встречался. Очень казнил себя за то, что в связи с его делом у меня были неприятности.

Ильюша говорил мне, что хотел бы вернуться к преподавательской работе, но понимает, что человека, осужденного за политическое преступление, не допустят к работе в школе.

А потом наступили события, о которых могу судить только по рассказам его жены и близких друзей.

Вскоре после этой нашей встречи были арестованы Петр Якир и Виктор Красин, игравшие в ту пору значительную роль в диссидентском движении. Якир был самым близким другом Габая, человеком, которому он абсолютно доверял и которого очень любил.

Юность Якира с четырнадцати лет прошла в сталинских лагерях. Он пережил расстрел отца и арест матери. Для Виктора Красина этот арест тоже не был первым. Оба они не выдержали угрозы нового и очень длительного заключения. От них КГБ стали известны имена многих из тех, кто создавал «Хронику текущих событий» — информационный самиздатовский сборник, в котором фиксировались все случаи нарушения прав человека в Советском Союзе.

ЦК КПСС уже давно поставил перед КГБ задачу разгромить этот особенно опасный по точности и скорости сообщаемой информации сборник.

Теперь над каждым, кто был причастен к «Хронике», нависла реальная угроза ареста и привлечения к уголовной ответственности.

Это был очень трудный период в диссидентском движении. Многим казалось, что ему нанесен смертельный удар. Что движение будет раздавлено не только репрессиями властей, но и, главным образом, из-за потери нравственного авторитета. Я хорошо помню бесконечные споры того времени, когда одни с жестокостью и бескомпромиссностью (я относилась к их числу) осуждали Якира и Красина, а другие стояли на позиции столь же прямолинейного и безоговорочного их прощения. Были среди либеральной интеллигенции и такие, кто с явным злорадством, оправдывая свое неучастие в правозащитной борьбе, говорил о разложении в диссидентской среде, о «бесовщине».

Илья Габай и его жена Галина, ожидавшая в то время появления второго ребенка, были в числе тех, чьи имена назвал Якир. Нача-

лись вызовы на допросы в КГБ. Стала очевидной невозможность устроиться на работу.

Для Ильи, который во время следствия по своему делу не ответил ни на один вопрос, затрагивающий других людей, поведение друзей было тяжелым ударом. Но мне кажется, что труднее всего ему было пережить, что предательство или слабость двоих явились в глазах многих компрометацией всего движения. Было обито грязью то, во имя чего он навсегда потерял любимую профессию, пережил тюрьму и лагерь.

5 сентября 1973 года в Центральном доме журналистов в Москве состоялась организованная КГБ пресс-конференция Якира и Красина. Миллионы советских людей смотрели эту телепередачу. Смотрел ее и Габай. Он увидел на экране телевизора своего друга, почти брата, как никогда чистым, хорошо выбритым, аккуратно одетым. Он слушал, как Якир говорил о своих связях с различными западными организациями, которые «лишь прикрываются лозунгами защиты прав человека», о «перерождении правозащитного движения».

Мне говорили, что после этой пресс-конференции Габай не выходил из состояния полной подавленности. Метался, не умея найти для себя выхода. Утром 20 октября, когда жена, накормив новорожденную дочь, уснула, Илья выбросился с балкона своей квартиры. Он умер мгновенно. Илья не казался мне человеком импульсивным, а тем более — истеричным. Только стойкое ощущение полной безысходности могло привести его к этому трагическому концу.

Как раз перед началом процесса в Ташкенте я получила новое предупреждение, которое оказалось столь же пророческим, как мой вещий сон об обыске.

В сентябре 1969 года, когда я должна была изучать дело Джемилева и Габая, мне почему-то очень не хотелось ехать в Ташкент. Это было странно — Ташкент я люблю; знала, что меня там будут встречать, что бытовых трудностей испытывать не буду. Знала, что мне предстоит интересное дело и что защищать буду хороших людей. Мне стоило немало внутреннего усилия, чтобы преодолеть себя и поехать. В Ташкенте это чувство прошло. И я не вспоминала о нем, пока не вернулась в Москву.

Через несколько дней после приезда меня вызвал Николай Константинович Боровик, заведующий юридической консультацией, в которой я работала. Разговор шел о предстоящем суде над Джемилевым и Габаем. Я рассказала, что заявила ходатайство о прекращении дела и что в суде буду просить об их оправдании.

— Ты не должна туда ехать, — сказал Николай. — Передай защиту другому адвокату. Это мой дружеский совет — не пренебрегай им.

Я знала, что совет мне дает человек, располагающий точной информацией, идущей прямо из КГБ. Боровик был тем адвокатом, которому по рекомендации КГБ была поручена защита Вина — соучастника известного американского разведчика Пеньковского. О тесных связях Боровика с КГБ знала вся Московская коллегия, хотя в те годы степень этой связи нам не была известна. Только после его смерти, когда КГБ хотел его хоронить с воинскими почестями, узнали, что Боровик был подполковником КГБ.

Я работала в одной консультации с Николаем много лет (с 1945 года), и нас связывали добрые отношения. Поэтому не сомневалась, что, предупреждая, он действительно хотел уберечь меня от неприятностей.

— Ты стала присяжным адвокатом по политическим делам, — говорил он мне в тот день. — Переходишь из одного политического процесса в другой. У нас этого не любят. И учти, разделаться с тобой в Ташкенте намного легче, чем в Москве.

Обдумывая совет Боровика, я понимала, что это серьезное предупреждение. Но понимала и то, что последовать этому дружескому совету не могу.

Как не хотелось мне ехать в Ташкент, когда уже определилась дата слушания дела! В этот раз это ощущение уже не было смутным и безотчетным. Я твердо была уверена, что в Ташкенте меня ждут неприятности. Помню, какое облегчение доставила мне нелетная погода, из-за которой мой отъезд был отложен на двое суток, помню, с каким чувством обреченности слушала: «Объявлена посадка на самолет, следующий рейсом Москва–Ташкент».

Прямо с аэродрома поехала в суд, чтобы успеть к началу судебного заседания. Судья Писаренко встретил меня словами:

— И что это вы, товарищ адвокат, все таких людей защищаете... И ведь не по назначению, а по персональным обращениям...

В этих словах было не только искреннее недоумение. В них была и некая, мне понятная угроза. Имена адвокатов, выступавших в политических процессах тех лет, никогда не назывались в советской прессе. Судья Писаренко мог знать имена Буковского, Марченко, Литвинова, Галанскова, но его осведомленность о том, что всех этих людей защищала я, свидетельствовала, что кто-то его специально об этом информировал. Особенно настораживал конец фразы: «Защищаете не по назначению, а по персональному к вам обращению».

Значит: не государство, не КГБ, не президиум коллегии адвокатов поручал вам защиту этих «отщепенцев», а сами они выбирали вас, очевидно, чувствуя в вас союзника.

Я не проявила излишней настороженности, когда именно так восприняла слова судьи. Интересно, что в этот же первый день, когда даже еще не начались допросы подсудимых, вечером, разговаривая с мужем по телефону, сказала:

— Очевидно, вопрос о «телеге» (так адвокаты называют между собой частные определения суда в свой адрес) уже решен.

Сколько раз, участвуя в политических процессах, я возмущалась незаконной практикой, когда в зал судебного заседания не допускали друзей и сочувствующих! Когда единственной публикой были специально подобранные представители «общественности». Сколько раз жаловалась, что сама обстановка враждебности, создаваемая такой аудиторией, затрудняет работу! На этот раз вход в зал суда никем не регулировался. Зал был переполнен активистами крымско-татарского движения, и все дни процесса царил атмосфера горячего сочувствия и солидарности с подсудимыми.

Каждое слово подсудимых сопровождалось гулом одобрения. Каждая недоброжелательная реплика судьи и прокурора вызвала немедленную и очень бурную реакцию. Пока допрашивали Габая, еще удавалось соблюдать некоторое подобие судебной процедуры. Этому много способствовал сам характер Ильи — человека очень сдержанного. Но то, что творилось во время допроса Мустафы Джемилева, даже отдаленно не напоминало судебный процесс.

Страстность Мустафы передавалась залу, а реакция зала делала показания Мустафы еще более эмоциональными и более категоричными в оценках, более беспощадными в выводах. Как всякий хороший политический оратор, он чувствовал контакт с аудиторией и говорил не столько для суда, сколько для благодарных и восторженных слушателей. Я пишу это безо всякой тени осуждения, так как не вижу моральных обязательств, которые должны были бы заставить Мустафу и его единомышленников уважать эту судебную комедию. Но работать в этой атмосфере страстной солидарности оказалось трудно.

Враждебность суда ко мне — адвокату, систематически участвующему в политических процессах, — которая не скрывалась с самого начала, возрастала буквально с каждым часом судебного следствия. Когда право задавать вопросы переходило от суда и прокурора ко мне, Писаренко неизменно говорил:

— Сейчас мы отдохнем от шума. Пожалуйста, товарищ адвокат, задавайте вопросы.

И действительно, в зале воцарялась полная тишина. Но стоило судье вмешаться в допрос, как зал немедленно взрывался:

— Позор! Правды боитесь!

— За что людей судите?

Нужно было обладать большим профессиональным опытом и тактом, чтобы вести процесс в такой обстановке. Писаренко справиться с этой задачей явно не мог. Не берусь судить, каков его профессиональный опыт, но твердо могу сказать, что за все годы моей работы я не сталкивалась со столь элементарно необразованным, глупым и беспомощным судьей.

И дело не только в его юридической необразованности. Общие знания Писаренко находились на уровне ученика начальных классов. Во время допроса свидетельницы Татьяны Баевой, одной из активных участниц правозащитного движения, она на вопрос о том, почему не состоит в комсомоле, ответила, что, на ее взгляд, комсомол деградировал.

— Деградирован? — переспросил ее судья Писаренко.

— Не деградирован, а деградировал, — поправила его Татьяна.

Я думала, что на бедную Таню обрушится поток нравоучений и угроз.

Как же! Ведь она клеветает на передовой отряд советской молодежи. Но ничего не последовало. Писаренко продолжал допрос дальше. Он просто не понял, что сказала свидетельница.

Но самое печальное было не в том, что Писаренко не знал привычных, прочно вошедших в русский словарь иностранных слов. Страшно было то, что он не понимал смысла объяснений подсудимых, аргументов, которые они приводили в свое оправдание. И не потому, что они употребляли трудные слова, а потому, что Писаренко искренне не верил в саму возможность существования инакомыслия. Он твердо усвоил, что есть счастливый и прекрасный мир социализма и несчастный и бесчестный мир капитализма. В том — плохом и бесчестном — мире живут плохие или обманутые люди. Газеты, которые там существуют, издаются для того, чтобы клеветать на советский строй. Этой же цели служат и радиостанции.

Подобными и абсолютно категорическими оценками Писаренко комментировал показания подсудимых неоднократно.

— Как вы считаете, Габай, если в американском журнале напечатана какая-либо статья, с какой целью это делается?

— Может ли буржуазная газета вообще писать объективно?

— Может ли газета капиталистической страны быть объективной с точки зрения советского человека?

Какой неподдельный ужас и отвращение были на лице Писаренко, когда Габай ответил:

— Газеты капиталистических стран вполне могут быть объективными. И, кроме того, где это сказано, что коммунисты взяли монополию на правду?

С той же абсолютной убежденностью Писаренко верил каждому слову, напечатанному в советской газете. Он не в состоянии был поверить, что нормальный человек может сомневаться в достоверности информации или не разделять оценки события, содержащиеся в советской прессе.

— Кто дал вам право делать самостоятельные выводы? — с полной искренностью спрашивал он у Габая.

А ответ:

— Мне кажется, что каждый человек имеет право мыслить, — заставляет Писаренко застыть в недоумении, а затем уже с укоризной сказать:

— Габай, Габай, ну как вы ничего не понимаете. Как можно говорить такие вещи.

Каждая реплика вызывала смех в зале. Но мне было совсем не смешно. Уже потом, через годы, перечитывая эти записи, я могла улыбаться и говорить:

— Господи, какой же он идиот!

А тогда мне было страшно. Это был странный процесс, где весь диалог шел в двух непересекающихся плоскостях. Каждый говорил свое без всякой надежды быть понятым.

Однажды мне показалось, что наступил момент, когда удастся заставить судью понять, что советские газеты могут хотя бы ошибаться. Это был второй день процесса.

13 января 1970 года я слушаю очередную нотацию Писаренко, обращенную к Габаю, которого в тот день допрашивали.

— Габай, вы сказали, что не поверили сообщениям советских газет о том, что наши войска были введены в Чехословакию по просьбе чехословацкого народа. Как же так можно, Габай? Ведь наши газеты — орган ЦК КПСС?..

Я гляжу на суд и тихо, несколько раз повторяю каждое слово, шепчу, чтобы только Ильюша мог услышать и понять:

— Враги народа, враги народа, врачи-убийцы, 13 января 1953 года, 13 января 1953 года...

— В 1937 году наши газеты ежедневно писали о врагах народа. Потом эти же газеты писали об их реабилитации. Сегодня 13 января. Я помню, как 13 января 1953 года было напечатано о врачах-евреях. Их обвиняли в том, что они убивали руководителей государства, умышленно применяя неправильные методы лечения. Этому я тоже должен был верить?

Как внутренне торжествовала я, слушая этот ответ Габая. Мне казалось, что одно напоминание о газетных публикациях тех лет будет достаточным ответом на вопрос — обязан ли человек безогово-

рочно верить любому слову советской прессы. Но торжествовала я совершенно напрасно. Писаренко в очередной раз удивился нелогичности Габая, который не понимает самых простых вещей. И сейчас, перечитывая (в который раз!) запись этого удивительного диалога, я вновь вижу перед глазами бесцветное лицо и слышу бесцветный голос судьи:

— Габай, но вы же сами себе противоречите. Сами же говорите, что в советских газетах потом было напечатано опровержение. Правильно? А о Чехословакии было опровержение? Вот когда напечатает в газетах, тогда и будете говорить.

У меня довольно хорошая зрительная память. Я помню, что народными заседателями в этом процессе были женщины, что у одной из них было очень красное воспаленное лицо, что в течение всего процесса она сидела, сложив свои толстые руки под грудью. Помню, что одна из заседательниц была одета в вязаную зеленую кофту. Из внешности Писаренко запомнились только маленькие глаза, которые с каждым днем источали все больше и больше ненависти. Подлинной ненависти обывателя к каждому, кто не как все. Глядя на него, я вспоминала фантастическую повесть Юлия Даниэля «Говорит Москва». Эта повесть о том, как советское правительство объявляет «день открытых убийств», то есть день, когда каждый может убить каждого. Я думала о том, что, если бы Писаренко прочитал в газете, что гражданам Советского Союза предоставлено в определенный день право совершать любые убийства, он бы не усомнился и не уклонился. Он взял бы топор (за неимением автомата) и пошел бы убивать всех этих интеллигентов, инакомыслящих, всех крымских татар и, конечно же, всех евреев.

К концу судебного следствия отношения между судом и обвиняемыми были накалены сверх предела. Мустафа Джемилев, отчаявшись в своих попытках хоть что-то объяснить суду, сначала отказался от моей защиты, заявив, что не может себе позволить подвергать опасности своего адвоката. Потом отказался отвечать на вопросы и, наконец, потребовал, чтобы его увели из зала суда. Он не хотел не только участвовать, но и присутствовать при том, что с полным правом назвал «позорной комедией». Даже Илье стала изменять выдержка.

А я продолжала задавать вопросы, заявлять ходатайства, выслушивать определения об отказе в них и вновь возвращаться к допросу.

Помню, как я возражала против неправильного ведения допроса председательствующим. Я стояла перед судом и говорила, чувствуя, как напрягается во мне каждый нерв. Мне стоило огромных усилий не дать вовлечь себя в перепалку, говорить спокойно. В этот момент дверь зала открылась и вошла женщина-почтальон с огром-

ной пачкой телеграмм. Медленно и спокойно она шла по длинному проходу и, подойдя ко мне, сказала:

— Распишитесь.

А потом также спокойно вышла из зала.

— Я могу продолжать? — спросила я у совершенно оторопевшего председателя.

Эффект неожиданности был так велик, что всю остальную часть моих возражений Писаренко выслушал не перебивая. В перерыве он спросил у меня:

— У вас сегодня какой-то юбилей? Вас, очевидно, с чем-то поздравляют?

И, не дождавшись ответа, добавил:

— Ну что же, и мы тоже найдем возможность поздравить вас.

В тот день у меня действительно был юбилей — мне исполнилось 50 лет. Мои московские друзья, коллеги, мои бывшие стажеры прислали поздравительные телеграммы. Никто не знал, в какой гостинице я остановилась. Телеграммы адресовались просто: Ташкент, Городской суд, адвокату Каминской.

Слова Писаренко «и мы тоже найдем возможность поздравить вас» я восприняла как прямое предупреждение перед защитительной речью. Я не собиралась отступать от позиции, которую заняла еще в следствии, когда считала, что в действиях Джемилева и Габая нет состава преступления и они должны быть признаны невиновными. Но впервые в жизни, готовясь к защите, я написала свою речь, полностью лишив себя права на малейший экспромт, проверяя каждое слово, которое будет произнесено в суде. Я знала, что кары мне не избежать, но не хотела давать суду оружие для расправы.

В самом начале моей защитительной речи Писаренко перебил меня необычной просьбой говорить как можно медленнее, чтобы секретарь успел записать мою речь дословно. (Я уже писала, что по процедуре секретарь записывает только просительный пункт речей прокурора и адвоката.) Вот когда сказалась моя ночная подготовка. Память безотказно выдавала обдуманые формулировки, ни от одной из которых мне не пришлось впоследствии отказаться.

Приговором суда от 19 января 1970 года Габай и Джемилев были осуждены к трем годам лишения свободы каждый.

В отношении меня было вынесено частное определение. В нем суд утверждал, что

содержание речи адвоката Каминской дает основание считать, что она не стоит на уровне тех задач, которые поставлены перед советской адвокатурой советскими и партийными органами.

Это определение, минуя президиум Московской коллегии, было направлено прямо министру юстиции «для принятия соответствующих мер», то есть для исключения из адвокатуры.

Но из адвокатуры меня не исключили, и я уверена, что спас меня именно судья Писаренко. Вот когда я должна была благодарить судьбу за то, что орудием расправы со мной КГБ избрал такого глупого человека.

Мое дисциплинарное дело, которое, по указанию министра, было возбуждено президиумом коллегии адвокатов, расследовалось ровно один год. Оно рассматривалось в президиуме точно в тот же день, 19 января, но уже не 1970, а 1971 года. 20 января мое дисциплинарное дело было бы прекращено за давностью. И опять, как и тогда, когда исключали Золотухина, за длинным столом президиума — мои товарищи и даже друзья.

Я знаю, что стоит вопрос о моем исключении. Знаю, что некоторые из членов президиума категорически заявили, что будут выступать категорически против моего исключения.

— С меня хватит позора за то, что участвовал в расправе над Золотухиным, — так сказал мне один из заместителей председателя президиума.

Я знаю, что обследователь (а он был очень недоброжелателен) не нашел ни одной ошибочной формулировки в моей защитительной речи. Знаю, что на частное определение принес специальную жалобу член Верховного суда Узбекистана, который слушал дело Габая в кассационной инстанции: случай в советской практике почти уникальный. Я знаю, что председатель Верховного суда Узбекистана внес в президиум Верховного суда надзорный протест с просьбой отменить это определение. (8 января 1971 года, в тот день, когда было назначено рассмотрение протеста, по настоянию КГБ он свой протест отозвал.) Все это мне, несомненно, помогло.

Но мои товарищи могли за меня заступаться, член Верховного суда мог писать жалобу, председатель Верховного суда — внести протест только благодаря Писаренко. Он был настолько искренне убежден, что свобода слова, декларированная в Конституции СССР, не имеет ничего общего с правом человека на высказывание собственных мыслей, что так и записал в определении:

Адвокат Каминская в открытом судебном заседании утверждала, что каждый человек может самостоятельно мыслить, что убеждения и мнения не могут повлечь за собой уголовной ответственности, и на этом основании просила об оправдании подсудимых.

Именно в этом Писаренко усматривал мое несоответствие званию советского адвоката. Президиум Московской коллегии адвокатов признал частное определение необоснованным, но вынес мне выговор за то, что я

...не выявила свою гражданскую позицию и не осудила взглядов своих подзащитных.

Так на тридцать первом году адвокатской деятельности я получила первое взыскание. С этого же дня я была лишена допуска к ведению политических дел. Так реализовалось первое сделанное мне предупреждение, которым я пренебрегла.

Мое положение в адвокатуре почти не изменилось. Правда, меня перестали выбирать делегатом на адвокатские конференции, я перестала получать ежегодные благодарности и премии «за безупречную и высококвалифицированную работу». Когда я принимала дела, которые слушались в других городах Советского Союза, в президиуме коллегии, прежде чем выписать командировочное удостоверение, меня неизменно спрашивали, не связано ли дело с политическими мотивами; и, только удостоверившись в том, что еду по обычному уголовному делу, оформляли необходимые документы.

Единственное, из-за чего огорчалась по-настоящему, — это то, что меня лишили права руководить работой стажеров. Я очень любила своих учеников и гордилась их успехами. Это был единственный род общественной работы, от которой я никогда не уклонялась и которая давала удовлетворение. Во всем же остальном я не была ущемлена. Работала много и зарабатывала больше, чем прежде.

Хотя я не участвовала больше в политических процессах, но почти по каждому делу ко мне обращались за консультацией; моими рекомендациями руководствовались при выборе адвокатов. Круг консультируемых с каждым годом все более и более расширялся. К нам — ко мне и к мужу — приходили еврей-активисты, художники-нонконформисты, писатели, решившиеся на то, чтобы печататься за границей без разрешения официальных организаций. Поэтому наш дом и наша жизнь по-прежнему находились под постоянным наблюдением КГБ. Но никакого открытого, а тем более официального давления в те годы на нас не оказывали.

В январе 1973 года наш сын и его жена эмигрировали в Соединенные Штаты. Мы же твердо решили оставаться. Мы оба ощущали неразрывную связь с Россией и ее народом и считали, что дол-

жны разделять его судьбу. Но у каждого из нас были и свои причины. Я не мыслила жизнь вне адвокатуры и понимала, что отъезд из страны равнозначен потере этой так любимой мною профессии. Профессии, которая давала не только чувство удовлетворения, но и чувство полезности; сознание того, что я здесь нужна людям.

Второе напоминание, свидетельствовавшее о том, что КГБ меня не забыл и не скрывает своего ко мне интереса, носило достаточно комический характер.

В сентябре 1972 года Марченко, отбыв наказание, назначенное ему по прежнему приговору, поселился в Тарусе, небольшом городке Калужской области. В Москве, где у его жены Ларисы Богораз была комната, ему жить не разрешили. В мае 1974 года постановлением районной милиции над Марченко был установлен административный надзор.

Положение об административном надзоре предусматривает наблюдение за поведением тех, кто освобожден из мест заключения, но, по мнению администрации лагеря или органов милиции по новому месту жительства, «не стал на путь исправления». Административный надзор ограничивает свободу человека. Поднадзорным запрещается выходить из дома в вечерние часы, посещать кино, театры, рестораны. Запрещены им выезды за пределы района без специального разрешения милиции.

Марченко — человек очень замкнутый и уравновешенный. Поселившись в Тарусе, он работал и вел нормальный спокойный образ жизни, ничем не нарушая общественного порядка или общественного спокойствия. Тарусская милиция к нему претензий не имела. Основанием для установления надзора послужило то, что он продолжал вести борьбу за права человека в СССР. КГБ официально предупредил Марченко, чтобы он прекратил всякую общественную деятельность, и настойчиво предлагал эмигрировать из Советского Союза. Подпись Марченко под Московским обращением с протестом против высылки Солженицына из Советского Союза была ответом на эти предупреждения. Административный надзор над ним, установленный по распоряжению КГБ, а затем и привлечение к уголовной ответственности за то, что он якобы злостно этот надзор нарушал, явились мстью КГБ.

Мы вместе с Ларисой Богораз обсуждали, кому из московских адвокатов поручить защиту Анатолия в первой, уже приближавшейся стадии окончания следствия. Перебирали много имен. А потом решили: а почему, собственно, не взяться за это дело мне? Официальных препятствий к этому не существовало, так как обвинение, предъявленное Марченко, формально с его правозащитной деятельностью связано не было. Поездка в Калугу, где Анатолий находился

в тюрьме, занимает немногим более трех часов — значит, можно обойтись обычным ордером на ведение дела без оформления специального командировочного удостоверения через президиум коллегии.

Лариса внесла в кассу консультации положенные 20 рублей — за ведение дела, я заполнила регистрационную карточку, в которой в полном соответствии с правдой написала, что Марченко обвиняется в нарушении административного надзора. Ордер мне выписали без всяких осложнений.

Накануне назначенного следствием дня приезда в Калугу я созвонилась с Ларисой, и мы договорились встретиться в третьем вагоне поезда, который отправляется из Москвы в 7 часов утра.

Случилось так, что мы встретились еще на перроне и вошли в первый попавшийся вагон. Прошло не более 2–3 минут после того, как поезд тронулся, как Лариса, с которой мы оживленно разговаривали, толкнула меня в бок. Я подняла глаза и сразу увидела человека, который привлек ее внимание. Он шел по проходу, видимо, переходя из другого вагона, и внимательно осматривал всех сидящих. Увидев нас, он быстро прошел оставшийся путь и занял место напротив нас.

Это был уже очень пожилой мужчина с багрово-красным носом алкоголика и таким же багровым цветом щек. Я еще подумала тогда: «Наверное, он еще и гипертоник». На нем было пальто в крупную черно-белую клетку, на голове такая же клетчатая кепка. Ни его возраст, ни бросающаяся в глаза внешность никак не давали основания заподозрить в нем человека, которому поручено наружное наблюдение за нами. Но взгляд...

Он не отрывал от нас глаз ни на секунду, как будто боялся, что мы исчезнем и ему опять придется проделать путь из вагона в вагон, разыскивая нас.

— А может быть, мы ему просто понравились? — спросила меня Лариса.

Я посмотрела на нее, усталую, невыспавшуюся, прикинула, как должна выглядеть я, вставшая в этот день в 5 часов утра, и категорически ответила:

— Не обольщайся.

Когда приехали в Калугу, мы делали все, чтобы оторваться от этого человека. Ничего не помогало. Он останавливался, когда останавливались мы, бежал за нами, когда мы шли быстро. И смешно и жалко было наблюдать, как этот старый мужчина метался по залу Калужского вокзала, когда Лариса отошла к кассам, а я направилась в противоположную сторону смотреть расписание.

Там же, на вокзале, мы с Ларисой договорились, что она будет ждать меня около тюрьмы не более получаса (на случай каких-либо неожиданных изменений в планах следователя), а если я не появлюсь через полчаса, мы встретимся с ней на вокзале, чтобы вместе возвращаться домой поездом, который отправляется в 5 часов 30 минут. Наш неотлучный спутник внимательно выслушал эту договоренность.

По дороге в тюрьму мы его потеряли из виду. Не было его и на улице около тюрьмы. Я перегрузила в свой портфель привезенные Ларисой для Анатолия бутылки с минеральной водой (Анатолий с момента ареста держал голодовку и никакой пищи не принимал), и мы расстались.

Однако все получилось вопреки нашей с Ларисой договоренности. Планы следователя действительно изменились, и в этот день знакомиться с делом мне не удалось. Но и освободиться сразу я тоже не смогла. Следователь решила перепредъявить Марченко обвинение в моем присутствии, так как боялась, что резкое ослабление слуха у Анатолия будет впоследствии использовано защитой как обстоятельство, требующее обязательного участия защиты с момента предъявления обвинения.

Хоть и недолгая это была процедура, поскольку Марченко отказался давать показания, но все же заняла более часа. Мы договорились с Анатолием, что я приеду к нему вторично уже знакомиться с делом, и расстались.

Когда я вышла из здания тюрьмы, сгибаясь под тяжестью портфеля с минеральной водой, взять которую Анатолий отказался, и увидела Ларису, я была по-настоящему счастлива. Оказывается, она решила ждать меня до 12 часов.

До ближайшего поезда оставалось несколько часов. Все это время мы бродили по чудесному старому городу, любовались открывавшимся почти с каждой улицы видом на полноводную реку. Но и не забывали оглядываться в поисках нашего «клетчатого человека». Его нигде не было видно. Ведь вот, как будто он нам ничем не мешал. Ничего запрещенного мы делать не собирались, никаких секретных проблем не обсуждали. Но как приятно оказалось это чувство освобожденности от непрерывно наблюдающего ока!

На железнодорожный вокзал мы приехали минут за двадцать до отхода поезда и расположились в почти пустом зале ожидания. Нашего спутника там не было. Мы сидели напротив застекленной двери, ведущей на перрон, и ждали, когда подадут состав. Прошло 10 минут — поезда не было.

— Странно, — сказала я. — Может, выйти и посмотреть?

— Ты ведешь себя как провинциалка, — отвечала Лариса. — Никуда наш поезд не денется. Платформа здесь, рельсы здесь. Остается только ждать.

Когда до отхода поезда осталось 4 минуты, Лариса согласилась выйти на перрон. Он был совершенно пуст, только в дальнем конце его мы увидели хвостовой вагон состава. А перед глазами деревянная стрелка — указатель отправления на Москву.

Как мы бежали! Я просто не думала, что у меня хватит сил пробежать расстояние в таком быстром темпе. Хорошо, что Лариса на бегу выхватила у меня тяжелый портфель с минеральной водой; иначе я, наверное, упала бы, не добежав до вагона. Мы вскочили в последнюю дверь за несколько секунд до отхода поезда. Не могли двинуться с площадки в вагон, стояли тяжело дыша.

— Кто-то еще бежит, — сказала Лариса.

Я выглянула. По перрону бежал, нет, он уже не бежал, — он почти падал, наш клетчатый человек. Его лицо из багрово-красного превратилось в лиловое, он задышался. Но он успел.

— Дедуся, — сказала ему какая-то сердобольная женщина, когда он вслед за нами вошел в вагон, — так и умереть недолго. Ведь можно ли так бегать в вашем возрасте?..

А он стоял, держась за спинку сиденья, и не мог двинуться.

Краска медленно отливала от его лица, казалось, оно мертвело, и только глаза были полны живой ненависти. Ведь он был уверен, что мы сидели в зале до последней минуты специально, чтобы потом убежать от него.

И опять мы сидим друг против друга, и он не отрываясь смотрит на нас и вслушивается в каждое произнесенное нами слово. И уже не хочется разговаривать и даже читать.

Когда я потом рассказывала об этой истории, я всегда спрашивала у моих слушателей:

— Зачем это было нужно? Зачем нужно было следить за адвокатом, который едет к своему подзащитному, да еще не на свидание наедине, а в присутствии следователя? Что могли сотрудники КГБ узнать в результате этой слежки, кроме того, что им было известно и без нее?

Разногласий в ответах не было. Это была так называемая демонстративная слежка, цель которой — психологическое воздействие. Так стараются запугать человека, дать ему понять, что каждый его шаг контролируется КГБ. А для того, чтобы мы обязательно обратили внимание на то, что за нами ведется наблюдение, был выбран шпик с легко заметной и запоминающейся внешностью, и наряжен он был в бросающуюся в глаза одежду.

В данном случае, как считали мои друзья, такое демонстративное наблюдение было и своего рода предупреждением, напоминанием, что они меня не забыли. Если это действительно было предупреждением, то и в этот раз я им пренебрегла. Я поступила так не потому, что была легкомысленна или смелее других. Просто это был стиль жизни нашей семьи. Давно принятое решение поступать так, как сами считаем нужным.

Мы открыто встречались с теми корреспондентами американских и французских газет и журналов, которые нам были симпатичны, и смогли убедиться, что не только русские, как это многие считают, способны на верность в дружбе. Мы старались помочь нашим новым друзьям преодолеть барьер изолированности, которым все они окружены в Советском Союзе. Показать им то хорошее, что есть в Москве и чем по праву может гордиться страна с давними культурными традициями. Мы догадывались, что наши встречи фиксировались, снимались фотоаппаратами. Позже узнали, что их снимали даже на киноплёнку.

Нам, конечно, было понятно, почему КГБ наблюдает за нами. Но зачем было нужно в холодную погоду держать в засаде на улице напротив нашего дома специальных людей с киноаппаратурой, чтобы заснять на плёнку, как мы с мужем выходим из дома вместе с американским корреспондентом и садимся в его машину, чтобы ехать к нему в гости? Это был единственный случай, когда мы днем поехали в гости к этим людям, поэтому помню его очень хорошо.

Накануне по телефону он и его жена пригласили нас, чтобы показать новорожденного сына. Именно для этого и просили приехать не вечером, как всегда, а в дневное время. Мы с радостью согласились. Я купила какой-то сувенир, чтобы поздравить нашу приятельницу. А ее муж — американский корреспондент — заехал за нами в назначенное время. Так с большим пакетом-подарком в руках у меня, мужа и нашего друга и засняли на киноплёнку.

Потом, когда мы уже эмигрировали из Советского Союза, эти кадры были показаны по московскому телевидению. Их сопровождали таким текстом:

Эти люди вместе с американским журналистом-разведчиком едут на выполнение шпионского задания.

Зачем все это делалось? Ведь в КГБ прекрасно понимали всю вздорность этой легенды. Ни разу, ни на одном из допросов в прокуратуре Москвы или в КГБ ни у меня, ни у мужа не спрашивали об этой встрече, не упоминали о ней. Просто они накапливали материал,

который впоследствии при надобности мог стать сфальсифицированным доказательством. Меня часто спрашивают, что явилось прямой, непосредственной причиной давления на нас КГБ и последующего требования покинуть Советский Союз. И я не знаю, как на это отвечать, какую одну причину выделить.

Вся наша жизнь была причиной. И мое участие в политических процессах, и то, что муж и я стали постоянными консультантами всех инакомыслящих, и то, что властям надоело отвечать на вопросы, почему адвоката Каминскую не допустили защищать Буковского или известных участников правозащитного движения Сергея Ковалева и Анатолия Щаранского, и то, что мы свободно общались с иностранными корреспондентами (а к таким неофициальным контактам советских людей с иностранными корреспондентами власти относятся крайне отрицательно).

Словом, в несвободной стране мы старались жить как свободные люди.

И власти сделали все, чтобы заставить нас уехать.

Третьим предупреждением был обыск и привлечение мужа к уголовной ответственности. Не заметить такое предупреждение было невозможно. Я понимала, что это начало конца, и все же вела себя так, как будто ничего этого не было.

Первым наступлением на нас после обыска была попытка выселить из квартиры. После смерти моих родителей, а затем отъезда сына с женой в Америку мы вдвоем продолжали жить в этой квартире, в которой прошла моя молодость, в которой я успела постареть, где родился сын, где умерли мои родители.

По советским стандартам это большая квартира, площадь которой намного превышает обычную норму жилья. Но муж, как научный работник, имел право на 20 квадратных метрах дополнительной площади, а я, как адвокат, — на 10. Выселить нас по советскому закону не имели права. Как-то, вернувшись домой после тяжелого и достаточно скандального объяснения в жилищном управлении, я сказала:

— Какие они все-таки дураки. Зачем они затеяли это выселение сейчас? Им нужно дождаться, когда тебя и меня выгонят с работы (а в том, что это должно случиться, я не сомневаюсь ни минуты), и тогда нас спокойно выселят, — ведь права на дополнительную площадь у нас уже не будет.

Со следующего же дня попытки выселить нас прекратились. Нас перестали вызывать для переговоров, в нашу квартиру перестали врывать люди, которым якобы уже эту квартиру предоставляют.

Воцарился относительный покой, если вообще возможно применить к той ситуации, в которой мы тогда жили, это слово.

Новый, хотя и давно ожидаемый удар был нанесен в четверг 19 мая 1977 года. Четверг у мужа неприсутственный день, когда он работает дома или в библиотеке. В тот день ему рано утром позвонил заведующий сектором и попросил срочно явиться в институт. Нужно было подготовить справку по проекту новой (ныне принятой) Конституции. И действительно, когда муж приехал, ему поручили подготовить две справки, срочность которых была так велика, что их текст передавался сразу по телефону. В час дня, когда работа была закончена, тот же заведующий сектором сообщил, что им нужно вместе поехать в другое помещение, где находилась дирекция института, для получения какого-то нового задания. Так мужа привезли на заседание специально созванного ученого совета, на повестке дня которого стоял один вопрос — увольнение мужа.

Приказ о его увольнении был вывешен в тот же день. Оказывается, в то время, пока муж работал над срочными справками, заведующий его сектором сидел в соседней комнате и готовил проект этого приказа. Более всего меня в этой истории поразило и даже больше всего огорчило то, что ученый, доктор наук, юрист, человек, с которым у мужа все 11 лет совместной работы были прекрасные отношения, вел себя как мелкий оперативный работник. Как мог он согласиться играть столь неблагоприятную роль! Почему не решился сказать мужу прямо правду и о том, куда едут и зачем едут?..

В четверг 19 мая муж стал безработным. Пятница прошла благополучно. В субботу и воскресенье нас не было дома. А в понедельник рано утром к нам пришли из жилищного управления. И сразу:

— Нам известно, что вы уже не работаете и права на дополнительную площадь больше не имеете. Так что квартиру вам придется освободить. Дело о выселении мы передаем в суд.

На этот раз я уже не комментировала их угроз дома. Понимала, что в КГБ воспользовались моим советом: «Им надо дождаться, когда тебя и меня выгонят с работы». Но мы твердо решили сопротивляться до последнего, а если не удастся отбиться, что же — жить можно и в одной комнате. Страшно было только одно — возможный арест мужа. Все остальное казалось тогда совсем незначительным.

И опять шло время. Я уезжала на работу — в консультацию, в суд, в тюрьму. Муж оставался дома. Помню, как-то в Лефортовской тюрьме, куда я пришла на свидание со своей подзащитной, я стояла у окна приемной. В этот момент к воротам тюрьмы подъехала черная легковая машина. Мне показалось, что среди сидящих в ней — мой

муж. Не знаю, как я дошла до телефона, как дождалась ответных гудков — муж был дома.

А когда приходила домой, мы спрашивали друг друга:

— Все хорошо?

И отвечали:

— Все хорошо.

15 июня ко мне пришла мать Анатолия Щаранского, члена Московской Хельсинкской группы, активиста правозащитного движения и борца за право евреев на эмиграцию. Уже более года прошло с момента его ареста. Ему было предъявлено чудовищное по необоснованности обвинение в шпионаже в пользу США. Ко мне много раз приходили за консультацией по этому поводу друзья Щаранского. Его мать пришла ко мне, чтобы просить быть его адвокатом. Она знала, что у меня нет допуска, но надеялась, что добьется для меня разового разрешения. Знала она и о том, что случилось в нашей семье, и потому пришла ко мне уже после того, как обошла всех адвокатов, которых я через ее друзей могла рекомендовать. Желающих спорить с обвинением в шпионаже она не нашла. Уже не было в коллегии Софьи Васильевны Каллистратовой, которая вышла на пенсию; исключен был из коллегии Золотухин; были отстранены от участия в политических делах и несколько других адвокатов, которые, знаю, не отказались бы от принципиальной защиты.

Я согласилась.

16 июня Ида Мильгром (мать Щаранского) была на приеме у заместителя председателя президиума Московской коллегии адвокатов. В выдаче мне разового допуска было категорически отказано.

В этот же вечер мне позвонил этот заместитель председателя президиума и долго упрекал за то, что не отказалась от этого дела, сославшись на болезнь или занятость.

Прошли пятница, суббота и воскресенье. А в понедельник утром, когда уже уходила в суд, где должна была произносить речь по делу, которое слушалось более двух недель, меня срочно вызвали в президиум.

В кабинете меня принимали два заместителя председателя. Мне дали прочитать письмо, подписанное прокурором Москвы и датированное 17 июня. В письме ставился вопрос о моем исключении из коллегии. В нем говорилось и об обыске, и о том, что муж является автором антисоветской рукописи, и, конечно, о том, что я встречалась с иностранными корреспондентами, которых в советской прессе называли агентами ЦРУ.

— Ты понимаешь, что мы ничего не можем сделать? — спросили они меня.

Я действительно понимала это. Отстоять меня было не в их силах.

А через несколько минут мы с мужем, который ожидал меня на улице, уже шли по направлению к суду, где мне предстояло произнести последнюю в своей жизни защитительную речь. Муж пытался успокоить меня, но это было совсем не нужно. Я была поразительно спокойна. Как будто не произошла эта страшная для меня катастрофа, как будто не наступил конец моей профессиональной жизни.

Все то, что происходило потом, — и ультимативное (под угрозой ареста мужа) требование уехать из Советского Союза, и судорожные сборы в течение 10 предоставленных нам дней, и то, как полковник КГБ сам заказывал нам билеты на самолет в Вену и помогал в оформлении необходимых документов, — все это уже за пределами этой книги.

37 лет в советском суде кончились. Кончились 20 июня 1977 года, в день, когда произнесла свою последнюю защитительную речь в советском суде.

ДИНА КАМИНСКАЯ
ЗАПИСКИ АДВОКАТА

Редактор Филипп Дзядко
Корректоры Елена Елочкина, Мария Смирнова
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва
Пятницкая улица, 41
телефон / факс (495) 951 6050
e-mail info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
<http://www.novizdat.ru>

Подписано в печать 16 июня 2009 года
Формат 60×90/16
Гарнитура Charter
Объем 25,75 условных печатных листов
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, Библиотечная улица, 11